

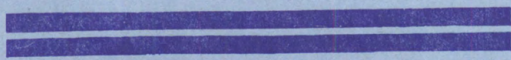
ISSN 0130-7673

НОВОБЫИ МИР

НОВОБЫИ
МИР

1983

5



1983



НОВОЫЙ МИР

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО - ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО - ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Издается с 1925 г.

№ 5

Май, 1983 г.

О Р Г А Н С О Ю З А П И С А Т Е Л Е Й С С С Р

СОДЕРЖАНИЕ

	Стр.
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Владимир Жуков, Владимир Нежданов, Владимир Калинин, А. Коваль-Волков, Н. Рудой, Василий Горбенко, Игорь Селезнев	3
ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ — Уренгой — Запад	8
АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ — «В островах охотник...» Кампучийская хроника	38
ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ — Михаил Львов, Михаил Найдич, Софья Петренко	131
АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ — О пропорциях, стихи	137
ЮЛИУ ЭДЛИС — Жизнеописание	140

ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ — «Стихов пишу мало — наступление было». Письма матери с фронта. Предисловие Д. Тевекелян	186
---	-----

В МИРЕ НАУКИ

В. БАРАШЕНКОВ — Надежды и трудности	199
Ю. ПОЛЯКОВ — Вечера у академика Тихомирова	208

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

	Стр.
ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА	
ИГОРЬ ДЕДКОВ — О судьбе и чести поколения	218
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ	
<i>Литература и искусство</i>	
А. Турков. Не заглушаемое ничем...	
Расул Гамзатов. Книга моего товарища.	
Ал. Горловский. В соавторстве с читателем.	
Андрей Василевский. Ополчившись на «шаблоны».	
А. Аникст. Поэтика романа XX века.	
<i>Политика и наука</i>	
А. Кондратович. От Советского Информбюро...	
М. Черепахов. «Стиль Маркса — это Маркс».	
Юрий Гальперин. Первая среди равных.	
ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ	
А. Комиссаров. Об уважении к сюжету. Лев Славин. Заметки на полях «Ужгинского Кремля» Юрий Нагибин. О Хлебникове, О. Курочкин. Письмо Твардовского. Светлана Овчинникова. В суфлерской будке Времени	250
КОРОТКО О КНИГАХ:	
Любовь Кабо.— Сергей Львов. Быть или казаться? ♦	
Сергей Мнацаканян.— Л Дымова. Журавль в небе. Стихи. ♦	
А. Ермонский.— Казимеж Выка. Статьи и портреты. Перевод с польского ♦	
Николай Карпов.— Геннадий Красников. Птичьи светофоры. День поэзии 1982. ♦	
И. Занделов.— Виктор Русаков. Рассказы о потомках Пушкина. ♦	
Евг. Симонов.— А. И. Поляков. Полос высоты	267
КНИЖНЫЕ НОВИНКИ	272

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ



ВЛАДИМИР ЖУКОВ

Победа

Когда вырастишь и поднимешь детей
на крутое крыло,
отпуская по свету,
передай им
и тыщу четыреста дней —
фронтovou мою эстафету.

Через марево горя, руин и смертей,
нерожденных детей и поэм недопетых,
через пути кровавых солдатских траншей
продиралась к нам в зрехах наша Победа.

Пусть они ее свято,
светло берегут —
так,
как знамя гвардейское — воин...
Чтобы я за нее и на том берегу
хоть четыреста лет был спокоен.

Под Корсунем

Б. С. Ковалишину.

Под Корсунем, под Корсунем, под Корсунем
есть чудо-луговина в пойме Рось.
Уж сорок лет
не вжикают здесь косами,
и берег весь мать-мачехой порос.
Ни ягод здесь, ни васильков не трогают,
и незабудок тут никто не рвал.
Вся в ямах луговина та широкая,
трагическая, как мемориал...

Мы выдвинулись загодя, до света —
танкисты, батарейцы, станкачи.
А немцев было в том кольце несметно
и тишина такая — хоть кричи.
На полтора часа переговоров
противник отодвинул свой прорыв...
И через нас прошли парламентареры,
снежком умывшись, бороды побрив.
О боже мой, как шли они в безвестность —
ни ты, ни я, ни ротный бы не смог!

ВЛАДИМИР НЕЖДАНОВ**После боя**

После боя солдату приснится,
 как в бою он товарищей хватится,
 как на вражьих чернеющих лицах
 проступала фашистская свастика.
 И решив, что настала пора,
 он рванется в атаку с гранатой...
 ...Тихо в поле. Спит взвод у костра.
 Но протяжное эхо — «Ура!..»
 подхватили во сне солдаты.

* * *

Прогрохочет в небе
 самолет как гром,
 рано на рассвете
 наш разбудит дом.
 И уже над домом
 бледно-голубым

тянется за громом
 реактивный дым.
 И как след от дыма
 в солнечной дали,
 тянется незримо
 Млечный Путь Земли...

ВЛАДИМИР КАЛИНИЧЕНКО**Вечный Парад Победы**

Во сне, наяву ли,
 но ясно
 под звонкие всплески наград
 я вижу:
 по площади Красной
 идет этот Вечный Парад.
 Раз в год — по традициям даты—
 как на показательный суд
 разбитых дивизий штандарты
 сыны ветеранов несут.
 Кичливые знаки отличий
 хваленых отборных полков
 позорно, покорно, по-птичьи —
 безглавым, бескрылым комком—
 ложатся у стен Мавзолея...
 Увянувшая мишура...
 И топчет их,
 ног не жалея,
 ликующая детвора.
 И мир весь пусть смотрит по теле-
 экранам (какой тут секрет):
 не кто-то, а мы

в самом деле
 фашизму сломали хребет!
 Пусть слышится завоевателям
 любых государств и времен:
 «Проклятье! Проклятье!
 Проклятье!» —
 в контуженном стуке знамен.
 И пусть ежегодно, навечно
 проходит открыто и впрок
 уроком всему человечеству
 истории майский урок.
 Мы — нация добрых и сильных,
 и мы не злопамятны, нет.
 Но просто преступно России
 не помнить о ценах побед.
 Погибли отцы не напрасно.
 Во всех поколениях внучат
 он будет
 по площади Красной
 идти —
 этот Вечный Парад!

А. КОВАЛЬ-ВОЛКОВ

* * *

А мне все кажется:
 Идет отец
 На четверть века впереди меня.

ВАСИЛИЙ РОСЛЯКОВ

★

УРЕНГОЙ — ЗАПАД

Москва еще в сыром и хмуром октябрьском дне, а в Тюмени ясное зимнее утро. За окном, на белом снегу, стоит длинный автобус, опоясанный красной полосой с крупными буквами — Миннефтегазстрой. Мой интерес.

За углом гостиницы, с борта крытого грузовика, продают арбузы.

Между осенней Москвой и зимней Тюменью — полторы тысячи километров вечернего перелета над зачерненными облаками, над непопугающей полоской зари.

Тюмень.

— Там у нас развернуто несколько десятков трестов, много главков и управлений.— Это в Москве еще говорит мне Анатолий Павлович Весельев, заместитель министра.

— Почти целое государство?!

— Если учесть, что на Тюменщине стоит Уренгой с его газовым месторождением, то и государства такого не найдешь на нашей планете.

Заместитель министра подошел к стене, отворил деревянные створки, и я увидел в уютной нише карту родины. Сразу же бросился в глаза этот Уренгой. Из него стремительно вылетал пучок стрел, в европейской части он раздваивался, обтекая Москву с севера и юга. Стремительный пучок простреливал всю кровеносную систему Европейской России со всеми ее промышленными центрами.

Если родину представить как живой организм, то эта сложная и густая сеть газопроводов и в самом деле видится как кровеносная система гигантского организма.

Я и не подозревал, что ходил и ездил на поездах и автомобилях по этим трубам, они давно уже разносили по городам и весям России свое тепло.

— Ставропольский газ, среднеазиатский,— Анатолий Павлович держал свою указку на этой сетке подземных жил,— уже выгорает, вся система начинает сейчас заполняться уренгойским газом.

Такой маленький Уренгой и такая огромная Россия. Да, карта стоит того, чтобы на нее посмотреть. Впечатляет.

Анатолий Павлович закрыл створки, а в голове еще долго стояла она, живая, пульсирующая. Продолжала жить и пульсировать там, за створками. Но одна жила, одна стрела, одна артерия дольше всех других не уходила, держалась в голове. Она была как бы становой, главная, летела из Уренгоя через всю страну на запад, к западной границе, к Ужгороду.

— А там? А дальше?

— Дальше через Чехословакию к границе западных государств, и там начнут разбирать ее по домам Франция, ФРГ, Италия, Австрия, то есть Европа.

— И все это из одного нашего Уренгоя?

— Да, все оттуда. Теперь представляете, что такое сегодня Уренгой?

— Начинаю догадываться...

...В Тюмени хорошо. Тут есть проспект Республики. Как хорошо и молодо это звучит. Потому что город и сам молодой. Идешь по этой «республике», то и дело задираешь голову на высоченные, министерского вида дома. Вот они, эти тресты и управления. Ведь здесь столица уренгойского газа.

Мой учитель Павел Филиппович Нилин, которого, к нашему несчастью, уже нет на земле, часто и трогательно удивлялся обширности государства, в котором мы живем.

— Подумать только,— говорил он.— У нас есть Дальний Восток и Север с Ледовитым океаном, есть моя родина — неоглядная Сибирь и в то же время теплый тропический Юг, Черное море, и Рязань есть с Владимиром. И все это друг от друга на тысячи и тысячи километров. Какое счастье родиться в таком государстве. А сколько людей, окончив свои земные странствия, так и не удосужились понять, в какой обширной земле они жили. Не успели понять, как они были несметно богаты, в каких необозримых жили пространствах. Очень грустно, но это так.

Учитель говорил и сожалел не от тоски по многознайству или туристскому скороходству, а думал и говорил об этом, когда встречал человека, чаще всего писателя, с каким-нибудь очень уж рязанским, или очень вятским, или другим каким-либо узкоместным мышлением. А хотелось ему в своем соотечественнике, тем более в писателе, найти образ мыслей, взгляд на жизнь свою и своего общества такими, какие приличествует иметь человеку, родина которого столь могущественна и обширна.

Я давно стал замечать, как прав был мой учитель в своих размышлениях. Больше того, я видел, что они касаются почти всех знакомых мне людей, в разной, конечно, степени. И только одно племя они никак не затрагивают — это племя строителей.

* * *

Кто-то же должен координировать работу всех этих трестов и управлений. И вот создано такое Главное производственное распорядительное управление. Вхожу в одно из высотных зданий проспекта Республики, поднимаюсь на лифте.

— Пожалуйста, проходите,— точно как в министерстве.

В кабинете за письменным столом сидел еще вполне молодой мужчина с заметной проседью в густой шевелюре. Отключился от своих дел и забот, поздоровался через стол, предложил садиться. Я следил за каждым его движением, вглядывался в его лицо, которое казалось мне необыкновенным и значительным. Ведь он был одним из того племени, которое рано начинает понимать, в каком богатом и бескрайнем живет государстве. Александр Михайлович Гордышевский.

— Александр Михайлович, я уже кое-что знаю об Уренгое, но вот мне кажется, что люди, связанные с этой необыкновенной стройкой, должны быть сами необыкновенными, не такими, как все другие люди. Чем? Ну хотя бы размером грудной клетки, дышать должны глубже, крупней думать, чувствовать. Вот хотя бы вы, кто вы такой? Кратко и подробно, как говорил поэт, расскажите.

— Я? — немного удивился вопросу Александр Михайлович.— Я простой инженер. Главный инженер этого управления. Что же касается других людей, ваши догадки совершенно справедливы. Обустройство небывало крупного месторождения, получение на нем газа, его транспортировка на тысячи и тысячи километров, конечно же, необычное

дело по своим масштабам. Такого не было нигде и никогда в мире. И поскольку все это делается руками людей, обдумывается их головами, то и люди эти, вы совершенно правильно сказали, должны отличаться от других. Тут, конечно, масштаб, размах делает человека другим. Даже простой сварщик — он ведь не только варит трубу, отдыхает, спит, потом снова варит, он же еще и думает, он понимает, что варит, какое вершит дело. Вы говорите о крупных личностях?

— Да, я говорю именно о них, титанах, гениях современности, современной индустрии, которых еще не знает наша литература, не знакома с ними или почти не знакома. А эта эпопея с трубами вполне, не правда ли, подсказывает свой «Тихий Дон»?

— Народу поднято уренгойским газом много. Это в самом деле эпопея. Представьте себе, сколько этого народу задействовано, сколько техники — на тысячи и тысячи километров протянуть трубу, через болота, реки, обводненные места, через горы, наконец; построить компрессорные станции — на каждые сто километров станция; построить городки для людей со школами, детскими садами, магазинами, библиотеками и банями, и это через всю Россию, Украину, до самой границы, до Ужгорода. Трудно окинуть глазом. Это же все одна стройка. КамАЗ занимающий площадь в сто квадратных километров, по сравнению с этим кажется малюткой. Так растут масштабы, потенциал страны, ну, разумеется, и люди. Вот хотя бы начальник нашего главка Николай Иванович Кизуб. От простого мастера он быстро прошел путь до начальника такого крупного управления. Между прочим, Кизуб единственный из немосквичей стал членом коллегии министерства. Это очень крупная личность. К сожалению, он сейчас в отпуске. Почему? Потому что страда у нас начнется с зимы, с первых сильных морозов: когда болота встанут и сделаются проходимыми, тогда и начинается самое горячее время. Сейчас пока еще время отпусков, пока дышать нам легче, хотя работы и в такое время хватает. Идет подготовка к зиме, то есть к нашей страде. Варят из труб плети, зимой будут их укладывать, готовят пригрузки, бетонные блоки, надевают их на трубу, как груз на верблюда, чтобы не плавала эта труба в болоте. Надо изготовить таких пригрузов больше ста тысяч. Ведь наш тюменский участок растянулся на тысячу сорок три километра. В это не сезонное время строим городки по всей трассе, около двадцати пяти городков. А это жизнь людей, семьи, дети от грудного до школьного возраста. Они должны жить нормально, как везде в нашей стране.

— И все-таки, Александр Михайлович, вы-то кто? Откуда здесь взялись?

— У меня все просто. В Хабаровске окончил школу (отец был пограничник), институт в другом конце страны, в Сталинграде, в пятьдесят седьмом году. По распределению попал в Касимов, потом в Рязань, потом уехал на Каспий, Мангышлак, в город Шевченко, там начинали осваивать западноказахстанскую нефть. На Мангышлаке и был крещен в строители, появился вкус к стройкам. И когда возникла эта Тюмень, двинулся на Север, в Надым, на этот газ. Пять лет Надыма и вот скоро пять лет в Тюмени.

Да, такому человеку не скажешь, что он не знает, в какой живет державе. Ее обширность входит составной частью в его биографию.

На письменном столе я заметил лист бумаги с какой-то схемой. Поинтересовался.

— Это, — сказал Александр Михайлович, — структура организаций Миннефтегазстроя в Западной Сибири на первое июня восемьдесят второго года.

— Зачем это?

— Затем, что все меняется. Структура живая. Жизнь все время поправляет ее в соответствии с потребностями дела.

На этой бумаге увидел я эти шесть главков, **одно объединение**

«Сибкомплектмонтажстрой», тресты, управления. Сидел я, разбирался в этой структуре, и невольно вокруг нее толпились всякие мысли, навязывались какие-то не очень, может быть, уместные аналогии. Интересно, думал я, можно ли, например, представить себе подобную схему, структуру по месяцам, на первое число такого-то и такого-то месяца, месяц за месяцем, год за годом, для нашего, скажем, литературного дела? Что мы увидели бы на такой схеме? И как бы она менялась месяц от месяца, год от года?

Я уже сильно отвлекся от предмета, когда вошла секретарша и сказала:

— Приехал Николай Иванович.

Я сразу понял, что это Кизуб.

Как только открыли мы дверь, навстречу поднялся высокий стройный человек, похожий и на спортсмена и на известного дирижера, но также и на титана, гения, финансиста и кого там еще из воспетых западной литературой крупных дельцов. И я, пожимая руку Кизубу, горько позавидовал тому молодому из нашей братии, кто обратится когда-нибудь к этой фигуре, к этому роскошному человеческому материалу, будущему герою нашей литературы, когда она подойдет поближе, увидит этих людей, вот этих Кизубов и Гордышевских. А их тут, на трубах, в Тюмени, на нефти и газе, по всей нашей земле уже целая армия.

Николай Иванович Кизуб высок ростом, подтянут, светел лицом, и в его глазах было выражение отпускника, они были не обременены, не задавлены тысячами забот, они были свободны и спокойны, в них переливалось что-то от молодого задора, веселости, готовности подержать или самому пойти на шутку.

— Ну, вот вы свободны, Николай Иванович,— начал я навязываться к Кизубу со своими психологическими разведками, домогательствами, неопределенным желанием притронуться, приобщиться к душевным тайнам, к неведомым мне глубинам живого героя завтрашней нашей литературы.— Вот вы в отпуске, совершенно свободны... Ну и что? Может, вам и заняться нечем? Может, вы кроме вашего дела и знать ничего не знаете? Может, вы очень хорошо запрограммированный начальник крупного главка? Может, вы живой компьютер? Простите, я никогда близко не стоял, никогда не общался с такими крупными людьми, как вы. И прочитать о вас негде. Ну, как вы протянете свой отпуск? Как употребите?

Николай Иванович великодушно усмехнулся. По всему видно, что он меня понимал и удивлялся моей наивности, неосведомленности, а возможно, и моему слишком восторженному к нему отношению.

— Совершенно освободить себя от дела, как вы говорите, нельзя. Не получится. Но я мечтаю забраться на лыжах в тундру, с ружьишком, но только в такую тундру, чтобы близко не было труб. Вот о чем я мечтаю. Может, мне и удастся.

— А что, Николай Иванович, трубы мешают? Может, они и природе ломают?

— Нет, я хотел сказать другое. Там, где трубы, там и люди. Значит, опять попадешь в водоворот. С природой? Да, и ее они не оставляют в покое.

Ну что же. В тундру так в тундру. Не стал я втягивать Николая Ивановича в прежний водоворот его занятий и дум. Пускай отдыхает, набирается новых сил к наступающей зимней страде...

Когда я собирался лететь в Тюмень и Уренгой, я ничего не хотел знать раньше времени и даже не посмотрел на географическую карту. Я никогда не был на Севере, и хотелось, чтобы в моей теперешней поездке было больше сюрпризов, неожиданностей, незнакомого. Так легче запоминается все новое и впечатления глубже и сильнее захватывают душу. И все же помимо воли я представлял себе и эти трубы и этот

Уренгой с Тюменью. В Тюмени, думал, свяжусь с начальством, и оно подбросит меня к Уренгою, к тому месту, откуда берется вся эта эпопея Уренгой—Запад, как я сформулировал ее для себя заранее. Уренгой — Запад.

Подбросят меня на «козлике», а возможно, даже и на вертолете к точке, где пробита эта дыра, вставлена в нее труба, коленом своим повернутая в сторону Запада. Встану я на это колено и начну глядеть, пока не увижу ну хотя бы сперва Эйфелеву башню, а потом уже и весь Париж, поскольку в голове у меня первой точкой был Уренгой, а второй точкой Париж.

— Полетим вместе,— сказал мне мой тюменский друг Женя Ананьев, писатель-документалист, заболевший Севером с давних еще, с юных лет и, как видно, теперь уже на всю жизнь.

— Как полетим? Опять самолет?

— А как же? — сказал Женя.— Ведь до Уренгоя немногим меньше полутора тысяч километров.

— ?

— Что, далеко? В девять пятьдесят вылетим и через два часа будем на месте.

И вот мы уже летим. Никогда под крылом у меня не было такой земли. Ровная, как столешница, и вся в озерах, озерках, в реках, речках и речечках. Точно кто на этой столешнице опрокинул чернила, и стали они растекаться по своей воле, змейтись, вылить по ровному пространству, а где капли так и остались каплями, никуда не потекли. Вот где было воды... И вспомнил я Николая Ивановича Кизуба и понял его желание забраться в эту ровную безысходную глухомань. Ни труб, ни людей.

Ханты-мансийская земля проплывала подо мной. Однообразная и унылая, как степная песня. В мелкорослой тайге, в пятнах озер, в извилинах речек, кому-то тоже, видать, родная и близкая земля. Для кого-то лучше и прекрасней нет никакой другой на свете. Для кого? Ну хотя бы для Ювана Шесталова. Тут родился он, вырос, вобрал в себя талант своего народа, и теперь имя его известно во всех краях нашего отечества.

После ханты-мансийской земли, без всяких переходов и перемен, потянулся все тот же плоский край, но он уже был ямало-ненецким.

Когда-то, в далеком детстве, смотрел на этот полуостров Ямал, и мне казалось, что жизнь тут немислима, так далеко это было и так близко к Ледовитому океану.

И вот на этой столешнице, припорошенной белым снежком, и возник Уренгой. Новый Уренгой.

Тут лежал снег не такой, как в Тюмени, не влажный, подтаивающий к середине дня. Тут он был синий и мучнистый и так плотно прилегал к земле, к вздыбленным строительством улицам, что и улица и земля казались только что отхромированными. И не хрустело под ногами, а тоненько повизгивало, подпевало в такт шагам.

Город совсем молодой.

Сперва меня повели в детский сад. Я не возражал, но про себя недоумевал. Летел в Тюмень, из Тюмени в этот Новый Уренгой, тысячи километров, зачем? Чтобы смотреть детский сад? Но это я про себя думал. Думал и шел по мучнистому повизгивающему снегу. У подъезда нового двухэтажного дома остановились, стали ждать, когда выйдут, вытекут ручейком жители этого дома, румяные, тепло одетые маленькие человечки с широко открытыми любознательными глазами. Стригут ими остановившихся дядей, вопрошают. Но особо вопрошать некуда. Пошли, потянулись по белой мучнистой улице.

Над входной дверью вывеска — «Цветок Уренгоя». И гвоздичка нарисована. Нет, не стал я жалеть, что знакомство мое началось с детского садика, с этого цветка Уренгоя. И перед вывеской и на лестнице, на этажах, в комнатах игр, спаленках, столовой, в зимнем зале, куда эти

«цветы» выходят на прогулку, когда на улице сорок градусов мороза, разговаривая с персоналом в белых халатах, я думал про того человека, про тех людей, которые построили этот дом, назвали его так, навели в нем домашний уют. Эти люди, думал я, пришли сюда, чтобы добывать газ, согреть им не только себя, своих детей, свою страну, но также и своих соседей, соседние государства Европы. У этих людей неизбежно должна быть такая трогательная любовь к детям — цветам Уренгоя, цветам нашей жизни, нашему будущему.

И потом, в другие дни, в других местах, меня не покидало это чувство удивления и благодарности перед теми, кто задавал здесь тон повсеместной, всепроникающей человечности в этих, прямо скажу, не очень ласковых краях.

Уж если оно есть, то оно есть. Его видишь во всем, куда ни глянешь.

Два деревянных здания стоят рядом, на крутом берегу реки. Две гостиницы. Первая, где я должен поселиться, называется в обиходе «Строительная», хотя у входа на цепях висит деревянный щит и на нем выжжено славянской вязью: «Новый Уренгой». Добро пожаловать». Возле входной двери другой гостиницы, прямо на бревенчатой стене набит деревянный пряник, и на нем вырезано хватающее за душу, и особенно здесь, слово «Русь».

В первой и во второй все стилизовано, но так говорить почему-то не хочется, — не стилизовано, а с любовью обустроено все внутри под старинные русские хоромы. Даже входные двустворчатые двери, как и в тех хоромах, украшены узорчатыми накладными навесками из красной меди с золотыми крепками. Господи! Да куда ж ты забралась-то, Русь, со своими пряниками, да хоромами, да золотыми застежками! В какое белое безмолвие! И со своей любовью к человекам и в особенности к их деткам!

Когда я вошел в отведенный мне номер, тут перед мысленным взором опять возник все тот же человек, задающий тон. Ну хорошо, ну кровать, ну шкаф для верхней одежды, ну письменный стол, стулья, но как это он, тот человек, углядел где-то на складе или на мебельной фабрике не просто стулья, а стулья с мягкими спинками и такими же мягкими, красного цвета сиденьями? Да к тому же ножки у стульев, самые копытца, золотые, позолоченные. Они ж ему показались, эти золоченые копытца!

И только потом, через несколько дней, сказал мне один здешний деятель, чтобы я не удивлялся:

— У нас тут, знаете, все к людям повернуто.

Ну, конечно, теперь мне все стало понятно.

Что же, разве мы не любили, к примеру, строителей Братска, не жалели таких же парней и девчонок в ковбойках и в довоенного покроя лыжных костюмах? Зачем говорить? Любили. Как только могли, оберегали от всяческих неустройств и ненужных испытаний. Правда, бывало, что по дурости своей гордились не всегда оправданными испытаниями и неустройствами. Но вообще-то не меньше любили, чем этих, нынешних. Только нынче мы можем и цветок Уренгоя вырастить в Приполярье и стулья поставить с золотыми копытцами. Богаче стали да и поумней.

Из окон гостиницы я вижу крутой обрыв и пойму реки. По этому высокому берегу, изогнутому подковой, и лежит Новый Уренгой. Пойма и река под снегом. По белому пространству бурые пятна низкорослого березняка и каких-то хвойных недоростков, сосновых или пихтовых. Речка Ево-яха. Потом мне сказали знатоки, что это неверно. Не Ево-яха, а Седа-яха. Так быстро строили город, что не успели как следует разузнать, на берегу какой же все-таки речки начали ставить этот Новый Уренгой. Даже кафе открыли под неверным названием «Ево-яха», тогда как речка эта протекает по тундре значительно левее города, правее течет еще одна «яха», Варенга-яха. А за моим окном полуколыцом лежала вот именно Седа-яха. За этой подковой в бурой ще-

тине мелкорослой тайги убежала в мутно-белесую даль все та же ровная, как столешница, тундра — уренгойская земля.

Утром же, когда я выглянул в окно, все так изменилось, что мне впервые стало отчетливо ясно, куда я попал, где очутился. Видно, густой туман ночью был схвачен лютым морозом, заснежился и выбелил все начисто до крайней белизны. Никаких пятен недоразвитой тайги, никаких нетоптанных тропинок и дорог, все ушло в белый свет. Белое безмолвие — вот что было у меня под окном. Прямо подкралось оно, подступило к самому окну. И дальше, без конца и края, вплоть до Ледовитого океана лежало это безмолвие. И в нем же, седой от инея, стоял молодой город. По высокому берегу притрухивала собака, остановилась, понюхала белое Приполярье, опустила голову и легкой трусцой побежала дальше, бог знает куда. А над ней и над белыми домами стыло низко-низко красноватое неотчетливое солнце. И черной цепочкой протянулись люди, спешили к белым каменным домам, что толпились чуть в сторонке от деревянного городка, составляя из себя приполярные Черемушки.

Гулять по этому городу особенно не погуляешь, уже 50 по Цельсию, а на мне осенняя московская курточка и легкие ботинки. Кто же мог подумать, что прямо из дождя я попаду в эту стынь, где даже воздух промерз до последнего атома. И все-таки хотелось взглянуть на этот Уренгой не из окна гостиницы, а хотя бы с улицы. Пошли-поехали. И попался мне такой трубадур этого замечательного города, что заслушаешься, не оторвешься. Леонид Константинович Гусельников, или просто Леня. Помощник начальника главка. Леонид Константинович стал знакомить меня с городом и сразу же повел в «Цветок Уренгоя». Нет, не мог он просто, как все, говорить о городе, здешних людях, о месторождении и его обустройстве. Он почти декламировал. Его восторг нельзя было унять, да я и не пытался. Я считал, что мне просто повезло с этим Леонидом Константиновичем. Внешне он напоминал восторженного студента, молодой, подвижной, неумный.

— Вы знаете, что мне нравится больше всего здесь? — И сразу же стал отвечать: — Темп! Уренгойский ритм! Это мне по душе.

И мне показалось, что сам он никогда не выпадал из этого темпа, из этого бешеного ритма. Появлялся всегда внезапно, на ходу поправляя шапку, начинал быстро-быстро говорить, объяснять, планировать мою жизнь на ближайшие дни в этом городе. Глаза его беспокойно бегали по сторонам, и, если не было срочного дела, срочной нужды в нем, тут же, сию же минуту убежал куда-то — утрясать что-то, договариваться с кем-то, уславливаться бог знает о чем.

Я все думал о его месте, о его назначении в этом деловом мире Уренгоя. И в конце концов спросил:

— В чем заключаются, Леонид Константинович, ваши обязанности здесь, в главке, в Уренгое?

— В данную минуту, — быстро ответил он, — быть с вами, показывать, объяснять, отвечать на ваши вопросы.

Мне понравилось, что он как-то с ходу, легко и просто понял, что главное мое занятие здесь, моя работа заключается именно в этом: смотреть, задавать вопросы, запоминать и думать. И он сразу же сделался необходимым мне человеком.

— Кроме этого, — добавил он, — вы знаете, что Наливайко Андрея Ивановича, начальника нашего главка, сейчас здесь нет, он в отпуске, но его дух должен быть всегда на месте, здесь в главке, в Уренгое. И это обеспечиваю я. Тоже моя обязанность.

Интересно. Когда я сказал об этом главному инженеру Владимиру Михайловичу Игольникову, замешавшему Наливайко, он пригнул голову и почти незаметно улыбнулся. Ну что же. Ведь Леонид Константинович, как я понял, был из породы одного из фадеевских героев.

«Конечно, я грешный человек, имею много слабостей; я многого не понимаю, многого не умею в себе преодолеть; дома у меня заботли-

вая и теплая жена или невеста, по которой я скучаю; я люблю сладкие дыни, или молочко с хлебцем, или же чищенные сапоги, чтобы покорять девчат на вечорке. А вот Левинсон — это совсем другое. Его нельзя заподозрить в чем-нибудь подобном: он все понимает, все делает как нужно, он не ходит к девчатам, как Бакланов, и не ворует дынь, как Морозка; он знает одно — дел о. Поэтому нельзя не доверять и не подчиняться такому правильному человеку...»

Так думал юный Бакланов, помощник командира партизанского отряда, о своем начальнике, о Левинсоне. Леонид Константинович был из породы юных Баклановых.

— Вы знаете, как стремительно рос Наливайко? Главный инженер управления, начальник управления, заместитель управляющего трестом по производству, главный инженер треста, управляющий трестом и вот начальник главка. Потому что Андрей Иванович — это личность.

Вы знаете, как возник «Цветок Уренгоя»? Поступила жалоба заведующей детсадиком. «Как можно слушать эту жалобу? — говорил он подчиненным.— Это не заведующая жалуется. Это жалобы наших детей! Мы не смеем допускать, чтобы жаловались наши дети, дети Уренгоя! Мы не можем этого слышать!»

А ведь все это не в плане, все в порядке шефства. И разве один детский сад построен в порядке шефства?! А хор? Вы не слышали наш городской хор? Женщинам объявил: кто не запишется в хор, может подавать заявление об увольнении с работы. Конечно, это жест, вы сами понимаете. Но в один день был создан хор. Кто имел голос, все записались.

Я уже не говорю о его производственном опыте, об организаторском. Давать план умеют многие. Но быть личностью, человеком вровень с эпохой, гуманистом — это дается немногим. Андрей Иванович — это правильный человек, — заключил Леонид Константинович точь-вточь как юный Бакланов.

Да я уже и привык, что здесь чуть ли не каждый, с кем встречаешься, прямо-таки боготворит людей, работающих рядом. И не только своих вышестоящих руководителей. Тот же Леонид Константинович не может без восторга говорить о шофере Андрея Ивановича. Все дни по-прежнему познакомить меня с этим водителем, но тот тоже был в отпуске, и мне так и не удалось увидеть этого необыкновенного водителя.

— Вы обязательно должны познакомиться с ним, — настаивал Леонид Константинович.— Это не просто шофер, это — ас! На Большой земле ему просто нечего было делать, там был тесен для него мир. Ему нужен был Север! Здесь он нашел себя. А человек! Красавец! Плечи — во! Остроумен, находчив, истинный сын народа по уму, по широте души, по характеру. Людей понимает. Про Наливайко говорит: «Всю жизнь готов возить таких, как Андрей Иванович». Нет, Василий Петрович, — это уже ко мне.— У нас тут простых людей нету. У нас что ни человек, то личность. Потому что Север.

Мне это нравилось. Но я понял, что не смогу увидеть ни Наливайко, ни его водителя Николая Терюшкова. А повидать хотелось. И главное, хотелось проверить, точно ли сходится портрет Наливайко с тем, как нарисовал его Леонид Константинович Гусельников, его помощник.

А также хотелось проверить и самого Леонида Константиновича, точно ли он из породы Баклановых, так ли, как Бакланов, подражает в чем-нибудь своему кумиру. И в чем именно подражает.

И опять из фадеевского «Разгрома» хочется привести слова. Левинсон «...никогда не пытался высмеивать юного Бакланова за подражание. В его годы Левинсон тоже подражал людям, учившим его, причем они казались ему такими же правильными, каким он — Бакланову. Впоследствии он убедился, что это не так, и все же был очень благодарен им. Ведь Бакланов перенимал у него не только внешние манеры, но и старый жизненный опыт — навыки борьбы, работы, поведения. И Ле-

винсон знал, что внешние манеры отсеются с годами, а навыки, пополнившись личным опытом, перейдут к новым левинсонам и баклановым, а это — очень важно и нужно».

Я слушал разговорчивого Леонида Константиновича и думал о нем и о героях фадеевского «Разгрома». И стало мне интересно, что у него от Наливайко и как он вообще очутился здесь, на газе, на этом Севере. Я думал, а Леонид Константинович все разговаривал, все поднимался в своем пафосе и достиг таких риторических вершин и глобальных обобщений, что я невольно стал заподозривать в нем артиста и философа.

Оказалось, что Леонид Константинович действительно искал себя и в философии и в актерско-режиссерском деле, а нашел свою судьбу здесь, на Севере. Окончил философский факультет Уральского государственного университета, пошел преподавать в Кемеровский институт культуры, вел комсомольскую работу, потом поехал в МГУ, поступил в аспирантуру философского факультета, работал над диссертацией, посвященной истории нравственного идеала личности, одновременно искал этот нравственный идеал в своей жизни. Опростился, ударился в неотолстовство, женился на простой крестьянской девушке, толкался по разным работам, был дворником, администратором театра, поступил в Институт культуры, учился у Бориса Равенских в ГИТИСе, потом во ВГИКе у Марлена Хуциева. Приготовил программу «Я говорю с эпохой». Марлен Мартынович Хуциев сказал: «Ты зрелый человек, чему тебя учить?» Пошел в киноактеры и снова в Институт культуры, наконец, стал художественным руководителем Дворца культуры под Москвой в Зеленограде.

— Тут, — говорит Леонид Константинович, — появился мой мефистофель или как еще назвать его, появился Андрей Иванович Наливайко. И вот я здесь.

Таков этот помощник начальника Главуренгойгазстроя, Леонид Константинович, или Леня.

Я уже стал привыкать, что в Уренгое останови любого — личность, достойная того, чтобы быть воспетой в стихах и даже прозе. Поначалу удивлялся обилию необыкновенных людей, потом стал привыкать и, больше того, стал и себя потихоньку чувствовать личностью, не вполне обыкновенным человеком. И это произошло со мной чуть ли не на третий день пребывания в этом приполярном необыкновенном Уренгое.

Мой друг, о котором я уже упоминал. Евгений Ананьев, в этом городе руководил литературным объединением. Он пригласил меня встретиться со своими литобъединенцами. Собрались в местной библиотеке. Библиотека, как и положено ей быть в необыкновенном городе, была также непростой. Она была построена, укомплектована книгами и вообще создана усилиями и заботами молодежного журнала «Смена». Носила имя журнала, в котором я в свои студенческие годы начал печататься. И мне радостно было читать вывеску у входа в библиотеку, где значился мой родной журнал. Радостно и неожиданно.

Просторный зал, сидят, углубившись в свои занятия, в чтение, конспектирование, хорошие молодые уренгойцы, строители, газовики, приполярники. Стоят стеллажи с книгами, наглядные пособия, выставки, бесшумно ходят внимательные сотрудники. Уважительная тишина стоит. Словом, все как в любой порядочной библиотеке. Не один раз я поминал добрым словом журнал моей молодости. А уж о читателях и говорить нечего.

Итак, перед нами сидели пишущие приполярники. Дружно сидели, кучно. Ждали. Наконец поставлен на наш столик графин с водой, Евгений Григорьевич объявляет, кто сегодня у нас в гостях и так далее. И в эту минуту начало подкрадываться ко мне ощущение своей тоже необыкновенности. Но когда Евгений Григорьевич сказал дальше, что встреча начнется с сюрприза в некотором роде, потому что слово предоставляется сначала одному из литобъединенцев, который защищал дипломную работу по творчеству нашего нынешнего гостя, то есть, ра-

зумеется, меня, тут уже я окончательно укрепился в своем мнении, что я в этом городе тоже личность. И даже известная, потому что сотрудница библиотеки, ко всему прочему, еще и извинилась за то, что не выставили к этому случаю моих книг. Они все были на руках.

Нет, конечно, я не хожу с поднятым воротником шинельки, не вбираю голову в плечи, не прибедряюсь отнюдь и не жалуясь на свою литературную судьбу. Меня хорошо знают люди, близкие к кругам ЦДА (Центральный дом литераторов в Москве). И тем не менее в эти часы, в этой уренгойской библиотеке я пережил кое-что. А когда вернулся в свой гостиничный номер, где стояли стулья с золотыми копытцами, ко мне робко постучали.

— Войдите,— сказал я, уже готовый ко сну.

Робко отворилась дверь, и робко же просунулся в комнату видный из себя, прилично одетый и вполне интеллигентный человек. Личность — сразу же подумалось мне.

— Вы такой-то и такой-то? — спросил гость. — Простите, мне нужно поговорить с вами хотя бы десять минут.

— Ну что же,— сказал я тоном человека, довольно уже уставшего от славы. Но застигнутый неожиданностью вторжения и не особо привычный к этой пресловутой славе, я не предложил гостю присесть. Но он, как выяснилось скоро, и не нуждался в таком предложении. Ему, как мне показалось, необходимо было произвести впечатление, а для этого он нуждался в полной свободе передвижения по номеру, чтобы производить свои вполне интеллигентные жесты и наклоны туловища.

— Вы извините,— говорил он очень галантно, с хорошими наклонками,— дело в том, что я в некотором роде ээк. Вам понятен мой язык? Если понятен, то прошу вас, не бойтесь меня.

— Мне,— сказал я,— даже интересно. Западная пропаганда не перестает распускать клевету о том, что здесь, в Уренгое, содержатся заключенные, как вы говорите, ээки, и что они используются на принудительных работах, что все здесь строится их руками. Выходит, что это не совсем клевета?

— Чистейшей воды клевета, Василий Петрович.

— Ну как же!

— Так я ээк в некотором роде, как я уже сказал. Я бывший ээк. Отсидел четыре срока. Четыре! Это во-первых. Во-вторых, я занимаюсь далеко не каторжным трудом, а работаю экспедитором ОРСа, отдела рабочего снабжения. Имею дело с материальными ценностями, и немалыми. Почему? Да потому, что я не вор, не уголовник, я, если хотите, в душе художник, то есть ваш брат, писатель. И об этом-то предмете и хотелось поговорить с вами, с известным мастером литературы.

Это была, конечно, последняя капля. Я готов был немедленно бежать от собственной славы, например, в Чечено-Ингушетию, где меня, я был почему-то уверен, знали меньше, чем в Уренгое. Но у меня был гость. И десять обговоренных минут протянулись тогда до трех часов ночи, то есть до того времени, когда бывший ээк полностью исчерпал мое терпение.

— Вы знаете,— сказал я ему,— в нашем графоманском деле разговоры имеют смысл только в одном случае: когда перед нами лежит рукопись. А так, о литературе вообще, у меня плохо получается, да и смысла, повторяю, мало. Приносите, почитаем, поговорим.

— В том-то и дело,— сказал он,— я только собираюсь писать, и мне необходима ваша помощь. Жизнь моя богата, четыре срока отсидел, много поработал, повидал. И вот хотел бы. Но как? Помогите. Вам не приходилось читать «Записки серого волка» Ахто Леви?

— Ну как же! — сказал я.

— Знаете, это не то. Я бы хотел поглубже и поправдивее.

— Вряд ли я смогу помочь вам,— сказал я.— Но один секрет, главный, открыть готов перед вами.

— Очень прошу вас,— собеседник сложил руки на груди в знак ожидания и благодарности.

— Надо,— сказал я,— добыть стопку бумаги, побольше, годится любая, и конторская, годятся даже чистые бланки накладных. Шолохов, например, начинал «Тихий Дон» на страницах домовой книги, когда работал в Москве в одном домоуправлении. Так вот, бумага и карандаши. Но лучше и современнее шариковые ручки с запасом стержней. И с этим садитесь и пишите смело.

— Да, я понял вас. Но как? Как писать? Некоторые советуют начинать с диалога, другие — наоборот.

— Я советую начинать с самого начала.

— Понятно. Просто с самого начала. Например: была поздняя осень.

— Можно,— сказал я,— и без поздней осени. Даже без нее лучше.

— Понятно,— сказал он в заключение и вот уже в который раз за собиравшись уходить, начинал раскланиваться. Но тут опять вспомнил.— Скажите, пожалуйста,— спросил он, как бы извиняясь, что забыл о самом главном.— Вы знакомы с Медынским Григорием Александровичем?

— Знаком,— ответил я.

— Очень вас прошу, позвоните ему, когда вернетесь в Москву. Передайте, что видели меня в лицо, говорили со мной. И, пожалуйста, привет от меня.

— Спасибо, передам.

И только тут начинающий художник, бывший зэк, необыкновенно трогательно раскланялся, принес тысячу извинений и вышел. Ушел в ночное белое безмолвие.

Я долго не мог уснуть, все думал о необыкновенном городе и о том, как трудно носить на себе бремя известности, и в первый раз как-то по-родственному посочувствовал Габриелю Гарсиа Маркесу. Думал об исключительных людях, которые совершают в своей жизни нестандартные поступки. Когда мы закончили встречу в библиотеке имени журнала «Смена», то вместе с несколькими энтузиастами отправились в местную газету «Правда Севера» спастись от сухого закона, утвердившегося в Новом Уренгое. Мы продолжили знакомиться, закусывали квашеной капустой. Были тут сотрудники газеты, а также прежний ее редактор, тоже человек не совсем обыкновенный. Восемнадцать лет на газетной работе, «ставил», как он говорил, газету в Надыме под названием «Трасса», редактировал «Правду Севера», в которой мы сидели, и вот взял и перешел в стропальщики, работает сейчас стропальщиком. Когда подъемный кран поднимает тяжести, железобетонные плиты к примеру, кто-то внизу, на земле, должен застропать этот груз, показать потом, куда его нести, майна, вира и так далее. Так вот Валерий Георгиевич Нагорнов перешел из редакторов в стропальщики. Поступок, прямо скажу, не из рядовых. Но ведь это же Север! Правда, дома у Валерия Георгиевича, где я высказался перед его женой, очень деловой и властной Майей, высказался в духе одобрения и даже восхищения перед поступком Валерия Георгиевича, деловая и властная Майя сказала:

— Поступок. Сам, что ли, он совершил его? Это я переменяла ему профессию.

Валерий Георгиевич смиренно пожал плечами — да, дескать, все так, куда денешься, все она. А я между тем подумал, как не хватает нам, писателям, в нашей организации таких деловых и властных жен.

Конечно, необязательно прямо в стропальщики, но можно подобрать работу и полегче. Я вспомнил разговор на эту тему с деревенскими мужиками на Владимирщине, где была у меня своя изба, но теперя ее нет, она сгорела. Разговор проходил на пилораме, куда я обратился за какой-то надобностью. Помню, покойный Михаил Васильевич, старший на пилораме, сказал на мою просьбу:

— Ты вот что, Петрович, пока магазин не закрылся, думай.

А что думать? Университет окончил, думать умею. И через полчаса уже был снова здесь с бутылкой и солеными огурцами. Огурцы я завернул в газету «Литературная Россия». А в том номере как раз один писатель, чем-то похожий на Валерия Георгиевича Нагорнова, делился опытом своим в рубрике «Как мы пишем». Покойный Михаил Васильевич привязался ко мне, чтобы я прочитал им, как это мы пишем. Интересно мужикам. Я поглядел на страницу и, поскольку не особо уважал этого писателя, читать отказался наотрез. Тогда Михаил Васильевич достал свои плотницкие очки с проволочными дужками и стал читать сам. Мужики слушали. И я даже подумал, что зря недооцениваю этого автора, так он заинтересовал людей. Автор жаловался по примеру великих писателей, как трудно ему выполнять эту каторжную работу, о том, как он по семи раз переписывает свои произведения, как Лев Толстой, и какую мозоль набил уже на среднем пальце, а все не уверен, так ли все получается у него. Словом, терпит муки мученические, а не уверен. Читал, читал Михаил Васильевич и не выдержал, щелкнул негнущимся пальцем газетку и сказал рассерженно, с каким-то воодушевлением:

— Ты ж гляди. Что же у вас за порядки? Начальства, что ли, нету?

— При чем тут начальство? — спросил я.

— Как при чем? Человеку не под силу, мучается человек, а никому никакого дела до этого. У нас вон Михаил Андреевич не стал поднимать бревно, израсходовался весь, его в ночные сторожа перевели, а у вас куда смотрят начальники? Не могут, что ли, работу полегче подобрать? Нельзя так мучить человека.

— Наше дело добровольное, — сказал я. — Нас никто не приневоливает. Хочешь — пиши, не хочешь — не пиши.

— Рассказывай, — насмешливо проговорил Михаил Васильевич. — Добровольное. Если бы так было, человек не стал бы жаловаться через газету.

— Да он не жалуется, а делится опытом, — возразил я.

— Чудно-о... — ухмыльнулся Михаил Васильевич и не поверил.

Вспомнил я об этом в поздний час в гостинице «Новый Уренгой» и опять подумал о нехватке у нас таких деловых и смелых жен, как Майя. С их помощью многие бы из нас перешли в стропальщики, а то хоть и в ночные сторожа. И не столько потому, что сами мучаются, сколько потому, что мучают читателя. Долго не спал я от этих дум. А теперь, когда пишу, засомневался, зачем это я насовал в очерк об уренгойском газе столько всяких отступлений. Правильное решение тоже не могу принять, чтобы подчеркнуть их. А тут еще оправдательное соображение пришло. Ну вычеркну, а куда их девать? Я же не составляю книг из этих ночных бессонниц, из разных этих мгновений, камушков для памяти, вообще не овладел еще этим жанром, который я называю для себя и для удобства «брыльками». Пускай, подумал я, эти брыльки будут разбросаны по страницам, просто чтобы не пропадали зря и еще чтобы не получалось у меня все по одному коврику хождения, чтобы не получилось, как эта труба ровная или как выгнутая и выпрямленная проволока. А то ведь и мне будет скучно, а читателю того скучней. Тем более что завтра у меня день производственный, не до отступлений будет, не до брылек.

Рано утром явился живой, темпераментный Леонид Константинович, внося с собой сквознячок лютого холода. Как будто он и не спал со вчерашнего дня, не выпадал из этого уренгойского ритма.

— Все, — сказал он, — поехали.

Собирались мы по линии УКПГ (установки комплексной подготовки газа. — В. Р.), а также я просил побывать на головной компрессорной станции Уренгой—Ужгород, откуда газ пойдет до самого Парижа, как я представлял себе путь по этой коммерческой трубе дли-

ною в четыре с половиной тысячи километров. Эту трубу я видел в нише у заместителя министра и теперь хотел постоять у самого ее начала.

Не сразу удалось Леониду Константиновичу раздобыть машину. Мы ждали перед гостиницей, поглядывая на красноватое солнце, стоявшее между каменными домами, за излучиной Седа-яхи.

— Плохо с машинами,— говорил Леонид Константинович.— Личный транспорт ликвидировали во всех линейных управлениях. Ни у начальника, ни у главного инженера нет транспорта, уж не говорю о начальниках участков или прорабах. Вот у них за сорок километров один объект и за тридцать километров в другую сторону другой объект, а Полярный круг. На чем он поедет? Ехать-то надо и начальнику и главному инженеру.

Да, опять маленькая брылька.

К соседней гостинице «Русь» с мощным гулом подкатил самосвал.

— Вот видите «КРАЗ»? Под седлом. Нету личного транспорта, ставят под седло «КРАЗы» и «МАЗы». Надо же попасть на объект.

А я тотчас же вспомнил далекий отсюда родной свой подъезд в Москве. У подъезда томится по утрам черная «Волга», ждет хозяина. Не один раз наблюдал его. С ленцой, не торопясь выходит он из подъезда, портфельчик в руке или под мышкой, с ленцой открывает дверцу, захопывает за собой небрежно и едет, вернее, везут его в присутствие, в должность. Часто выходит он вместе с женой и потомством, подбросит водитель детишек к школе, жену к ателье какому-нибудь, а хозяина к должности, в субботние же дни — на дачу. Вечером везут домой со службы. И по Москве, по этому великому городу, где столько троллейбусов, автобусов, такси, где метро в любую сторону, сколько этих персональных летят со своими пассажирами по Садовому кольцу, по магистральным и не магистральным улицам. Хорошо, если пожилые ответработники, а то ведь молодые, полные сил, набирают раннюю полноту в уютных автомобилях.

Чуть не заплакал я, глядя на заседанный «КРАЗ».

Приходилось, правда, и такое видеть, редко, всего, собственно, один раз, когда вышедший из подъезда товарищ с портфелем сказал другому:

— Решил сегодня пешочком пройтись, а то как бы ноги вовсе не атрофировались...

А этот уренгоец, линейный начальник, руководитель строящегося в экстремальных условиях объекта, этот не может позволить себе такой роскоши — пройтись пешочком, ибо знает, что не на сороковом километре, не на десятом, а на третьем замерзнет насмерть в белом безмолвии, и от крайней нужды, скрепя сердце, седлает самосвал или грузовик. Ехать-то надо.

Но вот и подкатил наш железный зеленый «УАЗ». Это из треста или главка. Там еще можно разжиться легковым транспортом.

В кабинете нас ждал незнакомый человек. Геннадий Иванович Афанасьев. Не стал спрашивать, кто он и что. Я теперь уже хорошо знал: личность. Других тут не бывает.

Вывались из города, где заледенели вздыбленные во время осенней распутицы улицы, глубокие колеи, где дрожит воздух и звенят окна от самосвалов, немыслимых размеров оранжевых скреперов и тягачей. Вывались на дорогу с высоким профилем, на бетонку, проложенную не так уж давно по тундровым болотам. Теперь кажется, что она всегда тут лежала, как и бескрайняя эта тундра. Глаз уходит в белесую бездну, где, кажется, нет никакой жизни. Водитель, совсем парнишка, но уже поработавший буровиком в Куйбышеве и здесь, на Севере, с только что пробившимися черными усиками, лихо сидит за баранкой и безоглядно гонит свой «уазик», не обращая внимания на его прыжки на выбитых уже кое-где колдобинах и стыках бетонных плит.

Припорошенная мучнистым снежком, летит дорога по краю место-

рождения. Оно разлилось под нами, на глубине, вытянулось на сто двадцать километров в длину и на двенадцать—тринадцать километров в ширину. На карте оно выглядит продолговатой кляксой. Глядя на эту кляксу, я думал, что газ собрался тут, под землей, наподобие бычьего пузыря, проткни его и подставляй свои трубы, сам он потечет, куда захочешь. Нет, не было под нами никакого пузыря. На глубине залегали пески, известняки, и они-то, как губка, пропитаны были газом, хранили его в своих порах под большим давлением, примерно в сто двадцать атмосфер. Мы мчались по краю этой губки, подпрыгивая на стыках и колдобинах. В стороне от дороги то и дело показывались буровые вышки, рядом с ними из длинных труб вырывался маленьким факелом огонь, почти как вечный огонь над могилой Неизвестного солдата.

— Зачем горит?

— Дежурный факел.

— Зачем дежурный?

— Он контролирует нормальность работы скважины. Предупреждает аварию.

Потом мы замолчали. Стали молча смотреть в ветровое стекло на дорогу, уносившую нас в белую пустыню.

— Женья,— сказал Геннадий Иванович водителю,— остановись и пересядь сюда.— Он показал на свое место рядом с водителем. Они поменялись местами.

— Лихач ты, Женья,— сказал Геннадий Иванович, трогая машину.— Неужели не заметил, что люди сзади,— он кивнул на нас с Леонидом Константиновичем,— перестали разговаривать, они беспокойны, тогда как они не должны даже замечать, что машина летит, не должны думать о неприятностях.

Ровненько и спокойно несея «УАЗ» под управлением Геннадия Ивановича. Надо запомнить, подумал я, значит, он и машину водит по первому классу. Через несколько минут мы с Леонидом Константиновичем и в самом деле расслабились, нам стало уютно и спокойно в несущейся по белому безмолвию машине.

— Кто из русских не любит быстрой езды! — воскликнул Леонид Константинович немного наигранно.

В том же тоне я ответил ему:

— Я не люблю!

Леонид Константинович как раз любил такую езду. И это было для него еще одним поводом вспомнить прославленного им водителя своего кумира. Восторженный человек.

Однако где же уренгойский конец моей трубы? Где эта компресорная головная, которая пошлет отсюда газ на Запад?

— Мы уже перемахнули Полярный круг,— сказал Леонид Константинович,— скоро и ваша станция и ваша труба.

Итак, мы уже летели по Заполярью. За ветровым стеклом слева и справа, а также впереди нас — один белый цвет. Можно чокнуться от этого сумасшедшего однообразия белой мглы. И только одно красноватое пятно солнца дымилось низко над бесконечным пространством. Наверно, подумалось мне, только один Юван Шесталов мог бы описать этот мертвый пейзаж. Я догадывался, что для него этот мертвый мир был полон жизни и красок, тут билась своя, недоступная мне жизнь. Тут где-то, это я знал, чем-то кормятся, паруются, выводят птенцов, выхаживают их белые куропатки. Но где они? Знал, но не верилось в их реальность. Для меня все тут вымерло миллионы лет назад.

Геннадий Иванович остановился. Перед нами возникла желтая, в кучах глинистой земли площадка

— Вот и головная. Только еще площадку отсыпают, но к октябрю восемьдесят третьего года встанет здесь по щучьему велению,— это Леонид Константинович продекламировал.

Да, станции еще нет и в намеке, тем более и трубы моей. Я прошел поближе к свежим насыпным холмикам, хотелось одному побыть, подумать, попредставлять, повоображать, взглядеться в ту сторону, где должен стоять за тридцать земель Париж.

Нет, не видно отсюда сиреневого города, и даже Эйфелевой башни не видать, на сотни и сотни верст одно белое безмолвие. То и дело из него с ревом вымахивают самосвалы, лихо проносятся мимо меня, я успеваю только заметить сигаретку, вспыхивающую у водителя между бородой и усами. Мелькнет бородач с лихо торчащей сигареткой, остановится на минутку, вывалит грунт, и снова вырулит, и пропадет в белесой мгле. Там где-то, в глубине этого безмолвия, скрывается карьер, откуда берут грунт. Где он? Его же найти надо было здесь, под белым снегом, среди застывших болот. Легко сказать — найти. Вот иди, ты же человек, такой, как и они, иди и ищи. Найди хоть один карьер. Не надо газ или нефть, не надо месторождение. Найди землю, место, где землю взять можно, чтобы отсыпать площадку для головной компрессорной станции Уренгой — Ужгород или, как ты задумал, Уренгой — Запад. Иди! Нет, не пойду. Куда идти, я не знаю, кругом мертвый белый свет. И холодно. Пока за тридцать, потом будет за сорок. Можно и околеть ни за понюшку табаку. А потеплеет, тогда и вовсе в эти открытые болота носа не сунешь. Нет уж, сиди тут, стой, гляди и думай. Эта работа тебе больше доступна. И легче она и не аварийная. Не всегда, правда. Но вообще-то без аварий. Стой тут и запомни: не надо пользоваться положением пишущего человека и кричать на весь свет, что работа твоя каторжная, самая трудная. Это слышал ты не один раз от людей, и даже очень хороших людей, сидящих в теплых кабинетах за письменными столами, где набивают мозоли на пальцах. А тут никто из них не стал бы жаловаться на каторжный труд пишущего человека. Тут стыдно. Постояли? Поглядели? Поехали на 8-ю УКПГ.

— Выходи, — скомандовал Геннадий Иванович, остановившись у каких-то времянок. — Зайдем в столовку.

Постучали ногами, отряхнули снег. Вошли. Не верилось глазам. Прямо из этого белого безмолвия сразу в невысказанный для этих мест уют. Тепло, чистота, до блеска вымыты полы, столы под белоснежными скатертями.

Из кухни, бесшумно отворив дверь, вышел молодой человек с пышными баками и в белоснежном костюме, словно капитан туристского теплохода где-нибудь на южном море. Я просто онемел от неожиданности, не знал, что и сказать на все это. А Геннадий Иванович по-свойски подошел к капитану, поздоровался, отправился с ним на кухню, а вернувшись, по-хозяйски еще раз окинул блестящий от чистоты небольшой зал, пригласил всех к столу. За обедом я спросил у Геннадия Ивановича, что за чудо этот капитан в белом костюме, с баками и розовыми, чисто выбритыми щеками.

— Первокласный мастер по устройству питания, — сказал мне на ухо Геннадий Иванович. — У нас тут случайных людей не бывает. Вот открыл эту столовку, мы называем «котлопункт», вы сами видите, теперь поедет на другой объект. А сколько он уже прошел! И оставляет вот такие следы. Сам Валера из Магадана, бригадир-повар, последняя его столовая — КС, то есть компрессорная станция Уренгой — Челябинск.

После обеда Геннадий Иванович в сопровождении Валеры повел нас в подвал, продовольственный склад.

— Поглядите, как хранятся у него продукты.

Спустившись по ступенькам в подzemелье, смотрю, слушаю советы, указания Геннадия Ивановича и думаю: зачем мне все это надо видеть? Для того ли ехал в эту белую мглу? Но я гость, молчу. Молча следую за Геннадием Ивановичем. А он ведет после подвала мимо за-

колоченных в землю свайных труб, они торчат тут по грудь мне и образуют какой-то хорошо вымеренный прямоугольник величиной примерно с волейбольную площадку. Это свайный фундамент для будущей котельни. Тут же сложены рулонами шпалеры стен из блестящих алюминиевых обшивок, проложенных изнутри то ли войлоком, то ли какой-то войлочной паклей. Стены такие удержат тепло хоть на самом полюсе. Все это надо было как-то завезти сюда — и свернутые рулонами стены, и сами трубы, вбитые теперь в землю, а земля ли под ними, я еще не знаю, может, лед или вечная мерзлота. Надо же было и забить в этой заполярной стыни трубы-сваи. И как только представил себе это забивание железных труб в этом лютом холоде, в недалеком соседстве с Ледовитым океаном, так и прошел у меня мороз по спине. Но вот они стоят стройными рядами, эти кем-то забитые трубы. Геннадий Иванович ведет нас в сборный, вытянутый в длину домик. Бамовский домик, бамовского исполнения. Очень хорошо они зарекомендовали себя там, на строительстве дороги, и тут, в лютой тундре, прижились ко двору первопроходцам и первожителю. В коридоре сразу нас обняло домашним теплом и уютom. В комнатах девчонки клеили обои, перекликались, переговаривались с парнями, смеялись, поглядывали исподтишка на неожиданных гостей.

— Как живете, девчата?

— Хорошо живем.

— Как тепло у вас!

— Да, у нас тепло. Батареи как огонь. Газ свой, не заемный.

Ну, что тут еще спрашивать? И так все понятно. Откуда, девчата? Да со всего Сэсэера — и с Украины, и с Урала, и даже с теплого Черного моря.

Возле нас начальник их топчется, прораб, угрюмоватый человек, работяга, по лицу видно — откуда-то из Закавказья или далекой Азии. Геннадию Ивановичу уже успели пожаловаться.

— Ты что это, — говорит он прорабу, — в самом деле запретил влюбляться?

— Да, запретил.

— Какой молодец! Почему?

— А вы не знаете, что из этого получается? — вопросом ответил прораб.

— Не знаю, — говорит Геннадий Иванович.

— Из этого семьи получают. А семье нужен отдельный угол. А где я тут возьму каждой семье отдельный угол? Сами видите. А там, гляди, и дети начнут получаться. Уже комнату отдельную подавай. А где я тут комнату возьму? Вот и запретил.

Геннадий Иванович покачал головой. Тупиковая ситуация. Какое соломоново решение принять? Не знает.

В комнатах еще доклеиваются обои, но кровати уже застелены, прибраны, на одной гитара лежит, книжки на тумбочках. Вот и гитара. Как же тут остановить горячие сердца? Непременно будут влюбляться, никакими запретами этого дела не остановишь.

Отогрелись в бамовском домике и вышли — сразу же за порогом знакомая заполярная тундра.

— На седьмую! — скомандовал Геннадий Иванович и сел за руль.

Опять перед нами возник оазис в белой лютой пустыне. 7-ая УКПП, установка комплексной подготовки газа, уже действующая. Вышли. Ждем распоряжений Геннадия Ивановича.

— Ну вот, — сказал он. — Сейчас пройдем в столовку.

Да что же это за напасть такая! Неужели я столовок не видел на своем веку? Уренгой — Запад! — посмеялся я над самим собой, но и не сдержался.

— Геннадий Иванович, — сказал я, — что-то я не пойму. Вы все

время по столовкам водите да по общежитиям. Газ я увижу когда-нибудь?

И тут он сказал мне ту знаменитую фразу, которая так и застряла в моей памяти как самая значительная и важная для Уренгоя:

— У нас тут, Василий Петрович, все к людям повернуто.

И мне сразу же вспомнились и гостиницы, обустроенные под древнюю Русь, стулья с золотыми копытцами, «Цветок Уренгоя» и многое другое. Все к людям повернуто. Да, это была не фраза. И я покорно проследовал за Геннадием Ивановичем. Теперь он был главным моим человеком, показывающим и рассказывающим.

Прошли стерильный зал столовой, стерильную кухню, где меня сильно смутило, что на нас не было белых халатов. Потом Геннадий Иванович провел еще в одно помещение, где нас ожидало чудо.

— Теперь вот познакомьтесь с чудом,— сказал он.— Они сами тут пекут хлеб.— И он показал на девчонок, которые тоже были со всего Сэсэра.

— Если у вас в Москве,— сказал Геннадий Иванович,— найдете такой хлеб, все свои слова беру обратно.

Ха, подумал я. В Москве все можно найти. И подошел к стеллажу, взял горячую, пахнущую далеким детством буханку, и от этого запаха закружилась голова и потекли слюнки. Шофер Женя смял свою двумя руками, и она, сжавшись, как резиновая игрушка, снова выпрямилась, будто к ней и не притрагивались.

— Можете оставить ее до Москвы,— сказал мне Геннадий Иванович,— она не зачерствеет.

Мы расплатились и взяли каждый по штуке. Где там до Москвы! Я посмотрел, как Женя уминает свою буханку, отрывая от нее пахучие куски, и сам украдкой занялся тем же. А чего прятаться! Чего стесняться! Это был хлеб. В Москве? Я мысленно попросил прощения у моей великой столицы за то, что она и в самом деле не умела выпекать такой хлеб, какой выпекают девчонки в этом белом безмолвии. Прости меня, мой великий город! И принялся за свою буханку. Господи! — помянул я господа. Но тех, кто не верит мне, я попрошу обратиться к Геннадию Ивановичу, чтобы он свозил их на 7-ю УКПГ. Мы посмотрели, как металлическая лопата в металлическом котле месит тесто стоило только включить ток.

Наконец Геннадий Иванович сказал:

— Пожалуйста, вам надоели столовки, вот вам и газ.

И мы вышли к непривычному для глаза железобетонному сооружению. УКПГ-7. Таких установок по месторождению несколько. Седьмая уже введена в строй, восьмая строится. Оказалось, не так-то просто доставать из-под земли этот газ и направлять его по трубам. Ведь он скопился в порах грунта на большой глубине, в песке, в известняке. Давление там 120 атмосфер. Когда пробивается скважина, он вырывается наверх вместе с примесями грунта, вместе с водой, с влагой. Перед тем как посылать его в магистральную трубу, надо просушить его, очистить от примесей, а потом и охладить, чтобы труба не растопила вечную мерзлоту и не плавала в ней, не передвигалась, что может привести к опасной аварии. И вот идет он, грязный и мокрый, из скважины, а вернее, из куста скважин, сюда, на эту УКПГ. Тут в железобетонном сооружении два цеха по восемь технологических ниток в каждом, по восемь адсорберов. Среди серебристых сочленений из гигантских труб, среди турбин и насосных перекачивающих установок эти адсорберы возвышаются колоннами ослепительной белизны. В этих поставленных чуть ли не до потолка металлических стаканах и происходит очистка газа, потом просушка, охлаждение и — в магистральную трубу.

На земле, как называют здесь все, что лежит за Уральским хребтом, не диво увидеть такую сложнейшую конструкцию из металла и бетона, но здесь, в белой тундре, это кажется просто невымыслимым,

почти сказочным, ибо тут даже вбитые в землю свайные трубы воспринимаются как что-то фантастическое. А ведь сначала надо было все завезти сюда, смонтировать на открытом лютом холоде. Нет, не простое это дело.

Сменный инженер Владимир Степанович Шкордов ведет нас по цеху, сквозь гул, гром и шипение, что-то говорит, трудно разобрать. А говорит он, что установка пока принимает пять кустов, но скоро выйдет на полную мощность, будет принимать двадцать кустов, то есть 72 скважины.

На вид Владимир Степанович совершенно не похож на итээровского служащего, на вид он работяга. Да и по существу именно такой. Институт химико-технологический закончил заочно, работая нефтяником в Грозном. Летом приехал сюда и осел уже прочно.

Поднявшись на второй этаж, мы попали в операторскую. Тут сидела девчонка в очечках, ну прямо студентка перед экзаменами. Впереди полукружьем охватывала ее стена с вмонтированными в нее приборами, глазками зелеными и красными, стрелками, подрагивающими на шкале, схемами и цифрами. Щит управления еще демонтируется, но уже показывает, что происходит там, в технологических нитках, перекачивающих установках и адсорберах. Тут техника электронная. Наисложнейшая. Не трудно читать на таком щите? Сколько тут всего!

Девчонка пожимает плечиком. Ничего. Привыкнуть можно...

Домой, то есть в Уренгой, мы возвращались уже в сумерках. Белое безмолвие в этих заполярных сумерках казалось еще более безмолвным. Так же попадались то у самой дороги, то подальше, в вечеряющей глубине, дежурные факелы по соседству с чуть заметными буровыми вышками и двумя-тремя сборными домиками. Геннадий Иванович, так и не уступивший Жене баранку, включил дальний свет, и было тревожно и в то же время радостно увидеть, как полосы фар молнией перечеркивают перелетающие дорогу белые куропатки. Они жили тут в безмолвных снегах, куда страшно было высунуть нос. Возле одной буровой дорогу перешел человек с ружьем за спиной и с куропаткой в руке. Голова птицы безвольно висела вниз клювом, подстрелил-таки охотник-буровик. Кончил смену, отошел в сторонку и подстрелил для потехи и на ужин себе и своим приятелям эту полярную птицу, которую в Москве можно купить в магазине «Дары природы». Не отсюда ли берут в магазины?

Как-то безнадежно уходит короткий полярный день. Смеркается быстро. В машине работает отопление, тепло, фары схватывают набегающую дорогу, летит «уазик», послушный бережным рукам Геннадия Ивановича. Ну и пошли рассказы-бывальщины под мерное гуденье мотора. Действительные случаи и досужие фантазии, выдумки первожителей Полярного Севера. Где-то в этих белых дебрях шла свадьба. Жених вышел из цитового домика на минутку, по мелкой надобности, а туман стоял такой, что собственный палец не увидишь перед носом. А мороз за сорок градусов. Искал, искал жених дорогу назад, к невесте, так и не нашел, побоялся отклониться далеко и заблудиться, топтался возле, а найти не мог. На другой день, когда свело туман, нашли жениха в пяти шагах от порога, оледеневшего, так и стоял заледенелый, как соляной столб.

Любят тут, подумалось мне, попужать заезжего человека. Кто-то из моих спутников поведал еще и о таких страстях, когда дежурный факел проезжали. Будто прорвало в каком-то месте трубу, лопнула она, и давлением газа развернуло ее в сторону поселка. И вот хлынул газ, потек на поселок. Сидят люди дома, разговаривают, поужинали, сумерничают, и вот хозяин достает сигаретку, сунул в рот, чиркнул спичку, вспыхнуло все в комнате, загорелось. В другом доме хозяйка чайник поставила на плиту, поднесла спичку к конфорке, опять все вспыхнуло. Другой за порог вышел, друга провожал, стали закуривать, чиркнул зажигалкой, улица вспыхнула. Мечутся горящие люди, не поймут,

что такое, думать стали, война, что ли, какая началась. Как уж аварию удалось устранить, никто толком не знает.

А то трактор заглох в дороге. В кабине двое было, один снял с себя полушубок, надел на другого, поверх его одежды, и послал в поселок за тягачом, чтобы на буксир взять. Приехал первый с тягачом, а этот сидит за рычагами оледенелый, одна рука на рычаге, другая висит сбоку.

Зачем я записываю эти страшенькие истории, эти байки? А без них Север кажется мне каким-то неполным. Любят тут порассказать в этаким духе. Вот, мол, каково живем, а живем, ничего. И действительно, какой-то ореол возникает над головами живущих тут. Хотя я уже давно убедился, что они и без этого ореола люди сплошь героические и необыкновенные, а состоят между тем из самых обыкновенных, самых простых советских людей. Вот хоть бы этот Геннадий Иванович. Теперь уж, проведя с ним целый день, я решился попросить его рассказать о себе. Кто он такой и откуда?

Он помолчал немного, подумал и сказал:

— Я перед этим Севером, Василий Петрович, Крым и Рим прошел. А вообще — строитель из Ворошиловграда. По черной металлургии специализировался. Двенадцать лет бригадир у монтажников. Всю Украину исколесил. Верхолозом был. Монтировали домны, прокатные станы и разное другое. Разные стальной конструкции. Монтировал и подвесную дорогу, высота до ста двадцати метров. Страх? Конечно. Вот дети не знают высотобоязни. Интересно. Я? Я, конечно, боюсь, не дите. Но я не обращаю на высоту внимания. Когда не обращаешь, высота перестает казаться страшной. Ко всему надо ключ найти.

Почему говорю Крым и Рим? А потому что всю жизнь в командировках. Сперва бригадир, потом мастер, все по монтажу. Потом замначальника управления. Один раз говорю жене: «Поехали?» — «Поехали», — говорит. И вот уже седьмой год на Севере.

— В качестве кого?

— Сейчас замуправляющего трестом по кадрам и быту. Я уже говорил, что тут все к людям повернуто. И мне это очень по душе.

— Вот почему по столовкам возил нас, — пошутил я.

— Ну, плохого тут ничего нет, — сказал он. — Хотел, чтобы поглядели, как у нас быт налажен, питание. Я любую работу люблю. А эту, по кадрам и быту, — особенно. Руководитель, он каким должен быть? К нам идут со всем на свете, в том числе и с мелкими вопросами. Да, тебе он кажется мелким, а у работяги, может, в горле стоит. Может, он ночь не спал, с женой обговаривал — идти или не идти. Думал, а ну-ка отмахнется он, то есть я, руководитель, отмахнется, поважней дел хватает. Тут ухо остро надо держать, не забывать, как сам был в его положении. Ну и сопли на морозе тоже нельзя держать. Тут надо думать, все знать и все уметь самому делать, а главное, к людям не спиной, а лицом стоять. Север. У нас по-другому нельзя.

Тоже, между прочим, заочно институт окончил. Когда же успел? А когда «Крым и Рим» проходил. Да, тертый малый, надежный, с таким нигде не страшно. Был я дома у него. Дети, жена — счастливые люди, все дома руками отца обустроено. Ведь все умеет.

Конечно, Север есть Север. По-другому тут нельзя. Верно. Но и на Севере бывало и бывает по-разному. Знаем, слышали, читали. Нет, все одним Севером объяснить нельзя. Есть кто-то, кто запустил, завел эту сложнейшую машину, поставил на нужные рельсы, и она сама, можно сказать, пошла по рельсам. Кто-то есть. Я еще вспомню об этом в Москве, когда вернусь домой, буду сидеть у министра, беседовать с ним.

...Уже давно надо бы сказать, что, возвращаясь из поездок, своих хождений по учреждениям и объектам Тюмени и Нового Уренгоя, я спешил к себе в гостиницу, к чтению одной книги. Купил ее в тюменском киоске Союзпечати. Два номера роман-газеты занимала «Память»

Владимира Чивилихина. Благодаря этой книге я жил все дни на Севере какой-то особой, сложной, почти исторической жизнью. Люди, которые встречались мне, показывались совершенно по-новому, в каждом невольно виделся потомок или тех воинов, которые сложили свои головы в битвах против татаро-монгольского нашествия, или декабристов, которые в памятный зимний день вышли против тирана на Сенатскую площадь. Я видел своих современников не только идущими из прошлого, но и уходящими в будущее. А дела, которые вершились сегодня тут, на Севере, как бы имели свое начало в далеком прошлом, а продолжались в такое же далекое будущее. Это было удивительное и счастливое состояние, когда и люди кажутся интересней, содержательней, и жить самому становится интересней. Я подхожу к гостинице «Русь», и кажется мне, что вижу одновременно и эту гостиницу «Русь» и ту древнюю нашу Русь, что истекает кровью в сражениях с татаро-монголами, изгоняет их из своих пределов, осваивает Север, прокладывает новый путь своим народам, преподает миру новый язык под кодовым названием «Уренгой — Запад».

Вот что делает история, когда тебя сводит с ней лицом к лицу писатель. Сам автор, Владимир Чивилихин, видно, тоже не раз думал об этом тайном руководительстве истории, о силе, таящейся в ее глубинах. Вот что написано у него:

«История властно захватывала меня, и я постепенно начал понимать, что эта великая и единственная неизменяемая реальность выше всех наук, потому что связывает настоящее с прошедшим и будущим, ненавязчиво, мудро и всесторонне учителствует, царит над нами... Александр Пушкин; „История, в том числе и древнейшая — недавно прошедшее вчера, но важнейшее звено живой связи времени; тронь в одном месте, как отзовется вся цепь“».

И вот я трогаю одно звено, то есть то, что происходит нынче здесь, в Новом Уренгое, и отзывается вся цепь, связывающая настоящее с прошедшим и будущим.

Не сплю, читаю эту книгу, отрываюсь от нее, смотрю в окно, в белое ночное безмолвие, и меня омывает поток жизни нынешней, вчерашней и завтрашней.

Что там, за излучиной поседевшей Седы-яхи? Теперь-то я знаю, что там жизнь, живет белая куропатка, там спит сейчас начальник котлопункта, аккуратно сложив на стуле белоснежный свой костюм, спят девочки, приехавшие со всего Сэсэра, спят наследники Дмитрия Донского, Александра Невского и славных декабристов, которые и жили-то совсем рядом, под Тюменью, в Ялуторовске и Тобольске. В Ялуторовском музее в нише стоит босиком, в кандалах, воткнув перед собой каторжанскую лопату, Сергей Волконский, ровесник Геннадия Ивановича и Леонида Константиновича, стоит за стеклом маленькой, на одного человека диорамы, выполненной одним из его помощков. А рядом со стен смотрят молодые прекрасные русские люди, друзья Сергея Волконского, разделившие его участь. А по всему этому безмолвному Северу кочевали испокон веков ненцы — олленеводы и охотники, в одиночестве копили тоску по людям, по землям, которые были где-то отдельно. И мне понятна эта вековая тоска. Они все же дождались своего часа, слились с другими людьми и стали их братьями, с другими народами, объединившимися в братский Союз. Но тоска по братству, всечеловеческому, все еще копится здесь и по другим, далеким и близким землям, живет во мне, она мне понятна, я разделяю ее вместе со всеми. Не раз приходилось в поездках по другим странам сталкиваться с тем, как люди, где бы они ни жили, так же тоскуют по дружбе, по доброй совместной жизни на нашей, одной на всех, земле. А что такое эти мои трубы, которые привели меня сюда, в Заполярье, что они такое как не рука дружбы европейским народам. И зачем бы я назвал эти свои записки таким захватывающим названием «Уренгой — Запад»?!

Дикий Полярный Север и блистательная Европа, белое безмолвие протягивает теплую руку своих недр сверхцивилизованной Европе. Руку дружбы. Одна из заветных тайн нашей революции состоит как раз в том, что она душевному порыву русского народа ко всечеловеческому братству открыла дверь, сделала, объявила его, этот порыв, всеобщим, государственным; хранимое в глубинах души вывела на уровень политики всего социалистического государства, политики СССР.

Человечество давно уже догадывалось, что путь ко всеобщему братству лежит через социализм. Никакой другой строй не сможет этого обеспечить. И нынешний мир на наших глазах все определеннее и сознательней сворачивает на путь социализма. Кончается век угнетения человека, насилия и несправедливости.

Если смотреть на разгул безумия в западном мире отсюда, из Уренгоя, то этот разгул кажется просто невероятным, придуманным кем-то. Но нет, я знаю, что это не шутка, а все вполне всерьез, и что это не просто безумно, но и опасно. И среди крикунов особенно опасны, мне кажется, крикуны-лгуны. Они понимают, что врут, но врут для пользы своего дела; верят, кричат и верят, что так оно и есть, что русские вот-вот придут в Вашингтон. Лжеца можно разоблачить, можно каждый раз выводить на чистую воду, и он начинает измышлять, выдумывать новую ложь, он играет, играет часто на все, ва-банк, он все знает и вряд ли отважится первым нажать кнопку, знает, что за этим последует, он верит в опасность, верит в свои безумные крики и страхи, и вот он-то по своей дурости и может нажать кнопку, окажись поблизости от этих кнопок.

И мне кажется, что всем людям на земле надо общими усилиями, сплотившись, разоблачать одних и приводить в чувство других. Надо сказать, что этим и занимается сегодня растревоженный и беспокойный мир честных людей всей нашей планеты. И Москва протягивает руку всем народам на дружбу, на мир и взаимопонимание.

* * *

Головной компрессорной станции Уренгой — Ужгород еще не было, для нее только отсыпалась площадка. Она будет к осени. Но были уже действовавшие головные станции. Утром мы и отправились на одну из них, на компрессорную Уренгой — Петровск.

Я теперь уже знал, что поднять газ на поверхность, мокрый и грязный, очистить и высушить его — дело не такое простое, требует сложнейшей технологии и больших мощностей. Не менее сложное дело — его транспортировка. А на такое расстояние, как Ужгородская коммерческая нитка, уходит две трети всех затрат.

Со второго этажа КС я посмотрел вниз, где лежали в немыслимой путанице гигантские улитки из труб, занимая площадь величиной с футбольное поле. Да, для непосвященного глаза тут была действительно немыслимая путаница, но кто-то все это сочленял, сваривал, протягивал струнами трубы диаметром почти в полтора метра, снова соединял их с гигантскими коленами, сворачивал в улитки, перекрывал их, и они, эти изломанные зигзагами трубы, вырывались в конце концов из путаницы лабиринта и уходили к промышленной магистральной трубе, которая в стороне от КС прямой струной уходила вдаль, чуть выдаваясь из земли. Кому-то весь этот хаос из труб казался, видно, идеальным порядком, идеальной гармонией. Работяги, создавшие из труб эту сложнейшую конструкцию, называли ее между собой просто, по-домашнему — «гитарой».

— Ты где, на гитаре?

— На ней.

Почему гитара? Потому, возможно, что из этого хаоса вычленились уже упомянутые струны труб и над всем этим стояло едва уловимое, почти утробное звучание. Слышалась какая-то своя музыка.

Разумеется, ничего подобного этой гитаре никогда не приходилось видеть. Гитара лежала под боком станции, а внутри ее, в двух этажах, картина была еще более сложная и внушительная. Тут находились турбины, компрессоры, камеры сгорания, газоходы, воздухопроводы и начинались дымовые трубы. Кстати, в позорные дни санкций, которыми пытался придавить наших торговых партнеров и своих европейских союзников Рейган, в эти дни мы ставили здесь свое, отечественное оборудование. Если во-он когда сумели подковать аглицкую блоху, то теперь нас уже никакими санкциями не собьешь с ноги. Мощные наши авиамоторы служили нам не хуже иностранных компрессоров, свои турбины не хуже чужих, а газ тут же, можно сказать, под ногами.

— Как вы считаете, не помешают нам санкции Рейгана? — специально для меня подзадорил Леонид Константинович Стасика Неклеса, бригадира изолировщиков, с которым мы беседовали.

— А мы, извините, плевали на эти санкции.

Я подумал тогда, что президент и его подручные извинят этого парня за грубый ответ, ведь он не обучался дипломатическим манерам, да и санкции тогда еще не были сняты президентом. Так что пусть санкционеры не обессудят этого бригадира изолировщиков, Стасика Неклеса из Днепродзержинска. Его нельзя запугать никакими санкциями никаких рейганов.

Смотришь на эти газоходы, на эти камеры сгорания, как они сияют ослепительной чистотой, алюминиевым блеском и ювелирной отделкой, и диву даешься, как это можно простыми руками придать гигантским конструкциям такой праздничный, прямо-таки выставочный вид. А это все исполнено Станиславом Неклесой и его товарищами.

Двадцатитрехлетний великан Станислав Неклеса отвечает на вопросы, рассказывает о себе немногословно, с достоинством. Показывает мне изоляционную плитку, которой они обкладывают сильно нагревающиеся поверхности.

— Савелит и цементоперлит, — говорит он. — Под эту плитку подведете паяльную лампу, низ раскалится докрасна, а наверх я вот так положу руку — чуть-чуть тепленькая. Вот изоляция.

Когда поверхность трубы или камеры сгорания будет покрыта такой плиткой, сверху изолировщики обтянут алюминиевым листом. За этой облицовкой бушует высокое пламя, раскаляется воздух или горючая смесь, а снаружи спокойно сияют эти конструкции и только радуют глаз.

Красивая работа у Станислава Неклеса. После армии он прибыл сюда по комсомольской путевке, и вот уже за его плечами восьмая по счету компрессорная. Были Губкинская, Демьянская, Перегребная, Монг-Юганская, Белоярские три очереди, и вот Уренгойская головная.

— Нравится? — спрашиваю.

— А почему нет? Только вот хочу в институт, а времени никак не найду. Но все равно поступлю, никуда он от меня не денется.

— Много ль зарабатываешь?

— От семисот до девятисот.

— Да куда ж тебе такие деньги? Женат?

— Нет, один пока. А деньги, они мне считай что и не нужны особо. Такие деньги. С ребятами в отпуск едем, с собой берем по пять-шесть тысяч. Ездим по разным городам, по музеям ходим, картинным галереям, памятники смотрим, отдыхаем, ума набираемся. Только для этого и деньги.

— А это? — показываю на массивный перстень. — Сам клепал? Стасик смутился.

— Что вы, шестьсот рублей стоит. Чистое золото.

Ну что же, парень неженатый, не одним же дармоедам и дармоедкам носить такие дорогие украшения.

Живут на этой станции пока еще два хозяина. Один — строитель, главный инженер СМУ-43 треста Надымгазпромстрой Главуренгойгазстроя Валерий Константинович Мироненко. Он здесь потому, что акт о сдаче станции заказчик не подписывает, придирается к недоделкам. Другой — настоящий хозяин, начальник линейного производственного управления производственного объединения Тюменьтрансгаз Холин Николай Михайлович. Оба они молоды, интеллигентны и ходят вместе по станции. Один хозяин, другой — подрядчик, строитель. А мне Леонид Константинович много порассказал об этих непримиримых антагонистах. Сам он принадлежит к строителям и целиком, разумеется, стоит на их стороне, в конфликтах всегда держит сторону строителей, то есть свою, и считает, что вообще нет на свете более возвышенной, более благородной армии людей, чем строители. Особенно, говорит он, в наш век. Поэтому-то он и удивился и, как я заметил, тайно обрадовался.

— Не ссоритесь? — обратился сразу к обоим.

— Видите, Василий Петрович, — это уже он ко мне, — умные люди и не должны ссориться. Конечно, — опять его потянуто к своему, — завтра суббота, и вот Николай Михайлович будет отдыхать. Небось в Уренгой уедете, не так ли, Николай Михайлович? А вот Валерий Константинович и в субботу и в воскресенье тут останется, ему вкалывать надо. Ведь так, Валерий Константинович?

— Да, так, — смутился Мироненко.

— Вот видите, дело вроде у них общее, правильно, но один отдыхает, другой вкалывает, один хозяин, другой исполнитель. И акт не подписывает. Газ-то качаете, Николай Михайлович, денежки загребаете, а акт не подписываете. Тогда не качайте газ, если считаете, что объект не готов.

Одним словом, сел на свою лошадь Леонид Константинович. Это для него привычные разговоры, это уже, можно сказать, в крови у строителя.

Строитель и заказчик — вопрос сложный, он начинается с открытия месторождения, с оценок его мощности, с его обустройства, везде этот вопрос, но я не смогу квалифицированно стать двумя ногами на чью-то сторону, а в сетованиях Леонида Константиновича я улавливаю какую-то долю правды, справедливости, но больше все-таки здесь патриотизма, пристрастия к строителям. Это я понимаю хорошо и поэтому не ставлю ему в вину его сетования. Главное же в том, что оба — и заказчик и строитель — живут мирно и хорошо понимают друг друга. Валерий Константинович Мироненко после окончания Московского строительного института работал, как он говорит, на земле, то есть там, за Уральским хребтом, в Курске, потом приехал на Север и остался тут. Сначала прорабом, потом старшим прорабом, и вот главный инженер СМУ-43 треста. Люди тут на одном месте не засиживаются. Кого ни возьми.

Николай Михайлович Холин приехал сюда из Тульской области на пуско-наладочные работы газопровода Уренгой — Челябинск (пускали станцию Ортыгунскую) и так застрял тут, вот уже три года здесь. Север притягивает. Жена — инженер по технике безопасности, двое детей, для них белое это безмолвие — уже родина.

Николай Михайлович — это для меня новая область, это уже эксплуатация газа, транспортировка. Тут тоже, видать, свои герои, свои светила, свои кумиры. Как только речь зашла о транспортировщиках газа, тут же и выявился один из их кумиров.

— Руководитель нашего объединения, — сказал Холин, чтобы я особенно не сомневался, с кем имею дело, — Евгений Николаевич Яковлев, крупнейший специалист по транспортировке газа, летом был на международном конгрессе транспортировщиков и вообще крупная личность.

Как будто я думал с этим не соглашаться! Словом, ясно. Все уже знакомо. Единственный из немосквичей член коллегии министерства, мой мефистофель, ас-водитель, равных которому нет на свете. И вот, правда уже из другого мира, но тоже личность, участник международного конгресса.

Я улыбаюсь про себя, но и чувствую, что душа моя через край уже заполняется восторгом и перед теми, с кем разговариваю, и перед теми, о ком говорят. Потому что это Север. Необыкновенный Север. Проклятый Север, как назвал его недавно ушедший от нас Юрий Казаков. Ему давно было известно о притягательной силе Севера. Вот я беру сейчас и в который раз перечитываю этот рассказ. Там два друга-северянина отдыхают в Ялте. От имени одного из них и ведется повествование.

«Я глядел кругом, будто проснувшись, и с удивлением думал, зачем мы здесь, и что с рук наших уже сходят мозоли, и что пора назад, на Север — там скоро весна, что мы прямо-таки отравлены этим проклятым Севером, что и говорим-то мы все последние дни только о нем, и Чехов хотел на Шпицберген, и, наверное, поэтому нам так скучно».

Рассказ называется «Проклятый Север». И почти все, что написал Казаков,— это тоже Север с «Северным дневником» во главе. Видно, не зря для талантливого москвича Север стал и писательской и его человеческой судьбой.

И разве только для Казакова! Каждый, кто хоть как-то соприкоснулся с Севером, уже попал в его плен. В Уренгое самый молодой управляющий трестом Владимир Григорьевич Удовенко. Возможно, он не так энергичен еще и не совсем обжился со своим высоким положением, но Север его уже не отпустит: Учился он в Донбассе, в Горно-металлургическом институте, в студенческую бытность свою побывал тут со строительной студенческой бригадой, строил город Светлый на Среднем Приобье, после армии попал под Ленинград, на Кирижскую ГРЭС, но память о Севере достала его оттуда и привела в Уренгой. Трест Удовенко строит УКПГ, коллекторы, то есть межпромысловые газопроводы, по которым газ идет в эти УКПГ и на головные компрессорные станции, строит и сами эти станции.

— Сюда управляющим попал,— говорит Владимир Григорьевич,— от Чернышева. У него прошел весь путь от мастера до начальника управления. Теперь вот поставлен управляющим трестом.

Пришел от Чернышева. Опять, значит, кумир. Если бы не так, назвал бы организацию, а то прямо от Чернышева. Да мне-то откуда знать, кто он такой, этот Чернышев. Опять мефистофель. Потом пришлось только горько пожалеть, что мне так и не пришлось увидеть Василия Даниловича Чернышева, управляющего трестом Надымгаз-промстрой, одного из лауреатов Государственной премии за 1980 год. Тоже в свое время покинув «проклятый Север», затосковал и вернулся назад. «Нет,— сказал он министру,— не могу на материке, в толчее, в тесноте, хочу назад, на Север». Не мог без него двух лет прожить.

Почему так зовет, не отпускает этот Север?

А вот почему. В северных, приполярных экстремальных условиях приходится делать то же самое, а порой и более сложные вещи, что делают люди на материке, и здесь, естественно, люди отчетливее видят, «когда мы бываем красивы», то есть могут испробовать себя высшей пробой, на что способны, раскрыть все потенциалы своей души, своего человеческого достоинства. Кому же, и особенно из молодых, не хочется подвергнуть себя такому испытанию, утвердиться в звании настоящего человека?! А поскольку для этих испытаний тут, на Севере, большой простор, то отсюда и такое богатство необыкновенных судеб, необыкновенных людей, личностей. Все серое, неустойчивое, вялое само собой отсеивается, не приживается здесь.

Вот, молодые писатели, где ваши высшие литературные курсы, ваши литературные институты! Тут жизнь сама заставляет глядеть

в корень, сама отбирает для вас и типические характеры и типические обстоятельства. За вами остается только засучить рукава да заточить карандаши.

И вот на эту тему, о необыкновенных людях, еще одна небольшая брылька.

В тот самый день, когда в библиотеке имени журнала «Смена» собралось литературное объединение Нового Уренгоя, а после заседания, поздно вечером, мы скрывались от сухого закона в местной газете, разговор у нас все время собирался вокруг этих необыкновенных людей. Бывший редактор, а теперь стропальщик Валерий Нагорнов стал рассказывать об одном местном чудачке — таким он сперва показался мне. Чудак был помешан на дирижаблях. В голове у него были одни дирижабли, в его кабинете (а он работает начальником строительно-монтажного управления одного из трестов Уренгоя) все стены обвешаны, нет, не графиками порученных ему работ, а чертежами, макетами, планшетами дирижаблей. Ну что же. Одни коллекционируют спичечные коробки или валдайские колокольчики, другие — иконы или пачки от сигарет. В одном учреждении Москвы я видел стену, залепленную сигаретными пачками. Очень красиво. А этот начальник СМУ интересуется дирижаблями. Может, он и коллекционирует их? Нельзя ли с ним познакомиться? Тоже в отпуске. Жаль. Но тут товарищ из «Правды Севера» пригласил меня к телефону. Оказывается, они уже связались с Надымом, где работает соратник местного чудака по общей страсти к дирижаблям, собственный корреспондент окружной газеты «Красный Север» Евгений Иванович Михайлов. Он все может рассказать об управляющем СМУ, поклоннике дирижаблей.

— Чудак? — услышал я голос из Надыма. — Нет, никакой он не чудак. Это замечательнейший человек, необыкновенный человек. Он болеет душой о серьезном деле, а дирижабли не чудачество, а острейшая проблема.

Я вспомнил все сложнейшие сооружения по очистке и транспортировке газа, все эти УКПГ и компрессорные станции, буровые вышки и жилища. Чтобы построить их, надо было завезти в голую тундру столько грузов и оборудования! И не всегда по дороге. Часто и по замерзшим болотам. И вот эти проблемы не давали покоя начальнику СМУ, навели его на мысль о дирижаблях. Но где тут, откуда, какие тут дирижабли? Кое-кто и подшучивал над фантазером. Ведь я тоже с первого раза посчитал его за чудака. Многие и считали его именно таким чудачком. Дирижабли ведь давно отслужили свое и вышли из моды. А что если вернуться к ним, снова заставить их работать, поручить им новое дело? И вот Георгий Иванович Епхийев начал фантазировать и действовать. Собирал вечерами своих сторонников, и они предавались фантазиям. А в начале 1975 года Георгий Иванович посылает Евгения Ивановича Михайлова, с которым я разговариваю сейчас по телефону, поехать в отпуск в Москву, отыскать через газеты и журналы всех, кто занимается летательными аппаратами или когда-либо имел отношение к дирижаблям. Нашелся человек, который занимался проблемой телевизионных передач с помощью дирижаблей, нашел Евгений Иванович Папанина, собрал группу нужных лиц — конструкторов, отставных генералов, кандидатов наук и даже одного академика. Пригласил всех от имени помешанного на дирижаблях Епхийева к себе в Надым, в гости. Георгий Иванович Епхийев понимал, что всему предприятию надо придать деловой и солидный вид. И он за свой счет (бросил на это дело собственные сбережения) изготовил пригласительные билеты, учредил командировочные удостоверения, пригласил также представителей печати, корреспондентов газет «Известия», «Тюменская правда», местной газеты и журнала «Крылья Родины». Он задумал провести за свой счет и на свой страх и риск Всесоюзную конференцию по воздухоплаванию.

Ну не чудак ли? Не диво ли?

А люди приехали, прилетели самолетами в Салехард. Георгий Иванович все же по должности начальник строительного-монтажного управления № 1 Севертрубпроводстроя. Он послал вертолеты, чтобы доставить высоких гостей на место, в Надым.

Зал? Трибуна? Надо найти. Найдем! Поставил в известность местные власти. Пошли к первому секретарю горкома партии товарищу Козлову Евгению Федоровичу. Теперь он, кстати, является первым секретарем горкома партии в Новом Уренгое.

— Ты что это партизанишь тут? — встретил Епхиева Евгений Федорович.

Георгий Иванович пожал плечами. Конференция, мол, по воздухоплаванию, всесоюзная. Окажите милость и содействие.

— Ну хорошо, — сказал товарищ Козлов, — задний ход поздно давать, но мы с тобой поговорим отдельно, потом.

Ладно. Написали лозунги, плакаты повесили. В президиум пригласили товарища Козлова Евгения Федоровича и других уважаемых людей. Народу полный зал. Научные доклады стали читать. Выступать, обсуждать, решение выносить. После конференции гостей в баню повезли. Потом в столовую, посидели, вроде банкета справили, как положено. И благополучно отправили по домам с помощью аэрофлота.

Первый отклик появился в журнале «Техника — молодежи» — «Север голосует за дирижабли!». Потом выступили «Советская Россия», «Социалистическая индустрия», «Крылья Родины». Отчет о Всесоюзной конференции — в местной печати. Книжечку выпустил Георгий Нестеренко, руководитель конструкторского бюро одного из институтов. Было принято решение выйти с ходатайством-предложением наверх, в правительство. Дело сдвинулось. Посыпались письма. Сотни писем. Предлагают свои услуги летчики-испытатели. Вскоре подняли первый дирижабль в Свердловске. Георгий Иванович Епхиев и Евгений Иванович Михайлов, разумеется, слетали в Свердловск. Уже у нас строятся аппараты. В печати сообщается о решении Госплана СССР и Комитета по науке и технике создать первые образцы грузовых дирижаблей. Испытывать будут, разумеется, здесь, на Севере. Подготавливается площадка. Первый дирижабль на 10 тонн грузоподъемности, второй — на 50 тонн.

Такой чудак, такой фанатик, такой золотой, необыкновенный человек Георгий Иванович Епхиев. И где же он прослыл чудачком, добился осуществления своей мечты? На Севере. На этом проклятом Севере...

В первый день, прямо из аэропорта, я попал к главному инженеру Главуренгойгазстроя, поскольку начальник главка Андрей Иванович Наливайко был в отпуске. Еще мы толклись в аэропорту, еще выгружались наши чемоданы из самолета, а Леонида Константиновича, встречавшего нас, пригласили к телефону.

— Уже требует, — сказал он, вернувшись. — Прилетел? Прилетел, говорю: Давайте, говорит, ко мне. Быстро. Пойду за чемоданами.

Через какие-то минуты Леонид Константинович уже пробирался в толпе с нашими чемоданами. Такой четкости, не совсем привычной, я не удивлялся, потому что уже успел понять, что попал в систему, действующую без перебоев, четко и надежно. Еще в Москве заместитель министра Анатолий Павлович Весельев сказал мне, что связь работает хорошо и он передает меня с рук на руки Гордышевскому в Тюмени, а Гордышевский с рук на руки Игольникову в Новом Уренгое. Так и пошел я «по рукам». И никто ни разу не уронил меня при передаче. Дело, конечно, не во мне и не в моем с Евгением Григорьевичем Ананьевым чемодане. И Ананьев и я, мы всякое видели в журналистских скитаниях, удивить нас было трудно чем-либо. И всякий журналист это знает, однако же по тому, как я еду, передвигаюсь по

своей дороге, я много могу сказать о той системе, в которую попал. Как-то давным-давно приехал я в один колхоз, собрал материал для газеты и на другой день попросил председателя отвезти меня на станцию к вечернему поезду. Отправим за милую душу, сказал председатель и кликнул в окно мальчишку.

— Ленька, а ну-ка одна нога тут, другая там, сбегай к Прохорычу, пускай запрягает серого, вот корреспондента отвезет на станцию.

Пока Ленькины ноги делали свое дело, одна тут, другая там, мы сидели, беседовали с председателем, ждали. Стало смеркаться, а никого Прохорыча не видно. Снова председатель зовет Леньку.

— Ну что, сказал?

— Сказал.

— А он что, запрягает?

— Нет, он пьяный, спать лег.

— Ну ты ж сказал?

— Сказал.

— А он спать лег?

— Спать. Он же выпимши сильно.

— Ну, не горюйте,— сказал мне председатель,— завтра отвезем. Чего спешить? Успеете.

Нет уж, назавтра я с утра ушел пешком, пятнадцать километров молодому, длинноногую не путь, а прогулка.

Было и разное другое. Поэтому удивить меня уже ничем нельзя. И все же здесь я понимал, что имею дело с чем-то хорошо налаженным, четким, хотя речь идет о пустяке: встретили — не встретили, отправили — не отправили. Подумаешь, дело какое, а все же...

И вот перед отлетом домой я снова у главного инженера, у Владимира Михайловича Игольниковца. Уже знакомый кабинет, знакомая, какая-то уплотненная деловая суета. Одни заходят, другие выходят, телефон постоянно гребует главного инженера. Владимир Михайлович то в повышенном тоне говорит, далеко, видно, до собеседника, то тихим, комнатным голосом кому-то находящемуся недалеко. Подписывает бумаги, просит о чем-то, приказывает, советует и советуется.

Я сижу в сторонке, смотрю на карту, где светлой амемой расплылось овальное месторождение, где расписаны все работы, цифры, сроки, объемы, проценты. Интересно смотреть на эту карту, где все видно, чем занимается сидящий перед тобой человек с аспирантским лицом, с аспирантской рано поседевшей шевелюрой и свободными жестами. Пусть я не технар, не инженер и не ученый, я дилетант, но мне отлично видно, понятно, что человек этот сидит на своем месте. И сидит твердо. Его слова, его жесты уравновешены, деловиты и свободны. Никакой запарки, никакого аврала, никакого шалай-валяй, а, потом разберемся, куда-нибудь кривая вывезет. Видеть это, слушать — одно удовольствие. Кажется, это называется компетентностью.

Владимир Михайлович после одного телефонного разговора обращается ко мне и показывает по-студенчески поднятый большой палец.

— Во директора нашли! В такую глушь закинули, на Ямбург, там развели мрамор, мраморную крошку берем, щебенку, а это позарез, вот так нужно. Четко работает мужик, просто молодец.

Еще бы! Представляю себе, где этот молодец мраморную крошку добывает, щебенку, где этот Ямбург заполярный. Но у меня один вопрос к Владимиру Михайловичу, только один. Чем сегодня живет Главуренгойгазстрой? Что главное? И как именно об этом скажет главный инженер, как сформулирует?

— На восемьдесят первый год,— начал Владимир Михайлович,— по нашему главку было запланировано строительно-монтажных работ на 200 миллионов рублей. На восемьдесят второй год — 286 миллионов, на восемьдесят третий год — 400 миллионов. Отсюда и главная наша забота, главная задача — прирост мощностей. Техника, люди,

жилье, инженерные мероприятия. За два года удвоили программу, а условия сами видели — белое безмолвие, с учетом выхода дальше на Ямбург, на Ямал. На основе чего? Первое, — сухо стал диктовать Владимир Михайлович, — создание базы обслуживания машин и механизмов, базы строительной индустрии. Второе. Создание социальной базы. Сегодня у нас работает 16 тысяч человек. Число людей также удвоится. Третье. Формирование новых строительных подразделений. Четвертое. Поиски новых технических и организационных решений. Вот так бы я ответил на ваш вопрос. Этим живем.

Что и говорить?! Если человек точно и четко знает, что ему нужно, он уже половину дела сделал. И своего добьется. Вот я — частное лицо, кустарь, мой труд — труд одиночки, я никакого не производство и тем более никакой не главк, но спроси у меня о моей главной задаче на ближайшее время, я не отвечу так четко и ясно. Может, это неправильно и некорректно переводить на себя? На себя все примерять? Но почему? Я тоже человек и когда сравниваю, лучше понимаю чужие заботы, чужие достоинства и недостатки. И вот это сравнение явно не в мою пользу, и через это мне легче что-то такое главное понять в этом главном инженере, хотя, повторяю, я и не технарь.

Суховат, мне сказали, но деловит, инженер высокого класса. Понятно. А как вообще? В смысле масштаба, кругозора?

— Владимир Михайлович, — спрашиваю в этом смысле, в смысле, конечно, кругозора и масштаба. — Как вы лично видите свой Уренгой в общем контексте? Мне хочется знать, как вы сами понимаете то, что делаете здесь.

— Уренгой. — Владимир Михайлович поднял бровь и задумался. — В одиннадцатой и двенадцатой пятилетках Уренгой будет покрывать недодачу, а также падение в других, старых месторождениях газа.

— Да, дела, можно сказать, огромные. Видимо, этим и объясняется рост в вашей отрасли крупных организаторов, формирование крупных личностей. Тут у вас, Владимир Михайлович, у каждого свои светила, свои кумиры, учителя и так далее. Может, и у вас лично есть такие люди?

— Конечно. Барсуков Алексей Сергеевич, первый начальник Главтюменьгазстроя. Из этого главка вышли все подразделения нашего министерства. Баталин Юрий Петрович, у Барсукова был главным инженером, сейчас первый заместитель министра. И сам Щербина Борис Евдокимович, министр. Это люди, о которых вы спрашиваете.

И в который раз я горько подумал о том, что плохо знает еще наша литература таких людей. А жаль.

И вот через две посадки — в Надыме и Сыктывкаре — под ногами московская земля, как по щучьему велению. И по тому же велению я в кабинете министра, Бориса Евдокимовича Щербины. Почти с первых минут становится ясно, что эта встреча и есть венец всему моему предприятю. Да, стоило лететь в Уренгой, стоило из заполярного безмолвия, с площадки будущей компрессорной станции Уренгой — Ужгород вглядываться в почти невидимый, утопающий в сиреновой дымке Париж, стоило мотаться по индустриальным оазисам белой тундры, чтобы оказаться здесь, у Бориса Евдокимовича.

Опыта разговаривать с министрами у меня не было никакого. И, видно, поэтому я начал с вопроса, если честно признаться, не очень делового и серьезного, даже с вполне глупого вопроса.

— Борис Евдокимович, — спросил я, — отчего это в моем номере гостиницы «Новый Уренгой» стояли стулья с золотыми копытцами? Потом эти пряники деревянные, а на них славянской вязью «Русь» вырезано и выжжено «Новый Уренгой», детский садик «Цветок Уренгоя»? Как это понять?

Конечно же, этим первым своим вопросом я нанес сильный удар или лучше сказать — положил сильное пятно на репутацию московского литератора и на журнал «Новый мир», командировавший меня

на Север. Однако Борис Евдокимович оказался человеком снисходительным и даже великодушным. Он стал отвечать на этот вопрос, как будто так и надо, как будто и не заметил никакого пятна. Больше того, он сказал:

— Вы совершенно правы. Так заведено у нас на Севере. Ведь главное завод сделать, завести, а потом оно пойдет вроде само по себе. Когда начали обживать эти глухие края, начали строить там первый город, мы собрали дизайнеров, пригласили из студентов-выпускников, и предупредили строителей: без них, без этих дизайнеров, в новом городе не должен быть вбит ни один гвоздь, ни один кол. Такой завод завели. Даже на промышленные сооружения мы просим смотреть и с точки зрения красоты, эстетики. Отсюда все и пошло. На Север должна была приехать канадская делегация, мы ждали ее. Стали строить гостиницу в Сургуте. Как? В одном журнале нашли Дом деловых встреч в Мексике. Понравилось. Тундра — не Мексика. Но едут деловые люди. Прямо по фотографии сделали чертеж. И построили. Она и сейчас в обиходе называется канадской. Ниже мирового стандарта не опускаемся. Почему? Да потому, что мы смотрим на Север не только как на разработку месторождения, добычу нефти и газа, а как на заселение Севера. С дальним прицелом. Здесь же русская земля с глубокими корнями. Этим корням нужна только крона. Посмотрите хотя бы на Тобольск, на Ялуторовск. Декабристы, Ермак, Менделеев! Вот они, корни. Эту землю надо подтянуть до уровня, а то и повыше чуть-чуть нынешней цивилизации. Это же наше будущее, полигон для роста нашей молодежи. В городах, построенных нами, средний возраст населения, в том числе и в Новом Уренгое, двадцать три—двадцать четыре года. Они должны жить, трудиться в условиях нынешнего века и должны получать от социалистических благ свою законную часть.

Теперь мне стало виднее, откуда эти уренгойские гостиницы, поразившие меня, «Цветок Уренгоя», библиотеки, а также стулья с золотыми копытцами. Это не прихоть одного какого-то человека. Люди должны жить на уровне века. На том же Севере, как, впрочем, и по всей трассе кроме библиотек, магазинов, детских садов и школ — повсюду, в том числе и в Новом Уренгое, бани на любой вкус — и парные, русские, и финские сауны. Спортивные комплексы с плавательными бассейнами. В тундре, в белом безмолвии.

— Эстетика и научная основа стали обязательными в нашем строительстве, — продолжал Борис Евдокимович. — Мы связаны с полсотней научно-исследовательских институтов. Помню, нам, подросткам, рассказывал академик Винтер: вот вызвал меня дедушка Ленин и говорит: вот тебе мешок денег и два солдата. не тебя охранять, а мешок с деньгами, иди, Александр Васильевич, и строй электростанцию в Шатуре, на торфе. Как известно, станцию Александр Васильевич построил. Это же совсем было не так давно. А мы сегодня протянули нефтепроводов и газопроводов на сотни и сотни километров, шесть раз можно ими опутать земной шар по экватору. Так мы растем. Так меняются масштабы.

Борис Евдокимович говорил, не ожидая моих вопросов, в них он и не нуждался. Я не успевал записывать и запоминать. Шла голова кругом. Он говорил о людях, которых я наблюдал на Севере, говорил о месторождении, о битве, которую выиграли.

— Тюмень — Уренгой, — говорил Борис Евдокимович, — это скачок в неизвестность, это порождение огромного государственного риска. Вы знаете, для меня человек, который боится риска, не вполне человек. Мы шли на Севере на огромный, повторяю, государственный риск и выиграли. Открыли Уренгой — это чудо планеты. Газ в неслыханных количествах! Дальше — конденсат, это готовое дизельное топливо и сырье для химической промышленности. Дальше — нефть! Все это может озолотить страну. Парадокс — за теплом пошли в Заполярье!

По легенде тут жил великан и согревал кочевавший там народ своим теплом. Потом налетели злые духи, загнали великана под землю. Это Уренгой. Мы достали его, освободили из-под земли. За шесть-семь лет все наши затраты окупятся, и система начнет работать, как божий дар.

— Борис Евдокимович, я встречал людей, которые не вполне понимают нашу торговую сделку, ее называют сделкой века. Как это? Продаем газ, наше богатство, а сами останемся на чем?

Министр улыбнулся.

— Каждое государство чем-нибудь обязательно обменивается с другими государствами. Это вполне естественно. Почему же мы должны быть исключением? Мы в 1982 году получили пятьсот один миллиард кубометров газа. Что же, мы не можем продать тридцать миллиардов? Ведь нам самим нужен не только газ, но и многое другое, а для этого нужна валюта. За газ мы получили хорошую валюту, а что такое эта капля для нас? Так что тревоги ваших знакомых неосновательны.

Главным для нас было сформулировать философию отрасли, создать самонастраивающуюся систему. Если б не сумели этого сделать, потребовался бы урядник, надсмотрщик. Социальные проблемы. Надо было в наших экстремальных условиях полярной тундры сделать труд престижным. И чтобы каждый мог получать от завоеваний социализма — и в материальном и в духовном плане — свою часть. Тут все неохотно. Человек живет на трассе. Вместе с тем он живет в нашем обществе. Он должен тут, на трассе, получить возможность осознавать себя членом социалистического общества, социалистическая демократия не должна быть для него чем-то умозрительным, существующим где-то там, за трассой. Она должна быть реальной здесь, на трассе. Рабочий человек должен чувствовать себя хозяином на трассе.

Объемы нашего строительства. Мощность компрессорных станций равняется мощности целого Днепрогэса. Каждая тысяча километров трубы — это миллион тонн металла. С этим надо уметь справляться. И мы требуем от командиров производств, чтобы они не только занимались трубами, но и думали. Думали над социальными проблемами, понимали философию нашей отрасли, нашей страны, нашего времени.

Почему у нас в отрасли собрались, как вы говорите, личности? По своей природе человек — натура ищущая. Он прежде всего ищет себя, хочет проверить себя на все. Идут к нам два потока людей. В одном те, о ком я только что сказал, — ищущие, желающие знать, на что они способны. В другом потоке люди, которые стремятся набить тут опыт, знания, идут выразить себя. Здесь открывается грандиозное поле — иди, выдумывай, пробуй, как правильно сказал поэт.



АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ

★

«В ОСТРОВАХ ОХОТНИК...»

Кампучийская хроника

Глава первая

Еще несколько таких пробуждений здесь, в Пномпене, когда на черных фасадах в пять утра, перед отменой комендантского часа, загораются желтые, лампадно-чадные окна. Шлепает, шелестит падающая из кранов вода. Стучат по камням голые пятки. Позванивают звоночки выводимых велосипедов, прислоняемых к стенам у дверей. Мостовая еще пуста, под запретом. Поднимаются на окнах циновки, и видно, как женщины, неприбранные, медлительные после сна, отвязывают москитные пологи, скатывают на полу постели, расчесывают длинные черно-блестящие волосы. Мужчины, полуголые и худые, с переброшенными через плечо полотенцами, пьют чай за низкими столиками, поглядывают на безлюдную улицу, на звездное небо, прислушиваясь к шелестам, звякам. И вдруг на углу визгливо и яростно, с мембранным металлическим эхом, ударит в громкоговорителе музыка. И сразу метнутся на дорогу тени велосипедистов, полосую тьму, легкие, острые, как стрижи. Гуще, чаще — и вот, мигая и вспыхивая, сплетаются в колючий подвижный ворох, мешаются с треском моторов, с лучами автомобильных огней, окутываются бензиновой вонью, растревоженным тлеющим запахом нечистот, сладостью гниющих фруктов, дымом жаровен. Над крышами, гася молниеносно звезды, налетает латунный рассвет. Лужа на тротуаре липко желтеет. Разгромленное здание рынка проступает горчичной громадой. И на грязном балконе напротив, где разбрызганы метины артиллерийских осколков, начинает розоветь сохнувший женский платок.

Еще несколько таких пробуждений, и он вместе с женой, слава богу, оставит этот номер в отеле, напоминающий походный бивак: москитные сетки, фотокамера, фляга, обшарпанный полевой бинокль, оставит корреспондентство, Пномпень и вернется в Москву, в свой любимый ухоженный дом с видом на Язу, на хрупкую лазоревую колокольню, к любимым занятиям, к работе над докторской диссертацией, прерванной три года назад, когда его, востоковеда, знающего вьетнамский и кхмерский, выступавшего в периодической прессе с анализом индокитайских проблем, пригласили в газету, предложили корпункт в Пномпене, еще разгромленном, умертвленном, недавно освобожденном от полпотовских банд. И он, работавший некогда в прессе, дороживший памятью о своих молодых стремительных рейдах на Дальний Восток, в Ханой, в джунгли на тропу Хо Ши Мина, искусился этой возможностью, бесценной для любого ученого, оказаться в самом центре, ядре исследуемых проблем. Принял предложение газеты, приехал работать в Пномпень.

Кириллов стоял под душем, разбивая о плечи вечно теплую, не несущую свежести воду, смывая ночную испарину. Смотрел сквозь приоткрытую дверь на жену, расставлявшую по столу чашки, вазочку с вареньем, галеты. Ее рукодельный сарафан из цветастой тайландской ткани открывал смуглые полные плечи с глянцеви́то-влажным отливом. Черно-стеклянные, как у кампучиек, волосы раздувались от крутящегося в потолке вентилятора, и она, раздражаясь, отгоняла их от лица быстрыми взмахами. Ее круглое лицо казалось рассеянным, и на нем светилась радостная растерянность и забота, появившаяся в последние перед сборами дни. Она отходила от столика и поспешно, с ножами и ложками, возвращалась к нему, стараясь попасть под пропеллер, спасаясь от горячего влажного воздуха, тампоном стоящего в номере, не обновляемого сквозь открытый балкон. Там, среди ровно-го потного жара, гремела, дребезжала толпа.

— Большие чемоданы начнем упаковывать вечером, когда ты вернешься. А мелкие вещички я уж сама сейчас начну собирать,— говорила она, торопя его, вся уже нацеленная в предстоящий день, в обременительно-желанные хлопоты, в скорое московское будущее.— Я тебе говорила? Сегодня у нас в Культурном центре мероприятие с кхмерскими врачами из госпиталя. Не спозаранку. Я могу и попозже пойти. А сейчас начну упаковываться.

Он вытирался мохнатым, непросыхающе-влажным полотенцем, стараясь встать на такое место, где переключивались бы легковейные сквознячки от крутящихся лопастей, дули струйки кондиционера. Слушал ее наставления. Согласно и чуть насмешливо принимал ее волю.

— Ты, пожалуйста, заскочи сегодня на рынок, ладно? А то потом заматаемся и забудем купить, что хотели. Ну, эти бронзовые статуэтки и колокольчики. Я заметила, в Москве они пользуются наибольшим успехом. Все-таки в них есть аромат буддизма, аромат Кампучии.

Он охотно, следуя ее мыслям, уже сидел в московском застолье, не мешая ее громким, чуть бестолковым рассказам, в подтверждение которых она раскрывала коробку, одаряла милых сердцу друзей темной бронзой, под восхищенные оханья нежно звучащей в ее бережных смуглых руках.

— Ты знаешь,— сказала она, перестав накрывать на стол, глядя на него почти умоляюще, словно он мог не поверить,— мне сегодня опять наше Троицкое приснилось. Будто я лежу у самой печки, за той перегородочкой, где твоя шуба висела. Тебя нет, но я знаю — ты где-то близко. То ли на улице, где луна, сугробы, наш куст колючий. То ли в сенцах, где лыжи твои стоят. Я вижу в оконце оставленные тобой на снегу следы, глубокие, с тенью. И печка так жарко натоплена, такая духота в избе, что нечем дышать. И я удивляюсь, почему же ты вышел на снег без меня, почему ничего не сказал? Проснулась, а электричество опять отключили. Вентилятор встал, кондиционер не работает. Задыхаюсь, под пологом лежать невозможно. А ты хоть бы что! Спишь, только часы твои светятся. Я по твоим часам следила: полночи вентилятор бездействовал. Только под утро завертелся, и я ненадолго заснула.

Он мимолетно подумал, что перебои с электричеством опять участились, но это оттого, что на станции меняют машины, устанавливают новые агрегаты, и через пару недель, обещают, Пномпень получит в достатке энергию. Перестанут размораживаться холодильники, отключатся кондиционеры и фены. Но это их с женой уже не будет касаться.

— Ты знаешь, я лежала в темноте и думала. Неужели скоро мы окажемся среди русской весны и лета? Поедем в наше Троицкое, и опять у нас под ногами будет прохладная молодая трава, по которой можно бесстрашно ходить босиком. И студеная речка, в которую можно безбоязненно войти и поплыть. И я услышу ту самую изуми-

тельную, не исчезнувшую за эти годы деревенскую речь, которой мы когда-то так восхищались. Пойдем на могилу к тете Поле, приберем ее, повесим на крест веночек. Выпьем красного рюмочку, как когда-то она сама выпивала. Помнишь? Пригубит, захмелеет, раздумянится и запоет: «В островах охотник цельный день гуляет, если неудача, сам себя ругает...» Я все думаю последнее время о тех наших днях, о том нашем дне бесконечном, который все длится, длится...

Она умолкла, и в продолжение ее слов здесь, в Пномпене, в латунно-недвижном воздухе с душным испарением сточных канав и цветущих, словно лакированных, деревьев вдруг пахнуло сухой белизной снегов, солнечной сыпучей метелью из другого пространства и дня, наполнило его мгновенным ликованием, силой и кануло, оставив по себе похожее на испуг страдание. Так бывало не раз, когда неожиданно, в минуту усталости или слабости или на грани гибели он вдруг кидался в ту даль за спасением, в тот день, отпущенный им обоим как чудо. И они проживали тот день многократно, всю остальную жизнь, выкликали из прошлого те солнечные сухие метели.

Он выпил чай, подливая себе в розовую чашечку из фарфорового с синим аистом китайского чайника. Обнял жену на прощание, прикоснувшись губами к влажному шелковистому плечу, испытал мимоletное волнение, нежность, легчайшую боль за нее.

— Не хлопочи сегодня с ужином, ладно? — сказал Кириллов, сжимая в ладони брелок с ключами. — Помотаюсь по городу, нанесу прощальный визит в отдел печати МИДа, заеду за тобой в Культурный центр, и мы поужинаем у китайца.

Он спустился вниз, постоял перед своей серо-стальной «мицубиси», жмурясь от солнечного туманного жара, привыкая к маслянистому ожогу улицы, движением зрачков охватывая ее мельканье.

Велосипедист в синей повязке упругими сандалиями давил педали, нес на багажнике деревянную поперечину, на которой вниз головами висели связки кур, растопырили крылья, мерцали кровавыми налитыми глазками, пронесли полураскрытые клювы над горячим асфальтом. Другой велосипедист вез на рынок корзины; окруженный их белым, выпуклым ворохом, он ловко лавировал, пронося в потоке свой плетеный горб. Продавец соков толкал тележку со стопкой нарезанного зеленого сахарного тростника и давилкой, похожей на старый «Зингер», оставляя за собой тонкую строчку воды от тающего, укутанного в тряпку льда. Тонконогий, бритый, в белом шелковом облачении, прошел послушник, долго сквозил в толпе своей белизной, черно-синей голой макушкой. Две молоденькие женщины, в брюках, в одинаковых сиреневых блузках, остановили свои велосипеды, запрудили поток и, не замечая этого, беспечно смеялись, показывая друг другу пучки редисок.

Кириллов смотрел на шелестящее, вспыхивающее спицами многолюдье, на источно гудящие, мигающие поворотными сигналами мотоциклы, на «лады», «москвичи», «тойоты», с гудками пробирающиеся по осевой, увязающие среди велосипедных рулей, соломенных шляп и повязок. Отмечал про себя, что и этот день неуловимо отличается от вчерашнего усилением, повышением жизненности. Пномпень, доставшийся ему безгласным и вымершим, с обугленной чернотой переплетов, трупным ветерком из подвалов, все эти месяцы медленно собирал в себя загнанную, распуганную жизнь, смелеющую, стекавшуюся в него опять ручейками. Крестьяне из соседних провинций, редкие уцелевшие старожилы заселяли город, возвращали ему голоса и лица. Город, все еще раненый, с перебоями дыхания и пульса, оживал, торговал, работал.

«А ведь может статься, что больше уже никогда его не увижу, и надо таким и запомнить,—подумал одновременно с печалью и облегчением Кириллов.—Еще два денечка последних...»

Он заметил, как подкатил к тротуару автобус, остановился у ржавого, с пустыми глазницами светофора. Из автобуса вышли пионеры, тонконогие, хрупкие, в белых рубашках, шелковых красных галстуках, синих пилотках. Заскользили уверенно сквозь толпу, рассекли перекресток, запрудили его. Худой длиннорукий юноша в белых толстопалых перчатках вскочил на тумбу, легкими точными взмахами, верещаньем свистка стал управлять перекрестком. Погнал велосипедистов в узкие ворота, образованные пионерами, давая простор тяжелому армейскому грузовику с тюками риса, «мерседесу», стремительно скользнувшему на открытый асфальт. Кириллов умилялся, любовался движением детских рук. Подумал: «Ну что ж, муниципалитету хвала. И это и это запомнить...» Сел в машину, в ее душное накаленное чрево, запуская мотор, включая кондиционер, зная, что через минуту прохладная свежесть выдавит из машины пропахшую пластиком духоту.

По дороге в министерство иностранных дел он завернул в агентство Аэрофлота, где — шуткой на шутку — перемолвился с красивой желтоволосой сотрудницей, напомнив о билетной брони, о местах багажа, раскланялся с полузнакомым, виденным пару раз в посольстве аграрником-рисоводом, у которого завершался контракт.

— Я никак не знаю, каким мне рейсом лететь, — с узбекским акцентом, беспокойно блуждая по рекламе лиловыми глазами, спрашивал рисовод. — Через Ханой или Хошимин?

— Теперь все равно. По времени то же самое, — легкомысленно отозвался Кириллов, не желая вникать в чужую, казавшуюся пустяковой проблему. А сам радостно, мгновенно вообразил предстоящий ему полет. Из Пномпеня над туманно-голубыми, курчавыми в джунглях горами с оловянной струей Меконга в Хошимин, недавний Сайгон, с разгромленными коробами ангаров, где в бетонных пазухах догнивают взорванные бомбардировщики, алюминиевым сором блестят разодранные, расщепленные «дугласы», завалились на бок пятнистые, без винтов «сикорские». Полет над вечерними Гималаями с их зелеными, красными ледниками, словно вставленными в хребты прозрачными кристаллами, потом в Бомбее, в жужжании порта — аметистовый, огромный «ди си» с синей надписью «Панамерикен». Краткий сон над тьмой океана, и в Карачи под крыло самолета подкатывает цистерна с горючим, и шофер-пакистанец, разматывая шланг, оттирает мокрый, в бисере лоб. Полет над Афганистаном в ночи, над незримыми зубьями Гиндукуша, а под утро — мимолетный промельк Ташкента, и вот уже апрельские разливы в полях, сияние березняков, упругий удар о землю в аэропорту Шереметьево, и она, его Вера, ликуя, хватается его за руку, восторженно смотрит в глаза, требует, чтоб и он ликовал.

По дороге в министерство, продолжая вбирать последние, прощальные впечатления, он проехал мимо Ватпнома, спрятанного в тенистые кущи, одетого в деревянные леса реставрации, но уже украшенного бумажными фонариками, шелковыми полотнищами. Храм готовили к близкому празднованию буддийского Нового года, когда площадь перед святилищем наполнится возбужденной, нарядной толпой, из нее полетят вверх цветные шары и змеи, ударят хлопушки салюта, в вечерних дымах жаровен заскользят, замелькают лучи прожекторов, и храм, позлащенный, с парусной стройной кровлей, поплывет над толпой как корабль. «Но и этого уже не увижу», — без сожаления подумал Кириллов, осторожно обгоняя велорикшу, везущего в своей трехколесной повозке женщину в шляпке.

Он сделал шелестящий вираж вокруг памятника Независимости, воздвигнутого Сиануком, успев разглядеть в золотистом воздухе каменные резные скульптуры и смуглые лица караульных с красными ярлыками петлиц. Свернул на набережную Меконга, громадно и тускло ослепившего его утренним солнцем. Река текла могуче, пустынно, без кораблей, челноков, далекие лесистые берега тонули в тумане.

На набережной у воды сидели полуголые тонкоплечие люди. Мальчишки, глазированно-блестящие, ныряли у берега, доставали отекавшую голубоватую грязь, рассматривали ее на ладонях, роняя на животы потеки жидкого ила. Тут, говорили ему кампучийцы, на каменном спуске к Меконгу, полпотовцы расстреляли и бросили в реку захваченных в плен военных, их жен и детей. Рассказывали, что в первое время ныряльщики доставали золотые кольца и серьги, браслеты и украшения из серебра. Все гранитные плиты были в толстом слое застывшего ила, в обломках извлеченных со дна ракушек.

Королевский дворец в островерхих золоченых шпицах заструился головами драконов, засверкал лезвиями света, тая в глубине бархатно-алый прохладный сумрак с резными колесницами, тронами, с нефритовым, полупрозрачным Буддой, чуть слышно дышащим, выгибающим стан на высоком среброкованом алтаре.

В министерстве иностранных дел, в приемной, секретарша с тихой улыбкой пригласила его в гостиную, обитую темным шелком, усадила за низкий столик, поставила перед ним высокий стакан с напитком, с плавающими кубиками льда. Он жадно пригубил, останавливая себя, зная, что влага не надолго остудит его тело, тут же выступит под рубашкой горячей росой. Он, европеец, так и не научился управлять своей плотью в изнуряющей, днем и ночью работающей парилке. Ожидал представителя отдела печати, чтобы сказать на прощание несколько слов благодарности, обеспечить своему преемнику теплый прием и контакты.

В гостиную вошел Сом Кыт, представитель министерства, работающий с социалистической прессой, невысокий, смуглый, с мягкими осторожными жестами. Его широкоскулое, темногубое лицо было настоящим кхмерским лицом, знакомым Кириллову по пресс-конференциям, по одной-двум поездкам, организованным для журналистов. Он поднялся навстречу кхмеру, стараясь в улыбке, в рукопожатии выразить всю меру сердечности, за которой должны последовать слова признательности и несколько мелких, но важных для преемника просьб.

Кириллова не смущала сдержанность Сом Кыта. Несмотря на внешнюю замкнутость, он был постоянно вежлив, внимателен ко всем пожеланиям корреспондентов.

— Дорогой Сом Кыт,— Кириллов говорил по-французски, придавая своим первым словам полушутливый тон протокола.— Я пришел поблагодарить вас за то добро, что видел от вас все это время. Вы откликались на все мои пожелания, которые теперь, задним числом, могут показаться капризами.

— Я рад вашему визиту,— ответил кхмер на чистом французском.— Я сегодня сам собирался искать вас. Ваша просьба нашла в министерстве отклик. Мы готовы пойти вам навстречу.

— Какая просьба? — не понимая, переходя на кхмерский, спросил Кириллов, чувствуя, что в словах Сом Кыта таится какая-то темная точка, растет, приближается, наподобие стремительной воронки, готова раскрыться.— Какая просьба, дорогой Сом Кыт?

— Месяц назад вы обратились к нам с пожеланием посетить северо-западные районы Кампучии. Я приношу извинение за промедление с ответом. В этой поездке есть доля риска в связи с продолжающимися террористическими актами на дорогах к северу от Баттамбанга. Требовалось время на составление программы и разработку маршрута. Теперь все трудности позади. Я собирался вас известить: мы можем выехать завтра.

Маленький стремительный водоворот приближался, разрывая, отталкивая это солнечное легкое утро с предвкушением отъезда в Москву, с чувством прощального, необязательного пребывания в этом городе, откуда его выносило на самолетных моторах, на нетерпении,

на счастливом страстном стремлении в прежнюю, желанную жизнь, уже доступную, уже почти наступившую. Темная воронка, как фреза, увеличиваясь, рассекая острыми кромками эту чаемую жизнь, возвращала на поверхность реальную, неисчезнувшую, с прогрохотавшим за окнами военным грузовиком, с обугленным, иссеченным фасадом, с замкнутым смуглым лицом Сом Кыта, выкладывающего на столик программу поездки.

Действительно, месяц назад Кириллов обратился в отдел печати с просьбой организовать для него поездку на северо-запад, к границе с Таиландом. Но ответа так долго не было, что он перестал его ждать. Отказался от поездки к границе, стал готовиться к другой — на родину.

И первая мысль теперь: извиниться перед Сом Кытом, отшутиться, сказать что-нибудь про встречу в Москве, про готовность служить ему гидом в Кремле и московских музеях. А уж эту поездку к границе пусть совершит его преемник, человек достойный и деятельный, с которым ему, Сом Кыту, будет приятно общаться.

И вторая мысль: выйдет некорректно, неловко. Он, Кириллов, поднял эту проблему, заставил работать МИД, вверг в заботы и хлопоты большое число людей, желавших ему помочь. А теперь, когда программа готова и можно отправиться в этот отдаленный, еще не посещавшийся журналистами район, он идет на попятную.

И третья мысль: он не может отказаться, он должен поехать, следуя этике отношений двух дружественных стран, двух людей, пусть не близких, знающих друг о друге не много, но связанных общей работой, общим товариществом, действующих заодно в этой измененной, возрождающейся стране.

И четвертая мысль: ему, журналисту, ученому, опять предоставлен уникальный, счастливый случай видеть, узнавать, понимать. Ввергнуть себя в сверхплотный, непознанный пласт, в такой раскаленный контакт с действительностью, где ценою трат обретается знание о грозном мире.

И пятая мысль: о жене, ничего не ведающей об этом разговоре, укладывающей свои легкие сарафаны и платья, развешивающей их мысленно в московском шкафу.

Эти мысли возникли в нем как единая бесшумная вспышка усталости, тревоги, обостренного, посекундно нарастающего интереса, затмевающего все остальное, переводящего его волю и дух на привычный, оставленный было регистр. И пройдя сквозь мимолетную, незаметную для собеседника тень, сделав — не логикой, не размышлением, а всей своей сущностью — выбор, он улыбнулся Сом Кыту:

— Не знаю, как благодарить вас за помощь. Надеюсь, поездка будет плодотворной. Если вы не возражаете, я готов познакомиться с программой.

Сом Кыт бережно раскрыл на столе старую, склеенную на сгибах скотчем туристическую карту Кампучии. Стал пояснять маршрут.

Поездка была рассчитана на неделю. Совершалась не самолетом, а машиной по шоссе номер пять, вдоль юго-западной кромки озера Тонлесап, до Баттамбанга и Сиенреапа, с заездом в крестьянские кооперативы, на фабрики, с посещением пагод. Предусматривала встречи с интеллигенцией и духовенством и, если позволят обстоятельства, посещение вьетнамских и кампучийских частей, стоящих на пути у полпотовских, проникающих из Таиланда банд. План поездки был согласован на самом высоком уровне, и Сом Кыту до конца рабочего дня оставалось подписать несколько пропусков, открывающих доступ в военные части, а также разослать радиogramмы в провинциальные комитеты, извещаая о прибытии.

— Еще раз, товарищ Сом Кыт, хочу поблагодарить министерство за эту поездку, — произнес Кириллов по-кхмерски, окончательно оставив тон протокола, перейдя на естественный для спутников тон партнерства. — Я бы хотел узнать, как мы будем решать в дороге проблему

ночлегов и продовольствия. Стоит ли брать с собой москитную сетку, запас продуктов?

— Ночевать мы будем в отелях. Обедать и ужинать в ресторанах. В Баттамбанге и Сиенреапе вы можете рассчитывать на европейскую кухню. Единственно что следует, быть может, с собою взять — это медикаменты.

— Какие именно?

— Профилактические, от лихорадки. Мы, быть может, будем работать в джунглях. И желудочные. Хотя, повторяю, мы будем есть в ресторанах, где соблюдается гигиена.

— Благодарю за совет. В конце концов от лихорадки и желудочных заболеваний можно защититься москитной сеткой и кипятильником. Это ведь не тайландский снаряд и не гранатомет диверсанта, перед которыми москитная сетка бессильна.

Сом Кыт улыбнулся, сдержанно откликаясь на шутку.

— От возможных случайностей на дорогах нас защитит охрана.

— На какой машине мы едем? — поинтересовался Кириллов, представляя себя и Сом Кыта в своей «мицубиси», а сзади пятнистый, наполненный солдатами грузовик.

— Мы поедем на «тойоте», — сказал Сом Кыт. — Дорога очень плохая, не ремонтировалась пять лет, и нужен вездеход. Машина вместительна и надежна. Кроме нас и шофера поедут два солдата охраны. На похожих «тойотах» перемещаются представители ЮНИСЕФа. Это в какой-то мере обезопасит нас от нападения из засады. Полпотовцы не стреляют по ЮНИСЕФу, зная, что ЮНИСЕФ доставлял, да и сейчас доставляет через Таиланд продовольствие в их лагерь.

— Хорошо, — сказал Кириллов, соглашаясь с разумностью доводов. Белые машины с голубой, видной издали эмблемой международной помощи часто сновали по городу, связывались в сознании людей с поставками риса в недавние страшные месяцы, грозившие мором и голодом. Продовольствие из соцстран поступало другими каналами, не связанными с рекламой.

В своих репортажах и очерках Кириллов писал о советском рисе, спасшем голодающие, обреченные на гибель селенья. О советском бензине, оживившем убитые Пол Потом промышленность и транспорт. О советских портовиках, вернувших к работе пирсы и краны Кампонг-сома. О советских врачах, положивших предел эпидемиям в Пномпене.

— Завтра в пять утра машина придет за вами в отель, — сказал Сом Кыт, аккуратно складывая карту.

— Нет, — попросил Кириллов, — если можно, к посольству. Утром я отгону мою машину в посольство и буду вас ждать у въезда.

— Хорошо, — сказал Сом Кыт. — На всякий случай я живу рядом с вашим посольством. Дом двенадцать, первый этаж.

— Я очень рад, дорогой Сом Кыт, что мы едем вместе.

— Спасибо, — ответил тот.

Кириллов катил по городу, над которым клубилась желтая едкая туча, бесшумно вспыхивая молниями. Выбирая улицы побезлюднее, он проехал мимо бывшего концлагеря Туолсленг, о котором писал в первых после приезда в Пномпень репортажах, — угрюмого грязного здания, опутанного колючей проволокой. Теперь тут размещался музей полпотовских зверств, выставлялись орудия пыток, экспонировалась выложенная черепами карта Кампучии, предсмертные фотографии узников, мужчин и женщин, пропущенных через истязания. В глазах у всех было одинаковое выражение близкой, необъяснимой для них смерти.

Он миновал концлагерь, с облегчением оставляя за собой бремя исчезнувших, накопленных здесь мучений. Чтобы снять с себя этот гнет, вернулся на многолюдную трассу, медленно ехал среди звонов, визгов и выкриков.

Предстояло немедленно действовать. Заручиться поддержкой друзей-вьетнамцев, подготовить жену, смягчить ее огорчение. Но нечто невнятное, останавливающее, почти цепенящее, возникнув в нем, разрасталось, превращалось в чувство тревоги и недоумения.

Он катил по узкому, свободному пространству вдоль осевой, сдувая гудками легких, блистающих спицами наездников, оставляя за машиной ртутный след. Эта тревога, проносимая им сквозь горячий Пномпень с клубящейся тучей, наполненной душным ливнем, была связана не с заботой о предстоящих встречах, не с мыслью об огорчении жены, не с опасностями предстоящей дороги, хотя и это присутствовало в нем. А возникло некое знакомое чувство, что снова, в который уж раз кто-то незримый, зорко за ним наблюдающий, управляющий его судьбой, легчайшим щелчком от нажатия невидимой кнопки послал команду. И эта команда отклоняет его путь от желанного, того, к которому стремится душа. Коррекция чуть заметным поворотом рулей, и он пойдет по иному, проложенному в чьей-то карте маршруту. Так было всегда: стоило возникнуть ощущению свободы, стоило воспрянуть душе и она, душа, уносилась в желанный простор, стремясь что-то вспомнить, вернуться туда, где было ей хорошо, где была она дома, как снова — бесшумный щелчок в области сердца, и оно, откликнувшись болью, послушно принимает команду.

Он ехал в смятении по городу, не умея распознать источник этой нацеленной на него воли, действовавшей всю его жизнь, вписывающей его жизнь, стихию его души в задуманный жесткий чертеж.

Застрелявая в клубках перекрестков, тормозя, слыша, как шуршат по машине одежды, прикасаются чьи-то руки, замечая, как быстрые блестящие глаза заглядывают на него сквозь стекло с велосипедных сидений, из повозок, из-за маленьких столиков под навесами, где китайцы, держатели крохотных харчевен, ставили перед едоками чашки с дымящимся супом, с красно-проперченной дунганской лапшой и бутылочки с соевым соком, Кириллов стремился выбраться на безлюдное место. Свернул на пустырь, на красную липкую землю, где огромно, достигая пальмовых лохматых вершин, громоздилась свалка машин, самая крупная в городе. Это было кладбище убитых Пол Потом механизмов, собранных в громадный курган, знаменующих, как было задумано, окончание эры моторов, начало иной, домоторной эры. Кириллов встал, открывая стекло, пуская в салон струю горячего, влажного воздуха.

Пахло цветущими деревьями и кислотой разлагающегося железа, истлевающего и гниющего в едких испарениях тропиков. Казалось, деревья усиленно испускают свои природные терпкие яды, чтобы поскорей уничтожить и растворить отданный им на истребление металл.

Кириллов смотрел на измятые, взметенные вверх скелеты «мерседесов», «пежо», «кадиллаков», на их выдранные, пустые глазницы, ржавые диски, ошметки проводов и пружин. Будто автомобили встретились здесь в страшном одновременном ударе, спикировали в свалку с разных направлений, высот, сминаясь в металлический ком. Было тихо, беззвучно, но он помнил время, когда вся огромная жестяная гора тихо дребезжала, звенела, охваченная негромкими неторопливыми стуками. Это жители Пномпеня, спрятавшись в недра кургана, вырезали, выколачивали зубилами из мертвых машин последние остатки металла, обгладывая автомобили, выбирая из крыльев, капотов и крыш по лоскуту. Собранные металлические стопки несли на окраины, где вдоль дамб, вдоль сырых, с цветущими ирисами болот толпились рукодельные, наспех возведенные жилища, вбирая в себя прибывающих в столицу крестьян. Они, эти кампучийские крестьяне, терпеливые и смиренные, превращали изделия могущественных автомобильных компаний в свои утлые жилища. Теперь острый кризис жилья миновал. Возрожденные, пущенные заводы и фабрики строили рабочим жильем, сносили убогие лачуги.

Устав от вида обломков, он тронул машину, направившись было в посольство, но снова, желая продержаться в исчезающе-кратком состоянии свободы, проехал сквозь город к окраине, затормозив у телевизионной мачты, мертвой, с разгромленной у основания студии. В сорванные двери виднелись взломанные шкафы с электроникой, тонкие приборы и механизмы со следами остервенелых ударов. Через порог с мокрой земли устремились в помещение цепкие зеленые стебли. Уже ворвались внутрь студии, оплели металл, продажая бесшумно работу погромщиков. Карабкались на пультах компьютеров, застилали дисплеи, тянулись к дырявому, сквозящему потолку, к самой мачте, норовя добраться до ее железных конструкций, нависнуть, источить и свалить.

Было жутко смотреть на это агрессивное торжество природы, торопящейся стереть все следы ненавистной ей техники, на столь быстрое и простое исчезновение с лица земли плодов человеческой деятельности, казавшихся незыблемыми. Но он знал — оборудование вновь заработает, вновь оживут в домах померкнувшие голубые экраны...

Неподалеку, под могучим дуплистым деревом оранжевый бонза расставил поминальный алтарь, курящиеся гростинки, нишенскую дароносицу. Сидел, скорчившись, подхватив грязно-оранжевые полы хламиды. На дымки, на куренья шли какие-то медленные печальные женщины, затянутые в длинные юбки, и худые тихие дети с коричневыми, казавшимися огромными глазами. Приближался буддийский Новый год, повсюду обильно курились алтари: поминали убитых.

Кириллов старался в который раз понять мотивы убийства цветущего, полнокровного города, которым еще недавно любовалась вся Азия, убийства не постепенного, не частями, а разом, в одночасье, как были убиты Герника и Хиросима. Пномпень был разрушен не бомбовыми ударами чуждой авиации, не ненавистью чужеземцев, а усилиями самих кампучийцев. Одержимые фанатической «крестьянской», «деревенской» идеей, ненавидя цивилизацию, машины, всех, кто стоял у станков, сидел в аудиториях, держал перо или кисть, колонны «кхмер руж» входили в покоренный Пномпень. Заранее, в лесах, в период партизанской борьбы, политическая верхушка полпотовцев планировала избиение госаппарата, военных, университетских и банковских служащих, инженеров, врачей и бонз — всего, что составляло опору культуры. По городу неся военный «джип», и человек с мегафоном, облаченный в черную форму, истошно кричал: «Всем покинуть город! Скоро начнется бомбардировка!»

Началось изгнание из города: жителей — всех, поголовно — строили в долгие стенающие колонны, гнали вон, в поля, на дороги, и «город», отданный на растерзание «деревне», город без жителей, остывал, как тело, из которого вылили кровь.

Он помнил освобожденный Пномпень в первые дни приезда. Распахнутые настезь квартиры с нетронутой на столах посудой. Город простоял так три года до падения Пол Пота, пока не кинулись в него из провинций тысячи изнуренных, обнищавших людей. Ворвались в него, расхватывая, растаскивая рассыпавшуюся в руках одежду и утварь, заселяя многолюдно особняки и дорогие кварталы.

В великих трудах постепенно новые власти возвращали городу жизнь — подключали электричество, воду, отводили эпидемии, голод, давали работу и хлеб. И медленно, в муках город подымался из праха.

В первые дни работы, наблюдая рухнувший город, он все спрашивал себя: «Почему умертвили Пномпень? В чем природа инстинкта, отрицающего прогресс и культуру? Неандертальский рецидив, ориентированный на джунгли, на пещеры, именованный «кампучийским социализмом»?»

За эти два года, встречаясь с пленными палачами и чудом уцелевшими жертвами, с интеллигентами, скрывавшимися под личиной

крестьян, с крестьянами, прошедшими через каторгу, с политиками и военными, вырвавшими страну из погибели, выслушивая бесчисленные, жутко-однообразные исповеди об убийствах и казнях, сбивчивую, из демагогии и фанатизма состоявшую апологию «кхмер руж», именуемых в народе «черными воронами», он выстраивал концепцию катастрофы, поверяя ее теорией мировой социалистической практики, отрицавшей Пол Пота как нонсенс. Кампучия была жертвой «пещерного режима», спровоцированного в недрах революционного, меняющего мир обновления.

Было несколько явных и неявных причин, политических, культурно-философских, военных, которые ему, Кириллову, историку, взявшемуся за ремесло журналиста, предстояло оформить в своей будущей диссертационной работе.

Происшедшее не гнездило исключительно в истории кхмеров, лишь имело свою в ней метафору. Так когда-то Ангкор, цветущий и славный, был покинут людьми, отдан лианам и джунглям, простоял сокрыто века, пока не прорубились к нему археологи, открывая в джунглях дивный заросший град.

Пиомпень уцелел, не умер. Раненый, он продолжал жить.

Нгуен Фам, вьетнамский пресс-атташе, знакомый еще по Ханюю, принял его в прохладной гостиной с лаковыми миниатюрами на стенах. Разливал кофе в крохотные чашечки, маленьким улыбающимся ртом, умными веселыми глазами выражая радушие, и Кириллов знал — не-поддельное.

— На улице нечем дышать. Наверное, ливень будет. — Кириллов, пройдя из машины к посольскому особняку по бесцветному пеклу, снова успел перегреться. Откинулся в тень шторы, сторонясь полосы солнца. — Рано в этом году начинается сезон дождей.

— Да, тяжело, вы правы, — ответил Нгуен Фам, излучая сочувствие. — Но за местных крестьян можно порадоваться. Уже начали сеять рис. Ранние дожди — к урожаю.

— Интересно, как вы, северяне-вьетнамцы, переносите климат Кампучии? — Кириллов знал: Нгуен Фам родом из Ханюя. Там они и познакомились во время его первого журналистского приезда во Вьетнам. Их беседы в отеле прерывались воздушной тревогой, рвалось и мерцало в небе от налетов бомбардировщиков, висела красно-дымная трасса от умчавшейся ввысь ракеты. — И вообще, как вы себя здесь чувствуете? Легче вам или тяжелей, чем в Ханюе?

— Да как вам сказать? Тогда, под бомбежками, мы были моложе, и многое казалось нам легче. А теперь прошли годы, и многое нам кажется тяжелым. Я хотел вас спросить, как здоровье вашей жены? Как Вера? Я не видел ее на открытии ярмарки.

— Благодарю, она здорова. Считает дни и часы до нашего отлета в Москву. А ваша жена? Почему и ее не было?

— Она сейчас в Хошимине. Ее отец назначен директором фабрики, да что-то заболел. Жена полетела его навестить.

— Передайте Раймонде, если я ее уже не застаю: мы с женой часто вспоминаем замечательные хайфонские устрицы, которыми она нас угощала в Ханюе вопреки всем воздушным тревогам.

Любизности — от чистого сердца — были произнесены, и можно было приступать к деловой беседе.

— Конечно же, ранние дожди — благодать для крестьян. Слава богу, Кампучия может надеяться на хороший урожай. — Кириллов отпил с наслаждением горько-сладкий глоточек кофе. — Но, видимо, ранние дожди — одновременно и помеха для армии. Мешают боевой активности.

— Насколько я знаю, — вьетнамец сделал глоток, — войска стремятся сейчас разгромить в горах последние базы Пол Пота, не допустить инфильтрации из Таиланда новых банд до начала обильных лив-

ней. Противнику трудно будет в сезон дождей проникать через болота и джунгли с продовольствием и оружием в Кампучию.

— Вы знаете, дорогой Нгуен Фам, кампучийцы предложили мне побывать в районе границы, и я завтра еду туда. Считаю необходимым проконсультироваться с вами. Рассчитываю на вашу поддержку.

— Пожалуйста. Мы всегда готовы помочь друзьям. Друзья должны помогать друг другу. Это очень хорошо, что вы едете. Уверен, кампучийцы покажут все, что вас интересует. И мы, разумеется, в свою очередь, пойдем вам навстречу. О чем бы вы хотели просить?

Кириллов мягко, ненастойчиво перечислил ряд хорошо продуманных просьб, связанных с посещением действующих вьетнамских частей, с предоставлением транспорта, быть может, и вертолетного.

— Вот и все,— весело сказал Кириллов, сопровождая свой перечень улыбкой.

— Хорошо,— улыбнулся в ответ Нгуен Фам.— Я обо всем доложу послу. Он помнит вас по Ханюю. Он будет рад, узнав, что едете именно вы.

Они пожали друг другу руки, давние друзья, не смеющие загадывать, в каком уголке Азии им еще предстоит увидиться.

Перед тем как вернуться в отель к жене, желая продумать, проверить, все ли дела переделал, Кириллов проехал по набережной, свернул на разрушенный мост, вышел перед распавшей пустотой, где внизу, в бурунах, ржавели разодранные взрывом конструкции, огромно, слепо катился шоколадный разлив реки, гнили на отмелях поврежденные теплоходы и пятнистые, киями вверх, военные самоходки. К машине подбежали дети, голые, босые и грязные, уставились на него настороженными, испуганными, голодными глазами.

Он приблизился к краю обрыва, чувствуя за собой тревожные взгляды детей. Перед ним, за рекой, в голубых волнистых туманах, лежала разоренная больная страна, населенная сиротами, вдовами. Еще тлела в могилах плоть миллионов убитых, еще в джунглях длилась борьба, там, у границы, еще боялась и пряталась жизнь. Эти синие дали и воды, эти близкие молчаливые дети нуждаются в защите и помощи. Поэтому он отложит свое возвращение в Москву, сядет завтра в «той-оту» и покатит на северо-запад по шоссе номер пять.

Он подъехал к советскому Культурному центру, когда из ворот по двое, по трое, сдержанно-оживленные, выходили кампучийцы — то ли после просмотра фильма, то ли после курсов русского языка. Вера, словно ждала его, распахнула окно библиотеки, крикнула нетерпеливо и весело:

— Иду, иду!

Кириллов, усадив жену рядом с собой, растерялся, боялся взглянуть на нее, поспешно рванул машину вперед, а въехав в поток, боясь расспросов, включил кассету, заслоняясь гремящим, яростным диксилендом от ее близкого, счастливого лица.

— Осторожней! — охнула она, когда он вплотную промчался мимо возницы, везущего на велотележке гончарную башню горшков, обогнал тяжелый армейский грузовик, в котором с автоматами сидели вьетнамцы.— У меня ведь ужина нет, ты помнишь? Помнишь, что мне обещал? — она легонько пальцами, коснулась его затылка, и это была не только нежность, но и просьба ехать потише. И он, сбавляя скорость, усмехнулся их тонкому, безошибочному знанию друг друга.— Ты помнишь, что обещал?

— Конечно. Поужинаем под полосатым тентом.

Они вышли у ресторана с открытой верандой под натянутым полосатым тентом. Прошли мимо стойки, где хозяин-китаец, откупоривая толстобокую бутылку, им поклонился. Миновали большой зал, пустой в этот час, с рекламными плакатами польской и чехословацкой авиакомпаний на стенах и негромким, для улажнения слуха, джазом.

Очутились в заднем, с прогалом на улицу, помещении, продуваемом ветром, с маленькими, не слишком опрятными столиками, за которыми сидели кампучийцы, поглядывали на перламутровую пивную пену в своих стаканах, кидали в пенные пузыри кубики льда. Едва они устроились за столиком так, чтобы видна была улица, металлически потемневшая от тучи, с чьей-то сорванной соломенной шляпкой, мчащейся среди спиц и педалей, к ним подошла жена хозяина, широколицая, увядшая китайка, устало улыбаясь, расставила перед ними приборы, блюдечки с белыми хлебцами, свежими, испеченными из пшеничной душистой муки.

— Ты выбирай. В прошлый раз я выбирала, теперь, пожалуйста, твоя очередь. — Она отдала ему карту и тут же добавила: — Пожалуйста, угости меня супом из креветок, если их привезли сегодня из Кампонсома. И возьми, я тебе советую, на прощание две порции лягушек. В Москве, я знаю, ты будешь вспоминать о лягушках и требовать, чтобы я пошла на болото с сачком и ведрами. Так что закажи земноводных, торопись напоследок!

Он передал заказ китайке. Отказался от пива, но попросил принести две рюмки камю. Смотрел, как она вдалеке за стойкой снимает черную пузатую бутылку, оттирает пыль, наполняет рюмки. Рядом, в проеме, шелестела, мерцала улица. Два служителя-китайца мускулистыми худыми руками перевортывали прозрачную глыбу льда, если ее, отекающую водой, в ледник, где хранилась свежая рыба, моллюски, омары, привезенные торговцами с побережья. Вера, не замечая его состояния, была говорлива, трунила над ним — над его недавней слишком короткой стрижкой, над его буддийской манерой улыбаться по всякому поводу, даже по поводу лягушек и устриц. И он не мог улучить минуту, чтобы сказать ей, разрушить столь любимые в ней веселье и легкомыслие, не частые в последнее время.

На крохотном подносе китайка принесла коньяк. Он сам снял рюмки, и Вера подняла свою, щурясь, собрав у глаз тончайшую кисею морщинок, напоминавших крылья бабочки. Она не увяла, не изменилась резко за эти годы, а лишь поутихла, погрустнела, посмуглела, утратив млечную девичью свежесть и горячий, слишком яркий румянец, созвучный с тем давним троицким днем: млечность — со снегами и тихими, в сугробах, метелями, румянец — с зорями и снегирями на дорогах. Он, прожив с нею свою молодость и зрелость, пройдя через ссоры и взаимное раздражение, порой тяжелое, нападавшее на обоих уныние, утомление друг другом, а однажды почти потеряв ее, он мог сказать, что не было помимо нее женщины для него. Он исчерпывался ею целиком. У них не было детей, он чувствовал их отсутствие как постоянную боль, сочетавшую их в безмолвное, на бережении основанное единство. Он суеверно думал о себе и о ней как о людях, волей судьбы не имеющих продолжения в будущем и нашедших свое завершение друг в друге. Смотрел на ее узкое запястье, охваченное гибким индийским серебром, на золотистую рюмку у ее губ.

— Ну вот, мой милый, — начала она, чокнувшись с ним мимолетно. — Слушай, что я тебе скажу. Что собиралась сказать весь день, поджидая тебя. Вот видишь, подходит к концу еще один наш с тобой срок. Как и те другие, прошедшие. Я ведь помню тебя еще тем молодым аспирантом, которого мы, первокурсницы, боготворили. А когда ты покинул цивилизацию и уехал в деревню, мы распускали о тебе таинственные слухи, строили фантастические предположения. Помню тебя деревенским мужичком-лесничком в твоём добровольном изгнании. Видите ли, пожелал жить на природе. «осознать себя в мироздании»! Я приехала в Троицкое поразведать о тебе, подивиться на твое место в мироздании. Как видишь, так и дивлюсь по сей день. Помню, как ты укатил на целину, на осеннюю жатву, прямо после свадьбы, из-под венца. Ты говорил, что хочешь проверить свою способность быть вместе с народом в самые трудные его часы, а мне казалось все это надуман-

ным, невозможным, обидным для меня: как ты мог меня покинуть? Ходила в университет, сдавала зачеты, ждала твоих писем, плакала от обиды и любви к тебе. Помню тебя солдатом,— худой, измученный, приехал в отпуск, и твои ночные пробуждения, вскрики. Все тебе казалось, что на Москву летят враждебные ракеты и тебе надо куда-то бежать, на какой-то твой пост. Помню тебя ученым, как ты писал свою кандидатскую, пропадал в Историчке, в Иностранке, а я поджидала тебя у Яузы, и как хорошо нам было идти до Лефортова, и на той осенней, черной, ночной воде в прудах плавали утки. Помню наше темное время, о котором говорить не хочу, вычеркиваю его и вымарываю. Твое газетное время, бесконечные проводы, возвращения, ночные твои появления, твои рассказы, твои сувениры — то цветок из пустыни, то камень с какой-то горы, то лоскут алюминия из крыла самолета, то глиняный лепной петушок. И потом Вьетнам, пекло, самый разгар этих ужасных бомбежек. Я раскрывала газеты, колдовала, заговаривала заголовки корреспонденций. Отводила от тебя их самолеты, их авианосцы, чтобы они не долетели, не доплыли, промахнулись, разбились. Может, эти мои колдования помогли в той войне вьетнамцам? Помню наше краткое, последнее, казалось, такое спокойное, такое прочное житье в Москве, наш новый дом, к которому успели привыкнуть, обилие свободного времени, обилие у тебя интересной работы, замечательных, приходивших к нам в гости людей, ваши бесконечные, исполненные дружелюбия диспуты. И опять ты сорвался с места, опять понесся — за новым, как ты объяснял мне, опытом. И вот теперь Кампучия, наш пномпеньский период. Тут было много страшного и жестокого, но и важного для меня, для тебя. Об этом будем еще вспоминать, извлекая, как ты говоришь, «уроки и назидания для старости». Но я рада, что он кончается, этот период, и мы скоро будем в Москве. И я хочу тебе сказать, мой родной, самое подходящее время сказать, что я тобою горжусь. Твоим умом, твоей волей и храбростью. Знаю, дома все это превратится для нас в какое-то новое качество. Для тебя, должно быть, в твою диссертацию. Для меня? В продолжение моей к тебе любви и служения. Вот и выпьем за это!

Они выпили, глядя не мигая друг другу в зрачки, слыша близкий над крышами гром. Двое прохожих вбежали под тент, спасаясь от пыльного ветра, смеясь, указывая пальцами на сорванные с голов, колесом катящиеся шляпы.

Им принесли суп из розовых, бледных креветок, остро-сладкий, с плавающими ломтиками ананаса. Они черпали ложечками-совочками ароматную гущу, откладывали на блюде колючие панцири вываренных креветок. Китайка принесла две тарелки обжаренных, нежно-золотистых лягушек, и они брали руками хрупкие конечности с нежными белыми мускулами, очищали до блестящих косточек.

Подшел хозяин, один из немногих хуацяо, китайцев, живущих за пределами Китая, кому новые власти позволили открыть ресторан. И он умело воспользовался дозволением. В его заведении всегда была свежая рыба, отменные мясо и птица. Он с поклоном осведомился, всем ли довольны гости. Улыбнулся Кириллову как старому знакомому.

Под тент залетел, пробежав по стеклянным рюкам, отблеск молнии. Треснуло, ударило в крыши, и на камни, на асфальт, превращаясь у земли в белую пыль и пар, рухнул ливень, тяжелый, сплошной, горячий, плюща, разгоняя толпу, расшвыривая к стенам велосипедистов.

Они смотрели из-под тента на водопад, у Веры было изумленное, восхищенное лицо, и он, одолевая шум ливня, неуверенным голосом произнес:

— Знаешь, я все медлил... Все не хотел тебя огорчать... Нам придется ненадолго отложить наш отъезд. Невадолго, дней на десять...

— Что? — она повернулась к нему, и он успел разглядеть колеблющуюся грань на ее лице, как бы между светом и тенью. Между недавним, все еще длящимся ликованием и испугом, набегающим, как тьма, готовым обратиться в страдание. Его поразила эта черта, словно бритвой рассекающая надвое ее лицо.

— Помнишь, я обращался с просьбой в МИД организовать мне поездку к границе? Ну, помнишь, я тебе говорил? Так вот, они дали согласие. Завтра утром еду на северо-запад, к границе. Все уже решено. Может, и к лучшему? — пытался он ее заговаривать. — Увижу Ангкор. А то что скажут наши в Москве? Жить в Кампучии и не увидеть Ангкора! Видишь, мечты сбываются...

— Я чувствовала, ты что-то таишь, — она медленно качала головой, и он испытывал муку, видя эти горестные покачивания. — Сразу в машине почувствовала. Боже мой, почему нельзя быть ни в чем уверенной! Неужели всю жизнь надо чувствовать, что ты живешь на вулкане? Почему тебе надо ехать? Твой срок окончен! Сюда едет сменщик Лукомский! Вот пусть он и отправляется к границе! Полон сил, полон газетного рвения! Все хвастался в Москве, что лучший среди вас знаток восточной архаики. Вот и увидит Ангкор! Почему именно тебя, измотанного, истрепанного лихорадкой, на последнем пределе усталости, перед самым отлетом в Москву, где кончишь с этой газетной чехардой, станешь нормальным человеком, почему тебя на границу, в джунгли?

Она почти кричала сквозь хлюпанье и стуки воды. Два кампучийца за соседним столиком на нее оглянулись. Кириллов беспомощно, желая отвести ее тоску, прервать ее болезненные причитания, неловко шутил:

— Как почему меня? Ты же знаешь, я крупнейший специалист по границам. Все с чего началось? В Троицком, ты помнишь, мы устанавливали границу между нашим и соседним лесничеством, и я брал тебя с собой на санях, и ты правила нашей лошадкой, и вывалила-таки нас с лесником в сугроб. Ты помнишь?

На мгновение, от воспоминания или от молнии, в глазах ее стало ярко и слезно. Она быстро накрыла его руку своей.

— Прости, — сказала она. — Прости. В котором часу ты едешь?

— В пять утра.

— Надо идти собираться.

— Да есть еще время! Дождь переждем. Что собирать-то? Положи рубашек штук пять. Кипятильник, чай. Да пару бутылок водки. Все уместится в сумку.

— Консервы, пакеты с супами? Может быть, кастрюлю, посуду? Где вы там будете есть? Где спать? Боже мой, да ведь там малярия!

— Да что ты! Спать и есть мы будем в отелях. Баттамбанг — вполне цивилизованный город. Со мной едет чиновник МИДа, Сом Кыт, ты его знаешь. Сделаю дело и скоро вернусь.

— Господи!..

Ливень кончился, превратился в испарину. Улица в туманных сумерках стеклянно блестела. Мчался по асфальту клокочущий темный поток. Дети, визгливые, голопузые, барахтались, торопились вымокнуть, плюхались животами в воду, окатывали друг друга. Их родители, стоя на балконах и в открытых дверях, не мешали им, радовались дождю. И уже мчались велосипедисты, подымая на спицах прозрачные перепонки воды.

— Пойдем, — сказала она уже иным голосом, собранная, озабоченная, устремленная в предстоящие сборы. — Поглажу тебе в дорогу рубахи.

Они лежали в номере без огня, приподняв марлевый полог. Он смотрел на ее лицо, близкое, чуть светящееся, на ее ноги, вытянутые, отливавшие во тьме серебром. В потолке чуть слышно лепетал вентиля-

тор. Сквозь открытую балконную дверь виднелась улица с последним перед комендантским часом движением. Торговец соками устало толкал по мокрому асфальту тележку с затепленной лампадкой, похожую на алтарь. Напротив, в доме без электричества, зажигались масляные светильники, озаряя внутренность комнат. Мужчина, полуголый, пронес на худой руке светильник, поставил его куда-то ввысь. Женщина кормила грудью ребенка. Другая, в соседнем окне, стелила на пол циновку, подвизывала москитную сетку. Знакомые, изученные до мелочей мирки, бесшумно, наивно открывавшие себя — свои труды, утехи. И уже катил по улице «джип», и солдат, высовываясь с мегафоном, возвещал начало комендантского часа, сдувал последних прохожих, последних возниц с лампадами, гасил на фасадах окна, будто кто-то невидимый летел над городом, тушил огни.

Кириллов чувствовал ее близкое дыхание, ловил смуглый отблеск на голом плече. Старался поместить голову так, чтоб огонь далекой — из окна напротив — лампы лучился в ее волосах.

— Поймай какую-нибудь музыку,— попросила она,— нашу, русскую...

Он положил себе на грудь маленький прохладный транзистор, включил, пробежал диапазоны, надеясь уловить и услышать сквозь хрусты и скрежеты далекий родной напев, подобный тому, что когда-то звучал в их зимней жаркой избе. Блестел самовар, пестрели на клеенке рассыпанные тузы и валеты, краснела недопитая рюмочка с ягодкой горькой смороды, и тетя Поля, восхищенная, умиленная, среди фикусов, чугунков и занавесок, старушечьим, с каждым куплетом молодеющим голосом запевала: «В островах охотник цельный день гуляет...»

Он крутил транзистор, но на грудь ему сыпались колючие вспышки, ударяли чужие голоса и звучания. Повсюду, куда бы он ни кидался, желая пробиться на север, его встречали заслоны. Бурливый Китай и Таиланд, кипящий Гонконг, клочкующие Сингапур и Малайзия. Били в бубны, свистели на флейте, окружали энергичной, быстрой речью. Он почувствовал себя в ловушке, испытав душный мгновенный обморок, словно на потолке выключили вентилятор. Весь эфир представился вдруг наполненным жалящими пламенными язычками, маленькими летающими драконами с красными ртами, цепкими колкими лапками, кольчатыми, перепончатыми хвостами.

Она протянула руку, убрала, заглушила транзистор. Наваждение исчезло. Ее прохладная ладонь скользнула ему на грудь. И он торопливо, благодарно прижал ее к себе, обретая вновь дыхание, биение сердца.

Из руки ее прямо в грудь лилась прохлада, расцветало хранимое, берегаемое, принесенное сюда через хребты и пустыни, сквозь кровавую бойню, сквозь бремя прожитых лет чудо, видение того далекого, исчезнувшего дня, когда они были молодыми. Их Троицкое, зима, снегопады, заячья лежка в кустах...

Он просыпается от шагов тети Поли. Она нарочно, чтобы наделять побольше шума, наступает на самые шаткие скрипучие половицы. Бормочет, ворчит будто бы на полено — его сухой березовый стук слышится в печке — или на сковородку — картошка начинает гневно шипеть, ее горьковатый дух витает по дому, и кот, унюхав жарено, вякает и мурлычет. Но на самом деле все эти шумы — чтоб разбудить его, разрушить его молодой крепкий сон. Наконец она не выдерживает, грохочет чем-то длинным, то ли кочергой, то ли ухватом, отчего многоголосо и разом отзываются самовар, чугулки, стаканы, ведра, умывальник, и она среди этого хора восклицает:

— А ну-ка вставай у меня, а то лесники придут и девку твою уведут!

Он открывает глаза. Крохотное оконце синее, до половины заваленное снегом. Куст шиповника, верх забора — в белой волнистой бахроме. У окна, в полутьме, его рабочий стол с кипой книг и бумаг. С потолочной балки свисает и медленно кружится голубоватая шкурка убитой белки. Ружье на стене. Залатанный полшубок. На ремешке петле клеймо лесного объездчика, чугунное, с деревянной ручкой. Ситцевая — вместо дверей — занавесочка. И глядя на ее цветочки, он окончательно просыпается, испытывая похожую на испуг радость: там, за перегородкой, она, его Вера, должно быть, уже не спит, притаилась под одеялом, на высокой, с никелированными шарами кровати, прислушивается, как он там, то есть здесь, за перегородкой. И мгновенная мысль: опять сегодня будет огромный, наполненный ее присутствием день, бег на красных охотничьих лыжах, запах мороза и стовревшей солярки, гомон мужиков на лесосеке, и вечером, как и вчера, они втроем станут играть в карты, будет свистеть, переливать через край самовар, и кот ляжет на половик, черно-бархатный среди белоглабой чересполосицы, и может быть — об этом страшно и сладко думать — может быть, это случится сегодня, желанное, ожидаемое, отдаляемое ими обоими, присутствующее уже в этих новогодних солнечных днях, морозных звездных ночах.

— А вот я на вас сейчас кота напущу, — шумит тетя Поля. — Он-то вас, лентяев, подымет!

Они завтракают втроем, тыкая вилками в горячую масляную сковородку. Из угла, из коричневых рам, смотрят на них образа в желтой и белой латуни с бумажной выцветшей розой, с линиями пасхальным яичком, и в их блеске — что-то новогоднее, елочное. Тетя Поля мигает глазками, поглядывает на них хитровато, а они то смело взглядывают друг другу в глаза, то смущенно озираются на фикусы, на белую печку, на фотокарточки на стене. Вера в синем пушистом свитере с высоким, под подбородок, воротом. Волосы черно-стеклянные, отражающие снег за окном, а румянец столь ярок, что ему хочется тронуть губами этот близкий жар на щеке.

— Не смотри на меня, — просит она, и он испуганно отводит глаза в окно, где розовеет, искрится перед восходом сугроб, разрезанный лыжным следом, где вертится на заборе прилетевшая сорока и шагают совхозные шоферы в валенках, оклеенных красной резиной, заводить в гараже свои стылые, обшарпанные грузовики.

— Ну вот что теперь, — командует тетя Поля. Все эти дни она их наставляет, опекает, бережет друг для друга, и они покорно ее слушаются, верят: она желает им добра, своим мудрым разумением ведет их по этим огненным дням. — Хозяин в лес, на работу. А ты, хозяйка, хотела пирог испечь. Сегодня, так и знайте, гостей ждать. Будут малаванные по избам ходить, цыганить. У меня бутылочка красненького припасена. А пирог давай вместе печь. Ступайте сейчас к Куличихе, молочка принесите. У них прошлым месяцем отелилась корова.

Тетя Поля достает глиняный узкогорлый кувшин с потресканной синеватой поливой, обтирает края полотенцем, передает Вере. С кувшином они выходят на улицу.

Небо красное над горой. Солнце не встало, но близко. Из-за леса, зубчатого, черного, поднимаются два румяных столба, колеблются, движутся, и он суеверно связывает их с Верой, с собой: «Это мы... О нас... В этот день...» По заре высоко, маленькая и точеная, летит сорока. Застывшая, вмороженная в лед, розовеет колонка. Блестит врезанный в дорогу розовый тракторный болт. Соседка, несущая ведра, несет в них расплавленный розовый блеск.

— Скажи сюда что-нибудь, — она протягивает ему кувшин, и ему кажется, что в его бездонную глубину уловлено это утро, столбы зари, крохотная островерхая птица, облачко пара от Вериного дыхания. Приближает губы к кувшину, говорит в его бездну:

— Люблю!

Они идут мимо изб. В окнах, в каждом, в сумерках топится печь. На мгновение возникает озаренный овальный зев, ленивое чадное пламя, темная тень хозяйки. И кажется, печи смотрят своими черно-красными ликами на них, идущих куда-то, провожают их.

Они заходят в избу к Куличихе. Тепло, пахнет дымом. Пущенное во всю мочь, играет радио. В печке рассыпалось на угли сгоревшее полено. Угол избы отгорожен жердями, и на соломе коричнево-темный теленок хмуро смотрит угольным глазом. Худая белесая девочка торموшит растрепанную куклу.

— А бабуня во дворе, доит,— тихо сообщает она.

В тесном парном сарае, наполненном коровьим дыханием, свистят молочные струйки. Куличиха, костлявая сухая старуха, цепко, ловко оттягивает соски. В дальнем углу, где насест с неподвижными курами и гора малиново-золотого навоза, раскаленно светится крохотное замусоренное оконце. Луч низкого солнца, пронзив сарай, впился в коровой бок, сверлит, жалит, отражается на кромке ведра, на косах и вилах, на сухих травинках. Под кровлей, очнувшись, процокал, переступая когтями, петух, загорелся, как слиток в луче.

— Сейчас, погодите, налью! — Куличиха перекрещивает, передвигает белые спицы молока, вкалывает их в клокочущее ведро.

Они ждут. Он смотрит на Веру, стоящую среди солнечных пятен, развешанных по стенам грабель и кос, старых бензопил, мотоциклетных колес, и она ему так дорога, так хочется ее вот такой и запомнить, и она, угадав его мысль, говорит:

— Ты думаешь, я не смогла бы жить здесь, с тобой? Доить корову, топить печь, носить на коромысле воду, шубу тебе латать, пока ты бродишь в своих дремучих лесах. Думаешь, не смогла бы?

Они идут обратно по накатанной, уже белой дороге. Вмерзший тракторный болт как осколок стекла. Грузовик обгоняет их, за стеклом — малиновое, ухмыльнувшееся лицо шофера. Он несет молоко в кувшине. Оно дымит. Теперь ему кажется, что это из млечной безлизы, из кувшина родился морозный утренний мир, белые поля, небеса, заиндевелая колокольня, незастывшая, в дымке река, далекий, стучащий трактор, распаивающий клином снега. И такое знание о добром, истинном устройстве земли и неба! Так он любит ее! И как бы в продолжение этой любви, перенося ее на все сущее, он любит Куличиху, тетю Полю, петуха на насесте, белоснежную равнину с блестящими метелями. И, протянув ей кувшин, говорит:

— Выпей!

Стоит, улыбается, смотрит, как пьет она парное молоко на зимней дороге.

Теперь, спустя столько лет, оглядываясь в тот давнишний, исчезнувший год — из метелей, из весенних ручьев, из цветов, вспыхивавших на лугах и полянах, он спрашивает себя: что оно было, это скопившееся в нем ожидание, наивно открытая вера в свою неслучайность, в свой путь, в который он нацелен подобно каленой стреле, взведен на упругой, готовой метнуть тетиве? И не было при этом цели, которую он должен пронзить, а только светоносное, подобное небу будущее, где щедро угованы ему вера, любовь.

Вернувшись в Москву из Троицкого, едва поселившись с Верой в их маленькой комнатке на Селезневке, где трамвай, поворачивая, сбрасывал с дуги синюю шелестящую искру, он уехал на целину, на жатву, объясняя Вере этот поспешный отъезд своим призванием историка, желанием понять свое время, свой народ, совершающий вмененный историей труд.

Его письма к ней, которые он спустя много лет перечитывал, найдя их в лаковой лаосской шкатулке с инкрустированной цаплей на крышке, — письма, наполненные молодой риторикой, **не подкрепленной опытом умозрительностью, показали ему интересными именно этой на-**

ивной свежестью, искренним изумлением перед возможностью видеть и знать.

Те длинные, идущие за Урал эшелоны с новыми тракторами, комбайнами, мерцавшими лаком и стеклами, в кумачах, транспарантах, напоминали ему парадное шествие. Он заражался их праздничностью, испытывал пьянящий восторг. А потом — зрелище огромной мастерской в открытой степи, где были собраны изувеченные в жатве машины с проломленными бортовинами, лопнувшими гусеницами, будто они расстреляны в упор из пушек, подорвались на минах. Усталые ремонтники в робах тыкали электродами, меняли узлы и детали, готовили машины к новой встрече с пшеницей, с этой изумрудной, шелковой степью, где наливается, зреет удар урожая. И он, глядя на изъеденное, сожженное хлебами железо, начинал догадываться о жестоких столкновениях природы и техники, о тяжком, непомерном труде человека, добывающего хлеб насущный.

Он поселился в длинном, сбитом из щитов общежитии в переполненной комнате, где молодые крепкие парни, грубоватые на шутки и выходы, подобно ему учились водить комбайны, махали топорами на постройке коровника, латали прохудившуюся крышу зернохранилища, гоготали, пили вино, схватывались в коротких, быстро остывавших ссорах, смыкались тесно над общим котлом. Молдаванин, грузин, чуваш, белозубый полтавский хлопец, длинноносый, с тонкой улыбкой латыш, быстрый в движениях, похожий на кавалериста казах, — он попал в их пестрое братство, в их многоязычье, где от каждого лица проецировались образы других земель и народов, сочетавшихся в единую общую землю, в единый общий народ. И это единство во множестве вошло в него как знание о своем стомерном отечестве, из бесчисленных дыханий слившемся в одно могучее, как эти степи, дыхание.

Погиб на дороге, рухнув в провал моста, их товарищ, татарин. Они несли его гроб на малое, за поселком, кладбище, менялись ношей в пути. Он смотрел, как к тесовым доскам припадает то раскосое лицо казах, то худое, белобровое латыша. Готов был плакать, не стыдился близких слез. Проходили мимо мехдвора, где работал, крутил мотовило комбайн, мимо домов с выходившим навстречу людом. Сквозь горе, подставляя плечо под гроб, не умом, а сердцем, всей своей болью чувствовал: они — едины, они — одно. В гульбе, в трудах или в горе они — единый народ, одна, на шестой части суши, артель.

Написал ей об этом письмо. Вложил в него вырезку из местной газеты, свой первый напечатанный очерк, кинув в конверт колосок. В ответ она прислала ему рисунок: себя, сидящую у окна, за окошком трамвай, на столе колосок.

Целинная жатва, единственная в его жизни... Хлеба созревали, давили, теснили дороги, тревожили, будили ночами своей безымянной могучей силой, своим белым в ночи колыханием. Он выходил по утрам на бугор, чувствовал счастливым, страшщимся сердцем веющую из степи непомерную мощь, с которой ему предстояло сразиться.

Первый выход в поле. Красные, с крутящимися мотовилами, похожие на самолеты комбайны тронули ниву, ударили железом в белое стекло, надкололи. Закружили над нивой красной жужжащей эскадрильей, окутываясь стрекотом, блеском, вываливая за хвостами белые взрывы солом. Укладывали в грузовики желтые, литые слитки пшеницы, и машины, отяжелев от зерна, уезжали на ток. Ему на мостике, под матерчатым тентом, казалось: из-под брезента, из кузова, высвечивают золотые полосы света, и грузовик уносится, охваченный сиянием.

Первые дни работы от синей зари до малинового вечернего солнца. Щедрая трата молодых непочатых сил, когда в обед сходились в круг, гремели ложками, подмигивали, подшучивали, успевали схватиться в короткой возне, пихнуть кулаком соседа. Разбегались к комбайнам

с удалыми пшеничными лицами наездники на грохочущих красных машинах.

И первая усталость, когда хлеба все вставали и вставали перед стригущим железом. Солнце как огромный, опущенный в степь электрод. Злые вспышки, хруст, скрип на зубах, кислая из фляги вода. Казалось, нива, едва он по ней проезжал, вновь зарастала хлебом, и он терял счет пространству и времени. Молчаливые, утомленные, сходились к котлу. Он заметил, как покраснели, слезятся глаза у казаха. Как усох, покрылся черной щетиной грузин, двигал худым кадыком под отвисшим воротом свитера.

Ломались мотвила и зубья, изъеденные шелком хлеба. Сообща ремонтировались, подползая под железное брюхо, касаясь друг друга кулаками, плечами, звеня инструментом, возвращая машину в жатву. Приходили с работы и падали в короткое, на три часа забытье. И во сне продолжали нестись колосья, мерцали стрекозы, взрывались копны соломой. Он уже не писал ей письма, некогда было писать.

Для него, горожанина, не привыкшего к тяжелой работе, настал момент измождения, когда утром не захотелось вставать. Навалилась усталость, желание, чтоб его оставили здесь, на железной койке, как некогда мать по его капризу и жалобе оставляла дома, позволяла пропускать занятия в школе. Но он одолел в себе слабость, бросился догонять комбайнеров, черных, худых, шаркающих кирзой по стерне.

Пошли вдруг дожди. Под низкими, текущими с севера тучами пронеслись и исчезли стада легконогих сайгаков, и за ними, словно догоняя их, повалил белый снег. Неубранная пшеничная степь замутилась метелью, и комбайн молотил белые хлопья, и грузин комбайнер под сорванным тентом, весь в снегу, дыша паром, был как снеговик с угольными глазами.

Ранние сумерки. Каменно-синяя, придавившая степь заря. Срезанные валки пшеницы запаыны в лед, в непрерывный хрупко-блестящий желоб с вмороженными колосьями, васильками, стрекозами. Впереди по валку, разминая его и раскалывая, катит грузовик, и шофер из Полтавы высовывается из кабины своим закопченным, похожим на печной зев лицом, что-то кричит. А он не слышит сквозь вой шкивов, сидит за штурвалом, в обледенелой на спине телогрейке, ломая движением лопаток негнувшийся железный доспех. И такая усталость, такая немочь, что впору бросить это дикое, не имеющее окончания поле, каменную, неживую зарю, непосильный, не его, не ему предназначенный труд и уехать прочь — к свету, к теплу, к милым сердцу. И такая слабость души, чувство тщеты придуманного самому себе испытания!

И вдруг от зари, от седых переполненных снегом туч явилась ему она, его Вера. Присела рядом на мостик, обняла горячей рукой, поднесла к губам гулкий, парной кувшин...

Добили последний хлеб. Шли молчаливой гурьбой, оставив под дождем избитые, с прогнутыми бортами комбайны.

Глава вторая

На рассвете Кириллов уселся в машину, принял от жены дорожную сумку с припасами, обнял ее, не вставая с сиденья, поймав на себе всевидящий взгляд голоногого юркого портье.

— Возвращайся скорей! Чтоб все было хорошо! — торопилась она сказать. — Рубашки у тебя в целлофане. И там же платки.

Она вскользь, промахиваясь, коснулась губами его виска, и улыбка ее была беспомощной, а глаза знакомо-испуганными, умоляющими.

— Через неделю! — он нарочито браво и резко захлопнул дверцу, отсекая себя от нее. И облегченно, как бы на время о ней забывая, пустил машину, обращаясь всем своим существом и энергией в предстоящее дело. Видел в зеркальце, как, удаляясь, она смотрит на него,

скрывается, превращается в невидимый, следящий за ним неотступно луч, в котором ему двигаться, жить.

Он подъехал к дому Сом Кыта, позвонил в облезлую дверь запущенного двухэтажного здания с металлическими жалюзи на окошках. Должно быть, прежде это был магазин, еще сохранилась на фасаде полустертая вывеска. Открыл Сом Кыт. На мгновение удивился. Затем смутился. Мимолетное выражение недовольства проскользнуло на его унылый, обнаженный быт, голые стены, квадратное, тускло освещенное торговое помещение, где среди неуютных шкафов и кроватей стоял мотоцикл, верстачок с инструментами и запасными частями, — полугараж, полужилье, в котором вынужден был обитать работник МИДа. Жена Сом Кыта, немолодая, с худым, робким лицом, укладывала саквояж. Замерла, подняв на Кириллова глаза. И тот, извиняясь и кланяясь, не ступая дальше порога, вдруг почувствовал острое сходство между этими сборами и своими, недавними. Он сам и Вера, Сом Кыт и его жена, неустройство жилья, отсутствие в доме детей — все было неуловимо похоже.

— Дорогой Сом Кыт, — произнес Кириллов, — я только хотел убедиться, остались ли в силе наши планы.

— Я приеду к посольству через десять минут, — ответил Сом Кыт. Его жена виновато улыбалась Кириллову, будто о чем-то просила.

Кириллов загнал машину за ограду посольства, пустынного в этот утренний час. Передал ключи дежурному, пожелавшему счастливого пути. Направился на улицу, где в зеленой глянцевиной листве уже солнечно золотилось навершие пагоды, одной из немногих, восстановленных после погрома.

Хрустя и урча подкатила белая «тойота» с помятым, наспех выправленным и подновленным крылом. Сом Кыт распахнул створки в торце, и двое солдат, оставив на сиденьях автоматы и вороненую трубу гранатомета, гибко выпрыгнули на землю. Маленький мускулистый шофер тут же открыл капот, сунул в горячую глубину свои крепкие ловкие руки.

— Что-нибудь не в порядке? — как бы между прочим спросил Кириллов, сам же цепким взглядом осматривал машину, ее стертые, без протекторов шины, наспех замалеванный рубец на крыле.

Солдаты, молодые, в кофейной выглаженной униформе, улыбались Кириллову, радуясь предстоящей поездке, воле без муштры и казармы.

— Все в порядке, — успокоил его шофер. — Аккумулятор старый, слабый. А остальное в порядке.

— Тогда едем, — сказал Кириллов, передавая сумку солдатам, усаживаясь рядом с шофером, дружески кивая Сом Кыту.

Пномпень в золотистом солнце промелькнул за стеклами своими руинами, дворцами и пагодами. Меконг ударил бесшумной слепящей гладью. И синее пустое шоссе номер пять зашелестело под колесами их белоснежной машины.

Колеса шелестели лишь первые полчаса. Шоссе перестало быть синим и гладким, превратилось в рваную корку ломаного асфальта. Выбоины и колдобины шли непрерывно, словно трассу долбили снарядами. Машина билась, проваливалась в дыры с жестким хряском. Удары сквозь изношенные амортизаторы отдавались в черепе. Автоматы, труба гранатомета, липкая бочка с горячим подскакивали, колотили людей. Кириллов, боясь стиснуть челюсти, оглядывался на трясущихся, страдающих солдат, ждал очередного падения в яму. И только маленький скуластый шофер крутился, как вьюн, за рулем, пытался вписать «тойоту» в немыслимый, непрерывный зигзаг.

Они нагнали огромный разболтанный грузовик, ржавый и пятнистый, с поломанными бортами. В кузове тряслось заржавелое, в дырах сооружение, похожее на вытяжной шкаф. Пытались обогнать грузо-

вик, но медленная громада громыхала и виляла среди ямин, загораживая бортами шоссе, и не реагировала на гудки. Кириллов задыхался от жары и пыли, дымившей из-под грузовика. Не мог понять, куда и зачем движется по мертвой дороге доживающий век грузовик, везущий мертвый, отработанный хлам, не годный даже в мартен. Будто этот грузовик был послан ему из недавнего, уже миновавшего времени как напоминание о только что пережитой беде, о рухнувшей стране и хозяйстве.

Водитель чертыхался, сплевывал пыль, давил на сигнал, пытаясь сунуться в объезд на обочину. Но грузовик будто угадывал его намерения, тут же подставлял измызганный борт, сыпал на ветровое стекло сухую, рыхлую пыль. Один солдат не выдержал, что-то крикнул, осклабясь, открыл окошко, выставил автомат и дал в воздух долгую злую очередь. Грузовик остановился. «Тойота» обошла его, солдаты кричали, грозили кулаками, а из высокой кабины с расколотым стеклом смотрело усталое немолодое лицо с повязкой на лбу и рядом — два испуганных детских.

Кириллов глядел на дорогу, помнившую роскошные стремительные лимузины, безмятежные веселые лица богачей и туристов, мчавшихся развлекаться, подивиться на каменное чудо Ангкора, не ведавших, не прозревавших будущего. С тех пор по этой дороге, прогрызая асфальт, прокатились войска, простонали колонны изгнанников, прошаркали бесчинные босые подошвы беженцев, погорельцев. Весь мятущийся, сорванный катастрофой народ прошел по этой дороге. И теперь он, Кириллов, движется в желобе людской беды и несчастья, упавшего на эти плодородные красноватые земли с зеленью пернатых, волнуемых ветром пальм, голубоватой, пленительно-чуждой далью, не сравнимой ни с чем в своей нежности, красоте.

Он знал: мир во всей своей полноте сдвинут с былых основ, охвачен мучительной перестройкой и ломкой. Государства, выдираясь из-под рухнувших колониальных империй, складываются в новое мировое сообщество, в новое мировое хозяйство, внося в него каждое свой вклад и пай — ресурсами, умениями, знаниями, неповторимостью национальных культур. Он верил: это медленно возводимое здание встанет в грядущем мире. Но любой просчет, любая деформация плана, любая злая диверсия оборачиваются крушением конструкций, обвалом возводимого свода. Он склонен был объяснять катастрофу страны и народа невежеством торопливых политиков, извращением социальных идей, мощным давлением извне сил, желавших превратить Кампучию в плацдарм войны и экспансии, в источник дарового сырья. Сочетание примитивной воли одних и целенаправленно-подрывной других развалило часть мирового здания у этого юго-восточного, обращенного к океану фасада.

— Взгляните, — прервал его Сом Кыт, указывая сквозь пыльное стекло, — это каналы, прорытые по приказу Пол Пота. Он хотел здесь выращивать много риса, надеялся на большие урожаи. Здесь работало несколько тысяч людей, рыли руками, палками, большинство погибло. Но направление каналов было выбрано неправильно. Вода по ним так никогда и не пошла.

Кириллов смотрел на ровные, сужавшиеся к горизонту, расчертившие красноватую землю каналы. Их безжизненный марсианский чертеж, знакомый ему, виденный почти во всех провинциях, и был чертеж катастрофы.

— Здесь у нас запланирована остановка. Посещение кооператива Претьюонг. — Машина, повинувшись указаниям Сом Кыта, оставила ухабы шоссе, съехала на пыльный проселок.

На растрескавшейся, без травинки, земле, рядом с осypью ржаво-красного канала копошились люди. Долбили рытвины, взмахивали мотыгами, наклонялись, подымали, несли что-то круглое, похожее на кочаны или тыквы. Тут же белели груды этих округлых, извлеченных

из земли плодов, и Кириллов гадал, что за неведомую агротехнику он наблюдает, что за редкий, неизвестный плод собирают крестьяне на этих безводных, с виду бесплодных почвах.

— Это что за культура? — поинтересовался он у Сом Кыта.

Но тот не ответил. Машина встала. Они вышли, двинулись по растрескавшейся твердой корке к работающим. Крестьяне, опустив мотыги, смотрели, как они подходят. Кириллов ступал по хрустящему грунту, вглядываясь в белые, аккуратно-округлые кучи, напрягая, расширяя зрачки, еще не веря, еще боясь ужаснуться и уже ужасаясь, столбенея, угадывая в округлых, костяного цвета шарах черепа, многоокие, с темными глазными провалами, с блеском хохочущих ртов. Одинаковые, словно калиброванные, устрашающие своим обилием, веселостью, неправдоподобной, не свойственной смерти свежестью белых зубов.

— Что это, что это? И здесь они тоже?.. — тянулся он к Сом Кыту, но тот шел, не отвечая. Оглянулся, пропуская мимо девочку с худенькой шеей, несущую в руках череп. Она держала его бережно, как кувшин, донесла, положила с легким костяным стуком на грудь, поправила, нацелив глазницу в ту же сторону, что и другие.

— Пол Пот, — сдавленно сказал Сом Кыт. — Место казни. Могилы...

Сутулый, в обвислой одежде крестьянин, руководивший работой, опустил к ступням перепачканную кирку, пояснил:

— Мы пришли сюда рыть водоемы перед началом больших дождей. Хотели использовать эту пустошь под посевы. Начали копать и сразу натолкнулись на это. Сначала одна могила, потом другая, потом третья, десятая. Наверное, все поле в таких могилах. Мы уже выкопали триста голов и все еще продолжаем их находить.

— Как это все случилось? Кем они были? — Кириллов смотрел на хохочущие черепа, пытаясь домыслить исчезнувшие лица, угадать имена. Над ними стекленел и струился воздух. — Как их убили? — спрашивал он, ожидая услышать одну из бесчисленных, повторяемых многократно историй, звучащих, как жуткое претданье.

— Не знаю, — ответил крестьянин. — Нас здесь не было в это время. Всю нашу общину угнали на север. Там мы корчевали джунгли, расчищали поля под посевы. Но я видел, как убивали наших людей. Их ставили вот так, — он чертил киркой линию, — голова к голове. Приковывали к железному пруту и вели. Перед вырытой ямой стоял охранник. В руках он держал мотыгу. Бил в затылок переднего, тот падал, его место занимал второй. Он тоже получал удар мотыгой в затылок, тоже падал. Наступала очередь третьего. И так удар за ударом, пока охранник не уставал. Его сменял другой. На моих глазах убили так восемьдесят или сто человек.

— За что? — спросил Кириллов.

— Ни за что. На всех не хватало еды.

— А что же вы теперь... — оглядывался он на стекленеющий воздух. — Что теперь собираетесь с этим делать?

— Хотим оставить их так, у дороги. Чтобы люди видели. — Крестьянин поклонился, отошел, застучал киркой о землю, отзывавшуюся костяным бильярдным звучанием.

Кириллов, страшась, почти на носках, ступал по растрескавшейся земле, бывшей недавно человеческой плотью. Заглядывал в открытые ямы, где белели россыпи костей, темнело тряпье. Над могилами дрожал выпущенный на свет тяжелый пар, и было трудно дышать. Вся окрестность текла и струилась, словно тут еще носились безгласно тысячи прозрачных, излетевших к небу душ.

Сом Кыт склонился над грудой голов, побледнел, съежился, усох. Касался черепов медленной напряженной рукой, словно гладил их и ласкал. И Кириллову казались страшными эти необъяснимые прикосновения. Он боялся смотреть в его сторону.

«Где я-то был в то время, когда это случилось? — старался он вспомнить, перешагивая ржавый железный прут с приваренными коль-

цами, в которые, как в браслеты, вдевались запястья казнимых.— Ну конечно, Москва, снегопад, вечернее миганье Садовой, белая тень Андрониковского монастыря. У нас гости. Вера, нервно-радостная и радужная, ставит на стол разносолы. Зажигает свои любимые красновитые свечи. Мы пьем, едим. Легкомысленные шутки, смешки. Остроумный злой анекдотик. Или едкая сплетня. Или, напротив, философский экспромт. Какой-нибудь изысканный интеллектуальный этюд, в который каждый по мере сил вкладывает свою долю. И поздние проводы, поцелуи. Набегающий зеленый глазок такси. И мы, усталые, идем с ней вдвоем, и я держу ее под руку... А в это время здесь, на безвестной утренней пустоши, они шли к своей яме, склоняя обреченные черноволосые головы, отдавая себя под тупые удары железа, и их палачи, утомившись, отдыхали, усевшись на землю, а они обреченно ждали, когда те отдохнут... Как искупить их смерть? Как искупить мое, одновременное с ними, благополучное пребывание в мире? Истребить палачей? Воскурить думы алтарей? Поставитьobelisk у дороги? Или великой любовью, немедленным, не терпящим отлагательства поступком помочь оставшимся жить, вот этим крестьянам, их детям? Заслонить их собою? Но как?»

Чувство вины, сострадание, его потрясенный дух требовали немедленного, конкретного действия. Но кругом голубели волнистые дали, блестели купы кокосовых пальм, темнели склоненные, изнуренные крестьянские лица. Девочка с худой шеей проносила мимо костяной шар.

Неслышно подошел Сом Кыт, бледный, бескровный.

— Кооператив рядом. Нас ждут,— сказал он чуть слышно.

Они повернули к машине.

Их принимал председатель кооператива. Миех Сирейрит — представил его Сом Кыт. Их привели в прохладную сумеречную хижину, поставленную на высоких сваях, близко к шелестящим вершинам пальм. Сквозь гладкий, словно пластмассовый пол, набранный из расщепленных пальмовых пластин, веяли свежие сквознячки, пахло близкой скотиной, душистым домашним дымом, как пахнут все крестьянские земные жилища. Так пахло и в Троицком, подумал он мимолетно.

Женщины, стуча тугими пятками, принесли в мешковине, вывалили на пол груды кокосов, зеленых, тяжелых, только что выломанных из пальмовых гнезд. Женщины улыбались, поглядывали на приезжих, большими ножами ловко, до белой мякоти, отсекали зеленые маковки орехов, будто откупоривали, открывали крышки, просекали маленькие отверстия, ставили перед гостями, воткнув в орех соломинку. Кириллов благодарно, с наслаждением тянул сладковатый прохладный сок, смачивал холодной струйкой иссохшие губы, язык. Поглаживал зеленый, похожий на тяжелую молочную кружку орех.

— В нашем селе...— председатель чуть прикрыл глаза, выговаривал слова медленно и спокойно, словно вспоминал.— В нашем селе раньше было пять тысяч жителей. При Пол Поте нас всех погнали на север, в болота, в джунгли. Не позволили взять с собой ни скот, ни одежду. Разлучили семьи, отделили мужчин от женщин, жен от мужей, и два года мы валяли деревья, вырывали вручную пни, копали канавы, отводя болотную воду, пахали землю, впрягаясь вместо волов, сеяли рис и лишь издали, во времяработы, наблюдали за своими близкими. Когда Пол Пота прогнали, мы вернулись сюда. Только половина людей вернулась. Наши дома сгорели, скот пропал, поля заросли лесом. Двести тридцать пять вдов, триста восемь сирот живут среди нас. Половина наших людей умерли от голода, от малярии или были просто убиты.

Он рассказывал свою повесть тихо, спокойно, словно летописец, словно не о себе, а читал какой-то древний свиток о давнишней постигшей его предков беде, от которой к ним, ныне живущим, дошел лишь пергаментный манускрипт.

— Государство как могло оказывало нам помощь. Дало рис для семян, одеяла, кровати, немного денег, чтоб мы могли купить инвентарь, несколько пар буйволов. Мы первым делом построили приют для сирот, больницу для хворых и раненых. Сообща поставили жилища, распахали наши заросшие земли, собрали первый, спасший нас от голода урожай. Сейчас мы вам покажем, у нас есть дома, есть птица, есть немного волов и буйволов, своя школа, свой учитель. Мы стараемся дать работу тем, кто лишился кормильца. Стараемся, чтобы в наших людях исчезли уныние и страх, потому что страх и уныние — это болезнь, грозящая смертью. Но многие из наших людей все еще болеют и мучаются.

Он был не стар, почти моложав на вид. Но глядя на его сухое, желтоватое, заострившееся во всех чертах лицо, Кириллов разглядел в нем и великое утомление, иссушившее кожу до последней кровинки, и великое, скопившееся под веками горе, которое он не желал обнаруживать перед чужими, и великие бережение и заботу, положившие на его лоб перекрестие из глубоких морщин. Заботу о попавшей в беду общине, готовой умереть и исчезнуть, бережение, и мудрость, и волю вождя и ревнителя, ведущего свой народ сквозь погибель к спасению.

— Нам сообщили с посланцем, что в нашу деревню едут высокие гости, — председатель приоткрыл веки, и взгляд его был спокоен и прост. — Мы готовы показать нашему другу, — он чуть поклонился Кириллову, — все, что он пожелает увидеть. Если гости отдохнули немного, мы можем начать осмотр.

Они шли мимо взорванной пагоды, древнего длинного храма, превращенного в глыбы руин, с остатками игольчатых башенок, осыпавшихся, размываемых дождями фресок. Кириллов смотрел на маленьких будд с отбитыми руками, отколотыми носами, сидящих в терпеливых смиренных позах, напоминая больных на приеме в травматологическом пункте. Перешагивал каменные красно-золотые обломки, с которых смотрели фрагменты лиц — то длинный карий глаз, не утративший всевидящей силы, то розовый, в мягкой улыбке рот. Остатки стен с выпуклыми драконьими и львиными мордами были иссечены автоматами, продырявлены залпами пушек. Должно быть, храм с его толстой кладкой и амбразурами служил опорной позицией и во время боя был атакован, а затем, после взятия, разрушен зарядами тола. В его расколотой, открытой небу скорлупе наспех, из разломанных плит, соорудили алтарь. Маленький Будда, склеенный, с белыми швами на улыбающемся лице, сидел среди курящихся палочек. Перед алтарем вместо жертвенных чаш стояли две латунные артиллерийские гильзы с букетиками вялых цветов. И вид этих гильз с маркировкой калибра, принесших погибель храму и поставленных — в неведении зла — на алтарь, поразил Кириллова.

— Они ворвались сюда и перебили монахов, — говорил председатель, тихо кивая на пагоду, чью позолоту, лазурь, опрокинутые в траву, чтит еще его прадед. — Здесь раньше жило сорок бонз. Теперь у нас только один. Мы встретили его случайно на дороге и пригласили к себе.

Они приблизились к деревянному, на столбах, навесу, где рядами стояли самодельные ткацкие станы. Женщины, похожие друг на друга своими позами, монотонными движениями рук, остановившимися на мелькании нитей зорко-слепыми глазами, ткали многоцветные полосатые полотнища, медленно льющиеся на землю сквозь деревянные части станков.

— Это все вдовы, — тихо пояснял председатель. — Они не могут заработать на хлеб тяжелым трудом в поле. Ткани мы отвозим на рынок, и их дети не голодают.

Тихо падали на серый земляной пол красные, черные, желтые полосы. Кириллову казалось: вдовы, еще молодые и женственные, вплетают в разноцветные нити свою тоску, одиночество, и тот, кто на-

денет одежды, сшитые из этих материй, вдруг почувствует острый ожог.

Его провели в просторное, крытое пальмовыми листьями помещение, где стояли железные, похожие на клетки кровати с тонкими, не скрывавшими сеток циновками. Множество детей, больших и малых, сидело на этих кроватях. Они держали на коленях миски, ловкими, быстрыми щепотками хватали и ели рис, при появлении посторонних разом встали, воззрились чернильными, расширенными, не испуганными, а вопрошающими глазами. В этих глазах среди живого свежего блеска, детского любопытства, лукавства, готовности бежать и смеяться оставалось потаенное отражение боли и муки, того, что миновало, ушло и унесло с собой образы гибнущих близких.

— Их было очень трудно учить, — говорил председатель. — Они не понимали, что им говорят. Не хотели гулять и играть, а сидели здесь целыми днями. Сейчас они приходят сюда только поесть.

Они шли по селу мимо хижин, стараясь держаться в прохладе кокосовых пальм. Дома, сколоченные наспех из старых, кое-где обгорелых досок, были подняты на высокие сваи. Под ними, в тени, полуголые мужчины чинили деревянные бороны, сохи, смазывали дегтем двуколки. Кириллов жадно подмечал все, что говорило о продолжении жизни. Видел: здесь, в лачугах, среди дыма очагов, стука молотков, живет больное, израненное племя. Еще недавно оно колебалось на пограничной, предельной черте, стремясь на ней удержаться, не упасть, одолеть свою немощь, ожить и воскреснуть. Одолело, вернулось к жизни. Это сражение за жизнь отражалось на лице председателя, во взглядах двух мускулистых мужчин, перетаскивавших на руках изогнутую соху. Кириллов чувствовал: роковая черта медленно, в великих усилиях сдвигается в сторону жизни. Прокричал во дворе петух. Выкатила из проулка, застучала тяжелыми ободами двуколка, и возница им поклонился, и волы, качая складчатými отвислыми шеями, окатили их жарким запахом пота. Село готовилось к севу. За домами, где начинались поля, в стекленеющем сухом воздухе люди копали водоемы — накопители для скорых ливней. В пруду, в темно-маслянистой, как нефть, воде спасались от зноя буйволы, выставив фиолетовые плоские спины, громадные полумесяцы запрокинутых рифленых рогов.

Они приблизились к облезлому двухэтажному дому, над которым в зелени пальм струился, шелкал на ветру красный двуххвостый змей, праздничное предновогоднее украшение из шумного, блестящего шелка.

— Здесь мы храним семена для посева, — сказал председатель, ступая под навес, подымая голову к пролому в кровле. — А это, — он указал на дыру, — это упала американская бомба, еще давно, когда они нас бомбили. Не взорвалась, а только пробила крышу.

В помещении на чистом, подметенном полу стояли весы. Два крестьянина, взяв за углы дерюгу, бережно опускали на весы тюк риса. Весовщица двигала гирьками, старалась поймать драгоценное, ускользающее равновесие. Учетчик писал в тетради. Горстка риса, несколько зернышек, просыпалась на пол, и учетчик быстро, цепко, словно птица клювом, сощипал с пола зерна, кинул их обратно в тюк.

Кириллов смотрел на куль, чувствовал сквозь мешковину незримую, но близкую, дышащую белизну риса. Ему казалось: на этих драгоценных зернах, пронесенных сквозь бомбежки «летающих крепостей», пожарища деревень, избиения землепашцев, на этих зернах тончайшим резцом записаны все обиды и беды, нанесенные народу. Но тем же резцом, той же искусной рукой начертан на зернах тайный рецепт исцеления. Брошенные в землю, они оплетут своими корнями могилы, уловят в легкие подземные сети все осколки и упавшие пули, превратят белую боль и беду в хлеб насыщенный, в грядущие неистребимые урожаи.

Его окружили крестьяне, и он расспрашивал председателя, учетчика, смуглых внимательных земледельцев о пахотных землях, о плодородии почв, о видах на урожай, о количестве рук и ртов, о тягловой силе и сохах. Он старался понять, как далеко отодвинулся голод, что неотложно нужно хозяйству, чтобы рис, пополнив запасы семян, накормив общину, пошел в города. Он думал о поставках техники, о тракторах, в которых так нуждался крестьянский подорванный мир, о новых плодоносных сортах, способных здесь, в благодатном для злаков климате, трижды в год давать урожай, о грядущем превращении полу-первобытных лоскутных наделов в житницу азиатского риса.

Он вдруг вспомнил плантации под Владивостоком на Ханке, зеркальные водяные квадраты, над которыми летал самолет, сеял с воздуха рис, а осенью разлапистые, на гусеницах, комбайны ходили по слякоти, оставляя на черной земле горы белоснежной соломы.

Они шли по селу, и в конце проулка Кириллов увидел тесно сдвинутую толпу. Подумал, что это митинг или богослужение. Люди, заметив председателя, расступились. На земле, в тени пальмы, на рассыпанной белой соломе лежала буйволица с огромным, вздутым горой животом, с бугрящимся в судороге боком. Запрокинула слезную глазастую морду, прижала уши. К рогам были подвешаны маленькие брелчащие колокольчики.

— Будет приращение стада, — сказал председатель, и лицо его, скупое и сдержанное, осветилось быстрой, короткой улыбкой.

Люди, окружавшие телившуюся буйволицу, помогали ей чем могли. Когда она начинала дышать, вываливая язык, открывая желтые зубы, переводя дыхание в тягучий, страдающий, пересыпанный звоном бубенцов рев, женщины вместе с ней начинали стонать, причитать, словно брали на себя ее муки. Когда судорога сжимала ее мышцы, катилась под кожей волной боли, мужчины напрягали плечи и бицепсы, словно отдавали ей свою мощь. Девочка с тонкой шеей, та, что носила на поле страшную мертвую ношу, была теперь здесь, держала над головой буйволицы широкий лист, защищая ее от солнца. Мальчик, из тех, кто был в сиротском приюте, откликаясь на звон бубенцов, гремел раскрашенным бубном. Здесь были и другие сироты, убежавшие со своих железных кроватей, и вдовы, оставившие свои горькие деревянные станы. И старый выбритый бонза в желтой хламиде с голым костистым плечом, длиннопальмы худыми ногами. Все ждали рождения теленка, связывая с его появлением уверенность в своем воскрешении.

Кириллов суеверно, почти молясь, забывая, кто он и зачем приехал, сливался в ожидании с толпой, болел за них, за себя, желая им и себе единого, общего блага. Смотрел на рогатого зверя. Там, где розовели соски и струнно, в сухожилиях, натянулась нога, вдруг возникли голова теленка с розовым маленьким носом, слившимися золотистыми ушами, крохотные костяные копытца. И вдруг, увеличиваясь, выскальзывая, выпадая на множество протянутых рук, родился теленок. И рев буйволицы, пересыпанный игрой бубенцов, слился с людским восхищенным гулом. Обнимались, пускались в пляс. Вдовы улыбались, охорашивались, оборачивались во все стороны. Сироты босоного топтались, норовя погладить теленка. Его положили на солому к голове буйволицы, и та, изможденная, умиленная, отражая столпившихся людей сиренево-темным, слезно блестящим глазом, лизнула теленка.

Председатель проводил их к машине. Положил на сиденье подарок — несколько зеленых кокосов.

Они пообедали в маленькой придорожной харчевне под открытым небом. Сидели за изрезанными щербатыми столами, пропитанными жиром и фруктовым соком. Наматывали на палочки нежные ворохи китайской лапши, отпивали из горячих чашек острых, переперченный красноватый отвар, похрустывая колечками лука. Солдаты штыками

раскупорили подаренные кокосы. Сок был сладок, охлаждал обожженный лапшой язык, а белая неспелая мякоть напоминала вкусом русский лесной орех. Солдаты, утолив голод, разрезвились, хохотали, подталкивали друг друга локтями, кидали обломками скорлупы в пальму.

Снова катили по дороге, напоминавшей нескончаемую трещину. Кириллов глядывался в окрестные, появлявшиеся нечасто селения. У обочин глазели на их автомобиль дети, маленькие, голопузые, любопытные, много детей, недавно обильно народившихся. Словно семьи, поредевшие во время недавних мытарств, торопились восполнить убыль, множились, плодились, отгораживались от перенесенных несчастий новой, не ведавшей этих несчастий жизнью. И не было видно стариков, не вынесших тягот — долгих маршей, каторжных трудов, болезней. Их, стариков, чьим присутствием дорожит и гордится любой народ, думал Кириллов, создаст теперь только время, состарив ныне живущее поколение, накопив в старцах уроки, заветы, и тем вернет нации мудрость.

Машина вдруг встала. Шофер, огорченный, выскочил и полез под капот.

— Что стряслось? — спросил Кириллов.

— Подача топлива!

Шофер долго громыхал чем-то, ремонтировал. Захлопнул крышку, вернулся. Пытался завести — безуспешно.

— А теперь что? — опять спросил Кириллов.

— Аккумулятор пустой. Стартер не работает! — ответил блестящий от пота шофер. — Толкать надо! — и, кивнув солдатам, уселся за руль.

Солдаты налегли на пыльный торец, тяжело тронули упирающуюся «тойоту». Сом Кыт, выставив вперед сухие руки, пришел им на помощь. Кириллов, выбрав рядом с ладонями Сом Кыта пустое, бархатное от пыли место, пристроился, надавил. Они вчетвером толкали машину, и Кириллов, видя свои белые руки рядом со смуглыми Сом Кыта, мельком всматривался в его близкое, нахмуренное в напряжении лицо, поразившее его недавно у сухого канала своей болезненной, пугающей бледностью. Сейчас оно снова было темно-коричневым, сдержанным, с твердыми от усилий скулами.

Двигатель стучал, заработал. Они снова катили по жаре, пропыленные, утомленные, ослепленные белым, равномерно жгущим солнцем, обдуваемые горячей струей ветра, приносившего запах душных болот и лесов.

Под вечер, после захода, по красной, как перец, пыли они въехали в Баттамбанг, одолев запруженный велосипедистами мост над зеленоватой недвижимой рекой. В сумерках подкатили к двухэтажному, в маленьком парке, отелю с дергающейся неоновой вывеской. Шофер поставил под деревья машину, вылез, усталый, разминая затекшие ноги. Кириллов увидел под соседними купами точно такой же, как их, белый вездеход, но с синим клеймом ЮНИСЕФ.

— А это кто? — спросил он Сом Кыта.

— Я узнаю, — ответил, помедлив, тот.

Служитель, раскланявшись, принял от Сом Кыта бумаги, что-то записал в раскрытую книгу, отвел их наверх, в номера. Кириллову — отдельный, поменьше, а остальным — общий, с выходами на открытую, вдоль всего фасада галерею на уровне темных древесных крон.

Кириллов, чувствуя предельную усталость, рассеянно оглядывал грубо выбеленную комнату, деревянную некрашеную кровать, с четырьмя нестругаными стояками, к которым была приторочена москитная сетка. Сломанный кондиционер, отсутствие в потолке вентилятора, не сулящие свежести сумерки — все увеличивало чувство усталости.

Ванна и умывальник бездействовали. Но под заржавелым душем стоял огромный глиняный чан с водой, в котором плавал железный таз.

Кириллов наклонился над чаном, слушая свое гулкое дыхание, легкий звяк о глину скользнувшего по воде тазика. Разделся, вымылся, стоя на кафельном нечистом полу, ополаскивая себя мутной водой, взятой, по-видимому, в реке.

Стало легче, вольней. Не вытираясь, разгуливал по номеру, чувствуя, как прохладно испаряется с тела вода. Побрился электробритвой, рассматривая свое сухое, с натянутой, запекшейся кожей лицо, светлые, скрывавшие седину волосы, невеселые, серые, вдруг горько сощурившиеся в отражении глаза.

Надел свежую рубашку, улавливая на ней легкий, сохранившийся запах утюга. Вышел на галерею и уселся за низкий столик, где уже стоял цветастый китайский термос и чашки. Пил бледно-зеленый теплый чай, наслаждаясь чистой омытого, охлажденного тела.

Неслышно подошел Сом Кыт, выбритый, в свежих одеждах.

— Я отпустил солдат и шофера, — сказал он, присаживаясь. Кириллов налил ему из термоса чая. — У шофера здесь родственники, и они пошли к ним поужинать. Мы можем поужинать в ресторане у рынка. Здесь недалеко, и мы можем пройти пешком. — Он аккуратно, с кивком благодарности, пригубил из чашечки. — Вы просили узнать, чья машина внизу. Здесь остановилась итальянка, представительница ЮНИСЕФа. Приехала позавчера из Таиланда. Собирает сведения о потребностях и нуждах района с целью оказания помощи.

Кириллов всматривался в две одинаковые, белевшие рядом машины. И подумав, что пора наконец после переживаний первого дня ближе сойтись с Сом Кытом, предложил:

— Дорогой Сом Кыт, не хотите ли перед ужином выпить? У меня есть водка.

Но тот со сдержанным кивком благодарности отказался:

— Благодарю, я не пью.

Они двинулись пешком от отеля по темным горячим улицам. В домах светились открытые окна балконов, люди, отдыхая, смотрели на улицу. Лучились, перемигивались маслянистые коптилки торговцев, освещающая жареных на сковородке рыбин, то зеленые связки бананов. Фасады с лепниной и узорные решетки балконов, некогда нарядные и игривые, теперь обветшали, шелушились, были завешаны сохнувшим бельем, вялыми, наподобие флагов, простынями. По невнятному совпадению запахов, желтоватых отсветов в окнах, лепных карнизов Кириллову показалось, что он находится в каком-то среднерусском летнем городке, быть может, Александрове или Касимове, и вот сейчас за углом увидит обвалившиеся торговые ряды с колоннадой, колокольню с остановившимися часами, ампирный особнячок, а в городском саду за штaketником дохнет сквозь сирень наивно и страстно духовой оркестр. Но с балкона, разрушая иллюзию, прыснула визгливая азиатская музыка, в длинных окнах за деревьями зажелтели развешанные одежды буддийских бонз, и где-то рядом печально, сначала редко, а потом учащаясь, измелькалась в коротких, торопящихся, тревожащих ударах, прозвенел монастырский гонг.

— Моя жена из Баттамбанга, — тихо и как-то внезапно сказал Сом Кыт, глядя на темную зелень куста, на решетку белого дома, и чувствовалось, что он что-то вспомнил, и вспомнил хорошее, и Кириллов был благодарен ему за приобщение к воспоминанию — к близне проплывшего дома, к розовому, за оградой, кусту.

Из-за поворота с воем сирены, с миганием фиолетовых вспышек выскочили трескучие мотоциклы. Седоки в белых шлемах, в военной форме мчали во всю ширину улицы, тесня велосипедистов и пешеходов. За ними, слишком низко, словно на просевших рессорах, прошумел широкий, с хромированным радиатором «бьюик». Процессия промчалась, оставляя пыль и гарь, повернула в освещенную зелень увитых плющом ворот.

— Председатель народно-революционного комитета, — сказал Сом Кыт и добавил, как бы извиняясь, успокаивая Кириллова: — Я отпустил солдат, у них тут родственники и друзья, но в городе совершенно спокойно. Нам ничего не грозит.

Они вошли в ресторанчик с верандой над откосом, сбегавшим к темной реке. У стойки, из пестроты бутылок, бесшумно, с выражением готовности, возник хозяин. Провел их на веранду, в прохладу, забегая вперед, успевая смахнуть полотенцем со стола несуществующие крошки. И прежде чем залюбоваться мерцавшей рекой, Кириллов, отодвигая стул, заметил через столик белолицую темноволосую женщину, европейку, в белой кисейной рубашке, красивую в отдалении, с тонким сильным носом, пунцовым ртом, с ярко блеснувшими на него, Кириллова, глазами. Рядом с ней сидел кхмер в очках, что-то быстро ответил на ее беглый вопрос, должно быть, о нем, Кириллове. Кириллов чуть поклонился, и она, кивнув, белозубо улыбнулась в ответ.

— Как я понимаю, ЮНИСЕФ на этот раз представлен не просто синей эмблемой, — сказал он по-французски, принимая от хозяина карту заказов. Он выбрал себе стейк по-английски, пиво со льдом, передал карту Сом Кыту. Отмахивался от летящих из тьмы крылатых термитов, падавших обильно на стол. Хозяин снова махнул полотенцем, сбивая слюдяных насекомых. Там, куда он махнул, была темная ночная река, и женщина в черно-лиловых одеждах, еще темней, чем вода и трава, медленно входила в воду, приседала без плеска, охватывала свои черно-мерцающие плечи длинными руками, и было не видно, но угадывалось, как ткань, намокнув, приняла ее гибкие, округлые очертания.

— Как будет по-русски «вечер»? — спросил Сом Кыт, глядя на реку и на красноватые веретенные отражения на той стороне, поколебленные купающейся женщиной.

— Вы изучаете русский? — удивился Кириллов.

— Я изучаю немецкий, английский, испанский и русский.

— Так много языков одновременно? Ведь это, наверное, сложно?

— Я должен скорее их выучить. Когда кончится международная изоляция Кампучии, и ее признают все страны, и она займет свое место в ООН, я надеюсь получить место в каком-нибудь посольстве в Европе.

— А может быть, в Советском Союзе?

— Штаб посольства в Советском Союзе и в социалистических странах укомплектован полностью. Но когда нас признает весь остальной мир, потребуется много знающих языки дипломатов:

— Какова же ваша первоначальная профессия, Сом Кыт? Как попали в МИД?

— Я преподавал историю в коллеже. После свержения Пол Пота в МИД набирали людей, знающих французский язык. Я знал французский язык. Так я попал в министерство.

И снова, как утром, когда он вошел в дом Сом Кыта, бездетный и тихий, и увидел беззащитное, умоляющее лицо женщины, ему опять почудилось некое сходство между ним и собой. Оба историка, оба изменили профессии, соединили свои усилия волею случая, двигавшего их из разных углов земли к этому тесному ресторанному столу.

Женщина медленно, словно грациозное водяное животное, колыбалась в ночной маслянистой реке, появлялась на красноватом волнуемом отражении. Итальянка за дальним столиком разговаривала со своим визави, чокнулась рюмкой и снова улыбнулась Кириллову.

— Дорогой Сом Кыт, — осторожно спросил Кириллов, — простите меня за вопрос. Я видел сегодня ваш дом, в котором не слышно детских голосов, как, впрочем, и в моем, бездетном... У вас есть дети?

И тот, чуть шевеля худой кистью, на которую, хрупко блестя крыльцами, сыпались слюдяные термиты, ответил:

— У нас было двое детей. Но они погибли. Нас разлучили. Жену погнали на северо-восток строить военную дорогу. Меня на север — пилить на болотах лес. А детей — младшему сыну было шесть лет, старшему двенадцать — куда-то сюда, на болота. Они умерли здесь, на пути в Баттамбанг, на прокладке каналов.

Кириллов молчал, чувствуя, как ноет, щемит где-то в глубине, под сердцем. Смотрел на смуглую руку Сом Кыта, по которой бежали и скользили термиты, одевая ее мерцанием. Тот резко стряхивал их, принимая от хозяина потную бутылку пива, миску с брусочками льда.

— А как будет по-русски «лед»? — спросил он Кириллова, наливая ему пива в стакан.

Они вернулись в отель с подмигивающей вывеской, вокруг которой роились мотыльки и термиты. Пожелали друг другу спокойной ночи. Кириллов направился было к себе, но спать не хотелось. Он выгнал из-под марлевого полога москитов, заправил кисею со всех сторон под тюфяк, вышел на галерею. Оранжевая, как буддийский монах, стояла над черными деревьями луна. Трещало, свистало в листе, на земле, в небесах несметное, незримое скопище, создавая своим равномерным, не имевшим направления и источника звуком иное пространство, геометрию ночного неправдоподобного мира.

Сквозь соседнюю полуоткрытую дверь он увидел лежащего под пологом Сом Кыта — полуголого, затушеванного кисеей, будто тот был в воде. Он читал, шевелил медлительными губами.

Кириллов двинулся по галерее мимо закрытых дверей, перед которыми стояли низкие столики, а на них отражали луну стальными крышками китайские термосы. В конце галереи сквозь черные ветви близких деревьев он увидел белую одежду, блеск бутылки, узнал лицо итальянки — белое, яркое в одной своей половине, обращенной к луне, с блестящим мерцающим глазом и темное, погруженное в лунную тень, с чуть видной искрой второго зрачка.

— Добрый вечер, — сказал он по-французски, не останавливаясь, а лишь замедляя шаг, готовый либо пройти мимо, либо откликнуться на приглашение присесть, оставляя женщине мгновение на выбор.

— Добрый вечер, — использовала она это мгновение. — Хотите выпить со мной?

— Интересно, что пьют путешественники из Европы после полуночи в странах Юго-Восточной Азии? — он присел на плетеный стул, наклонился к бутылке чинзано.

— Они пьют свою одинокую долю, — сказала она, и они рассмеялись дружелюбно и весело. Он назвал, налил обоим, вышил вино, всем своим видом показывая, как оно ему нравится, как он признателен ей за приглашение, за вино, за эту пустую веранду с оранжевой близкой луной.

— Меня зовут Лукреция Чикорелли, — сказала она, принимая его безмолвную благодарность. — Если вам интересно, я действую здесь от имени католического фонда в Париже. В прошлом месяце я побывала в Таиланде, а теперь вот здесь, в Кампучии. Я пыталась проехать к границе, но власти мне не позволили. Застряла здесь на несколько дней, завтра еду в Сисопхон, а потом возвращаюсь в Пномпень.

— Ужасные дороги, не правда ли? — он сочувствовал ее неудаче, ее трудной, объяснимой лишь одержимостью деятельности. Как бы вскользь, невзначай спросил: — Вы сказали — католический фонд? Простите, а кто его субсидирует? — Он знал, что подобные

фонды, озабоченные «кампучийской проблемой», как правило, субсидируются ЦРУ. Но хотелось услышать версию.

— Пожертвования, благотворительность, — сказала она. — Кое-что дает Ватикан. Наш фонд, если можно так выразиться, это фонд милосердия.

Давая ей понять, что расспросы не будут назойливы, не преступая известной черты, Кириллов закрыл на мгновение глаза.

— А что, — улыбнулась итальянка наивно и женственно, — что привело в такую даль вас? Вы — инженер? Военный? Какая-нибудь особая миссия?

— Да нет, никакой. Обычный журналист. Обычная журналистская миссия. Я еду в Сиенреап. Осмотреть Ангкор и Байон. Меня интересует состояние исторических памятников. Ведь многие при Пол Поте были разрушены. В тайландской печати то и дело появляются сообщения о том, что в районе Ангкора бои и часть барельефов и статуй пострадала. Это неправда. В Ангкоре спокойно. Я хочу осмотреть памятники, написать о работе реставраторов.

— И вы решили ехать в Сиенреап на машине? По такой ужасной дороге? Разве не нашлось самолета? — В ее улыбке был легкий упрек ему и за этот ответ, и за вопрос об источниках финансирования, легчайшая насмешка над ним.

— Самолет из Пномпеня летает не часто. Следующий обещали через неделю. Вот и пришлось машиной, — ответил он, как бы не замечая насмешки. И она, подобно ему, прикрыла на мгновение глаза, успокаивая его, заверяя, что и ее расспросы не будут докучны и она не нарушит этикета, не испортит игры.

Он снова налил вино, отгоняя от рюмок, ее и своей, маленькие крылатые искры — на стол из тьмы на блеск стекла все сыпались и сыпались беззвучно слюдяные твари.

— Вы сказали, что были в Таиланде. В какой же форме и кому ваш фонд адресует помощь? — Бутылка была влажной снаружи, а вино прохладным, видно, лежало на льду. — Вы, как я понимаю, проводите здесь рекогносцировку... Я хотел сказать, проводите анализ и поиск, — спохватился он, как бы извиняясь за употребленное слово, исправляя двусмысленность. — Естественно, вам хочется знать, в какой форме и куда наиболее эффективно вложить ваши средства. Именно это я имел в виду. — Он знал: продовольственная помощь с Запада вместе с боеприпасами, и почти одними и теми же каналами, попадает в военные лагеря Пол Пота, размещенные вдоль границы в Таиланде. Вооруженные банды, проникающие в Кампучию, нуждаются и здесь в складах продовольствия и оружия. — По-видимому, — продолжал он, — нужно очень аккуратно и наверняка вкладывать ваши средства. Иначе, а это уже, увы, случилось, продовольствие может попасть в дурные руки. Оно может достаться бандитам, будет способствовать не целям милосердия, как вы говорите, а напротив — пролитию крови.

— Да, да, вы правы! — она слегка наклонилась к нему, ослепив на миг белизной лица, а затем ушла в тень, словно заслонилась от него, и он успел разглядеть выражение испуга, сменившееся выражением почти искренней боли. — Вы правы, определенные силы в Таиланде делают все, чтобы наши одежда, зерно, консервы не попали к этим несчастным беженцам. Дай бог если половина доходит. А ведь эти бедняки находятся на грани голодной смерти. Вы не представляете, как сильна в тайландских кругах коррупция. На Востоке она вообще всегда была необузданной. Помню, в Пномпене мы возмущались казнокрадством, царившим среди государственных служащих.

— Вы жили в Пномпене? Знаете язык?

— Я жила в Пномпене, знаю язык. У меня там было много друзей. Видимо, все погибли. Я так хочу подольше задержаться в Пномпене, но боюсь, мне не позволят.

Лицо ее открылось лунному свету, стало моложе, ярче, как бы выплыло из прежней исчезнувшей жизни, из другого, неведомого Кириллову Пномпеня — без руин, без кладбищ мертвых машин.

— Я так и не успела почувствовать, какая обстановка в Пномпене. — Словом «обстановка» она как бы обнаруживала интерес к человеку, обладающему недоступной ей информацией. — Интересно, как чувствует себя интеллигенция при новом режиме? Да и есть ли она вообще, эта интеллигенция, в нашем с вами европейском понимании?

Он видел, ее интересовало наличие в Пномпене кругов, вернее остатков кругов той интеллигенции, чьи корни уходили на Запад, в Париж, Нью-Йорк. Она была разгромлена, эта рафинированная, жадная до наслаждений прослойка, сошла на нет после крушения Лон Нола и явления «красных кхмеров». Ее остатки бежали в Европу или ушли в Таиланд, находятся на дотации Запада. Ссорятся, ввязываются в поражения друг друга, деградируют на чужбине. Лучшая, наиболее жизнестойкая часть стремится вернуться на родину, способствовать ее возрождению. Отдельные реакционные ее группы с эфемерной военной структурой, вооруженные американским оружием, начинают входить в контакт со своими бывшими губителями, заключают сделку с Пол Потом. Кириллов понимал итальянку, но не выдал своего понимания.

— Вы знаете, — сказал он, — интеллигенция есть, и ее все больше. Она казалась совсем уничтоженной, но это не так. Многие, скрывая свою интеллигентность, рядились в простолюдинов. Теперь же, когда установилась стабильность, они понемногу обнаруживают свое истинное лицо. Оказывается, он не крестьянин, не подмастерье, а интеллигент. Появились учителя и чиновники, хотя по-прежнему не хватает врачей, инженеров. Но те, что есть, надо отдать им должное, работают с двойной нагрузкой. Что же касается власти, ее отношение к интеллигентам определяется их готовностью служить возрождению родины.

— Возрождению? О да! — Она благодарил за ответ, одновременно продолжая выпрашивать. — А как, скажите, обстоят дела со снабжением города? Верно ли, что по-прежнему нет резервов продовольствия? Что голод может вспыхнуть в любой момент, что возможны голодные волнения?

— Преувеличение! Про резервы не знаю, но рынок обилен. Мясо, рыба, птица — все что угодно! Хотя цены весьма высоки и доступны не всем. О голодных волнениях не может быть и речи. Муниципалитет нормирует продовольствие. Кроме того, он наделил жителей мелким скотом и птицей, и теперь — вам это, должно быть, трудно представить — в самом центре Пномпеня кричат петухи. Представляете, в районе Королевского дворца или Школы изящных искусств!

Она засмеялась, подняла изумленно брови, как бы представляя этот петушиный крик, продолжала расспрашивать:

— Я понимаю затруднения властей. Ну, положим, в столице в конце концов и удастся наладить регулярные поставки продуктов. Но в провинции? Вы сами могли убедиться, в каком состоянии дороги, мосты, связь. Вся инфраструктура разрушена. Нет складов, нет холодильников. Хотя — вы не знаете? — железная дорога Пномпень — Баттамбанг как будто действует? По ней иногда все-таки следуют поезда?

— Право, не знаю, — ответил Кириллов. — Это не моя забота. Моя забота — барельефы Ангкора, — и, желая переменить разговор, спросил: — А вы, наверное, бывали в свое время в Ангкоре?

И внезапно, срываясь из области умолчаний, уловок, оскальзываясь на тонкой невидимой грани, падая в свою усталость, женское одиночество, в разрушенное, истребленное прошлое, она яростно, зло сказала:

— В свое время? Да, в мое время я бывала везде! Я видела эту страну процветающей и счастливой! Конечно, вы скажете — и при Сиануке были казни, были жестокости. Но это пустяк. Он не казнил миллионами! У меня была прекрасная вилла, замечательные друзья! Я была счастлива! Я любила Камбоджу и кхмеров, их искусство, их веру. Я сочувствовала их стремлению к национальному возрождению, понимала их усилия, была готова им помогать! Быть может, Сиануку следовало бы уничтожить не сотни, а тысячи, тогда бы остались жить миллионы! Казалось, совсем недавно здесь, в Баттамбанге, у нас был праздник. Профессор Иенг Сисапон подарил мне серебряный буддийский сосуд. Его жена, танцовщица, танцевала ритуальный танец, осыпала нас лепестками роз. А сегодня мы разойдемся с вами по номерам без кондиционеров, без капли воды в кранах, и под пологом у вас, как бы вы ни старались, уже скопились москиты, эти ужасные твари!

Она прижала ладони к вискам, глаза ее блестели уже не злостью, не яростью, а слезами:

— Боже мой, боже мой! Мы с вами два европейца, два белых человека, мужчина и женщина, встретились бог знает где, в самом пекле Азии! На тысячу километров вокруг нет людей, способных понять вас, меня! Понять наши мысли, проблемы! А мы с вами вынуждены заниматься бог знает чем, говорить друг с другом бог знает как и о чем!

Она вдруг быстро, сильно положила свою ладонь на его руку, потянулась к нему, всматриваясь, дрожа слезным блеском, прекрасная, беззащитная женщина с неведомой ему в прошлом судьбой, с непонятной нынешней жизнью, бросающей ее в джунгли, на разбитые дороги, в запущенные придорожные харчевни, среди выстрелов и насилий. Она смотрела на него мгновение, ожидая ответного порыва, но он молчал, и она отняла свою руку.

— Да, вы правы, пора! Спокойной ночи! — Она встала, пошла, высокая, в белых брюках, в белой кисейной рубашке, неся на спине чернильную живую волну волос. И Кириллов провожал ее как бы двойным, расслоившимся зрением: старался запомнить, понять услышанную от нее информацию и сострадал ей, винился, что не умел разгадать ее драму, еще одну в этой истерзанной, охваченной борьбой стране.

Он лежал под пологом без сна, улавливая сквозь марлю чуть слышное дуновение прохлады, окруженный волнистым свистом, достигавшим пронзительной громогласной вершины и вдруг смолкавшим. Думал: рядом за стеной не спит Сом Кыт, а через несколько номеров под такой же москитной сеткой не спит итальянка. И все они погружены в этот свист насекомых, в лунную ночь, в единое, омывавшее их время, ежесекундно снимавшее с каждого тончайший слой жизни. И это роднящее их исчезновение, казалось бы единственно важное, толкавшее их всех в одну сторону — друг к другу, а потом в никуда, даже оно не в силах одолеть отчужденности, спокойной и дружелюбной, как у него с Сом Кытом, утонченной и нервной, основанной на недоверии, как с итальянкой. Лишь мгновенная вспышка, порыв, как этот недавний, на который он не ответил...

Он лежал, думал. Вот он, Кириллов, сорока лет от роду, журналист и ученый, всю жизнь решал две задачи. Одну, явную, предмет его научных изысканий, — о мире, включенном в борьбу и конфликты, в непрерывное движение истории. И другую — о себе, вовлеченном в проживание жизни, конечной, временной, которой суждено оборваться. Рождение, взросление, мужание, потери любимых и близких, свет, дарованный ему в Троицком неизвестно за что. Любовь к жене, их бездетность. Их глубокая общность и связь, сочетавшая их с вещей, мучительной силой, связь, в которой — он этого не мог объяснить — присутствует их общая смерть. Он решал эти две задачи.

Одну о мире — умом, трудолюбием, волей, изучая огромную машину политики, в которой, наподобие редуктора, вращались маховики и колеса держав, искрились, скрипели и сталкивались, обкалывались в гранях, зубцах. И другую — той неясной, не имеющей названия сущностью, душой, где живут отчаянье, боль, изумление, ожидание гармонии, счастья, ожидание повторения чуда — того деревенского утра, в котором он некогда жил.

Он берет в сенцах свои красные широкие лыжи с припоями вчерашнего снега. Оглядывается на приоткрытую дверь в избу, где в сумерках усмешается, светится глазами, губами ее лицо. Чувствуя ее за спиной, сходит с крыльца. Ставит на сугроб, в старый накатанный след свои охотничьи, похожие на лодки лыжи. Устраивает мешок за спиной, где одиноко болтается колотушка клейма. Набирает поглубже воздух и падает, как в воду, в легкий счастливый бег, невесомый — из скрипов, скольжений, из коротких ожогов внезапной, срывающейся из-под лыжин метели.

Пробегаёт селом, отворачивая от мохнато-промороженной церкви, от колхозной конторы, где пышут дымками столпившиеся бригадирские «газики». Перескакивает через осевшую, заваленную сугробами изгородь, услышав, как хрястнул в глубине мерзлый кол. Шлепаясь плоско вверх по горе, на мгновенье прилипая к склону. Отдуваясь паром, входит под елки, где внизу — синие тени, беличий сор, аверху — горячие гроздьи шишек, легкие стуки невидимого в солнечном дыму дятла. Выскальзывает из-под елей на выпуклое, прекрасное поле, огромное под небесами, окаймленное бором, дорогами, пересыпанное слядой лисьих следов. Несется на лыжах, почти не касаясь земли.

Замедляя бег, подкатывает к торчащим из-под наста сухим заиндевевшим соцветьям. Огненный клин лыжи останавливается перед зонтичным стеблем, хрупким, пересыпанным легчайшей белой пудрой. Он восхищается, любуясь совершенством его строения, зажигая смещением зрачка красное, зеленое, золотое мерцанье. Цветок пережил недавнее лето, прилеты шмелей, куренье пыльцы, умер, но родился в другой, зимней, кристаллической жизни и теперь несет в своих легких конструкциях знание о морозных, малиновых восходах, блистающих черных ночах. Маленький беззвучный божок, к которому он подкатил на лыжах, чтобы поклониться ему, молить суеверно: пусть сбережет и его и Веру, сочетает их среди этих снегов и метелей.

Он скользит сквозь сухие, торчащие из-под снега соцветья. Наезжает на них, ломает с чуть слышным звоном. Удар лыжи в ломкий стебель. Сбитый иней, лишенный каркаса, еще хранит одно мгновенье контур цветка и осыпается мелким блеском. Лыжа переезжает поверженный, словно черным резцом начертанный стебель.

И вдруг из-под лыж — взрыв, удар, взвинченный снежный буран. И в этом размытом вихре возникает распластанное изображение зайца. Прижатые уши, растопыренные когтистые лапы, бугор лохматой спины. Зверь в прыжке оглянулся на него круглыми, не испуганными, а хохочущими глазами. А он, с колотящимся сердцем глядя на воронку в снегу, оставшуюся под красным полозом, успевает подумать, что и в зверином хохочущем лике, и в поле, и в недавнем серебристом цветке — во всем этом как-то живет ее лицо, любимое, бело-алое.

Он ломится напрямик сквозь плети орешника на гул голосов, на стуки и хрусты, на запахи дыма. Поляна утоптана, в ворохах обрубленных сучьев — два сине-дымных бледных костра. Скрипит и лязгает близкий невидимый трактор. Мужики по двое обминают снег у берез, машут топорами, выкалывая из стволов желтые, как сливки, ломти. Враскоряку, приблизив к снегу красные жаркие лица, держат на весу бензопилы, погружают в комли их звенящие вихри. Вых-

ватывают вибрирующую зубчатую сталь, когда береза начинает креститься, и вот, зачерпывая из небес жидкий ковш синевы, она хлещет ударом по снегу, подпрыгивает и пружинит. И другие лесорубы ловко, весело подбегают к поверженному дереву, начинают стесывать сучья, блестя топорами, поругиваясь и покрикивая.

Лесники видят его, машут, подмигивают синими хмельными глазами. Их двое. Сергей Полуниин из Троицкого, долговязый ходок, работник, себе на уме. Его новый, недавно поставленный дом, словно сбитый из яичных желтков, красуется в центре села, пахнет смолой, коровой, железом и смазкой упрятого в сарай мотоцикла, блестящей сталью нержавеющей цепи, на которой рвется клыкастый жаркий кобель, когда красивая молодая хозяйка выносит дымную миску с похлебкой. Другой лесник, Одинокоев Сашка, вечно в подпитии, растерзанный, на одной пуговице, с легким сорочьим скоком, балагур, матершинник, гуляка, пропадающий по неделям из дома, бражничающий по окрестным деревням, пешком, без собаки, по пороше, по следу и запаху находящий зайца, бьющий сквозь хмель без промаха из разболтанной, брызгающей во все стороны пламенем «тулки».

Оба рады его появлению. Зовут за собой, торопят достать клеймо. Заговорщически кивают на пильщиков, на лошадь в санях, где под соломой припрятана водка и домашнее сало.

Подходят к свежесрезанным пням, осыпанным опилками. Березы, расчлененные на дровины, снесены в высокие поленницы, стоящие словно срубы. Он извлекает клеймо, прицелясь, бьет, чеканя на пне звезду, чувствуя затихающий в пне удар.

— Рубль удар! — торопят его лесники. Он рад их понуканиям, артельному, на поляне, труду, в котором и ему теперь место.

Они обмеривают поленницы, принимают содеянную лесорубами работу. Бригадир, здоровенный белесый мордвин, складным метром ощупывает дровины, плутовато ухмыляется лесникам, округляя недостающие верхки. А он, махая клеймом, делает вид, что не замечает его плутовства, его копеечной выгоды.

Собираются все к саням, круто дыша паром, откладывая бензопилы, вгоняя в стволы топоры. Тракторист в мазутной робе отирает о снег масляные черные руки. Достают бутылки и сало, одинокий драгоценный стакан. Наливают, пускают по кругу. Задрав кадьки, выпивают, похоже вытираясь ладонью, быстро хмелея, заговаривая разом бестолково и радостно.

Он отказывается от водки, удаляется от их голосов и запахов, идет мимо трактора, уткнувшегося в сугроб, мимо лошади с рыжими глазами к костру. Костровище с пепельной жаркой начинкой протопило снег, разметало вокруг себя розоватые обгорелые веники.

В поваленной березе торчит топор, вонзив в ствол блестящий мысок, храня короткий взмах вогнавшего его лесоруба. Вовлекаясь в этот исчезнувший жест, он выдергивает из ствола литой, по руке инструмент, обрубаем сучья. Двигается вдоль ствола от комля к вершине, отсекая белые, а потом темно-розовые ветки. И вдруг, подумав о ней, поджидающей его за лесами, испытал такое волнение и нежность, что прижал ледяной топор к горячей щеке, словно хотел в своей щедрости и любви оживить и согреть разящую сталь.

Оставил за собой вечеряющую поляну с галдящими пильщиками. Вышел на гладкую, накатанную добела дорогу, в которой блестяли золоченые струйки соломы, румянились на елях высокие шишки, тихо посвистывали, перелетали с ветки на ветку синицы.

Он шел по дороге, тянул за собой на веревочке лыжи, и они колыхались послушно, постукивали на ледышках. Не было усталости, каждый шаг был сильным, свободным. Не было и мыслей, а в душе жило только ощущение своей воли, молодости. Дорога, безлюдная, казалась бесконечной в обе стороны, и, идя по ней, проложенной кем-

то словно для него одного, он благодарно следил за крохотной перелетающей в вершинах птахой.

Его нагнал грузовик. Знакомый шофер затормозил, приглашая в кабину. Он хотел отказаться, продолжить свой одинокий путь, но передумал, согласился, не желая обидеть шофера. Сел не в кабину, а запрыгнул в обмороженный кузов, где лежал в ледяном обнаженном блеске лом. Встал, ударив по кабине ладонью.

Мелькали ели, жег, свистел ветер, выбивал из глаз длинные слезные искры. Грузовик выскочил из леса на гору, и он вдруг вознесся над огромной родной предвечерней далью, где мерцали в заре деревни, белели колокольни, стояли над речками ветлы. И в глубоком остановившемся вздохе, в счастливом перебое ставшего необъятным сердца он почувствовал, как вырастает до неба, исполненный силой и счастьем, обнимает весь мир, царит в нем, но не грозно, не властно, а ликующе: он есть и был в этом мире всегда, никуда не уйдет вовек, и смысл его бытия — в этом недвижимом, из мощи и любви озарении.

Теперь, когда он думал о своей больше чем наполовину прожитой жизни, казавшейся прежде неповторимой, с единственной, только ему на роду записанной судьбой, он обнаруживал, что жизнь его своими основными чертами, своими поворотами и изломами схожа с жизнью остальных современников, несет в себе приметы послевоенного, мирного течения лет, когда целое поколение, потеряв на войне дедов, отцов, взросло, возмужало в благодатное, не ведающее бойни время. Наговорилось, налюбилось, надурачилось, нафрондировалось, насладились трудами и праздностью, учеьем и битьем баклуш, напутешествовалось за Урал, за Дунай, в Африку и в крохотные русские городки, не тронутые переменами, белеющие церквями за лесами, за реками. На неповторимость его судьбы всеобщая жизнь страны, поколения отложились общими для всех веками. Так было с целиной. Так стало и с армией.

Он, гуманитарий, изучавший в университете историю, был призван ненадолго в армию, разлучился с женой, с Москвой, был ввергнут в новый суровый опыт, выведивший его молодой интеллект на предельные рубежи, связанные с пониманием хода всемирной истории, своего в ней места. Чем тяжелей, изнурительней — лопатой, топором, молотком — была его работа, тем ярче были вспышки прозрения, подвигавшие его разум навстречу грозным вопросам века.

Они жили в одноэтажной казарме, среди чахлах, начинавших желтеть лесов.

Ночь. Он дежурный. Ровный двухъярусный строй железных кроватей. Спящие лица солдат. Мир в копошащихся сонных звездах придвинут к грозной черте. И он своими обветренными, почерневшими от железа руками, своим любящим сердцем охраняет мир от беды. Встает между миром и гибелью. Заслоняет собою мать, Веру, ту темную, с синей сосулькой арку, где целовал ее в свой короткий приезд в Москву, красно-белый фасад Третьяковки, куда когда-то вела его мать.

На болоте в торфяниках случился пожар. Пламя спалило сухие травы, смолистое сосновое мелколесье. Прогрызло в торфе красные дыры, ушло в глубину, стало глодать подземные пласты, двигаясь, вырываясь огненными протуберанцами. Их бросили на тушение пожара. Бульдозер выворачивал тяжелые дымные корни заваливал огнедышащие ямы. Водитель, очумевший от дыма, кашлял, пил из ведра холодную воду. Они с лопатами двигались на стену огня, отсекая его от сухой луговины, где в дошатах сараях лежало имущество подразделения. Офицер направлял их хрупкую цепь, и он, подчиняясь приказу, вытирая едкие слезы, отплевываясь от песка и праха, шел, как в атаку, страшась, одолевая свой страх, обегая красные

раскаленные проруби, думая, что вот так же бежал в атаку отец. Погасили пожар. Ком горящего торфа обжег ему спину. Он лежал с волдырем в лазарете, мучался от боли, бессонницы. Писал жене бесконечное, на многих страницах письмо. Вспоминал, умолял, мечтал о близкой их встрече, переводя свою боль в нежность, мольбу. Она откликнулась, появилась, невидимая, в палате, присела у его изголовья, положила на ожог белый снег с той давнишней лесной поляны.

Глава третья

Утром он проснулся от рокота двигателя, голосов, смеха во дворе отеля. Не одеваясь, выглянул на галерею. Итальянка в дорожном комбинезоне усаживалась в машину. Бодрая, энергичная, с алыми смеющимися губами, прощалась с кампучийцем в очках, готовая продолжать свой путь, свой неясный Кириллову труд. Захлопнула белую дверцу с синей эмблемой, прикрывшись ею, как щитом. «Тойота» мягко покатила на улицу, затормозив у ворот, пропуская шеренгу солдат.

Появился Сом Кыт, сдержанный, аккуратно одетый, и Кириллов был рад его появлению. Вспомнил вчерашний разговор в ресторане, растерялся, не умея выбрать верный, свободный от сострадания тон. И по-русски сказал:

— Доброе утро.

Сом Кыт улыбнулся темными лиловыми губами с едва заметной, померещившейся благодарностью, ответил по-русски:

— Доброе утро.

Им предстояло сегодня несколько визитов и встреч. Первым было посещение недавно пущенного кирпичного заводика, почти кустарного «первенца баттамбангской индустрии», как пошутил про себя Кириллов, отлично понимая при этом, сколь важен для разрушенной экономики края сам этот первый пуск.

Сом Кыт достал клеенчатую тетрадь, куда был занесен график встреч. Рассказал Кириллову биографию директора завода Совангсона, с которым предстояла беседа. Инженер, обучавшийся прежде в Париже, он избежал истребления, скрыв свою профессию и истинное имя. Назвавшись простым ремесленником, работал на рубке леса и выжил. После крушения полпотовского режима сам явился к новым властям, предложил свои услуги. Ему поручили восстановление кирпичного производства, ибо жилища, больницы, школы лежали в развалинах и кирпич ценился, как хлеб. Совангсон, еще дистрофик после каторги, еще с приступами лихорадки, собрал голодных, не знавших города и кирпичного дела крестьян, сумел обучить их делу, сумел вдохнуть силы, сумел через срывы и нехватку материалов пустить первую печь, дать провинции первый кирпич. Сейчас он — близкий друг председателя Народно-революционного комитета, о нем знают в Пномпене, приглашают на работу в столицу. Он — перспективный человек, у которого большое будущее.

Кириллов переносил в свой блокнот из клеенчатой тетради Сом Кыта сведения о директоре, с интересом ждал этой встречи.

Они встретились с директором Совангсоном в маленькой конторке при заводе. Директор, с черной европейской бородкой, в очках, с почти полным отсутствием ритуальной восточной вкрадчивости, усадил Кириллова напротив себя, кратко приветствовал, сказал, что рад помочь чем может.

— Вы — ведущий инженер и, видимо, как никто осведомлены о хозяйственных проблемах провинции, — начал Кириллов, испытывая острый интерес к собеседнику, стремясь разгадать в нем оптимиста, работника, одолевшего в себе и в других безнадёжность, апатию. — Вы, по-видимому, представляете экономическую структуру

района, его потенциал, ориентацию. Мне бы хотелось услышать, как идет возрождение. Какие проблемы вам, инженеру, хозяйственнику, приходится решать?

Директор заговорил не сразу, словно пробегая мыслью по пространству провинции, где некогда на цветущих плантациях зрели плоды и злаки, работали заводы и фермы, пульсировали дороги и высоковольтные линии. Теперь многое из этого все еще ржавело и гнило, зарастало мхами и травами, нуждалось в спасении. Морщины на бледном директорском лбу сложились в мучительный ломкий чертеж.

Он перечислял наизусть, будто читал по списку, названия заводов и ферм, которые готовились к пуску, говорил о станках и моторах, о мощностях трансформаторов и электрогенераторов, о протяженности дорог, о нужной для их восстановления технике, о профтехучилищах, где крестьяне, знающие лишь деревянные сохи и ступы, должны превратиться в сварщиков, шоферов, дорожников.

Кириллов быстро писал, чувствуя, что эти сведения есть часть продуманных экономических выкладок, излагаемых языком эрудита.

Директор, пустивший крохотный кустарный заводик, который чавкал за окном мокрой глиной и оглушал ревом волов, криками погонщиков, изложил свой взгляд на индустриальное возрождение страны, возрождение, ориентированное на соседние Вьетнам и Лаос, на Советский Союз и соцстраны, основанное на обмене, на взаимной выгоде, гарантированное стремлением людей, ресурсами вод и земель, возможностью экспорта продовольствия и минералов с удобными выходами в океан.

— Я не фантазер, я прагматик. Я занимался во Франции горным делом и машиностроением. Я приспособлял мои знания к той действительности, которая складывалась при Сиануке и Лон Ноле. Теперь в Кампучии иная действительность, и я размышляю над моделями, возможными в этой действительности.

Кириллов, отрываясь от блокнота, встретился с его глазами, умными, острыми, пронизательно мерцавшими сквозь очки. Его губы шевелились энергично, уверенно. Это был инженер, особый тип человека, в котором главное — любовь к механизмам, исследование их, одинаковых на всех континентах. Но в этом кхмере, привлекавшем своей эрудицией, Кириллова интересовало другое. Как глубок его социальный выбор? Насколько он верил в социалистический путь Кампучии? Кто он — человек, прошедший сквозь ад лагерей, сломанный в прежних идеалах и верованиях и лишь вынужденный служить победителям? Или, напротив, его идеалы и верования были той силой, что провела его живым через ад, помогает действовать и творить в новой победившей реальности?

— Мне приятно, что в вашем лице я имею дело с оптимистом,— Кириллов пробирался сквозь экономические постулаты и термины к сущности собеседника, пытался нащупать ядро его личности.— Сегодня в Кампучии все больше оптимистов. К народу возвращается вера, надежда на благо. Хотел бы я знать, что помогает лично вам сохранить оптимизм?

И директор, понимая его, облегчая его задачу, улыбнулся:

— Инженеры вообще оптимисты. Они привыкли считать и думать. Моя профессия не дает мне впасть в уныние. Она, профессия, спасла мне жизнь. Там, в лесу, охранники не позволяли нам петь, говорить, даже думать. Угольком на стене лачуги я писал математические формулы, и это сохранило мой интеллект от распада. Дожди заливали наши бараки, пол превращался в гнилое зловонное болото. Я придумал сток для воды, мы осушили барак, избавились от лихорадки и язв. На корчевке мы вручную выдирали пни, надрывали себе жилы и умирали. Я сделал элементарное — из веревки и слег — уст-

ройство, и оно спасло наши кости от переломов, а мышцы от разрывов и растяжений. Я построил ловушки наподобие силков и капканов, в них иногда попадались полевые зверьки и птицы, и голодная смерть меня миновала. Инженеры — оптимисты, потому что они знают, как взяться за дело. Очень важно, чтобы у нации было достаточно инженеров.

Он улыбался и одновременно оставался серьезным. Он подшучивал над собой, приглашая и Кириллова к шутке, но говорил о вещах сокровенных, касавшихся жизни и смерти. Кириллов, встречавший немало примеров лицемерия и фальши, привыкший сомневаться, перепроверять многократно, верил своему собеседнику.

— Вы сказали о нации. Но для того, чтобы она жила, ей мало одних инженеров. В ней должно присутствовать нечто еще.

— Да! — перебил директор Кириллова. — В ней должна присутствовать вера! Вера нации в свою жизнестойкость. В то, что насилие не вернется, Пол Пот не вернется. Что людей не погонят в неволю, не отнимут у матери ребенка, не отнимут у жены мужа. Что дело, к которому их теперь призывают, не обернется бессмыслицей, гибелью, как те раскорчевки, уже зарастающие джунглями, как те каналы, по которым не может течь вода. Мы, кхмеры, нуждаемся сейчас больше всего в доброй мирной работе, дающей нам пропитание, заслоняющей от пережитого ужаса. Вот почему я решил во что бы то ни стало пустить кирпичный завод. Я больше всего боялся, что люди, увидев, как дело наше не клеится, печь не горит, кирпич при обжиге раскалывается, боялся, что они утратят веру, разбегутся, снова превратятся в нищих, бродяг. Я был и директор, и инженер, и монах, и учитель, и брат. Я был первым среди них и последним. У меня не было ни мастеров, ни топлива, не было ни мастеров, ни рабочих. Я собрал весь мой опыт, весь опыт страшных лагерных размыслений над судьбой моего народа. Сообща, голодные и босые, вот этими руками мы пустили заводик. Когда-нибудь после, я знаю, мы будем пускать большие заводы, отправлять из Кампонгсома большие корабли, полные зерна и товаров. Но это, уверяю вас, нам будет сделать легче, чем было пустить вот этот маленький кирпичный заводик!

Кириллов кивал, соглашался, дорожил возможностью видеть верящую, стойкую духом личность. В нации, которую стремились убить, оставался и жил фермент, служивший гарантией жизни. Сохранился тип человека, знакомый ему по родине, человека, готового — вопреки всем бедам и тяготам — творить и строить. Возводить города из пепла. Подымать со дна корабля. Действовать вопреки убивающей логике смерти, неся в себе логику жизни.

— Я, наверное, вас утомил, — извинился директор. — Я расхваливаю мое детище, будто это атомная станция или космический корабль. Вовсе нет! Прошу! Приглашаю вас осмотреть производство!

Огромный, сколоченный из дерева чан, похожий на громадную бочку, стучал, сотрясался, сочилась сквозь щели коричневая глиняная жижа. Быки, впряженные в деревянные, уходящие в чан мешалки, шли по кругу, вздувая загривки, ревели, стонали от тяжести. Погонщики били их по бокам, понукали, скалились, сами очумелые, яростные. По дощатым желобам в чан бежала вода, сыпался бурый песок. В недрах чавкала глина, проворачиваемая незримыми лопастями, взбухала, пузырилась в невиланном деревянном реакторе, работающем на энергии бычьих сердец. Быки, пенно намылив ярмо, скользя копытами по жиже, надрывались, крутили грохочущий вал, словно земную ось, поддерживая вращение земли. Погонщики, закатав по колено штаны, тонконогие, грязные, визгливо, истошно вскрикивали, не давая быкам передышки, не давая земной оси замереть и застыть, двинуться в обратную сторону.

Созревшее месиво глины в лопающихся парных пузырях сползало на мокрые железные листы, дышало, готовое к лепке, готовое при-

нять на себя оттиск человеческих рук, восстать из мертвого праха или, не дождавшись оживления, опасть и осесть черствой грудой, не возрожденной чудом материей.

Рабочие совками врзались в глину. Отхватывали сочные доли, кидали их в формы. Встряхивали, тасовали, дергались головами, плечами, словно вколачивали в глину отпечатки лиц, ладоней, притоптывали голыми пятками, ходили в шаманском танце, заговаривали меси-во, замуровывали в нем свои беды. Мальчик с деревянным клеймом метил круглой печатью каждый подготовленный кирпич.

Бесчисленные ряды кирпичей сохли на железных листах, испаряли влагу, туманили пространство. И сквозь их живое дыхание струилась и плавилась даль, колебался и расслаивался город, двоилась и подымалась в небо дорога, и велосипедист в синей шапочке парил, не касаясь земли. Казалось, все держится на зыбкой неверной грани, готовое испариться, исчезнуть, превратиться в мираж, обнаружив после себя пустоту.

Печь, как глазастый, многолапо упершийся в землю дракон, раскрывала огненный зев, высывала раздвоенный красный язык, качала загнутым дымным хвостом, глотала жадно ломти, проталкивала их в свое сводчатое раскаленное чрево. Истопник просовывал в печь длинный железный прут, словно бил и колот дракона, и тот хрипел и взывался от боли. Дух огня, обжигающих летучих стихий касался глины, превращал ее в легкую звонкую твердь, готовил ее к созиданию, воплощению в храмы и пагоды, дворцы и людские жилища, в непрерывно возводимый в мире чертог, куда каждый в свое время и час, перед тем как уйти и исчезнуть, вложит свой малый кирпич.

Горячие, поспевшие, как хлебы, кирпичи выходили на свет. Смугло-телесные, золотистые, они остывали под ветром. И уже подкатывали телеги, запряженные волами. Грузчики бережно клали кирпичи на телеги, накрывали их тканями, выезжали на дорогу, ведущую в город.

Несколько кирпичей упало на землю. Грузчики бросились их подбирать. Директор наклонился, поднял кирпич, положил его рядом с другими. Сом Кыт поднял и положил. Кириллов взял с земли теплый, сухой, слабо прозвеневший кирпич, положил его в общую кладку. Подумал: этот кирпич с крохотной, заключенной в круг эмблемой Ангкора захватил в себя и его, Кириллова, прикосновеенье. будет хранить его, коптясь в очаге крестьянского дома, введет в соприкосновение с другими неведомыми людскими жизнями.

С Сом Кытом они посетили художника Нанг Равута. Один из немногих интеллигентов, уцелевших после избиений и чисток, он слы теперь местной знаменитостью. Кириллов помнил, каких грудов стоило правительству открыть в Пномпене кинотеатр, собрать театральную труппу, наладить выпуск газет. Он хотел понять, чем же дышит культура в провинции и есть ли ей чем дышать, сохранились ли люди культуры.

В ателье художника двери были распахнуты на улицу, на жару, где дребезжали велосипедисты, гоняли голосащие дети, и всякий проходящий мог заглянуть в мастерскую.

Художник, как маленький бронзоволикий божок, спустился к ним по стремянке откуда-то сверху, голый по поясу, мускулистый, с ершистой седой головой. Держа пятнистую палитру и кисти, поклонился им. Сом Кыт представил Кириллова, объяснил цель визита, а Кириллов тем временем разглядывал огромное, уходящее к потолку панно, над которым трудился художник.

На обширном холсте грубо, бегло и хлестко была намалевана карикатура — группа разномастных, кривляющихся кукол, и над каждой были выведены их имена. Толстолицый, смазливо-отталкивающий Сианук. Маленький плотоядный Лон Нол. Ушастый, клыкастый, по-

хожий на кабана Пол Пот. В цилиндре, в штиблетах, с козлиной бородой дядя Сэм. На теле каждого был нарисован круг с темной сердцевиной наподобие яблочка мишени.

— Этот стенд заказал мне муниципалитет,— художник пришел на помощь Кириллову.— Такой же стенд я сделал для Сиенреапа, там не осталось своих художников. Скоро, вы знаете, мы празднуем Новый год. Эти стенды будут установлены в местах народных гуляний. Люди будут целиться в эти мишени стрелами, дротиками. Это их развлечет.— Он замолчал, изучая гостя, желая убедить, что этот нехитрый, на потребу минуте, труд правильно понят.— Мне часто приходится рисовать агитационные плакаты. Может быть, вы видели на рынке плакат, призывающий соблюдать гигиену, не пить сырую воду? Или при въезде в город, у моста, призыв не сорить, убирать дворы и подъезды? Сейчас это очень насущно. Люди, поселившиеся в городах, не знают грамоты, не умеют читать, и многое приходится им объяснять изображением, рисунком.

Кириллов сравнил его поденную, яростно-небрежную работу с теми агитками и плакатами, что явились в революционной России, были мгновенным отблеском схватки, на своих ярких, похожих на кляксы листах запечатали резкое членение мира. Здесь, на этом холсте, действовала та же эстетика, металась та же кисть вовлеченного в борьбу искусства, занятого черновой, неблагоприятной работой на рынках, в казармах, в больницах.

— Но помимо этих у меня есть и другие работы. Я их мало кому показываю. Они о том, что было с нами недавно, исчезло из жизни внешней, но здесь, внутри,— он дотронулся до груди,— здесь оно осталось. Эти рисунки я посвятил тем, кого нет сейчас с нами, кто не может говорить. Я говорю за них.

Он раскрыл широкую папку, стал выкладывать один за другим листы, на которых черной тушью были нарисованы сцены избиений и пыток, горящие храмы и хижины. Впряженные в оглобли женщины волокли по болоту тяжелые сохи и бороны, и надсмотрщики били их плетью. Вереница согнувшихся, закованных в колодки людей падала в яму под ударами мотыг, один за другим, будто фишки домино. Вздернутый на дыбу мученик раздирался огромными клещами. Поверженный монах подставлял палачу свою бритую голову, и тот вгонял в нее громадный гвоздь. Все рисунки были оружие, стенающие, похожие на бред. Они сыпались из папки, наполняя мастерскую своим сверхплотным страданием, устремлялись, как духи, в квадрат растворенных дверей, в город, наружу, словно хотели вернуться в мир, откуда они были изъяты. И художник, зная их сокрушительную, ранящую силу, собирал их обратно в папку, заслонял своим маленьким телом улицу, велосипедистов, детей. Затягивал на папке тесемки, упрятывая виденные и пережитые ужасы.

— Мы все слишком много страдали. Мы измучились и ожесточились в страданиях. Мы привыкли к слезам, к плачу. Наши сердца превратились в камни. Сейчас нам нужно проповедовать умягчение сердец. Художник должен вернуть человеку сердце, вернуть добро, красоту. Я стремлюсь это делать в моих работах.

Он открыл другую папку, и, отрицая предшествующую, в ней возникли разноцветные, нарисованные в старинной буддийской манере, с обилием золота и лазури, танцовщицы, наездники, пагоды, улыбающийся под деревом Будда, хлебопашцы у розовых длинноногих волов, женщины, несущие младенцев. И не верилось, что этот разноцветный рай существует в той же душе, где чернеет и корчится оружием столик ад.

— Если вам интересно, у меня есть еще работы, скульптурные. Подойдите сюда! — он поманил Кириллова в дальнюю часть мастерской, к плотно затворенным дверям.— Послушайте!

Кириллов прислонил ухо к двери. За тонкой переборкой услышал мерное, тихое шелестение, похожее на морошенье дождя или слабое, без пламени, тление.

— Что там? — спросил он.

— Мои скульптуры. Быть может, вы слышали, при Пол Поте меня схватили и хотели казнить. Охранник спросил меня, кем я был на свободе. Он всех для чего-то спрашивал перед тем, как отправить на казнь. Я сказал, что был художником. Тогда он спросил, смогу ли я сделать скульптуру. «Кого?» — спросил я. «Пол Пота», — ответил он. Я сказал, что смогу. Взял фотографию Пол Пота и, сверяясь, вырезал из древесного ствола скульптуру. Она им очень понравилась. Они оставили меня жить, но заставили вырезать скульптуры Пол Пота одну за другой, много скульптур. Я вырезал, а сам думал — неужели мое искусство должно воспевать воплощение смерти, того, кто отправил на смерть моих друзей и родных, моих учителей и учеников? Неужели я моим искусством сохраню для потомков голову и лицо, которое я ненавижу, и он, убивший столько, благодаря мне переживет и нас всех и себя самого, как знаменитые каменные лики Байона? Нет, думал я. Я выбирал для скульптур то дерево, которое уже было подпорчено жуками-пилильщиками, в котором уже поселились термиты. Я знал, что они сделают свое дело. Я вырезал много скульптур. Некоторые из них у меня. Посмотрите!

Он отворил дверь. В сумерках, по углам, большие и малые, некоторые в рост человека, стояли головы и бюсты Пол Пота, улыбающиеся, величавые, все в мелкой сыпи проточенных жуками отверстий, в белой муке иссеченной в прах древесины. В них, невидимая, совершалась работа. Насекомые неуклонно и слепо, проникнув внутрь голов, истребляли скульптуры, будто время не торопясь стирало, убирало следы того, что должно исчезнуть.

Скульптор подошел к большой улыбающейся голове, чуть тронул ее. Кусок щеки и губы отвалился, осыпался, и оттуда, изо рта и из глаз, густо полезли термиты, побежали торопливые глянцевиные муравьи, извергаясь в копошении из головы.

Художник затворил плотно двери, серьезный, властный, знающий все наперед. Медноликий божок с ершистой седой головой.

После обеда Сом Кыт сообщил Кириллову, что их ждут в буддийском монастыре у реки, в единственной уцелевшей пагоде, где верховный бонза Теп Вонг, совершающий поездку по провинции, готов принять советского журналиста. Кириллову был важен этот редкий, мало кому выпадавший визит.

Они проехали за город к реке, к рухнувшему, словно с переломленным хребтом, мосту. На другом берегу, за мостом продолжалась зарастающая, уходящая в джунгли дорога. Здесь же, на городской стороне, бугрились развалины монастыря, но не мертвые, а носящие следы обитания. Ухоженные, ровно посаженные, розовели лилии. На каменных чистых воротах красовался свитый в клубок дракон с белым, свежепроклеенным вдоль туловища швом.

Привратник с лицом морщинистым и коричневым, словно изюм, впустил их на просторный утоптаный двор с резкой игольчатой тенью пагоды. Кириллов, идя за монахом, за его оранжевым развевающимся балахоном, за желтыми, твердо стучащими о сандали пятками, успел разглядеть подвешенное у входа бѣло — корпус ржавого пустого снаряда. На земле перед храмом, на границе пекла и тени, стояли две медные чаши — ослепительно-яркая на солнце и тусклотуманная в тени. В их расстановке чудилось сходство с неким древним прибором (весами, часами?), как будто готовились к какому-то ритуалу. Это насторожило Кириллова предчувствием чего-то невятного, к нему обращенного.

Их ввели в прохладную приемную с легким, стойким ароматом

садала. Сом Кыт снял туфли, опустился на колени перед Буддой, румяно-белым, раскрашенным, как муляж, произнес отрешенно несколько сутр. Кириллов подобно ему оставил у порога обувь, прошел и уселся за маленький столик, на низкую резную скамейку.

— Нас просили подождать, — сказал Сом Кыт, перемолвившийся со служителем. — Верховный бонза Теп Вонг окончит беседу с монахами и выйдет к нам.

Кириллов смотрел в открытую дверь, туда, где на пыльном дворе стояли две медные чаши, ослепительно-яркая и тускло-погасшая. И вид этих чаш продолжал его тревожить и мучить. Граница света и тени говорила о некоей заложенной в мир двойственности, быть может, о добре и зле, о жизни и смерти, о выборе между тем и другим.

Изображение Будды, аляповатое, в цветных мазках, вдруг напомнило ему его детскую полузабытую игрушку — коня на колесиках: серые яблоки, красная сбруя, длинные, как у Будды, глаза, розовый, улыбающийся рот. Это странное сходство, как и вид стоящих, для чего-то приготовленных чаш, все усиливало его ожидание. И как бы в ответ на него в дверь влетела бабочка. Желтая, яркая, заметалась вокруг его головы, вокруг плеч Сом Кыта, будто опутывала их обоих общей, невидимой нитью. Стала кружить по комнате. И Кириллов, поставив ноги в носках на прохладный белесый пол, пристально следил за ней.

Ударило близкое било, сначала редко, внятно, затем учащаясь, измельчаясь до нервных пульсирующих звуков. И на последнем погасшем ударе, развевая оранжевую накидку, вошел верховный бонза. Наклонил бритую голубоватую голову, поднял ее, превращая землисто-желтое, болезненно озабоченное лицо в улыбающуюся маску, на которой за раздвинутыми губами желтели крупные зубы. Широким взмахом руки усадил их, поднявшихся, на скамейку. Сел сам, забросив обильные складки одежды меж колен. Замер, выставив костлявое худое плечо, продолжая улыбаться.

— Я знаю, — произнес он после минуты молчания, — вы проделали длинное и нелегкое путешествие. И вам еще предстоит длинный путь. Пусть исполнится все задуманное вами и вы благополучно вернетесь домой.

Бабочка, исчезнувшая было, вдруг снова стремительно налетела, вонзилась в воздух, облетела вокруг лиловой головы Теп Вонга, мелькнула у смуглого бесстрастного лица Сом Кыта, сверкнула желтизной над Кирилловым и, заметавшись, оставя в воздухе тонкие, быстро гаснущие знаки, пропала. Кириллов следил за ней, пытался прочесть начертанные ею письмена.

— Я потревожил вас моим посещением, желая уточнить некоторые данные, — произнес Кириллов, раздваивая, расцепляя внимание: улыбающийся желтозубый Теп Вонг и Будда со знакомым лицом коня. две чаши — света и тьмы и легкая золотистая бабочка, принесшая ему невинную, но важную весть. — Мы все знаем о страшном уроне, понесенном буддийскими общинами во время недавних гонений. Известны общие цифры потерь. Но, видимо, вам, совершающему эту поездку, открывается более полная картина несчастья.

Верховный бонза мгновенно согнал с губ улыбку, словно провернул невидимый диск. Сделался грустным, тревожным.

— Теперь мы действительно располагаем более полными данными, — ответил он, помолчав, внутренне просматривая список потерь — убитого, сожженного, взорванного. — За три года и восемь месяцев, когда мы пребывали во тьме, были уничтожены все монастыри и пагоды, умерщвлены почти все монахи. В начале сезона дождей семнадцатого апреля семьдесят пятого года началось разрушение пагод и **убийство монахов**. Прежде в Кампучии было тридцать пять тысяч

монахов, теперь же нет и трех тысяч. Разрушено бесчисленное количество храмов, многие из них очень древние, известные культурному миру. О них написаны книги.

Теп Вонг напрягал голое худое плечо с выступавшей птичьей клювицей. Говорил с Кирилловым бесстрастным языком статистики. Обращался к собеседнику той своей частью, что была открыта политикам, прессе. Другая его сторона, невидимая, была обращена к разгромленным пагодам, истребленным духовным знаниям, умерщвленным сподвижникам — разоренному гнезду его веры, в которое вторглось зло, полной мерой осуществилось в судьбе соплеменников и теперь сгнуло. И он поставлен среди руин и пожарищ начать кропотливое пчелиное дело, повинувшись законам добра и продолжения жизни.

— Я родом из села, — говорил Теп Вонг. — Моя пагода находилась в полутора километрах от города. Я видел, как были убиты шестьдесят монахов, началось уничтожение изображений, изгнание людей из жилищ. Мы, монахи, не могли укрыться или сменить обличье. Нас легко узнать, у нас бритые головы. Некоторых из нас убивали на месте, других выгоняли на дорогу, третьих отправляли на тяжелые работы. Но монахи не умеют работать в поле. Они никогда не работали в поле и сразу же погибали от непосильных трудов. У монахов нет семей, и когда монаха изгоняли из храма, его некому было кормить и он умирал от голода.

Кириллов слушал еще одну, тихим голосом рассказываемую повесть о великих несчастьях. И его внимающая, откликающаяся на чужие страдания душа напряглась в ожидании и муке. И бабочка снова влетела в поле его ожидания, и, беззвучно охнув, он вдруг обрел иное зрение: он увидел тропку к реке, ту, давнишнюю летящую бабочку, они с отцом бегут за ней, ловят, а она ускользает от них. И вот они на волжских летних песках. Отец, голотелый, блестящий, занес его в реку, держит над бегущей, быстрой водой. Он видит сквозь волнистую толщу дно, желтый песок, гальку. Ему жутко. Река страшит и пугает, но он верит в отца, верит в его сильные руки, близкое смеющееся лицо. Два чувства в нем — страх перед волжской водой и жаркая детская вера в отца.

Отец был убит на войне, в зимней сталинградской степи. Когда-то в юности он отправился в степь искать могилу отца. Бродил по вьюжным заволжским дорогам, по засыпанным хуторам и селам, выпрашивал старух, выглядывал имена на братских надгробьях. Так и не нашел, изведаясь и замерзнув, вернулся в Москву, сохранив в себе навсегда чувство вины, невыполненного сыновнего долга. И теперь изумленно, со страхом, боясь, что вот-вот пропадет, смотрел на бабочку. Снова видел близко, как тогда, на реке, родное лицо, вспоминал фронтовую фотографию: отец, молодой лейтенант, с усиками, с сияющими, солнечно-выпуклыми глазами..

— Почему же, как вы полагаете, — Кириллов, преодолевая наваждение, старался поддержать разговор, — почему такая ненависть к монастырям и монахам?

— В монастырях скопились ценности нашей древней культуры. Пол Пот использовал пагоды как тюрьмы и места уничтожения людей. Святыни были превращены в темницы и места казней. Людям говорили: «Монахи — это трупы. Кто хочет им поклоняться, пусть идет к трупам». Когда приходишь теперь на развалины пагод, видишь кости умерщвленных людей.

Бонза говорил о несчастьях, но улыбался широко, желтозубо, будто приглашая Кириллова не верить в силу несчастья.

Бабочка летала над ними, билась о невидимую, вздвигнутую между всеми живыми преграду. Кириллов был благодарен ей за то, что она вызвала образ отца из небытия. Он явился из русской ветре-

ной степи, отозвался через столько лет на зов, избрав для этого знойный день в кампучийской пагоде, где он, Кириллов, постаревший, перегнавший годами отца, сидит перед бритоголовым монахом и две чаши сквозь открытую дверь наполнены светом и тьмою.

Снова ударил гонг, мерно, тягуче, убыстряясь, исходя в мелких торопливых ударах, извлеченных из стальной оболочки снаряда. На дворе появились люди; мужчины, женщины, дети несли дымящиеся курения, проходили мимо поставленных чаш, что-то бросали в них.

— Конечно, своими силами мы не сможем построить заново пагоды. Народ приходит нам на помощь,— бонза улыбался застывшей улыбкой, кивая на людей перед храмом.— Они принесли нам деньги.

Кириллов опять видел Волгу в тяжелых зеленых льдах, огромную метельную степь в белых наледях. И мысль: где-то здесь отец, быть может, у него под ногами. Кинуться, прижаться лицом, прожигать дыханием лед, шептать сквозь мерзлую землю.

Отец ушел от него в тот момент, когда в нем, в ребенке, стали открываться первые сознание и память, и отец успел уронить в это первое сознание несколько зерен, нанести малые метины, как бы обозначив себя, сделав крохотные зарубки. Он, сын, бережно нес в себе эти зарубки, ожидая, что из них вдруг тронется в рост его дремлющая детская память и возникнет отец, живой, любимый.

...Вот отец усадил его на колени, рисует ему грузовик. И ему так нравится этот рисунок, красивые колеса и фары, красивая кабина с шофером. Но отец вдруг рисует взрыв, ударивший в грузовик, брызнувший черными карандашными брызгами. И таким неожиданным был этот взрыв, так жестоко перечеркнул красивый рисунок, что он не удержался, жалобно, громко заплакал. И отец утешал его, превращал взрыв в цветущий на обочине куст, рассаживал на нем белок и птиц.

В детском саду вечер. Все дети ушли, воспитательницы тоже ушли. Осталась одна сторожиха, ходит в тяжелых валенках среди желтых, с наклейками, шкафчиков. Он остался один. За ним никто не пришел. Обида на мать и на бабушку. Детское чувство беды и войны за черными окнами, в которые сыплет метель. Внезапные шаги в коридоре. На пороге — большой человек, в снегу, в блестящей тающей изморози. Идет к нему, улыбается, окликает по имени, прижимает к себе. И он, чувствуя щеккой жесткие ворсинки шинели, не узнавая в лицо, сыновним инстинктом понимает — это отец явился за ним. Окончена его мука, беда. Отец ведет, несет его в колючей пурге, и такая вспыхивает в нем радость, любовь!

Позже, узнав, что отец погиб, видел, как мать доставала все один и тот же треугольник письма, маленький фотоснимок отца в лейтенантской форме. И плакала, плакала, до обморока, до беспомысленности, вызывая в нем такую боль, такое страдание. Тайком достал из письма этот маленький черно-белый портрет и спрятал, надеясь уберечь мать от слез. Сам доставал украдкой, рассматривал офицера, в фуражке, с сияющими глазами.

— Эти пожертвования пойдут на строительство? — спросил он рассеянно, глядя на вереницу людей, на крохотные дымки в их руках, на пальцы, кидавшие в чаши дар.— Деньги эти — на строительство пагоды?

— Нам очень трудно,— ответил бонза.— Нам нужно ремонтировать храмы, открывать монастырские школы. Мы нуждаемся в продуктах, деньгах. Но враг, принесший столько страданий, еще не до конца разбит. Еще гибнут люди. Мы хотим, чтоб скорей воцарился мир. Вы видели разрушенный мост? Мы решили отдать пожертвования правительству, чтоб скорей починили мост. Чтоб войска могли пройти по мосту в джунгли, где прячется враг.

Снова ударил гонг. Бонза, подхватив с колен оранжевые длинные

складки, распустил их. Поднял вверх руки с растопыренными пальцами. Продолжал улыбаться, давая понять, что аудиенция окончена. Кириллов поднялся, попрощался. Искал глазами желтую бабочку, не находил. Виденье, его посетившее, улетучилось, оставя по себе легчайшую боль, исчезающую мысль об отге.

Программа дня была выполнена. Завтра предстояла поездка к границе. Шофер и солдаты в преддверии трудной дороги погнали машину в мастерскую на другой конец города менять аккумулятор. Кириллов и Сом Кыт высадились из «тойоты» у рынка, среди лоскутно-красного вечернего многолюдья, скрипящих двуколок, длинных, облезших, неуклюже поворачивающих автобусов, дощатых прилавков, на которых под матерчатыми тентами, напоминавшими драные паруса, шла торговля, не спадавшая в час предвечернего зноя. Весь рынок напоминал огромный парусный флот.

Кириллов пробирался в тесноте, в криках и воплях, видя, как продавцы, покупатели, заметив его, прекращают торг, застывают с полуоткрытыми ртами, шепчутся, смеются у него за спиной, пораженные видом европейского, не появлявшегося здесь долгие годы лица.

Миновал мясные ряды, липкие, темные от крови, где доски столов раскисли от парного мокрого мяса и по ним лениво и сыто ползали жирные мухи. Рассеченные свиные туши. Ряды отрубленных поросячьих голов с белесыми ресницами. Торговцы при его появлении откидывали сальные рогожи, зазывали его криком «мсье», обдавали душным запахом млеющих на жаре кусков.

Протиснулся в рыбные ряды, где, скользкие, в чешуе, в перламутровой высыхающей слизи, лежали речные и озерные рыбы, от больших и круглых, как блюда, до мельчайших, как стеклянные подвески, мальков, пересыпанных крупинками тающего льда.

Тут же в ведрах продавали сонных живых лягушек, а в ситах — горстки дочерна обжаренных жуков-плавунцов со сложенными на животах гребными ножками.

Овощные и фруктовые ряды сочились сладью, пряностью. Специи в открытых мешочках зеленели, краснели. Хрустели раскалываемые кокосы. Лился сок из давилок. Кириллов чувствовал, как пропитывается едкими, сахарно-эфирными испарениями.

Он отмечал обилие продуктов, опровергавшее слухи о возможности голода в провинциях. Приценивался. Цены были высокие, но рынок клокотал, сыпал деньги. Город встречался с деревней, шел товарный обмен, шла жизнь.

Он осматривал прилавки контрабандных, привезенных из Таиланда товаров — транзисторов, радужных тканей, запасных частей к японским велосипедам и мотоциклам. Рассматривал изделия из золота — цепочки, кольца, кулоны, — накрытые стеклянными колпаками, под бдительным оком зорко-вежливых, хорошо одетых торговцев. И в дальнем углу, на земле, на горячем солнце наткнулся на скопище бесчисленных, не имевших применения предметов: лоскутов металла из ржавых автомобильных капотов, обломков бамперов, кусков магазинных вывесок, осколков посуды, истоптанных рукодельных сандалий, вырезанных из автомобильных покрышек, смятых латунных гильз — всего, что осталось от недавней разрушающей и крушащей поры, уже исчезнувшей, выброшенной на свалку, оставшейся лишь ворохом убитых, потерявших названия вещей.

Голосила толпа. Пестрел, мерцал, хлопал полотнищами рынок. Пекло солнце. Мухи то и дело шлепались на лицо. И он, окруженный чужими лицами, дурманящими запахами, стиснутый людскими жизнями, шумными, звучными, рвущимися себя обнаружить, закрепить в этом мире, усилиться, — он вдруг испытал мгновенную усталость, тоску. Почувствовал себя инородным, чужим и непонятым, из дру-

гих широт и пространств. Он был здесь в самом центре, в самом ядре иного народа, иной культуры и расы, что много веков, подобно бьющему из недр гейзеру, выгалькивает на поверхность желтолицых, смуглых, едкоголосых людей, сформированных по иному, отличному от его, Кириллова, образу, с другими губами и скулами, другим разрезом глаз, отпечатывает в них другой образ мира. А он — с иным, здесь неуместным лицом, иной любовью и памятью, заброшенный в чужую судьбу и историю, — что он такое? Где-то там, на севере, без него, в великих трудах и заботах существует его народ, вершится родная история. Там что-то ждет его, выкликает, беззвучно требует его возвращения — и найденная могила отца, и последнее материнское платье, вянущее в московском шкафу, и Троицкое на белой горе.

Слабость, посетившая его, была столь сильна, разом отняла столько сил, что он качнулся. Сом Кыт возник перед ним, внимательно заглянул в глаза.

— Сегодня мы много работали, — сказал он. — Теперь пойдем отдыхать. Позвольте, я угощу вас напитком.

Он повернулся к торговцу соками, что-то сказал. Тот выхватил несколько сочных зеленых отрезков сахарного тростника, сунул под пресс чугунной, старомодной, с литым колесом давилки, пропустил сквозь валки, выжимая в стакан зелено-желтый мутноватый напиток, кинул брусочек льда. Протянул, улыбаясь.

Кириллов благодарно принял, устыдившись минутной слабости. Тянул сладостно-холодную жидкость, чувствовал на себе серьезный, внимательный взгляд Сом Кыта.

При выходе из рынка, где дымились маленькие открытые кухни и за столами под тентами люди хватали палочками горячую еду, он увидел вьетнамских солдат, пивших кокосовый сок. Лица их были худыми, усталыми, форма — линялой, разодранной о сучки и колючки джунглей. Увидели его, зашептались. Один поднялся, спросил: «Советский?» И последовали крепкие молодые рукопожатия, улыбки, кивки. Кириллов шагал по городу, все продолжал улыбаться, все нес на ладонях их радостные, быстрые прикосновения.

В гостинице на галерее их поджидал худощавый человек в военной форме. Назвал свое имя — Тхом Борет и должность — офицер службы безопасности. Пожатие его руки показалось Кириллову негибким, неполным, и, отпуская ладонь Тхом Борета, он заметил, что пальцы его наполовину обрублены.

— Завтра по программе у вас поездка к границе, — сказал офицер. — Я считаю своим долгом предупредить вас, что к северу от Баттамбанга действуют несколько террористических банд. Сегодня днем была взорвана водоразборная заслонка на одном из каналов.

— У нас есть охрана, — сказал Кириллов, всматриваясь в изможденное, с рельефом скул и надбровных дуг лицо.

— Этого недостаточно. Мы дадим вам машину с солдатами

— Спасибо.

— С кем бы вам хотелось встретиться?

— Я буду рад побеседовать со всеми, с кем вы сочтете возможным. Я бы просил о встрече с представителем уездной власти, чтобы он проинформировал меня о состоянии дел в уезде. Хотел бы, если это возможно, осмотреть места террористических актов. Если мне будет позволено, хотел бы встретиться с захваченными в плен террористами, услышать, как они смотрят на ситуацию в собственной армии.

Офицер записывал его просьбы в блокнот, и Кириллов видел, как неловко и трудно сжимают ручку обрубки пальцев.

— Мы постараемся устроить вам встречу с пленными завтра утром. Есть ли у вас просьбы еще?

— Может быть, по дороге они возникнут,— мягко улыбнулся Кириллов.

— Утром я за вами приеду,— сказал Тхом Борет, и Кириллов с галереи видел, как он садится на мопед, выкатывает в сумерки.

Они сидели на открытой галерее под звездами, наслаждаясь слабыми, шевелившимися листву дуновениями. Маленький столик, чашечки, дощатый пол мерцали и искрились от бесчисленных прозрачных чешуек, оброненных обескрылевшими термитами. Чернели близкие деревья. Над ними чисто, ясно, словно в мороз, сверкал звездный ковш. Знакомый, он размещался иначе, задрал рукоять дыбом, меняя вид всего неба. Кириллов смотрел, как дрожит, стекает звезда, заслоняемая черной листвой.

— Как по-русски называется это созвездие? — спросил Сом Кыт, и лицо его в нежных, чуть видимых отсветах обратилось к ковшу.

— Большая Медведица,— ответил Кириллов, и ему показалось, что в глазах, на лбу, подбородке Сом Кыта крохотными искрами отразилось созвездие.— А по-кхмерски?

— Мама в детстве выводила меня на открытое место под звезды, называла это созвездие Крокодилом.

Кириллов отказался от привычного образа ковша, от северного имени Медведица. Соединил звезды иными линиями. Над деревьями вдруг засиял серебряный крокодил, растопырив лапы, изогнув в середину неба хвост, заняв центр, осмысленно распределив по остальному своду другие созвездия.

Они молча смотрели на звезды. Кириллов старался видеть небо глазами Сом Кыта. Стремился почувствовать, что лилось с небес в душу кхмера, исчислившего под этими звездами свой поколения.

— Когда нас угнали на каторгу, мы жили в бараке. Ни у кого из нас не было часов. По этому созвездию я узнавал время, будил всех, и мы еще в темноте, в четыре часа, шли на работу.

Замолчал, продолжая следить за медленным, едва заметным глазу вращением серебряного зверя. Кириллов ждал. Ощущал тончайшую полупрозрачную преграду между ним и собой, рассекавшую две их отдельные жизни. Что же должны они сделать, в чем открыться друг другу, как сложить и сверить свои истины, чтобы, прежде чем расстаться и порознь доживать свои жизни, возникло между ними единство? Это чувство остро поразило его. Чувство различия и сходства. Несочетаемости, разделенности полупрозрачной стеной — и возможности пройти сквозь нее. Случайности встречи — и скрытого в ней не случайного замысла.

— Вы удовлетворены тем, как проходит поездка? — спросил Сом Кыт.

— Да,— ответил Кириллов.— Я очень рад, что путешествую именно с вами. Ваши комментарии и советы помогают мне лучше понять, чем сегодня живет Кампучия, в чем ее основные проблемы.

— Председатель кооператива, и директор завода, и верховный бонза — все говорили одно. И я повторю вслед за ними: в первую очередь Кампучии нужно изжить из себя тьму. Надо изгнать из каждого кхмера тьму. Нас посетила тьма. Она всегда была и есть в мире. Она есть и в каждом из нас. Но иногда она начинает копиться, стекаться и множиться, разом посещает целый народ. И тогда в этом народе происходят несчастья. Умирают люди, пустеют города, гибнет хлеб, разрушаются храмы. Мы все стали жертвами тьмы.— и он замолчал бесстрастный, с твердым лицом, высеченным из смуглого камня.

— Вы правы,— ответил Кириллов. Ему хотелось глубже вовлечь в разговор Сом Кыта, но увести его от образов буддийской поэтики.— Вы правы, есть законы гибели целых культур и народов. Мы, историки, пытаемся их обнаружить. Но появление Пол Пота не кроется в кхмерской истории, не кроется в революционном процессе как тако-

вом. Я полагаю, здесь сложная комбинация анархистских и нигилистических идей, европейского буржуазного модернизма, антипролетарских, экспортируемых из-за рубежа, навязанных силой доктрин и конкретной злой воли, сконцентрированной в группе кровавых мажорков.

— Есть законы тьмы и законы света,— спокойно, как бы не услышав Кириллова, произнес Сом Кыт.— Люди всю жизнь сражаются с тьмой, обращаются к свету, стремятся одолеть тьму. Нам, кампучийцам, пережившим несчастье, надо изгнать из себя тьму. Изгнать страх, ненависть, недоверие друг к другу, потребность мстить, убивать. Наша главная цель лежит сегодня не в экономике, не в политике, а в человеческом сердце. Вина Пол Пота в том, что он отобрал у нас чувство света, чувство надежды на свет. Многие не верят в возможность труда, в возможность семейной жизни, в возможность согласия. Вернуть чувство света — вот что нам надо. Я хочу, чтобы вы это почувствовали. Мне кажется, во время состоявшихся встреч вы это могли почувствовать.

Кириллов кивал, соглашался. Ему не мешали метафоры Сом Кыта. Он расшифровывал их для себя как горькую социальную истину. Народ, познавший полпотовский режим массовых погребений и казней, оказался отсеченным от будущего, утратил перспективу истории. Выпал из истории. Новая революционная власть вернула народ в течение истории, вернула ему социальную цель. Он знал безусловно: мир во всей пестроте, во всей неоглядной сложности, иногда заблуждаясь, иногда поддаваясь обманам, порой в своем нетерпении хватаясь за автомат и взрывчатку,— мир втягивается в социализм, в неизбежный, неотвратимый процесс. И он, Кириллов, в свои лучшие минуты, сквозь рутину и черновую работу, сквозь утомление души, чувствовал себя в согласии с этим мировым движением, сопрягал свои силы и цели с мощью двинувшегося в путь человечества. И это сознание пути, своего в нем участия, возвращало ему силы и энергию.

Кириллов ждал, что Сом Кыт снова начнет говорить, но тот молчал. Но и сказанного было довольно. Они молча сидели, слушая свисты цикад. Над черными деревьями, надетый на незримую ось, вращался серебряный зверь. Они стали ближе друг другу, и оба об этом знали.

Простились, пожелав друг другу спокойной ночи. Сом Кыт ушел в свой номер. Там слышался смех. Солдаты, полуголые, выгнув свои гибкие спины, играли на кровати в карты.

Кириллов улегся под полог, переживая знакомое, посещавшее его иногда состояние. Будто он, живущий сегодня, ввергнутый в борьбу и политику, лежащий в этом маленьком номере, страдающий от духоты и бессонницы, будто он имеет своего двойника, свое подобие. Когда-то они были едины, в том далеком январском дне. Но потом личность его раздвоилась, и одна половина, принявшая его нынешний вид, пустилась по дорогам, по странам, в яростном напряжении борьбы, а другая — в иное движение, в иное знание, приоткрывшееся на снежной дороге в летящем грузовике. И эти два двойника, пройдя по огромным кругам, должны непременно встретиться. Сойтись, восполнить друг друга, сложить воедино свой опыт, обрести полноту.

Разрезанный, съеденный наполовину пирог. Остывающий самовар, истертый кирпичом, с россыпью медалей, с двурогой ручкой крана, на котором висит прозрачная капля. Расколота стеклянная вазочка, и в ней цветные липкие конфеты-подушечки. Все это сдвинуто на угол стола, клеенка под лампой сияет, и они втроем играют в карты. Он держит перед собой их замусоленный веер, вытягивает шею, подглядывает к тете Поле. Та сердится, выставляет остренький локоть, норовит шлепнуть его картой по носу. Вера, в темном свитере,

в его латаных валенках, возмущается, гневается, прижимает карты к груди:

— Это нечестно, бесовестно! Я так отказываюсь! — Она и впрямь готова кинуть карты, чуть не плачет. И он изумляется детской искренности, наивной силе ее огорчения. Для нее сейчас нет пустяков, и карточная игра выражает всю полноту отношения к миру.

— Ну не буду, не буду! — торопится он ее успокоить. — Храни на здоровье свои шестерки!

Сыплются карты, шелестят дамы, короли и валеты. В их шлейфах, коронах, кафтанах — карнавальная праздничность, созвучная новогодней ночи, многоцветной и звездно сияющей над избами. Масти несут в себе образы минувшего дня, еще до конца не исчезнувшего, горящего жарко под веками. Трефы — как темные с кругляшками в концах перекадин кресты на заброшенном кладбище, по которому он пробежал, ломая лыжами мерзлые кусты бузины. Черви — как протаявшая на солнечной кочке красная ветка брусники. Пики — словно стая ворон, поднявшаяся в белизне с металлическим криком. Бурны — румянец на щеках почтальонши, попавшейся ему на дороге.

Он снова проигрывает. Тетя Поля довольно посмеивается:

— Это кто же у нас опять дурачок?

Вера счастливо, беззвучно смеется, выхватывает, сует им в глаза некозырную шестерку, которую удалось напоследок подкинуть. И он опять удивляется полноте ее счастья, обнаруживающего себя во всякой малости.

В подполе под печкой прокричал петух, глухо, стыло. Вечером тетя Поля, боясь больших морозов, сняла с насеста и пустила в подпол петуха и кур. И теперь петуху пришла пора петь. От его сдавленных криков становится жутковато и сладостно. Чудится другая, укрытая в землю жизнь, другое пространство и царство. Они втроем это чувствуют, слушают подземные крики.

— Достань петуха! — вдруг просит она. — Достань петуха, погадаем!.. И зерна, зерна, тетя Поля!..

Она начинает тормозить и его и тетю Полю, и та, ворча, делаю недовольное лицо, но втайне радуясь, увлекаясь предстоящей затеей, лезет за печь, достает из мешка горсть овса. Он наклоняется к подполу, тянет за железное, ввинченное в половицу кольцо. Из подполья дует сыростью, владом. Он во тьме старается различить притаившихся птиц.

Сжимая плечи, протискивается вниз и в тусклом освещении видит белеющих, друг к другу прижавшихся кур, и среди них крутобокий, с выгнутой шеей петух накаляется злыми глазками, гневно нацеливается острым клювом. С опаской, осторожно он берет петуха за бока, и тот, недвижимый, напрягает у него в ладонях крылья. Он подымает цветную птицу вверх, бережно ставит на пол, как вазу, и петух, ослепленный, замер. Пылает гребнем, упер в пол чешуйчатые желтые ноги, переливается золотом и синью.

— Вот сюда, поближе. Сейчас я посыплю овес, — она священнодействует, будто век занималась волхованием. Истоиво, увлеченно, уверенно, но и со страхом, с суеверным дрожанием рук хватает из миски зерна, сыплет перед нахохленной птицей.

Тетя Поля смотрит на их забаву. В глазах ее два тонких лучика, то ли печальных, то ли смеющихся. Она не мешает им тешиться, охраняет их, радуется их молодости, которой еще длиться и быть, когда она сама уйдет и исчезнет.

Петух, будто в нем срабатывает невидимая пружина, дергает головой, прозревает, напрягает на шее радужный ворох и внезапно, сильно бьет клювом в зерно, разбрызгивая, проклевывая до деревянной доски. Глаза его жадно блестят. Кривой клюв склонен набок.

Гребень утолщился, набряк кровью. Проглатывает зерна и снова с косяным стуком колотит, рассеивая, рассыпая из зерен узор.

— Все! Теперь убирай его! Я буду гадать! — командует она, и он послушно опускает птицу обратно в подпол. Петух, тяжелый, набитый зерном, вспыхивает в последний раз оперением, гаснет в темноте, как лампа.

— Теперь слушай меня, смотри!..

Она стоит над зерном на коленях, проводит над полом рукой, будто снимает с тайны покров. Лицо ее верящее, вещее. В нем страх и восторг. Он почти пугается, почти верит вслед за ней, чувствует свою от нее зависимость, ее власть над собой. Она читает по открывшимся ей письменам его судьбу, его жизнь, его смерть.

— Слушай, что скажу про тебя, — она всматривается в какую-то невидимую, ей одной понятную нить. — Твоя жизнь, — водит она пальцем над зернами, — ты видишь, вот, вначале такая полная, ясная, вдруг начинает двоиться, течь в разные стороны, как бы двумя ручьями. Один, вот этот, вскоре совсем прерывается, чахнет, вот-вот исчезнет. А вторая ветвь, второй ручей твоей жизни петляет, мечется, разлетается в разные стороны. И опять сливается с первым, образует круг, полноту. Ты спросишь, что это значит? Должно быть, очень скоро ты оставишь свои леса и деревню и начнешь метаться, искать себя сразу на нескольких разных дорогах. И будут у тебя на этих дорогах болезни — вот видишь? — печали, великие разочарования и какое-то то ли затмение, то ли усталость, а вот здесь, где исчезло зерно, ты чуть не погибнешь. Но ты будешь спасен вот отсюда, где кто-то очень верный и любящий следит за тобой. И в конце концов ты прозреешь, обретешь полноту, станешь наконец мудрецом!..

Он смотрит на ее летающую ладонь, на расположение зерен, в которых вещей подземной птицей проклевана его судьба, его жизнь. И вдруг чувствует, что еще немного, и от избытка любви и печали он может вдруг разрыдаться.

— Тетя Поля! — просит Вера, когда эта потеха окончена и овес до зернышка подобран ее цепкими пальцами. — Вы все обещали сундук свой раскрыть, показать наряды. Что у вас там, в сундуке?

Отмахиваясь, отнекиваясь, тетя Поля идет к сундуку, вставляет ключ в курлыкающий музыкальный замок, струнно, пружинно вызволивший какой-то кузнечный напев. Отворяет горбатую крышку и являет на свет лежалый матерчатый ворох, скопившийся за целую жизнь.

— Чего смотреть? Выбирай!

Они обе, молодая и старая, склоняются к сундуку. В четыре руки извлекают одежды. Ему кажется, что вслед за лежалыми тканями множество лиц мгновенно населяют избу, множество чуть слышных голосов звучат, смеются и плачут.

— Подождите, а вот это, вот это что? — то и дело Вера достает сарафаны и юбки, прижимает к плечам, талии, будто на себя примеряет не одежды, а всю долгую тети Полину жизнь. — А вот это, вот это что?

Подвенечное платье, пожелтевшее, с тряпичной бесцветной розой, прожжено угольком у подола. Русская, с вышитым воротом, с заплатками на локтях рубаха мужа расплзлась от сильных взмахов косой, топором, от широких объятий и плясов. Детские башмачки, стоптанные, хранящие память о крохотной быстрой ноге, скользнувшей когда-то по половице с сучком. Гимнастерка с позеленевшими пуговицами, с дырочкой над карманом — для ордена или гвардейского значка. Сукно немецкой шинели, перекроенное многократно, бывшее и детским одеялом, и пальтушкой, и ковриком. Шапки, тулупчик, крашенные нитяные клубки, старые кофты и блузки. И отдельно — проглаженное чистое одеяние на последний путь, завернутое береж-

но в белое полотенце. Тетя Поля рассматривала свой погребальный наряд, строго сжав губы, расправляя сбившуюся ткань.

На дне сундука лежало старинное зеркало в резной деревянной раме с откидной для упора ножкой, тусклое, с облесшей изнанкой, свинцово-туманное, словно время напустило в стекло свой дым.

Они ставят зеркало на стол, подходят втроем и смотрят. Отражаются, как на портрете, серьезные, охваченные одной рамой, запечатленные навсегда.

— Ну что же мы носы-то повесили? — Тетя Поля прибирает ткани в сундук, и вслед за подолами, рукавами и лентами ныряют под крышку растревоженные невесомые духи.— А мы вот что с вами сейчас!

Из угла, из-за печки она выносит черную бутылку с наливкой. Достает из шкафчика зеленые литые лафитники. Ловко, зубами, выдергивает деревянную пробку, обмотанную пропитанной соком тряпичей. Разливает густую, маслянистую, черно-красную наливку.

— А ну-ка, молодые, пригубьте!

Они пьют. Наливка сладкая, терпкая, склеивает губы. Смородиновая ягода чуть горчит. Мгновенный хмель коснулся их разом, разрумянил щеки. Глаза у всех заблестели.

— Тетя Поля,— просит Вера, и ему кажется, жар ее щек палит и его.— Тетя Поля, спойте «В островах охотник...». Ну пожалуйста, спойте!

Той хочется петь, но она отказывается, трясет головой. А Вера ее уговаривает, и тетя Поля начинает сдаваться. Глаза ее расширяются, будто видят иную даль, далекое былое застолье, мужа, родню, гостей. Выпрямляет стан, вытягивается, становится тоньше, легче. Дребезжащим старушечьим голосом, созвучным сучкам в потолке, латунным окладам иконы, линиялым на занавеске цветкам, запекает:

В островах охотник цельный день гуляет...

А в нем — вдруг чудный, сладкий удар красоты, любви, грусти. Обожание здесь сидящих, понимание их всех, сведенных в зимней русской ночи, призванных жить на эту благодатную землю. И он, молодой на коне охотник, скачет в дубравах, в лесных островах и угодьях, в темной шляпе с пером, с красной розой в петлице, с ружьем и в сапожках. А она, его милая, приподнявшись, следит за ним из трав и цветов.

Сидят втроем и поют. Три их голоса. Три цветка на черном подносе. Три ангела на темной иконе.

Вспоминая этот огненно-белый, звездно-блестящий день, он думал потом многократно: что было той силой, которая начинала в нем действовать каждый раз, когда в жизни его наступали покой, соразмерность? Что выталкивало его каждый раз из области испытанного, ясного опыта, ввергало в зыбкий, непроверенный мир, меняющий свои очертания, с тенями и тьмой, грозящих разрушением? Он копил в себе знание о жизни ценой усталости, утрат, черствая душой. Обугливаясь и темнея, удаляясь от белизны и покоя, быгть может для того, чтобы, собрав рассеянную в мире тьму, вернуться с ней в белой свет, превратить и тьму в белизну, превратить в хлеб камень.

Каждый период его жизни, каждый ее поворот был связан с поступком, в котором проверялась его способность действовать вопреки инерции жизни, его готовность отказаться от очевидных, лежащих на поверхности истин. Он словно готовил себя к какому-то предстоящему в жизни поступку, к грядущему, поджидавшему его огню. К какому, он и сам не знал.

После армии, вернувшись в Москву, жадно, стараясь наверстать проведенное вне книг, вне ученья время, он взялся за свою диссертацию. Воскресил аспирантские черновики и наброски. Библиотеки,

архивы, встречи с маститыми востоковедами, уроки языка. Его резкий, живой, изголодавшийся по знаниям ум утолял свой голод в беседах и спорах, среди идей, проверенных классическим опытом или едва народившихся, сомнительных, готовых исчезнуть под напором практических знаний. Вера работала в школе, добывала деньги на жизнь, давая ему возможность писать диссертацию. И он, встречая ее вечерами, утомленную, побледневшую, огорчался, мучался чувством вины. Снимал с нее пальто, бежал ставить чайник. Укорял себя за их утлый быт, подслеповатую комнату с видом на облезлый фасад, на вечно скрипящий, скрежещущий внизу трамвай.

В Москве, после армии, он застал, как ему показалось, новое состояние мыслей. Среди интеллектуалов, с кем ему выпадало общаться, вспоминались, открывались заново забытые понятия и истины, оброненные на дорогах во время быстрых выражей и движений. Старина, фольклор, деревенская красота, писанная и реченная, вдруг явились в город — собиранием икон и прялок, коллекциями крестьянских игрушек, домашними любительскими хорами, распевавшими песни Севера, обожанием всего, что дышало народностью. Университетские экспедиции и ревнители-одиночки, музейные этнографы и любители-дилетанты отправлялись в Заонежье, на Северный Урал, где чахли оставленные, заброшенные деревни. Привозили в столицу рукописные, времен Аввакума, книги, языческие заговоры и былины. И этот ввоз ощутимо менял городскую культуру, ее цвет, аромат, обращал к традиции, не давая ей исчезнуть и кануть.

И жило, росло другое направление умов, выхватывающее из будущего его скрытые контуры, связавшее себя с реальным социальным процессом — освоением новых пространств, космосом и вытекающими отсюда мышлением, социологией и политикой.

Эти два направления, часто отрицая друг друга, оттачиваясь в полемике, были двумя воплощениями одной и той же задачи — расширить, раздвинуть рамки своего времени, увеличить объем культуры. Он, востоковед, изучавший Китай и Индию, был увлечен российской историей, связанной с Востоком. Гуманитарий, возвращавшийся в кружках филологов и историков, книжников и витий, он поверял их домыслы своим опытом, добытым на целине и в армии, и, конечно же, опытом Троицкого.

В ту пору в их комнатке на Селезневке появился искусствовед-реставратор, вечно всклокоченный, белобрысый, в одной и той же брезентовой, испещренной красками робе, в которой тонул на Мезени, когда перевернулась ладья, и он, едва умея плавать, вынес на себе Николу XVI века. Показывал его друзьям, называя свое спасение «чудом о Николке Мезенском». Часто полуголодный, без гроша, до бывал для музеев шедевры, выхватывая их то из рухнувшей, открытой дождем часовни, то из брошенной, продуваемой ветрами избы. Его возвращения с севера превращались на их селезневской квартирке в небольшие выставки резного дерева, алых сарафанов, шитых жемчугом кокошников. С годами из суетливого, неухоженного скитальца, подвергавшегося насмешкам знакомцев, он превратился в маститого знатока древней живописи, автора переводимых на многие языки монографий. В его квартире, напоминавшей музей, собирались московские театралы, художники, дорожа его словом и мнением. Кириллов, сохранявший с ним дружбу, однажды застал у него космонавта, пристально, молча изучавшего изображение Ильи-пророка — человек в огненном шаре возносится в небеса.

Он дружил с молодым архитектором-футурологом, резко и зло отрицавшим помпезные здания, похожие на куличи, и уныло-бетонное однообразие новых районов. Его казавшиеся фантазиями проекты Города Будущего напоминали стальные цветы, взмывали в небо, отрывались от земли, сохраняя на ней живую природу. Его пророчества о соседстве журавля с самолетом, луга с заводом, о поселе-

ниях на дне океана и в космосе казались разноцветными, похожими на заонежские сказы утопиями. С годами из непризнанного, отвергаемого чудака, обивавшего пороги архитектурных мастерских, он превратился в резкого, волевого, с жестким изнуренным лицом строителя, возводящего в пустыне свой Город. Опреснитель, электростанция, сверкающие сооружения из бетона и стали, спасающие человека от злой радиации солнца, искусственно возвращенные сады, бассейны — Город, откуда мобильные десанты устремлялись в пески за нефтью, золотом, никелем. Фантастическая, действующая в пустыне машина, вызывающая в памяти читанные когда-то книги о марсианских городах.

Бывал у них джазмен, наполнял дом звучанием своего саксофона. Он стремился, как говорил, в джазовых ритмах выразить славянскую музыкальность. Он так и сошел в безвестность со своими этюдами. Появлялся психолог, изучавший психологию толпы, ставивший свои эксперименты на площадях в часы пик, у проходных заводов, на митингах и демонстрациях. Также канул в безвестность.

К ним в дом стал захаживать немолодой известный писатель. Кириллову нравились его изящные, остроумно-ироничные новеллы, которые он дарил им с Верой, оставляя дружеские дарственные надписи. Нравились его манеры, седые красивые волосы, черно-серебряный перстень, небрежно поставленная в их заросшем дворе машина. Кириллову казалось: писателя привлекает их молодой, неутомный дом, хоровод вечеринок, разномастный люд, яростные споры в застольях. Он строит здесь, моделирует мерцавший, как он говорил, новый роман.

Однажды Вера сказала, что писатель любит ее, зовет к себе, и она просит ее простить. Она устала от вечной неустроенности, убогого быта, этих сборищ, похожих на взрывы шуток, после которых — пустота и груда невымытой посуды. Устала от неуверенности в завтрашнем дне, который, она знает, обернется какой-нибудь его новой выходкой, поездкой куда-нибудь в Арктику или к бурятским буддистам. Просила не винить ее, забыть Троицкое, забыть, что она есть на свете.

Месяц без нее как непрерывная — в душе, в костях, в сердце — боль. Ужас от того, что случилось. Чувство несчастья. Чувство сокрушившей его беды, когда образом этой беды стал ее пояс, забытый в шкафу, подворотня с голубым фонарем, где, казалось, недавно ее целовал, весь город, где в каменном кольце завернута, существует, живет его неистребимая боль.

Она вернулась через месяц, встала на пороге в темном, нарядном платье, с тоненькой цепочкой на шее. Сказала, что из театра. Что случившееся было безумием, наваждением. Он может ее ударить. Она страшно перед ним виновата. Не просит прощения. Просто пришла об этом сказать и сейчас уйдет. Любит его.

Он почувствовал, что наступило для него исцеление. Боль исчезла. Испытывал к ней нежное до слез бережение, жалость, робеющую, боящуюся себя обнаружить любовь. Грел ей чай, сушил ее промокшие туфли, набрасывал на плечи свой мохнатый, вязанный ею шарф. И Москва за окном туманилась, двоилась в осеннем дожде. Он обнимал ее, чувствуя, что они прошли еще один огненный, данный им в испытание срок, что-то спалив в нем бесследно, сохранив неопалимое. За дождями, туманами кто-то смотрел на них, любящий, из далекого белого дня, запевал негромко: «В островах охотник...»

Глава четвертая

Утром они сидели с Сом Кытом на галерее в теплой розовой тени. Щурились на брызги колючего белого солнца в листве. Изучали истертую туристскую карту. Сом Кыт вычерчивал Кириллову пред-

стоящий маршрут к границе: от Баттамбанга к Сисопхону и севернее, к пограничной черте, а оттуда — в Сиамреап к Ангкору. Тхом Борет, офицер безопасности, принес на очках два маленьких ослепительных солнца. Стиснул Кириллову руку своей твердой беспалой ладонью.

— А мы здесь, как видите, подсчитываем километры, запасы продовольствия и пресной воды,— пошутил Кириллов, ненавязчиво, сквозь смех, изучая изможденное лицо, на котором при свете дня виднелись слабые оспины и надрезы, словно древние отпечатки на кремне.— Сколько езды до границы?

— До самой границы нам вряд ли удастся доехать,— угадывая просьбу и любезно отказывая, сказал Тхом Борет.— По-видимому, только до Сисопхона или чуть севернее. Дальше ехать просто опасно. Вокруг Сисопхона, я сказал вам вчера, действует несколько банд. Каждый день нас извещают о случаях террористических актов. Передвигаться по дорогам даже днем рискованно. Трудно обеспечить безопасность.

— Какие сообщения о терроре поступили за последние сутки?— Кириллов продолжал изучать Тхом Борета. Ему казалось, что твердая кремневая оболочка лица — лишь верхний, недавно застывший слой, под которым, с трудом удерживаемая, кипит горячая магма. К ней, не окаменевшей, к невидимой человеческой сущности ему хотелось добраться.

— Вчера в Сисопхоне обстреляли дом председателя уездного комитета. Позавчера, я, кажется, вам говорил, разрушили дамбу. Сегодня утром мне сообщили: севернее Сисопхона подорвалась на mine машина ЮНИСЕФа. Шофер в тяжелом состоянии доставлен в больницу. Представительница ЮНИСЕФа, женщина, убита взрывом.

— Итальянка? — вырвалось у Кириллова.— Та, что жила здесь, в отеле?

— Да,— ответил хладнокровно Тхом Борет.— Она покинула отель вчера утром. Видимо, мину заложили незадолго до появления машины. Возможно, организовано покушение специально на нее.

— Почему? С какой целью? — Кириллов, пораженный, глядел вдоль галереи, туда, где виднелся знакомый маленький столик под ветками. Он увидел их, недавно здесь сидевших, и ее лицо между светом и тьмой, блеск белых, открывавшихся в смехе зубов, и внезапное ее побуждение, когда она жарко коснулась его руки, словно что-то предчувствовала, от чего хотела спастись, призывала его на помощь.— Кто она? Вы о ней что-нибудь знаете?— спрашивал он Тхом Борета.

— Нам кое-что известно о ней. Она жила при Сиануке в Пномпене, была женой офицера генерального штаба. Муж ее был убит при Пол Поте, а ей удалось спастись. Она жила в Таиланде, была тесно связана с группой националистов. Похоже, под эгидой международной благотворительности снабжала их продовольствием, медикаментами, а также оружием. В Пномпене пыталась войти в контакт кое с кем из оставшихся прежних друзей. Может быть, ее гибель — простая случайность. Но, может быть, кто-то третий следил за ней, решил ее убрать. Группировки Пол Пота, Сон Сана и прочие стремятся объединиться в коалицию, но это лишь внешне, формально. Между ними по-прежнему происходит борьба — за власть, за оружие, за продовольствие. Возможно, убийство итальянки — следствие этой вражды. Все это предстоит еще выяснить.

Кириллов думал: вот еще одна жизнь, прошедшая сквозь катастрофу, колеблясь на рубеже света и тьмы, не смогла одолеть этот рубеж, канула в тьму.

Ожидали машины. Кириллов осторожно, чтоб не показаться навязчивым, расспрашивал Тхом Борета об обстановке в районе гра-

ницы. Сверял свои собственные представления и данные, полученные в столице, из посольских источников, с этими, непосредственными, из зоны борьбы, от участника этой борьбы. Его интересовали лагерь террористов, укомплектованные японскими сборными домами, западногерманскими кухнями, американскими медпунктами,— там велась подготовка боевых контингентов, иностранцы-инструкторы преподавали навыки диверсионной борьбы, учили пользоваться взрывчаткой для подрыва мостов, инфракрасными зенитными минами-ракетами «ред ай». Он расспрашивал Тхом Борета, старался запомнить названия и цифры, лучше понять тактику террористических действий—то, как противник, не считаясь с потерями, засылал в кампучийские джунгли боевые отряды; в горных, труднодоступных пещерах с источниками пресной воды устраивал тайные базы и оттуда мелкими группами наносил удары, перехватывал на проселках одиночные машины, истреблял в деревнях активистов. Тхом Борет отвечал на расспросы подробно и внятно, произносил названия деревушек, речек и гор, насыщал ответы статистикой. Впрочем, до известной черты, за которой начиналась область профессиональной секретности: замышлялись и длились неоконченные еще операции, уходили разведчики в стан врага, устраивались засады в горах, шли непрерывные кровавые стычки—изнурительная для обеих сторон борьба.

— Вы так хорошо знаете местность, мельчайшие горки, деревеньки,— сказал Кириллов, благодарный за сведения.— Вы, наверное, родом из этих мест? Из Баттамбанга или Сиемреапа?

— Нет,— сказал Тхом Борет, ослепляя его маленькими стеклянными солнышками, и лицо его в мельчайших надколах напоминало кремневый, прошедший обработку наконечник.— Я родился и жил в Пномпене. Но в этих местах пять лет назад я партизанил в отрядах «кхмер руж». Был командиром отряда. Поэтому знаю провинцию. Должно быть, теперь именно поэтому мне поручили район.

Кириллов не удивился. Он знал: многие из бывших командиров «кхмер руж» порвали с Пол Потом, возглавили антиполпотовскую революцию, занимая видные посты в партии и правительстве.

— Простите мое любопытство.— Кириллов, по роду журналистской профессии привыкший добывать информацию, знал, что в этой израненной стране судьбы тех, кто давал информацию, тоже были информацией и свидетельством. В каждой отдельной судьбе была выжжена, как клеймо, катастрофа. Подозревая подобное и в жизни Тхом Борета, Кириллов повторил свой вопрос:— Как вы пришли в безопасность?

— Я здесь воевал с войсками Лон Нола и первый вошел в Баттамбанг,— Тхом Борет отвечал с прежней сдержанной откровенностью, будто не делал различия между информацией служебной и личной: все — и служебное и личное — входило в контекст борьбы.— Когда мы штурмовали город, мне приказали взорвать у монастыря мост через реку и отрезать гарнизон неприятеля. Я взорвал этот мост вместе с караулом солдат. Когда мы сражались в джунглях, мне приказали напасть на колонну броневиков. Я напал на колонну, сжег пять машин и сам из пулемета расстреливал убегавшие экипажи. Но когда мы вошли в Баттамбанг и город был уже наш, мне приказали разрушить монастырь, в котором укрылись монахи, и я отказался. Потом мне приказали расстрелять врачей и раненых в госпитале, и я опять отказался. Я знал, что в городах, таких, как Пномпень, Баттамбанг, засело много грязных, продажных людей, спекулянтов, грабителей. Там свили гнезда шпионы, убийцы, и мы их должны уничтожить. Но когда один за другим стали поступать приказы убивать инженеров, учителей, архитекторов, я отказывался их выполнять. Меня арестовали, обвинили в связи с Вьетнамом и отправили в Пномпень, в Туолсленг.

Рассказ Тхом Борета был не исповедью, а как бы обычным отчетом, перечнем неких сведений, быть может, полезных другому. Кириллов слышал множество таких отчетов за годы работы в Кампучии, улавливал в них нарастание — с партизанской поры — народных надежд, стремление в новое общество, добываемое силой оружия, общество, в котором сбылись бы пусть неясные, пусть фольклорные представления о правде, добре. И потом, после победы Пол Пота, падение этих надежд до нуля, до отчаяния, до самого дна катастрофы — в ужас, в биологию выживания, в смерть.

— Меня привезли в Туолсленг и поместили в отдельную камеру. Стали выведывать мои связи с вьетнамцами, требовали, чтобы я назвал имена и явки. Мне показывали фотографии каких-то людей и спрашивали, знаю ли я их. Я никого не знал. Меня сначала просто били. Потом привязывали к кровати лицом вверх и жгли лицо и тело раскаленными железными палочками. Однажды ко мне привели вьетнамца. Спросили, знаю ли я его. Я его не знал. Тогда меня забили в колодку, закрепили недвижно руку и отрубили пальцы. Вылили на них банку спирта, и я потерял рассудок, несколько недель был в состоянии безумия. Когда я опомнился, меня снова повели на допрос. Поставили передо мной человека с лицом, сожженным паяльной лампой, и спросили, знаю ли я его. Я ответил, что нет. Тогда они привязали меня к столбу, привели в камеру мою жену, с которой, воюя в джунглях, я не виделся несколько лет. Спросили, знаю ли я ее. Я сказал, да, знаю, это моя жена. Они раздели ее, привязали к кровати и спросили, стану ли я наконец говорить. Я умолял пощадить жену, потому что я действительно ничего не знаю. Они клещами оторвали ей оба соска, и я видел, как брызнула кровь, и жена закричала, и лицо ее было как яма, полная смерти. Один из них достал маленькую стальную коробочку, раскрыл ее над грудью жены, высмал на нее желтых сороконожек, которые, как только почуяли запах крови, кинулись и впились в ее оторванные соски. Это последнее, что я помню, — кричащую жену и ядовитых изогнутых сороконожек, впившихся в ее раны. Я потерял разум, был как безумный. Не знаю, почему они меня не убили. Меня освободили вьетнамцы. Когда я поправился, мне предложили бороться с Пол Потом, и я согласился.

Он умолк. Его кремневое, оббитое на страшной наковальне лицо было бескровным. В очках дрожали два слепящих жестоких солнца, на которые было невозможно смотреть. Кириллов, сострадая, принимая в себя его боль, одновременно думал, сколь беспощаден он должен быть к врагам, какую ненависть видят враги сквозь стекла его очков.

Во двор отеля въезжала «тойота». Шофер, опуская стекло, махал, приглашая садиться.

Мимо охранника с автоматом они въехали в просторный, засаженный деревьями двор с дощатым двухэтажным строением, похожим на надвратную башню. Ворота под башней, ведущие в другое, существующее за зданием пространство, набранные из толстых, окovaných железом досок, были заперты. Перед ними стоял второй часовой, висел флаг республики с зубчатой эмблемой Ангкора.

— Здесь что? — спросил Кириллов, оглядывая цветущие кусты, посыпанные песком дорожки, нарядно раскрашенный флигель — все словно в сквере для прогулок — и угрюмые двери, от которых веяло тюрьмой и неволей.

— Здесь лагерь для перевоспитания пленных, — ответил Тхом Борет. — Пленные проходят здесь трехмесячный курс перевоспитания. Затем мы отпускаем их домой. Сегодня как раз выпускаем очередную партию в шестьдесят человек... Прощу вас сюда, — указал он на флигель. — Здесь вам покажут пленных.

Они уселись за пустым деревянным столом в прохладной, продуваемой ветром комнате. Солдат внес, прижимая к груди, тяжелые, как булыжники, кокосы, обрубленные с макушек, с торчащими пластмассовыми палочками, поставил их перед каждым. Кириллов, постоянно испытывающий жажду, потянул в себя непрерывную сладковатую струйку сока.

Отворилась дверь. Солдат впустил человека, сутулого, с длинной костлявой шеей, с черной нечесаной головой. Глаза исподлобья бегали пугливо. В вялых, опущенных углах рта, в крупных перепаханных руках была усталость, неуверенность. Человек не знал, как и куда поместить худое, неумелое тело.

Тхом Борет властно, кивком, указал ему место напротив, словно толкнул его блеском своих очков, и тот послушно, торопливо сел. Тхом Борет пододвинул ему кокос с трубочкой, но тот смотрел, не понимая, на плод, и Тхом Борет коротко, жестко приказал ему: «Пей!», и тот пугливо схватил губами трубочку, слабо зачмокал и тут же отпустил ее. Уставился в доски стола, выложив перед собой пальцы с нечищеными ногтями.

— Он был взят в плен два месяца назад,— сказал Тхом Борет.— Он из полпотовской банды. Вы можете с ним побеседовать. Второй— он там, за дверью,— из группировки Сон Сана. И с ним побеседуете. Что-нибудь нужно еще?

— Нет, спасибо,— ответил Кириллов, переводя взгляд на Сом Кыта, бесстрастно взиравшего на полпотовца, быть может, одного из тех, кто у сухого канала убил мотыгой его детей, и на Тхом Борета, чья воля и власть над пленным выражались в стиснутом, беспалом, выложенном на стол кулаке. Между ними троими пульсировало неисчезнувшее электричество пронесшейся над Кампучией грозы, обуглившей их всех. И Кириллов, вовлеченный в поле их отношений, чувствовал его как ожог.

В предстоящей беседе ему, журналисту, хотелось выяснить, кто он теперь, солдат разгромленной полпотовской армии. Каков он, боец «кхмер руж», недавний хозяин страны, палач и насильник, выбитый за ее пределы? Стараясь тоном, голосом, выражением лица снять ощущение допроса, мысленно экранируя пленного от солдата у двери, от полевого телефона с блестящей ручкой, от колючей жесткой оптики Тхом Борета, он стал спрашивать, пытаясь заглянуть в темные бегающие глаза человека.

— Простите, кто вы? Я бы хотел узнать ваше имя, откуда вы родом?

Пленный медленно поднял глаза, посмотрел на его чужое, нехмерское лицо, пытаясь сочетать его с кхмерской речью, с видом двух других, грозных для него соотечественников. Не смог, потушился, отнесся это ко всему остальному, случившемуся с ним, не имевшему объяснения.

— Мое имя Тын Чантхи,— тихо ответил он.— Мне двадцать семь лет. Я из деревни Трат, она тут, под Баттамбангом.

Он снова спокойно забегал глазами, передвинул было лежащие на столе руки, опять торопливо вернул их на место, словно боялся выйти из отпущенного ему пространства.

— Значит, вы крестьянин? Занимались сельским хозяйством?

— Да,— был тихий ответ.

Кириллов, оглядывая его сутулые плечи и впалую грудь, сравнивал его с теми, кого видел в полях, на обочинах, роящими колодцы, ремонтирующими двуколки и сохи, таскающими кули с посевным зерном. Перед ним был точно такой же крестьянин, один из тех, во имя которых сначала освобождалась страна, совершалась революция, именем которых затем разрушался Пномпень, убивались другие крестьяне, в чьи руки, отодранные от сохи и мотыги, вложили автомат, кто, потрясенный, со смущенной душой, спутанным, ом-

раченным сознанием, ждал теперь своей участи на разоренной, измученной родине.

— Как вы попали в боевые отряды Пол Пота?— спрашивал Кириллов, делая освежающий глоток кокосовой влаги.

— Как? — переспросил он и, помедлив, ответил: — Это было почти год назад. К нам в деревню пришли из леса вооруженные люди. Стали ходить по домам, всех выводить на улицу. Силой увели нас с собой. Нас было сорок мужчин и восемь женщин. Нас всех увели в Таиланд и включили в войска.

Кириллов знал: банды Пол Пота под ударами вьетнамских и правительственных войск теряют солдат, тают от эпидемий и голода. Пол Пот теперь не истребляет людей, как бывало, не избавляется, как он заявлял, от излишков населения. Теперь он охотится за людьми, силой вербует их в банды, где каждый солдат на учете.

— Я хотел вас спросить. «Красные кхмеры» всегда говорили, что они защищают бедных крестьян от богачей, от Сианука, Лон Нола. Теперь, когда «красные кхмеры» заключают союз с Сиануком, что они говорят об этом своим солдатам? Что они вам говорили?

Человек ответил не сразу, и в ответе его чувствовалась все та же душа, похожая на костровище с уцелевшей по краям путаницей обугленных веток, с дырой черного пепла посредине.

— Мы никогда не любили Лон Нола и Сианука. В нашей деревне были на стороне партизан. Мы помогали «красным кхмерам», когда они к нам приходили. Давали им рис, мясо, одежду. Мы радовались, когда они победили, когда партизаны вошли в Баттамбанг и Пномпень. Мы думали, у нас станет больше земли и мы перестанем платить налоги. Но нас выгнали из нашей деревни, переселили на болота и сказали, что мы теперь «ударная бригада». Нас там заставляли работать по тринадцать часов и не давали еды. Тогда очень много наших людей погибло от малярии и голода, и я понял, что «красные кхмеры» принесли нам несчастье. Нас освободили вьетнамцы и распустили всех по домам. Я вернулся в деревню, из старых досок построил дом и думал, что смогу спокойно работать. Но меня опять силой прогнали из дома, увели в Таиланд. Нам говорили наши начальники, что мы должны бороться с вьетнамцами; все кхмеры должны с ними бороться, потому что они захватили Кампучию, отнимают у крестьян рис, а народ голодает. Мы стреляли во вьетнамцев, минировали дороги, по которым шли их войска. Много наших людей погибло, а я рад, что попал в плен. Здесь мне объяснили в беседах и лекциях, что вьетнамцы спасли нас от режима Пол Пота, они наши друзья и не желают нам зла.

Так говорил, запинаясь, бегая глазами, кампучийский крестьянин, чье сознание, знающее лишь труд на красноватых пашнях, деревенские праздники и моления в пагоде, было смято встречными ударами пропаганды.

— Чему вас обучали в Таиланде?

— Мы учились стрелять из минометов и автоматов. Учились минировать асфальтовое шоссе и обычную земляную дорогу. Женщин обучали минометной стрельбе и минированию. А детям, кто был моложе шестнадцати, показывали только автомат.

— А зенитные ракеты «ред ай» вам не показывали? Вы знаете, что такое американские тепловые ракеты?

— Нет, я их не видел. Но некоторые их учились пускать. Они похожи на небольшие базуки, стреляют с плеча. Они чувствуют в небе горячие моторы.

Еще раз подтверждалось: полпотовцы переживают нехватку людей. Идет тотальная мобилизация в деревнях, в бой бросаются все, кто в силах держать оружие.

— В каких боях вы участвовали? — Кириллова интересовала тактика лесных сражений.

— Только в двух,— поспешил он ответить.

— В каких?

— Один раз мы подкрались к вьетнамскому командному пункту. Установили на горах, в трех разных местах, минометы. И в сумерках сделали три выстрела, с разных сторон, чтобы они не могли определить направление. И тут же ушли. Не знаю, какой мы им причинили вред, но они в темноте нас не преследовали. Второй раз мы заложили на дороге мину, ждали, когда проедет машина. Проехал большой грузовик с военными, но мина почему-то не взорвалась. В других боях я не участвовал.

— Как вы попали в плен?

— Сам пришел и сдался,— он взглянул на Кириллова первый раз прямо, словно умолял его верить.— Положил свой автомат.

Кириллов смотрел на «красного кхмера». Это был не тот закаленный в партизанских боях, выносливый, фанатичный, знающий свои цели и средства боец, что входил победно в Пномпень, сознательно, испытывая ненависть ко всему, что выше и сложнее его, участвовал в истреблении города, без тени сомнения убивал ударом мотыги, гнал на каторгу в малярийные топи своих соотечественников, а когда от границы двинулся вал вьетнамцев, отстреливался до последней пули, бросался с гранатой под танк. Тех фанатиков почти уже не осталось. Они были выбиты в кровавых боях. Их место заступили вот эти взятые в облавах крестьяне, страшась вида оружия, кидаящие его при первой возможности. Группировка Пол Пота еще существовала и действовала, еще держалась иностранным оружием, знаниями чужеземных инструкторов, но таяла, исчезала, была уже армией прошлого. Подобно иным разгромленным воинствам, выброшенным за родные пределы, была обречена на погибель. Она еще стреляла, взрывала, но бессильна была победить. Ее затронули разложение и упадок. Вот какую весть нес на своем лице этот пленный, не знающий, куда поместить свое изнуренное тело, свою измученную душу.

— После того как вы пройдете перевоспитание, чем бы вы хотели заняться?

— Я? — переспросил человек, словно изумляясь вопросу.— Я бы хотел вернуться в мою деревню и пахать землю.

Кириллов отпустил его, глядел вслед в сутулую спину. Всею душой желал ему счастья. Мысленно видел его, согнувшегося над сохой, идущего в борозде за парой круторогих быков.

Он провел опрос еще нескольких пленных и среди них — члена националистической группировки Сон Сана, хотел определить их моральный дух, готовность к сопротивлению, но нового не узнал. Подтвердилось общее, из первой беседы почерпнутое впечатление: военный процесс в стране завершился и лишь локально и искусственно поддерживался Западом и его союзниками для создания очага напряженности, для перенесения «кампучийской проблемы» в русло активной антивьетнамской и антикхмерской политики.

— Вы закончили? — спросил Тхом Борет, не вмешивавшийся в разговор, лишь иногда, когда пленный умолкал в нерешительности, одним блеском своих очков понуждая его говорить.— Если вы не устали и если вам интересно, можете посмотреть, как мы отпускаем пленных.

Кириллов согласился и, продолжая на ходу укладывать в памяти добытые сведения, вышел с остальными на солнце.

На земле, на солнцепеке, перед зданием с флагом рядами сидели люди в одинаковых позах, с одинаковыми смоляными волосами. Разом, словно птицы, они повернулись при появлении Тхом Борета и остальных, следили многоглазо и зорко за их приближением.

Перед сидящими возвышался стол. На нем лежала кипа бумаг. Темнел закрытый ящик, похожий на ларь. Блестела металлическая миска. Кириллов и Сом Кыт пристроились в тени. Тхом Борет в форме, перехваченный ремнями, блестя очками, прошел к столу, к другим военным, вытянувшимся перед ним. Снял очки, погасив два слепящих луча, стал близоруко щуриться. Лицо его утратило жесткость, было теперь не кремневым, а просто усталым и серым. Стоял у стола изнуренный большой человек, готовясь что-то сказать.

— Вы,— начал он, и голос его был не для команды, не для ораторской речи. Не было в нем приказа и окрика, а почти просьба.— Я очень рад вам сказать, что с этой минуты,— он посмотрел на часы,— вы больше не пленные, не солдаты врага, а свободные люди, как я, как вон те, что идут за оградой. Вы — граждане Кампучии, такие же, как и весь народ.

Сидящие не издали ни звука, только потянулись к нему глазами, жадно, остро, словно проверяли, словно искали подтверждения словам, а один, очень юный, тряхнул черно-блестящей копной волос, оглянулся на близкую улицу, где за оградой сновала толпа, мчались велосипедисты.

— Вы все,— продолжал Тхом Борет,— видели много горя. Вас заставляли делать зло другим людям, заставляли убивать, мучить, взрывать. В народе, в деревнях еще плачут вдовы убитых вами мужчин. Еще голодают дети, которых вы сделали сиротами. За ваши поступки можно было бы вас судить, строго наказать, может быть, даже убить. Но нельзя убивать бесконечно. Нельзя кампучийцам бесконечно убивать кампучийцев. Зло должно быть остановлено. Кто-то должен не сделать ответного выстрела и оставить патрон в патроннике. Наша власть не желает вам мстить. Слишком много было убито за эти годы, и мы не хотим убивать. Мы говорили с вами об этом много раз. Вы соглашались с нами. Вас ждет земля, ждут ваши родные и ваши дети, ждут ваши соседи, вас ждет родина, которая забыла вашу вину и помнит только одни пережитые вами несчастья. Идите сейчас домой и не несите с собой злых мыслей. Отдохните хорошо и принимайтесь за работу. Теперь только работа, только братская помощь друг другу помогут забыть беду. Сейчас вам выдадут деньги и рис. Тот, кто живет дальше от города, у кого дорога длиннее, получит больше риса. По приезде домой вам хватит еды на три дня, а потом приступайте к работе. Счастливой дороги и доброго Нового года.

Они захлопали. Отросшие волосы на их головах заколыхались, как перья. Тхом Борет стал выкликать по списку. Каждому, кто подходил, выдавали из ящика деньги. Зачерпнув из мешка алюминиевой миской, сыпали рис кому в платок, кому в перетянутую узлами рубашку, в изношенные ветхие ткани, в которых они пробирались в лесах, стреляли, которые стелили под себя на ночлегах, накладывали вместо бинтов на ожоги и раны.

Кириллов вспоминал слова Сом Кыта о преодолении тьмы. Видел: Тхом Борет, изведавший страшное зло, остановил его на себе, не пустил его дальше, закрыл своим искалеченным телом огромный, kloчущий желоб, сквозь который втекает в мир зло. И оно, остановленное, бурлило где-то поблизости, не в силах залить этот солнечный двор с красным флагом на башне, с зубчатым силуэтом Ангкора.

Люди, получив свой рис на дорогу, шли к выходу, топтались у раскрытых ворот, словно боясь пересечь черту, все ту же черту между светом и тьмой. Переступали, убыстряли шаги. Почти бежали. Влетали с разбегу в толпу. Становились толпой, народом.

К воротам, где стояла их белая, готовая к движению «тойота», подъехал «уазик» с военными. Солдаты с гранатометами через плечо, с автоматами вышли, стали прогуливаться.

— Охрана пришла,— сказал Тхом Борет.— Можем ехать к границе.

Они погрузились в машины. Кириллов и Тхом Борет — в «уазик», а Сом Кыт с солдатами — в «тойоту». Двинулись через город, очень скоро сменившийся полями, рощами, в которых параллельно с шоссе тускло блестела, струилась железнодорожная колея.

Кириллов издали старался определить состояние дороги. Желтела полузаросшая насыпь. Мелькали маленькие аккуратные мосты. Солнце непрерывно бежало в стальном натянутом рельсе. Дорога, он это знал, вела к границе. В мирное время она служила сообщению и торговле. Во время войны была блокирована, потеряла весь парк вагонов и тепловозов, но оставляла возможность для быстрой переброски войск и припасов.

Кириллов смотрел в окно, ждал появления придорожных сел, которые обнаруживали себя сначала все учащающейся ездой велосипедистов, потом пешеходами с тюками, корзинами, мотыгами на плечах, и, наконец, близко к обочине возникало село, свайные хижины, пальмы, дым очагов и жаровен. Близость Нового года, его канун ощущались в нарядах, чистых, иногда ослепительно-ярких одеяниях женщин, в цветах, украшавших дышла воловьих упряжек. На хижинах обильно, празднично висели красные флаги. В пальмах на высоких шестах волновались двуххвостые змеи. На одном перекрестке толпа шумно играла огромной раскрашенной куклой, колыхавшей белой красноглазой башкой. Кириллов махнул рукой тонкобедрой женщине, поймав ее молодой любопытный взгляд. Но среди оживления и праздничности, словно легкие набегавшие тени, все чаще начинали мелькать люди в солдатской форме. Солдаты при виде их кавалькады еще издали начинали вглядываться, узнавать, подымали полосатую, преграждавшую путь перекладину. У перекрестков были отрыты траншеи, иногда пустые, но чаще с солдатами, разморенными, но не дремлющими, вооруженными. Блеснул вороненым стволом зенитный, без чехла, пулемет. Кириллов чувствовал, что по мере приближения к границе их захватывает постепенно нарастающее поле тревоги.

— Вот здесь,— показал в окно Тхом Борет,— вот здесь итальянка погибла.

Кириллов окунул лицо в тугой пыльный воздух, увидел брошенный на обочину, разорванный белый корпус «тойоты» с синим закопченным клеймом. Чужая гибель и боль, к которым он прикоснулся, приняли образ женщины — она пустилась следом за ним, чуть касаясь травы ногами, с приподнятой в беге струей волос, отстала, пропала вдали... Дрожание раскаленного воздуха. Растрепанные зеленые пальмы.

Они въехали в Сисопхон, в солнечную разноцветную пыль, увязая в запруженных улицах. Пробивались гудками, катили среди ленивых телег, колыхающихся воловьих голов. В прохладной, с развевающимися занавесками комнате встретились с председателем народно-революционного комитета, встревоженным, неуверенным, тем самым, кого террористы обстреляли накануне в его собственном доме. И беседуя с ним, Кириллов все представлял рассекаемое очередью оконное стекло, брызги посуды, женские истошные вопли.

Председатель неохотно и скупо, словно не зная, чем обернется для него эта беседа, объяснял, что взрывы дамб и каналов враги принимают для того, чтобы создать искусственный голод и таким способом направить народ в Таиланд на заработки. Там, в Таиланде, их перехватят и загонят в лагеря и военные центры.

— Народ,— председатель немного оправился и стал разговорчивей,— народ приходит в комитет и просит построить в селах школы, больницы, а враги являются из Таиланда и уводят с собой целые селения.

Еще он сказал, обретая уверенность, возмущаясь, что бандиты не только стреляют, а занимаются грабежом, контрабандой. Из Кампучии в Таиланд течет поток серебра, драгоценностей, старинной буддийской бронзы и скульптур из храмов. Бандиты проникают в старые храмы, откальвают молотками головы маленьким каменным буддам и в Таиланде продают их за доллары. Много ценностей уплывает из Кампучии в Европу, Америку.

Председатель встал, прошел в угол комнаты, сдернул со стола покрывало. И Кириллов увидел лежащую навзничь обломанную статую с улыбающимся тихим лицом, желто-черные ритуальные колокольчики с отлитыми фигурами крылатых танцовщиц. Взял осторожно один, потрянул и поставил. В воздухе долго и нежно продолжало звенеть.

Все это отобрано у бандитов, сказал председатель. Но главная беда крестьян, продолжал он, это обстрелы пограничных селений из тайландских орудий. Гибнут люди, скот, посевы. Поэтому после множества жертв власти решили убрать людей от границы, эвакуировать все села на двадцать километров в глубь территории. А это большая для народа мука. «Большая мука»,— повторил он со вздохом.

Они выехали из Сисопхона, и за городом шоссе в направлении границы быстро опустело. Только редкие и, казалось, испуганные велосипедисты шарахались от их машины, и слева тускло светилась пустая железнодорожная колея — продернутая в полях и рощах замолкшая струна.

Впереди запылило. Они нагнали железную гусеничную громаду транспортера. На броне сидели вьетнамцы в пробковых шлемах, в грязных намотанных на шею тряпицах, защищавших их от москитов. Транспортер был американский, видимо захваченный в Южном Вьетнаме, грыз теперь гусеницами шоссе у границы с Таиландом. Кириллов успел разглядеть соскобленную краску с брони, где было клеймо США, а в люке — усталое, желто-серое лицо водителя.

Чем ближе подвигались к границе, тем чаще попадались войска. Разболтанные пятнистые грузовики, тоже американские, везли зеленые снарядные ящики. Прокатила батарея пушек, щитки орудий были исцарапаны и избиты, завешены вялой, сорванной недавно листвой. Проехала санитарная машина с крестом, рядом с водителем сидел солдат, и голова его была забинтована. Они уже были в зоне опасности, в зоне сгустившейся тьмы.

Внезапно «уазик» качнуло, поволокло, заколотило на выбоинах. Водитель остановил машину, что-то сказал Тхом Борету.

— Колесо спустило,— пояснил тот Кириллову.

Вышли, захватив автоматы. Обе машины встали на пустынном шоссе. Солдаты разминались, довольные паузой. Шофер возился с домкратом. Тхом Борет, извиняясь, сказал:

— Десять минут, не больше!

Кириллов был рад остановке. Решил пойти к железной дороге, взглянуть на нее своими глазами. Перепрыгнул кювет. По растрескавшейся почве двинулся на блеск колеи, чувствуя, как вслед ему смотрят, тревожась о нем, Тхом Борет и Сом Кыт, как солдаты сжимают оружие, огляывая пустое пространство.

У насыпи, окруженный зеленью, сочился крохотный ручеек. Перескакивая его, Кириллов успел заглянуть в его мелкое светлое дно, спугнул с травинки прозрачную водяную стрекозу. И ее наивный, лучистый полет породил в нем забытое, детское чувство: ручеек был похож на другой, подмосковный, на их давней даче.

Колея уходила в обе стороны прямо, пусто, тронутая не ржавчиной, а словно смуглым загаром. Бетонные шпалы с металлической крепью были в хорошем состоянии, но начинали прорастать хрупкой, кол-

кой травой. Он прикоснулся к нагретому рельсу, смотрел в пустую, с вонзившейся сталью даль, голубую и волнистую у горизонта.

Его потянуло к ручью. Он спустился к воде, засмотрелся на желтое придонное дрожание песчинок, на слюдяное порхание стрекозки. И вдруг сладостное телесное чувство посетило его на безымянном километре азиатской дороги...

Из лучей, из блеска воды воссоздался забытый день. Мать с этюдником сидит на берегу заросшего пруда. Мокрый лист акварели повторил желто-белую, на той стороне, усадьбу, кажется, Суханово. Он застыл на бегу, поймав материнский, медленно-грациозный взмах кисти, испытал к ней мгновенный прилив нежности, любви, ему захотелось, чтоб она оглянулась, заметила в нем эту нежность. Кинул в воду камень, желая привлечь внимание,— и только испугал ее, раздосадовал.

Мать, не старая, не больная, впадавшая в забытье, в беспомощную несчастную сумрачность, а другая, ранняя, молодая, из детства, с прекрасным темнобровым лицом, расчесанная на прямой пробор, в том синем с прозрачными пуговицами платье, от которого по дому лился тонкий чудный запах духов. Этот запах связался в нем до конца со страницами старинных книг и альбомов, с деревянной скрипучей лестницей в Доме архитектора, спускаясь по которой вдруг попадаешь в серебряное сияние огромного зеркала, с дворцом в Кускове, где снег, янтари драгоценного паркета и бирюза застывшего, иссеченного коньками пруда, с полуразрушенной церковью в Раздорах, наполненной свежим сеном, куда ухнул из-под купола до самого пола.

Он вспоминал теперь мать всю разом, за все выпавшее им в совместной жизни время, молодой и старой одновременно. Вспомнил, как читала она ему, больному, про первый бал Наташи Ростовой, и корешок недавно купленной книги золотился сквозь легкий жар, и уже навсегда слились в его памяти и вальс Наташи, и влюбленность князя Андрея, и склоненное родное материнское лицо. Много лет спустя, когда мать болела и он к ней приходил, ухаживал за ней, поил чаем, бегал за лекарством в аптеку, раскрыл он их разошедший книжный шкаф и увидел «Войну и мир», потрепанную, с облезшей на корешке позолотой. Отыскал первый бал Наташи, стал читать матери. Она сначала противилась, потом увлеклась, благодарно ему улыбалась. А он, читая, возвращал ей через много лет ту полученную им энергию света, и она после чтения затихла в спокойном исцеляющем сне.

Теперь, в кампучийских предгорьях, мать снова посетила его. Он смотрел на слабое мерцанье воды недвижно, безмолвно.

— Ну вот можно и ехать!— Сом Кыт приблизился к нему осторожно, деликатно его окликнул. Кириллов очнулся, встал и двинулся обратно к машине.

Впереди замерцало, за клубилось. Стало приближаться, проступить шевелящимися живыми ворохами. Они вдруг въехали в дымное звякающее многолюдье, густо осевшее вдоль дороги. Катили среди разбросанного углаго скарба, курящихся костров и жаровен, словно очутились в таборе. Кочевники присели на краткий отдых, ненадолго коснулись земли. И так нежданно было появление этого скопища среди жарких безжизненных пустырей, что казалось: люди, и скарб, и повозки ссыпались прямо с неба, усеяли сорный пустырь.

— Кооператив «Коуп». Две тысячи жителей,— сказал Тхом Борет.— Переселяются от границы. Их все время обстреливали. Снаряды и ракеты рвались прямо в деревне. От этого места до границы ровно двадцать километров.

Их машина медленно двигалась, стараясь не наехать на груды сухих жердей, на расставленные по асфальту пожитки, на детей, замиравших, испуганно, до черноты расширявших глаза при их прибли-

женин. Пустые тарелки и миски светлели на пыльной земле, но к ним никто не подсаживался. Груды трухлявых бревен были сложены у обочины, две женщины, подняв гнилушку, несли ее куда-то в дрожащую даль. Вбитые в землю колья удерживали пузырящиеся синие пленки, под ними, укрываясь от зноя, недвижно сидели люди — казалось, утлый парусный флот, скомканный бурей, движется без путей. Катилась двуколка с легкими спицами, впряженный в нее человек, голенастый, с журавлиной шеей, бежал, на коляске в позе Будды сидел маленький старый бонза в желтой одежде, с бугристой бритой головкой. Пугливые, с проступающим рельефом ребер, ключиц и лопаток люди копали землю, но, казалось, их труд направлен не на строительство, а на разорение, в нем чудились паника, обреченность.

Женщина, босая, узкобедрая, заслонила собой двух грязных кривоногих голышей. Кириллов поймал ее ужаснувшийся взгляд. Вспомнил: вот так же выглядели в первые после освобождения дни лица всех кампучийцев. Он уже успел позабыть в Пномпене это общее состояние, это общее — из страха, из готовности бежать и спастись — выражение лиц. Но вот опять повстречал его, опять содрогнулся.

Люди, на которых он смотрел из машины, не ведали мира. Они все еще были в войне, в области затмения и тьмы. Светило солнце, но, казалось, оно было с черной раковиной.

— Стоп, здесь! — Тхом Борет остановил машину около строящегося дома, темного, на сваях, короба, собираемого из старого дерева. Люди с пилами, молотками окружили строение, резали, колотили, строгаги, и казалось, они строят в пустыне ковчег, торопятся успеть перед бедствием. — Строят школу, — сказал Тхом Борет, выходя из машины.

Их заметили, прекратили работу. Держали в опущенных руках инструменты. Тревожно следили за автоматами, гранатометами. Кириллов чувствовал их робость, пугливую беззащитность, готовность по первому слову что-то делать, от кого-то спастись. Вошел в их круг, стараясь осторожными жестами, мягким выражением лица успокоить людей.

Тхом Борет подозвал их поближе, и они, оставив пилы и топоры, послушно сходились, усыпанные опилками, нечесанные, несмело топтались в тени от недостроенной школы, сквозь которую сквозила горячая испепеленная пустошь. Тхом Борет объяснил цель их приезда, представил Кириллова. Люди закивали головами, тихий шелест пронесся и стих. Они смотрели теперь на Кириллова, желая понять, что сулит им его появление.

Кириллов чувствовал ненужность, неуместность вопросов, ничего не добавлявших к очевидной, откровенной картине горя. И все же спрашивал: о частоте артолетов, об уронах, потерях, погибших полях, урожаях.

Они молчали, охваченные круговой немотой. Не желали, не умели впустить в свое несчастье другого.

Тхом Борет кивнул самому старшему, понуждая его к ответу. И тихий глухой ответ был о рвущихся на деревенских дворах снарядах, о чадных пылающих хижинах, о растерзанных взрывом быках, о бегущих с полей землешапах, о воющем, нарастающем визге, ухающем за селом, вздымающем столб жирной плодородной земли с ростками зеленого риса. Кириллову хотелось своей широкой грудной клеткой, плотным сильным телом заслонить впалую костлявую грудь стоящего перед ним человека, его понурые стариковские плечи, всю его хрупкую жизнь, которую стремились истребить, вырвать из почвы, лишить солнца и неба.

Его рассказ был об уездном начальстве, о сельском сходе, о поднявшемся тихом плаче, когда всем миром, разобрав жилища до последних щепы и гвоздя, захватив с собой белье и посуду, храмовые святы-

ни и сохи, семена для посева и стареньких бонз, угоняя птицу и скот, торопились они спастись от огня, от войны — беженцы и погорельцы. Война гналась за ними, насылала свои колесницы, свои танки с крестами, самолеты с прицельной оптикой. Бежали, бегут с древнейших времен, оставляя пагоды, колокольни, мечети. Остановились в этой горькой долине, строят утлый ковчег из хлорвиниловых пленок и щепок, надеясь уплыть на нем от несчастья.

Кириллов вдруг остро, ясно ощутил, сколь неотложно важна помощь этим измученным людям, как истинно и глубоко в человеке стремление спасти другого, как связано оно с сокровенным, вмененным людям добром, с той извечной в его народе способностью делиться последней рубашкой, последней коркой. И, стоя под тропическим солнцем, среди азиатских скуластых лиц, он перенесся на мгновение к родимой земле, к ее неоглядным нуждам и тяготам, к ее великим трудам и богатствам.

Негромкие жалобы кампучийских крестьян были на нехватку семенного зерна, обрекавшую их на скудный урожай и на голод. На близкие ливни, от которых им негде укрыться. На непаханую, дикую, без единого ключа и колодца землю, которую предстоит им осваивать. На начавшиеся детские болезни, на отсутствие учителей и врачей. На скудный, на пределе существования, быт, где на счету каждая ложка и гвоздь, где в сохи вместо волов будут впрягаться люди, а дети в четыре руки станут поднимать тяжелую мотыгу.

Кириллов записывал, держа на весу блокнот, будто рисовал с натуры этот разоренный войною край. Услышал, как на дороге заурчало, залязгало. В клубах синей гари, качая пушкой, шелушась броней, прошел танк, и усталый танкист, стоя по пояс в люке, хватал ртом воздух. Танк проехал сквозь табор, оставив дымный висящий след, словно прорубил туннель. И в этот туннель, невидимые, пронеслись клубящиеся грозные силы, пролязгали сквозь селенье, и народ расступился, пропустил их сквозь себя. Кириллов писал, слыша зловонье сожженной солярки, кислого металла и пороха, затмившее робкий дым очагов, запах древесных распилов.

Они пошли вдоль табора дальше и встали перед вбитыми в землю колами, на которых были укреплены сколоченные, покрытые циновками щиты, заменявшие пол, а сверху трепыхалась синяя пленочная крыша. Стен не было, открывался глазам бедный быт — ворохи тряпья, горшки, старая швейная машинка. Два детских лица поднялись из ветоши, наблюдали приход чужих. Рядом с жилищем шелестела все та же дырявая, в виде навеса, пленка, и под ней, привязанный, стоял бык.

Он понуро опустил костлявую голову с белыми бельмами. Тонкая липкая слюна тянулась до земли с воспаленных, в красной коросте губ. Его бока запали и шелушились, были покрыты язвами, на которых густо сидели мухи. Бык дышал, натягивая на ребрах кожу, и дыхание его было свистящим и хриплым.

Появилась женщина с ведром. Испугалась, увидев незнакомых. Поставила на землю ведро.

— Это вдова Бам Суана, — тихо сказал старейшина. — Ее мужа убил тайландский снаряд, а бык заболел.

Горе, что двигалось по этой земле, касалось не только людей. Оно касалось животных, растений, воздуха и камней.

— Я думаю, — тихо обратилась к Кириллову вдова, — может быть, бык поправится и мы сможем на нем пахать. Я собираю траву, делаю ему примочки и даю пить. Мне кажется, ему стало лучше. Пусть он останется слепой. Дочка будет идти перед ним и показывать дорогу, а мы с сыном станем править сохой. Мне кажется, он все-таки может поправиться...

Она подняла ведро, подошла к быку. Стала отжимать над ним мокрую тряпку, сгонять мух, прикладывать примочку к горячно дышащим бокам. Бык ниже опустил голову. Кириллов видел: сквозь бельма из бычьих глаз льются слезы.

Они катили по безлюдной дороге к границе. Кириллов смотрел, как качается хлыст антенны над капотом «уазика», сечет близкие горы, леса. На обочине, вылезая кормой на асфальт, возник танк. По его осевшему в рытвину корпусу, не зеленому, а желто-ржавому цвету Кириллов издали понял, что танк подбит и сгорел. Тут же, неподалеку, зарывшись гусеницами в землю, ржавела боевая машина пехоты, а чуть в стороне на обугленных скалах осел транспортер.

Тхом Борет остановил машину. Все вышли. Кириллов разглядывал разбитую технику — оборванный порыв наступления, напорившийся на встречный порыв. Видимо, здесь, у дороги, находился полпотовский противотанковый расчет, погибая, он отметил рубеж своей гибели телами сожженных машин.

— Вот здесь, у этой черты, мы должны повернуть обратно, — сказал Тхом Борет. — Дальше ехать нельзя. Дальше мы не можем обеспечить вам безопасность.

Кириллов, ссутулив плечи, мучаясь жаждой, проводя сухим языком по колючим губам, смотрел перед собой на шоссе. Ему казалось: от пыльной обочины, от развалившихся танковых гусениц через избитый асфальт проведена невидимая черта, тот предел, до которого они докатились и встали, исполнив намеченное. Оттуда, из-за черты, отесняя, дует невидимый ветер, враждебные неясные силы чем-то грозят, словно все еще длят тот недавний гранатометный удар, развернувший танк толчком в лобовую броню. Он чувствовал это давление своим усталым измученным телом. Пора было поворачивать вспять. Впечатлений было довольно. Поездка его удалась, выполнена его задача. Теперь от этой черты можно развернуться — и обратно, в Ангкор, и дальше, в Пномпень. Через сутки обнять жену, успокоить ее и утешить, сбросить прелую, потную, пропитанную ядовитой пылью растений одежду. День-два на отдых. И потом его подымут широкие белые крылья «ИЛа», унесут в небеса от этих джунглей, от этой невидимой, прочерченной приграничной черты. И будет май в Москве, сирень на площади Большого театра и в толпе — родные, усталые лица москвичей. Он будет толкаться среди них, опускаться в метро, выныривать то у «России», у золотых церквей, то у Красных ворот с мерцающим в сумерках виражом Садовой. А об этой черте, о танковой упавшей плашмя гусенице и не думать.

Он переступил на месте пыльными башмаками. Чувствовал, как в душе его напряглась, выгнулась невидимая, слабо звучащая мембрана, отделяя его, стоящего здесь, от того, другого, гуляющего у Большого театра, в другом, будущем пространстве и времени. Медленно одолевал в себе искушение.

— Дорогой Сом Кыт, — Кириллов вглядывался в осунувшееся лиловогубое лицо кхмера, на котором проступила щетина и острые кости скул, а в углах покрасневших глаз скопилась мокрая пыль. — Мне кажется, нам следует продолжить путь и достигнуть границы. Иначе, и я надеюсь, вы со мной согласитесь, картина будет неполной. Какой журналист упустит возможность вести репортаж из тех мест, откуда бьет огонь артиллерии? Весомость каждого слова увеличивается на вес снаряда. Поэтому, дорогой Сом Кыт, мне кажется, мы должны просить любезно сопровождающего нас Тхом Борета сопровождать нас и дальше, к границе.

Он видел: Сом Кыт смотрит перед собой на асфальт, на ту же черту, незримо преграждавшую путь, на тот предел, где оканчивается их путешествие и можно разворачивать колеса машин в другую, без-

опасную сторону, туда, где в необжитом жилище его одиноко ждет жена, и корректный доклад в министерстве об исполненном деле, и отдых, и, быть может, близкое повышение по службе. Та же тончайшая, колеблющаяся мембрана звучала в душе Сом Кыгга, Кириллов чувствовал, как тот пытается ее успокоить, одолеть искушение. Прологает себе путь сквозь невидимую, ведущую к границе черту.

— Я тоже думаю, что нам следует побывать на границе,— обратился Сом Кыт к Тхом Борету.— Иначе впечатления будут неполными.

— Дальше ехать нельзя,— твердо сказал Тхом Борет.— Таково условие программы. Дальше имеющимися средствами охраны я не смогу обеспечить вам безопасность. В вечернее время прекращается движение на трассах. Я не могу взять на себя ответственность. Программа полностью выполнена.

— Дорогой Тхом Борет,— Кириллов чувствовал, как кожаные сухие ремни стягивают ему щеки и губы, но старался улыбаться,— вы же знаете, что никакая программа, даже столь тщательно и разумно составленная, как наша, не может учесть всех экспромтов и неожиданностей.

— Неожиданностей я и боюсь,— твердо стоял на своем Тхом Борет.— Затем и составлялась и утверждалась программа, чтобы избежать неожиданностей. Я, ответственный за программу, не могу гарантировать вам безопасность.

— Дорогой Тхом Борет,— настаивал мягко Кириллов,— после того, что вы все перенесли в этой жизни, понятие «безопасность» приобретает относительный смысл. Не правда ли, Сом Кыт?

— Да,— кивнул тот. — Нам надо проехать к границе. Я говорю это от имени министерства иностранных дел.

— Не знаю,— колебался Тхом Борет. — Я не вправе принимать решение сам. Я должен связаться с председателем провинциального комитета. Должен связаться с Баттамбангом по радио.

— Так сделайте это,— сказал Сом Кыт.— Сделайте это от имени министерства иностранных дел.

Тхом Борет направился к «уазику», где блестел жгут антенны,— вызывать по радиации Баттамбанг. Кириллов невесело усмехнулся, вспомнив образ давнишней, в детстве читанной книги: развилка пути, белый камень на обочине, богатырь на коне водит по земле копьём, на камне — вещи, начертанные кем-то слова. Нет ни коня, ни камня, лишь разбитый сгоревший танк, горстка усталых солдат, но все тот же отмеченный на дороге чьим-то древним извечным копейм рубеж.

Солнце пекло. Попискивала в «уазике» рация. Тхом Борет вызывал Баттамбанг. Кириллов, желая укрыться от зноя, спрятать от других свое изнуренное тело, подошел к танку. Ухватился за теплую скобу, за облупленную крышку люка. Влез в нутро танка.

В танке было сумрачно, душно. Выгорело все лотла. Будто влетела туда и взорвалась шаровая молния, единой вспышкой испепелив все живое и плавкое. Он устроился на сиденье водителя среди торчащих обугленных рычагов, рыжей осыпавшейся окалины, в которой валялась окисленная орудийная гильза. В сумрак вонзался и тонко, струнно дрожал луч солнца сквозь маленькое, прожженное в броне отверстие. Огонь кумулятивного снаряда пробил сталь, прожег в ней канал, вдунул в танк смертоносный пылающий шар. Кириллов наклонил голову, поймал зрачком круглый прожог в броне, поместил глаз в то место, где недавно свистело веретено плазмы. Его живое ухающее сердце находилось в том месте, где некоторое время до него билось сердце сгоревшего человека. Его живые ноги упирались в пепел и прах, бывший некогда человеческой плотью. И он, живой, смотрел сквозь пробоину на голубые горы, курчавые далекие заросли, на медлительную тихую птицу под белой тучей. И думал о родине.

Он видел ее внутренним зрением сразу всю, словно пролетал над ней в серебристой высоте, как крылатое семечко, бесконечно малое в сравнении с ней, огромной. И одновременно был больше ее, нес ее в себе, обнимая, окружая своей жизнью, был ее хранителем. Из сожженной брони, сквозь скважину, в которую струйкой дула смерть, он своим встречным, одолевающим гибель движением посылал ей, далекой, луч своей любви. Желал ей жизни вечной. Желал ей мудрости, доброты. Желал великого трудолюбия и терпения в неусыпной, затеянной предками работе по преобразению жестокого мира, в которой бесчисленные вереницы работников гибли в огнях и бедах, спасая ее от бед и огней. И он, один из бесчисленных ее сыновей, на исходе сил слал ей в поддержку, в подмогу лучик своей малой жизни, надеясь, что он ей пригодится, долетит сквозь пространства земель и вод.

Здесь, в изувеченном танке, среди окисленной теплой брони, он думал о том белоснежном дне, из которого столько лет все черпал силу, спасаясь ею и спасая.

Тетя Поля окончила песню, а вслед все еще тянулся весь воссозданный ею мир цветов, красавиц, скакунов и наездников. Но вот и они отлетели в морозную темень за окошками, почти пропали и смолкли. Но потом превратились в невнятный звон, фыркание, скрип полозьев. Стали вновь приближаться, затоптали под окнами, пробарабанили в стекла, прозвякали щеколдой крыльца, прогрохали по мерзлым половицам сеной, опрокинули с аханьем пустое ведро, со стуком отворили дверь в избу, и в натопленный жар, окутанные паром, нанося на валенках снег, теснясь, визжа, заполняя все размалеванными, накаленными лицами, огненными подолами, вывороченными овчинами, ввалились ржженные. Пошли ходуном, валом, вытаптывая, высвистывая, расшатывая избу, точно вкатили огромное, цветное, грохочущее колесо.

— Эй, хозяйева, принимай колдунов! Откупайся, а то заколдуем!

Летят со стола в подставленный мешок конфеты, кусок пирога, литой зеленый лафитник, бутылъ с наливкой — все одним махом. Он видит, каким восторгом и ужасом отражает ее лицо нашествие размалеванного дикого толпища, как готова она влететь в их скачущий круг, в ночное разноцветное солнце и как страшится, робеет.

Он вглядывается в черное, сажей наведенное лицо то ли козла, то ли черта, влеющего, скалящее твердые, стиснувшие морковку зубы. И в солдата со свекольно-красными кругами на щеках, делающего «на караул» ухватом. И в бабу непомерных размеров в пегих юбках, с наклеенными мочальными волосами. И в цыгана с луковыми кругляками в ушах, с черными усищами из конского волоса. И постепенно под красками, сквозь рев и визг, колочение палкой в противень, хмельные переборы баяна, начинает узнавать лесников Полунина и Одинокова, и пыльщика-мордвина, и шофера, подобравшего его на грузовик, и тракториста в валенках, оклеенных красной резиной, и старую толстую Куличиху, и молодую грудастую почтальоншу, и хромого возницу сельпо. Они, преображенные, утратившие знакомые дневные обличья, морочат, ворожат, пленяют, зазывают в свое толпище.

— Айда на коне кататься! Ему, вишь, вино в овес влили. Сдурел конь-то!

Он цепляет в рукав телогрейку, помогает Вере набросить тулупчик. И стиснутые, толкаемые, подгоняемые тумачами, они выносятся стгоряча на мороз, на студеный ветер и звезды. На дороге, в санях нервничает, мнется, фыркает конь, тот дневной, стоявший на лесосеке. Теперь он кажется огромным, гривастым, в серебристом кудлатом инее, с вылупленными, черно-блестящими глазами.

Она смеется, протягивает к коню ладони, но тот кривит бархатные горячие губы, грызет железо, и на мохнатых, бьющих об дорогу копытах лунными серпиками блестят подковы.

Все окружили коня, навешивают на дугу конфеты, серебряные бумажки и ленточки. Кто-то тянется, никак не нацепит вырывающийся, норовящий улететь бубенец.

Насаживаются тесно и густо — тугая спина к спине, хохочущая голова к голове, хмельное дыхание к дыханию, — сжимают обморочно стенающий баян. И он, схватив незаметно ее близкую горячую руку, чувствует, как откликается она на его пожатие, как ей хорошо и счастливо. Ему хочется поцеловать ее близкое, быстроглазое, темно-губое лицо.

— Эй, кто может, держись, а кто не может, ложись!.. Ну, пошел!.. Ну, поехал!.. Ну, черт, полетел!.. — и скрипнув, дрогнув, сани рванули, понесли по деревне вой, визг.

Мелькают избы, мимо которых шли утром, но там, где в утренних окнах краснели печи, теперь мигают зажженные елки. Колокольня прошумела шатром, в радужных небесных сверканиях, на совхозной конторе полыхнул в темноте кумач. Кончилось Троицкое, и ветер с поля резанул по щекам, подхватил скрип саней, рев баяна, безумевший гик возницы, храпящий ответ коня. И — мгновенье безвременья, бесшумный полет над землей. Глубоко внизу деревни бросают высь красные сыпучие искры. Тенистые поляны в лесах, на которых, задрав глазастые морды, смотрят вверх седые лоси. И внезапно, как пробуждение, падение вниз, в снег, в обжигающий дымный сугроб. Сани колыхнулись на повороте, и они вдвоем, уцепившись один за другого, вывалились в снежную глубину, видя, слыша, как удаляются сани, унесят пиликанье, звон бубенца.

Они стояли среди ветреного туманного поля с колыхающимися волнистыми небесами. Притихли, онемели вдруг, отделились, боялись коснуться друг друга. Ему казалось, что они уже здесь были когда-то, он ее сюда приводил, уже видел и эту безбрежную пустоту в небесах, и эту стылую непроглядную даль. Мелькнула мысль о краткости, случайности их встречи, и охватила такая боль и тоска, непонимание, незнание себя, своих путей и дорог, что слезы вдруг набежали, и небо сквозь слезы оделось тончайшим перламутром.

— Ты что? — говорит она, трогая осторожными пальцами его губы и брови. — Пойдем!

Они медленно, она впереди, а он сзади, идут к селу. Она, нагибаясь, пишет на пышном снегу их имена. Он читает, и ему кажется, буквы медленно отрываются от снегов, уплывают в небо. Там среди высоких разноцветных разводов начертаны их имена.

Много позже, когда он защитил диссертацию и поступил в институт на работу, для них после стремительных, обильных переменами лет наступил покой. Их жизнь как бы остановилась, наподобие светила в небе. У них появился достаток. Они расстались со своей комнатухой, с разошедшейся допотопной мебелью, перенесли в новый дом лишь березовое, залитое воском полено, светившее на столе среди их молодых вечеринок, освещающая спорящие лица. В институте его ценили, сулили в науке будущее. Она была горда его успехом — статьями, монографией, выступлением на симпозиуме. Была хозяйкой дома, умела принять, привлечь, сгладить двумя-тремя словами возникающие шероховатости в разговоре. Жила его интересами, дорожила этим первым, выпавшим им на долю покоем. А он чувствовал, как в нем назревает знакомое беспокойство. Копитесь, ищет выхода, превращается в энергию движения, выталкивая его за пределы их светлых комнат с видом на Язу, на голубую, как перышко сойки, колоколенку, и ему не терпелось снова кинуться навстречу многоголосой, оглушительной реальности, за пределы библиотек, кабинетов, туда, где

ждали его испытания, ждал неведомый опыт, требующий от него не просто мыслей и чувств, но и поступков.

Он оставил институт, подрядился в газету на внештатные, от случая к случаю, поездки, опять вернувшись к прежнему неустройству, к прежней бивачной жизни. Колыхнул, двинул с места застывшее было светило. Встречал его то на Курилах, то на Памире, то в белых тундрах Ямала.

Она мучительно перенесла перемену. Ей казалось: она виною всему. Их бездетный дом пуст для него и тягостен. Он бежит из дома, бежит от нее. Она не сумела создать ему дом. Он ошибся, женившись на ней.

Он чувствовал Верину муку, старался ее отвести, старался ее заговаривать. Следил, караулил, как в ней нарастает страдание, каждый раз кидался на помощь. Чтоб она не оставалась одна, чтобы мука ее не превратилась в болезнь, стал брать ее с собою в поездки.

...Танкер, как огромный серебряный клин, раздвигает обские воды, проходит сквозь радуги, дожди и туманы, погружаясь в запахи то пиленого леса, то мокрых холодных трав, то рыбьей икры и молоки. Она, его Вера, сидит на носу на посеребренном железе, и там, куда она смотрит, возникает красный, озаренный лучами бор, и белая отмель с перевернутыми, легкими, как семечки, лодками, и встречный, протяжно загудевший корабль. Весь угрюмый, под низкими тучами север согрет ее дыханием и взглядом.

Металлургический завод в ночной казахстанской степи мечет огненные рыжие космы, вздымает багровые, застилающие звезды, клубы, и кажется: идет извержение, глухие удары сотрясают степь. Днем они ходили по чадно-синим цехам, по которым несли нарастающий грохочущий вихрь раскаленного сляба, сминаемого в звенящую, обжигающую ленту. Смотрели, как в домнах, в тяжких закопченных квашнях, созревает чугунное месиво, выплескивается белой слепящей струей. Как в мартенах сплавляются, тают, превращаются в вялый стальной кипяток остатки разбитых машин. И ее лицо, изумленное, восхищенное, казалось ему центром, вокруг которого мечутся огненные стихии. Теперь они сидят в степи у крохотного тлеющего костра. Он палочкой выкатывает из углей картофелины, сдувает с них пепел, передает ей теплые клубни.

Карьер под Старым Осолом. Конический туманный провал — будто вглубь, в земное ядро — и на дне провала идет чуть различимое шевеление, движутся поезда и машины, чавкают механизмы, гложут, долбят, вычерпывают стальную сердцевину планеты. Они с Верой спускаются по бесконечной спирали, и уже наверху, затуманенные, остались метели, леса, морозное солнце, а здесь — металлический центр, отвердевший, кристаллический космос, осколки стальных метеоров. Она шагает перед ним по ржавой дороге, мимо зубьев ковшей, крутящихся колес, гусениц. И мимолетная мысль: она ведет его по кругам преисподней, показывает ему потаенную, жестокую сущность мира и выведет снова наружу, где белое поле, засохший из-под снега цветочек, остекленелая заячья лежка.

Он ездил, жадно наблюдал чертеж колоссальной, огнедышащей — из бетона и стали — цивилизации, возводимой от океана до океана, чувствовал сверхнапряжение народа, своим умом, умением выманивающего из жестоких необжитых земель новую пластичную форму, строящего на шестой части земли невиданный доселе дом.

В «нефтяных городах» на Оби он видел создание энергетической базы, за которой следили в Гамбурге и Йокогаме. В Каракумах, плывя по ленивой воде канала, он видел, как мертвенно-лунный, изрытый ветрами грунт одевается цветением и зеленью и к воде торопится припасть, прикоснуться исчащая в пустыне жизнь.

Он изучал цивилизацию социализма, создаваемую из грубой материи и из энергии духа и воли многомиллионного, действующего

на своих пространствах народа, стремящегося среди великих противоречий века воплотить вековечные чаяния — о правде, обилии, братстве.

Были мгновения успеха, когда свежий газетный лист нес в себе черно-белый оттиск только что виденных им зрелищ. Напечатанный очерк приносил удовлетворение, чувство, что он не ошибся в выборе, приносил заработок. Но бывали дни неудач, когда его неумение, недостаток журналистского опыта губили замысел. Очерк, не сумев уловить кипящий, ускользающий материал, выходил неживым, отвергался редакцией. И он погружался в тоску, в чувство своего дилетантства, своего бессилия, в досаду из-за наступившего безденежья.

Растерзанный, исчерканный карандашом материал лежит на столе. Отвращение к бумаге, к оставленным редактором пометкам, к себе самому, бездарному, покусившемуся на недоступное ремесло, отвернувшемуся от истинного своего назначения. И вся его жизнь — неоправданная, непрерывная ломка, вечный эскиз, подмалевок. И она, его Вера, расплатилась за это своим покоем, своим домом, чувством семьи и достатка. Он своими неудачами сделал и ее неудачницей, повинен в ее несчастьях.

Он винулся перед ней, целовал ей руку, глядя, как в темной комнате мерцает на стене зеленоватое отражение Яузы. Каялся в том, что повел ее за собой по этим неверным путям и привел в тупик. Тоска его была велика. Она клала ему руку на лоб, чертила у виска легкие кольца, как бы скручивала обратно в свиток его больные мысли, его неверие в себя, превращала их в память о ночной мерцавшей дороге, где стоял запряженный в сани конь и кто-то молодой и счастливый влетал ему в гриву красную ленточку.

Глава пятая

Он вылез из танка, отряхивая с ладоней мелкую рыжую пудру сторовшей стали. Направился к машине, где Тхом Борет совещался с Сом Кытом, и оба они вместе с солдатами и «уазиком» отбрасывали длинные, предвечерние тени.

— Я получил разрешение доехать до пограничного пункта,— сказал Тхом Борет.— Надо ехать сейчас. Скоро начнет смеркаться.

— Мы заночуем у солдат,— пояснил Кириллову Сом Кыт.— Для бесед у нас будет вечер. А утром отправимся в Сиенреап.

— К сожалению, я не смогу сопровождать вас в Сиенреап,— сказал Тхом Борет.— Охрану обеспечат вьетнамцы. Им сообщили о нашем приезде. Надо ехать,— и он повернулся к машине.

Они катили, подымая солнечную пыль, навстречу синим кудрявым предгорьям. Подъехали к лесной опушке, сквозь которую дальше, в джунгли, уходила дорога. Под зеленым пологом, у вечерних красных стволов стояла палатка, замер закиданный ветвями транспортер, развернутый пулеметом вдоль трассы. Туда же смотрели расчехленные, в земляных капонирах пушки. Из палатки, где висели антенны и слышалось бормотание радики, вышли вьетнамцы, без шлемов, в легких рубашках, сандалиях. Двинулись к ним навстречу, улыбаясь, протягивая для рукопожатий руки.

— Тхеу Ван Ли,— представился Кириллову вьетнамец, легкий в движениях, гибкий в плечах и поясе, юношески-моложавый на расстоянии, а вблизи — со следами долгой, не юной усталости на смуглом, обтянутом сухой кожей лице, с пергаментными трещинками у глаз и у губ.

— Нам только что сообщили из штаба, что вы едете.

— Это и есть граница? — отвечая на рукопожатие, спросил Кириллов, озираясь на черные обугленные сваи, темные ямы с гнилой

недвижной водой, на синий опрокинутый остов автомобиля и алебастровую, с облупленной краской, скульптуру слона.

— Граница,— Тхеу Ван Ли, услышав от Кириллова вьетнамскую речь, радостно, чуть заметно дрогнув лицом, заулыбался шире.— Там Таиланд.

Сом Кыт протянул офицеру бумаги, но тот, продолжая улыбаться, отрицательно покачал головой, передал их другому, который стал тихо переводить с кхмерского содержание документов.

Тхом Борет и Сом Кыт продолжали говорить с офицерами, а Кириллов, чувствуя на себе взгляды сидящих на лафете артиллеристов, шагнул под деревья.

Оглядел слона — алебастр был истрелян, изодран осколками, нарисованная ковровая попона облезла, иссеченная рубцами и метинами. Синий длинный кузов «кадиллака» хранил в себе последний, направленный к границе рывок, стремление ускользнуть, умчаться, он лежал перевернутый, с расплюснутым задом, получив в хвост удар свинца и огня. В ямах на месте сожженных хижин кисли головы, и над ними, над золотистой гнилой водой роились комары и москиты.

Кириллов смотрел на границу, изгрызенную танковыми гусеницами, истоптанную пехотой, пропустившую сквозь себя тающие банды «кхмер руж», простреленную, продырявленную недавнюю границу войны. Одну из многих в сегодняшнем мире расплавленных, разрезанных автогенном границ. Вся карта мира, как мигающий пульт,— в аварийных огоньках индикаторов...

Сом Кыт отвлек его, подойдя:

— Нам приглашают пить чай.

Его стоическое невозмутимое лицо, усталое, освещенное низким, цвета сурика, солнцем, показалось Кириллову родным.

Они вошли в просторную палатку с утоптанным полом. Кругом были расстелены лежаки с марлевыми сетками. Стоял низенький, наспех расколоченный стол, деревянные плоские плахи вместо стульев. Чернели сталью сложенные в углу автоматы. За брезентовой перегородкой тихо бурлила рация, и связист настойчиво выкликал позывные.

— Вы устали с дороги,— приглашал их за стол Тхеу Ван Ли.— Рис уже варится, а сейчас освежитесь чаем.

Повинуясь командирскому взгляду, солдат принес закопченный, снятый с костра котелок. Тхеу Ван Ли вытряхнул в него пачку зеленого вьетнамского чая.

Кирилловпил, наслаждаясь горячим, дымно-чайным ароматом, напомнившим юношеские лесные прогулки. Вьетнамец улыбался, видя, что гость получает удовольствие.

— Мы рады вашему прибытию. Рады прибытию советского друга,— вежливо, полагая, что именно такие слова приличны при встрече, говорил Тхеу Ван Ли.— Спасибо, что вы посетили нашу воинскую часть.— Соблюдая церемонию, он одновременно зорко наблюдал за Кирилловым.

— Вдали от дома хочется видеть родные места, не так ли? — Кириллов кивнул на открытку с видом вьетнамских гор, прикрепленную к брезенту палатки.

— Скоро мы увидим родные места своими глазами,— сказал офицер.— Через несколько дней наша часть снимается и уходит во Вьетнам. Уже получили приказ. Скоро уходим домой.

— Я рад за вас,— сказал Кириллов.— Рад, что увидите родных и близких. Пусть эти последние дни в кампучийских джунглях пройдут для вас спокойно.

Он отдыхал от дорожной тряски, благодарный за приют, верящий в свои слова и свои пожелания.

— К сожалению, и эти последние дни не проходят для нас спокойно. Как раз сейчас, в эти минуты, завершается очень важная

операция. Наша часть проводит захват секретной базы противника. Как раз в эти минуты,— Тхеу Ван Ли взглянул на ручные часы.

— Что за секретная база? — Кириллов расслабленно продолжал пить восхитительный, утоляющий жажду напиток, стараясь продлить ощущение покоя, не торопиться с расспросами, как можно дольше оставаться среди необязательных, вежливых, приятных для гостей и хозяина фраз.

— Разведчики обнаружили в горах засекреченную базу, хорошо оборудованную. Там собраны большие запасы продовольствия и пресной воды. Я не знаю, может быть, эта база предназначена для крупных деятелей. Может быть, даже для самого Пол Пота. Я слышал по тайландскому радио: он собирается сюда прилететь вместе с западными журналистами и сделать какое-то заявление. Показать, что его правительство действует не в Таиланде, не за рубежом, а в Кампучии. Хотя едва ли. Говорят, Пол Пот большой трус. Эту базу мы сейчас атакуем.

Кириллов уже справился со своей усталостью, перевел ее в чуткое ожидание и фиксирование. Подключил к своим измотанным нервам скрытые, как неприкосновенный запас, ресурсы энергии.

— Вы полагаете, там могут находиться какие-нибудь крупные птицы?

— Мы не знаем. Несколько дней назад туда прилетал вертолет. Мы не знаем, кого и что он привез.

— Сом Кыт,— Кириллов обернулся к кхмеру, внимательно слушавшему, перевернувшему чашку донцем вверх,— вы слышали, Сом Кыт? Быть может, в самом деле это и есть та база, на которую в сопровождении прессы задумал прилететь Пол Пот? В последнем заявлении из Бангкока, вы помните, он утверждал, что его правительство отнюдь не правительство в изгнании, а национальное, действующее с территории Кампучии. Может, именно здесь и готовится этот спектакль?

— Едва ли это может случиться,— сказал Сом Кыт.— Пол Пот не пойдет на это. Такую базу можно соорудить и в Таиланде. Провести спектакль в Таиланде. Джунгли везде одинаковы. На пленке джунгли есть джунгли.

— А где эта база? — спросил Кириллов вьетнамца.— Как далеко отсюда?

— Она в горах, далеко. Мы связываемся с войсками по рации. Скоро выйдем на связь... А вот и рис, угощайтесь!

Солдат внес котелок, в котором белоснежно, овеваемый паром, мерцал рис. Поставил в центр стола, разложил перед всеми палочки. Кириллов достал из сумки бутылку водки. Открыл ее, а сам думал о далекой базе, где идет в этот час сражение, ахают минометы, солдаты в пробковых шлемах атакуют в вечерних сумерках.

Он налил водку в чашки, пронося бутылку сквозь прозрачный рисовый пар. Вьетнамские и кхмерские лица были в красных, струящихся сквозь открытый полог отсветах, Тхеу Ван Ли протянул к чашке гибкую руку, готовясь произнести любезный тост за гостей.

Он почти поднял чашку, когда далеко, приближаясь, буравя воздух, свертывая его в свистящую спираль, что-то пронеслось над деревьями и ахнуло, трянуло стволы. Взрыв, перепончато лопнув, медленно затихал шуршаньем опадавшей листвы, хлюпаньем липких комков. Вновь засвистело и шлепнуло, словно чмокнула огромная пробка. Тугой спрессованный удар прошел сквозь брезент, и Кириллов лицом ощутил давление взрыва.

— Таиландцы! Артналет! — Тхеу Ван Ли вскочил, делая успокаивающий охранительный взмах рукой.— Прикрывают проникновенные банды. Или наоборот, отход ее через границу в Таиланд.

Они вышли наружу. Кириллов из-под крон смотрел на открытое за стволами деревьев пространство, откуда они недавно приехали,—

малиновая земля, темно-синий асфальт дороги. В лесу, то ближе, то дальше, скрежетало и рушилось, раскалывались и хрустели деревья, будто кто-то огромный ломился вслепую к опушке. Продрался, взметнул два высоких взрыва, разбухавших, осыпавшихся дымом и грязью. Артиллерия плотно стреляла несколько минут, снаряды рвались на брошенных крестьянских полях, словно перетряхивали их, жадно искали последнюю укрывшуюся жизнь.

Артналет прекратился внезапно. Стало тихо. Только птицы, смеленные с веток, полетели из джунглей, молчаливые, красные на солнце.

Вернулись в палатку. Тхеу Ван Ли улыбался смущенно, как бы извиняясь за прерванный ужин. Поднял чашечку с водкой. И тост был за дружбу братских армий, за удачу в личных делах и за скорое возвращение домой. Кириллов видел, что локти на рубашке вьетнамца аккуратно заштопаны, голая, в сандалии, нога расчесана в кровь от укусов лесных насекомых, а глаза без улыбки, усталые и тревожные, обращаются к отгороженному отсеку, где посвистывала рация и слышался голос радиста.

Они поужинали, отдыхали в сумерках. Когда стемнело, солдат принес и засветил три коптилки из сплюснутых гильз, расставил их по палатке. Возникло три отдельных освещенных пространства, и в каждом совершалось свое. В дальней, у стены, области света два солдата, вьетнамец и кхмер, разбирали и чистили автомат. Протягивали к светильнику холодно-блестящие детали, передавали друг другу, словно обменивались чем-то лучистым, окружавшим их пальцы.

В ближнем, колеблемом шаре света сидели Тхом Борет и Сом Кыт, положив на колени руки, недвижные, одинаковые, повторявшие друг друга своими потерями, бедами, своим нынешним терпеливым и истовым ожиданием.

Третья коптилка, стискивая латунными кромками обгорелый фитиль, подымала прозрачную легучую сферу, в которой сидел он сам и Тхеу Ван Ли, заключенные оба в единый — из световых оболочек — объем.

— Я рад, что война для вас скоро кончится и вы вернетесь домой,— сказал Кириллов, чувствуя их совместный полет сквозь единое исчезающее время.

— Спасибо,— ответил Тхеу Ван Ли, благодарно склоняя голову, вписываясь в округлый прозрачный свод, отделявший свечение от тьмы.— Я воюю уже одиннадцать лет.

— Вы вернетесь к своей семье, к своим любимым и близким и отдохнете, наконец, от войны.— произнес Кириллов.

— У меня нет семьи, нет любимых и близких. Отец и мать, сестра и два брата погибли от бомбы. А жениться я не успел. Нет у меня дома, жены,— не жалуясь, не печальясь ответил вьетнамец.

— Где же вы воевали?

— Сначала воевал под Ханоем, был зенитчиком, отбивал налеты американцев. Однажды мы подбили их «Фантом». Мой напарник в этом бою был убит, а меня обожгло напалмом,— он притронулся к пуговице на своей линиялой рубашке, будто хотел ее расстегнуть, показать ожог, но раздумал.— Потом я воевал на тропе Хо Ши Мина. Мой зенитный пулемет стоял на грузовике. Мы сопровождали войска на юг, прикрывая их от воздушных атак. Там я вывел из строя один вертолет, но попал под ковровую бомбежку, и меня контузило,— он коснулся своей головы, будто ощупывал невидимый бинт.— После госпиталя меня послали в пехоту. Я брал Сайгон. Мы вели бои на военно-воздушной базе, и я видел, как улетали последние транспорты с американцами. Там, в одном из ангаров, мы подорвались на mine. Мне перебило ногу,— он сморщился, качнул коленом, словно оно заняло, несколько раз, укрощая боль, погладил его ладонью.— Потом, во время боев под Лангшоном, нас перебросили с

юга на север. Я участвовал в рукопашных с китайцами, и мне проткнули штыком плечо. Здесь, в Кампучии, я брал Пномпень, с боями дошел до границы. Но пока не был ранен,— и он улыбнулся, оглядывая свои руки и ноги, отыскивая на своем израненном, обожженном теле место, которого не коснулся бы металл.— Теперь, наверное, я уж не буду ранен. Через некоторое время нас отводят с позиции. Возвращают во Вьетнам. Было решение правительств Вьетнама и Кампучии. Мы едем домой.

Он умолк. Они летели в бесшумной сфере огня, и рядом, по тем же орбитам неслись Сом Кыт и Тхом Борет, два солдата с «калашниковым». Три корабля, толкаемые пламенем самодельных латунных коптилок.

«Еще один народ,— думал он,— чья судьба — освободиться от власти чужих империй, чья истина брезжит в прорезях ружейных прицелов, в пожарах сел, городов. В нем, в народе, энергия сегодняшней боли, претворенная в энергию боя, должна обернуться в грядущий ослепительный свет».

Его, этого света, и желал Кириллов сидящему перед ним человеку, бездетному и бездомному, искалеченному долгой войной, другу и брату, обретенному в армейской палатке. Чувство, его посетившее, было жарким и истинным, и он молча искал слова, отвечающие этому чувству, готовился их произнести. Но из-за брезентовой шторы вышел радист. Шагнув в их летучую сферу, разрушая ее. Кратко сказал:

— На связи!

Тхеу Ван Ли быстро встал, ушел за экран.

Все прислушивались, ждали его появления. Ловили его лаконичные «да», «докладывайте», «сколько», «еще раз повторите». Кириллов переглядывался с Сом Кытом. Их ожидание было общим, нетерпение было общим.

Тхеу Ван Ли появился из-за экрана, на щеке виднелся рубец, оставленный наушниками.

— База разгромлена. Противник на базе уничтожен. Есть пленные. Некоторым удалось вырваться из окружения. Преследование с наступлением темноты остановлено. С нашей стороны имеются убитые и раненые.

— Какая информация о базе? — хотел узнать больше Кириллов. — Кто захвачен в плен?

— Еще неизвестно. Точных сведений нет. Захвачены бумаги. Но основной их разбор состоится, когда на базу будут доставлены пленные. Вот и все сведения. По рации больше не узнать.

— Нельзя ли попасть на базу? — Кириллов оглянулся на Сом Кыта, сверяясь с ним, тот кивнул согласно. — Как далеко отсюда до базы? Нельзя ли ее осмотреть?

— Нет, — жестко сказал Тхеу Ван Ли. — Туда пешком добираться сутки. По тропам, в джунглях. Это опасно. Возможны засады, мины.

— А машиной?

— Звериные тропы, болота. Даже танк не пройдет. Артиллерия не проходит. Солдаты несут на себе базуки и минометы. Война в джунглях. Только пешком.

— А можно ли туда долететь вертолетом?

— Мы сообщили в штаб о взятии базы. Думаю, из штаба на базу полетит вертолет. Но этого я точно не знаю.

— Если пойдет вертолет, то откуда? — настойчиво допытывался Кириллов, выстраивая мгновенный, неточный, рассыпающийся и вновь собираемый воедино чертеж. — Откуда пойдет вертолет?

— Если он пойдет, то, наверное, из Сиенреапа. Там, на аэродроме, стоят вертолеты. Оттуда они обычно летают. Но этого я точно не знаю.

— Дорогой Сом Кыт,— Кириллов подсел к нему, осторожно положил ладонь ему на колено.— Хочу посоветоваться с вами. Для меня было бы крайне важно немедленно получить информацию о базе. Конечно, в конце концов бумаги попадут в МИД, и там я смогу познакомиться, но пройдет немалое время— пока-то их доставят из джунглей, пока рассортируют... Мне кажется, если вы согласитесь, нам следует утром ехать в Сиенреап, просить вертолет. Мне нужно самому побывать на базе, осмотреть ее, написать репортаж о разгромленной полпотовской базе.

Кхмер, соглашаясь, кивнул.

— В Сиенреапе,— сказал он, подумав,— мы окажемся лишь завтра под вечер. Это канун Нового года, и вряд ли нам дадут вертолет. Если вьетнамцы пойдут нам навстречу, мы получим вертолет послезавтра.

— Я рад, что вы согласны со мной. Утром на рассвете мы выезжаем. Может быть, все-таки удастся завтра получить вертолет.

Он был возбужден, но это возбуждение было предельной формой усталости, когда пущены в горение последние резервы энергии, тот запас, что природа оставляет на крайний случай. Это и был тот случай. Не напрасно они проделали путь. Не напрасно добирались к границе. Он выполнил ту задачу, с которой отправлялся в дорогу. И возникла другая, важнейшая. В ночных горах, в суточном переходе отсюда остывала, дымилась база. Оттуда, от дымящихся рывтин, от россышей стреляных гильз, он должен повести репортаж о последних выпадающих на долю народа страданиях, о войне, отброшенной от домашних очагов и полей, о мире, долгожданном, спустившемся на эти реки и горы, о грядущей, исцеленной стране.

Он не думал об этом в деталях, а одной только общей мыслью. Он был профессионал-журналист, и его профессиональный долг подсказывал ему единственно правильный путь: пытаться добыть вертолет и лететь на базу.

Сом Кыт был его партнером и товарищем. Страна, о которой рдел он, Кириллов, была Сом Кыту родиной.

— Тогда, если гости собираются рано вставать, они могут лечь отдыхать.— Тхеу Ван Ли приглашал ко сну.

Он уступил Кириллову свое самодельное походное ложе под марлевой сеткой. Кириллов благодарно улегся, старался успокоить сознание, выбросить из головы прожитый день. Но последним видением вставали перед ним мохнатые столбы разрывов и летели из джунглей молчаливые красные птицы.

Утром они простились с Тхом Боретом, отпустили его с охраной по сисопхонскому шоссе в Баттамбанг, где ему предстояли выезды на место террористических актов, допросы, расследования, скольжение по кромке между жизнью и смертью, стремление отодвинуть эту жестокую кромку подальше от воловьих упряжек, везущих зерно на поля, от крестьянских сох, скребущих влажную землю.

Тхеу Ван Ли вызвался их проводить по проселку до моста, охраняемого взводом солдат, по опасному отрезку дороги, вьющейся среди лесистых холмов. К палатке подъехал закопченный зеленый «джип», обтянутый по торцу и по крыше брезентом, с открытыми бортами и измызганными стальными сиденьями. Сом Кыт уселся в «тойоту» вместе с вьетнамской и кхмерской охраной, а Кириллов — рядом с Тхеу Ван Ли. И их две машины покатали по раздавленной, разбитой дороге, и артиллеристы у пушек махали им вслед.

Утреннее солнце влажно брызгало из листвы. Дорогу под колесами перебежали рыжие, горбатые, похожие на сусликов зверьки. Джунгли против солнца казались дубравой, и Кириллова, отдохнувшего за ночь, посетила мгновенная радость — иллюзия иной земли и дороги, где-то под Задонском, в дубах, с песчаной разъезженной ко-

леей, вот сейчас из-за крон возникнут ржавые главы соора, и запылит, зазеленеет палисадниками русский городок. Иллюзия быстро исчезла, но радость не проходила. И он после вчерашнего напряжения дорожил этой необъяснимой нечаянной радостью.

«Джип» продувало ветром. На приборной доске, зиявшей незастекленными пустыми отверстиями, еще виднелась полустертая наклейка с американской девицей. Два вьетнамских солдата, раздвинув колени, выставили в разные стороны автоматы.

— Дорогой Тхеу Ван Ли,— Кириллов стукался на ухабах о твердое плечо офицера,— вы ветеран трех войн. Разгромили трех неприятелей. Видели сверкающие пятки трех удиравших армий. Наверное, интересную книгу могли бы написать.

— Во Вьетнаме почти каждый мужчина мог бы написать такую книгу,— улыбнулся Тхеу Ван Ли, понимая шутку.— К сожалению, за эти одиннадцать лет я научился хорошо стрелять, но не научился хорошо писать. Когда вернусь домой и отмою руки,— он показал свои сухие, с вьевшейся грязью ладони,— я возьмусь за бумагу и ручку. Нет, не книгу писать. Просто учиться.

— Вы не хотите остаться в армии?

— Признаться, нет. Устал воевать. Хочу поехать в родную деревню, где у меня есть родственники. Хочу жениться. Хочу родить детей. На том месте, где взорвалась американская бомба, я посажу мандариновое дерево. Пусть цветет, пусть дети под ним играют, пусть куры ходят, клюют зерно. На войне, вы знаете, я неплохо изучил моторы. Видел много разных машин, и целых, и взорванных. Грузовики, самолеты, вертолеты, танки. И везде меня интересовали моторы. Я знаю много разных марок машин — американских, советских, китайских. Хочу работать механиком по тракторам. Родственники пишут, в нашу коммуны стали поступать тракторы.

— Я вас понимаю. Все так и будет, надеюсь.

Передернуло, колыхнуло воздух прозрачной тугой волной. Вблизи за стеклом над капотом со свистом и воем что-то пролетело, страшно и огненно, вытянув из леса мохнатый клин дыма, лопнуло в стороне от машины короткой вспышкой пламени, оставив чадную, опадающую копоть. Второй молниеносный удар — и похожая на кольчатого дракона вспышка, промерцав раскаленным глазом, превратилась у обочины в шаровой взрыв света, машину стукнуло, и шофер, безумно крутанув баранку, развернул «джип» поперек дороги, и ветер от крутого виража и взрывной волны ударил в открытый борт. Тхеу Ван Ли рванулся, растопырив руки, заслоняя собой Кириллова, с силой отталкивая его назад, дальше от леса, помещая себя между ним и зелеными кущами, из которых, тая, расширяясь, тянулись две дымные трассы.

— Бабука! — крикнул он, толкая спиной Кириллова, выдавливая его из машины на землю, за колесо, на пыльный грунт. Махнул солдатам, ударил очередью наугад по опушке, нырнул вперед, навстречу трескам, скрываясь в зарослях.

Кириллов на земле, заслоненный резиновыми скатами, видел «тойоту», съехавшую в кювет, Сом Кыта в позе старгующего бегуна, прыгающих с открытого места навстречу стрельбе и лесу солдат. Успел осознать мгновенную картину случившегося: удар гранатометов из джунглей, их промах, взрывы на безлесном пространстве, бросок вьетнамцев навстречу стрельбе и засаде, и вот он один возле «джипа», заслоненный колесом и кюветом, из машины торчит ствол автомата, поодаль Сом Кыт смотрит на него, машет рукой, издали прижимая его к земле, а в близких перепутанных кущах — треск стрельбы, чмокнувший взрыв гранаты. Сердце его колотится, рту, открытому в испуге, не хватает дыхания, и глаза, округляясь в подлобье, приобретают панорамное видение, видят одновременно и небо и землю, пространство и сзади и спереди. Страх, слепой и горя-

чий, прошел сквозь него как судорога, вначале стиснув его мускулы в неподвижные комья, а затем распрямляя их, толкая его прочь от обочины, в чистое поле, прочь от стрельбы и взрывов. Но уже включились иные, контролирующие страх системы и силы, вновь собирали его в личность. Он выхватил из машины автомат и приподнялся, чтобы перебросить себя через шоссе.

Стрельба удалилась в глубь леса. Солдат вокруг не было. Только в стороне белела рубаха Сом Кыта, он оглянулся на Кириллова, резким жестом убеждая лежать.

Стрельба гасла, словно лес своей вязкой древесной жизнью высасывал энергию боя, и она останавливалась, замирала в джунглях. Стало тихо. Только что-то чуть слышно звенело — то ли малая птица, то ли чешуйчатая, в придорожных камнях, тварь.

Сом Кыт оказался рядом. Быстро, тревожно оглядел Кириллова с головы до пят, будто хотел, но не решился ощупать.

— Надо вот так лежать, — он все-таки надавил на плечо Кириллова, с неожиданной силой и властью прижимая его к земле, а сам подымаясь над ним, заслоняя, как вьетнамец в машине.

Кириллов осторожно снял с плеча его руку:

— Мне кажется, там все уже кончилось.

Из леса, продираясь сквозь заросли появились солдаты, вьетнамцы и кхмеры. Держа автоматы, растягивались вдоль опушки, занимая оборону, готовые стрелять, защищаться. Следом, под защитой их автоматов, показались четыре солдата, неся пятого. Двое — за ноги у голых щиколоток и двое — ухватившись за ткань рубахи у плеч, так что руки волочились по земле. Во всей провисшей, непружинящей, послушно-безвольной позе пятого была безжизненность. Кириллов еще издали, вглядываясь, понимая, что это убитый, различил в нем Тхеу Ван Ли. Ужасался и тому, что случилось, и своей, как теперь казалось, существовавшей все это время уверенности, что так и должно было случиться: Тхеу Ван Ли будет непременно убит. Тайная, неосознаваемая уверенность, которая вдруг стала явью, обожгла его острой виной: он, Кириллов, предчувствовал его неминуемую гибель, но не удержал, не помешал, а заслонил свою жизнь его жизнью.

Солдаты вышли на дорогу, держа убитого на весу. Тот висел — голова на сторону, пальцы прочертили на земле две пыльных бороздки. Со спины, из-под выпавшей из-под ремня рубахи капала кровь.

— В машину, — сказал солдат, но другие колебались, глядя на кровь, и солдат повторил: — В машину.

Раскрыли створки «джипа». Протолкнули вглубь тело. Оно прощуршало, и солдат, потянувшись, уложил на груди убитого раскинутые руки. Они легли бессильно и гибко, худые в запястьях, с металлическим браслетом часов.

— Надо ехать, — сказал шофер, оглядываясь на близкий лес. — Ехать надо.

— Вы перейдете ко мне? — Сом Кыт смотрел на лежащее в «джипе» тело.

— Нет, здесь, — поспешно ответил Кириллов, не умея объяснить своего желания остаться с убитым, боясь отсечь в себе чувство боли, вины, сострадания. — Я поеду в «джипе».

Они расселись по машинам и тронулись по пустынной, освещенной солнцем дороге, сначала начеку, ошетинившись автоматами в сторону зарослей, когда же поросшие лесом холмы отступили и они выкатили на беслесную сухую равнину, все расслабились, погрузились в молчаливое, в такт езде, раскачивание.

Кириллов смотрел на убитого, на его лицо, белевшее среди солдатских башмаков, чувствовал своим затылком, как бьется на железном полу затылок Тхеу Ван Ли. Эта смерть, мгновенно случившаяся,

приоткрыла простой механизм мира, чуть задернутый пологом из солнца, леса, дороги, из живых солдатских лиц,— механизм примитивный, наподобие деревянного винта в ткацком станке. Понимание этого делало бессмысленными все сложные мучительные усилия, именуемые постижением жизни. Эта простая истина, к которой он столь внезапно приблизился, делала не нужным ум, делала не нужной душу.

В своей жизни он видел убитых, незнакомых и дальних, кого не знал прежде: угодившего под танк пехотинца, вьетнамца на тропе Хо Ши Мина, кампучийцев в освобожденном Пномпене. И тех, кого знал, с кем только что вел разговор: вьетнамскую переводчицу, смешливую и прелестную, чья рука вдруг случайно коснулась в машине его руки, задержалась чуть дольше, и он на ухабах стал искать повторного прикосновения, и тревога «воздух» выгнала их всех из машины, и, лежа в кювете, он искал глазами ее маленькое легкое тело в защитной одежде с красным значком на груди, и пронесся над ними свистящий вихрь самолета, прочертив обочину серией мелких взрывов, и в дымной яме, где только что лежала она, тлели ошметки одежды, висел обрывок с красным значком, словно жизнь ее была вырвана с корнем, унесена у него из-под рук. И тогда после первого ужаса возникло это тихое, похожее на безумие прозрение — простой деревянный винт, заложенный в основание мира.

Но здесь, в машине, это состояние продолжалось недолго и сменилось другим. Он вдруг снова осознал, что эта смерть имела прямое к нему отношение, он — почти причина ее. Тхеу Ван Ли умер только потому, что он, Кириллов, жив. Вчерашним своим появлением в военной палатке, где был радушно принят, где вьетнамец угощал его чаем, уступил свое ложе, поместил вместе с собой в прозрачную сферу света, он, Кириллов, уже поставил его под пулю. Вьетнамец, кинувшись навстречу стрельбе, толкая Кириллова за машину, уступал ему уже не постель и не полог, а свое место в жизни. И что ему делать теперь? Чем благодарить за спасение? И кого благодарить? Как воспользоваться этим, ему предоставленным, для него сбереженным местом? Неужели они доедут сейчас до солдатского поста на шоссе, Тхеу Ван Ли унесут от него, похоронят в красноватой земле, а он, Кириллов, отделенный от него навсегда, улетит в Москву, будет спокойно жить, писать диссертацию, встречаться с друзьями, и не будет в его жизни поступка, не окажется слова и дела, коим он заплатит вьетнамцу за эту жертву?

Растерянно, в муке, он смотрел на близкое, неживое лицо, лежащее у его башмаков, не зная, что ответить на эти вопросы.

Но и это состояние исчезло, сменившись другим.

Эта единичная смерть в единичной, не менявшей картину войны перестрелке, входила в ряд бесчисленных, во все времена, смертей — на войнах, на эшафотах, в застенках, смертей, имевших свои объяснения, свои великие или малые цели, своих свидетелей, певцов и поэтов. Постепенно великие цели, именуемые богом, служением царю и идее, распадалась и меркли. Гасли царства, улетучивались религии, исчезали верования. Неужели история, требующая непрерывных жертв, неужели она всего только броуново движение народов и армий, варево идей и учений, которые теснят друг друга, уступая место все новым? Неужели и эта смерть канет бесследно, ничего не изменив на земле? И живущее в каждой душе безотчетное стремление к благу, желание видеть мир вместилищем этого блага, вера в неизбежное, по крохам, по каплям нарастание этого блага в охваченном бойней мире, неужели эти желание и вера никак не связаны с ведущейся в джунглях борьбой, с его, Кириллова, появлением на этой дороге, с ударами базук из засады, с легким броском вьетнамца в сторону стреляющих куц, с этим неживым, с приоткрытыми

губами, лицом? И мир, меняющий свои очертания, есть только бесконечно длящийся абсурд?

Сомнение, настигнув его, не найдя немедленного разрешения, ушло, сменилось иным состоянием.

Вот он, Кириллов, в измызанной на локтях и коленях одежде, катится в американском трофейном «джипе» по пустой кампучийской дороге, склонившись над убитым, спасшим его от смерти вьетнамцем. А в этот час на другой половине земли, не ведая о нем, существует Москва, многолюдье ее площадей, его прежние друзья и знакомцы, тот дорогой и любимый мир, который живет два года без него и, наверное, не думает о нем. А он, Кириллов, что-то пропускает безвозвратно, от чего-то навеки отказывается, навеки себя чего-то лишает. Катит по безвестной кампучийской дороге, тратя еще один невосполнимо-единственный день своей жизни.

Так нес он в себе эту смерть, зная, что существует ответ на все невнятные, мучающие душу вопросы. Но ответ требует силы и свежести, ясности духа и разума, и не здесь, не теперь станет он отвечать. Откладывая на потом этот близкий, неизбежный ответ, он превращался в прежнюю действующую, наблюдающую, обдумывающую события личность. Стал прикидывать, как добыть вертолет, как добраться до захваченной базы.

Они доехали до магистральной дороги, ведущей в Сиенреап. У моста находился вьетнамский пост. Кириллов простился с солдатами, последний раз взглянул на убитого, отпуская его от себя, зная, что долг перед ним он уплатит. Пересел в «тойоту» к Сом Кыту. И они покатали в Сиенреап, молчаливые, нацеленные оба на единое, им предстоящее дело.

Целый день, до туманного знойного вечера, они катили мимо сел, пальмовых рощ, рисовых полей с первыми редкими хлебопашцами. То влетали в предпраздничные толпы с флагами, лотками, огромными, из папье-маше, пустотелыми куклами. То вновь оказывались среди волнистых отступающих гор, пернатых, млеющих пальм. И день казался нескончаемым, события утра отдалялись, были уже как бы вчерашними. Случившаяся смерть, дымные трассы, опушка с солдатами гасли, заслонялись зрелищами близкого праздника. Надрез, обнаживший вдруг голую кость, смыкался, глаза остывали, и острая боль сменялась, все глуше и глуше, болезненным воспоминанием о ней.

Они въехали в вечерний, красно-солнечный Сиенреап и сразу, не заезжая в отель, посетили вьетнамский штаб.

Их встретил заместитель командующего, маленький мускулистый полковник, крепкий в плечах, с коротким седеющим ежиком, желтыми прокуренными зубами. Яшмовая, с драконами, пепельница была полна сигаретных куржков.

— Как прошла вторая половина дороги? — спросил полковник, и Кириллов понял, что о первой половине, о перестрелке, засаде в лесу он осведомлен.

— Доехали без приключений, — Кириллов чуть усмехнулся, зная, что и о второй половине пути полковнику все известно. Вспомнил, как на постах у мостов и шлагбаумов, стоило проскочить их «тойоте», связисты начинали крутить ручки полевых телефонов и радисты надевали наушники. — Мы с моим коллегой признательны вам за обеспечение безопасности.

Сом Кыт кивнул, подтверждая благодарность.

— К сожалению, у границы все еще возможны инциденты, — сказал полковник, и они втроем, помолчав, безмолвно согласились не касаться случившегося, и видение убитого Тхеу Ван Ли мелькнуло перед Кирилловым и кануло.

— Мы благодарны вьетнамскому командованию за предоставленную возможность посетить боевую часть.— Кириллов взял на себя ведение беседы, зная, что Сом Кыт с трудом говорит по-вьетнамски. Молчаливо испросил на это позволения кхмера, получил молчаливо согласие.— Мы хотели уточнить, действительно ли база, которую вы вчера захватили, предназначалась противником для политических акций?

— Нам трудно судить об этом,— уклончиво ответил полковник.— Информация очень скудная. Только радиосводка.

— Быть может, для уточнения данных туда пойдет вертолет?— Кириллов чувствовал: полковнику известно все об их пребывании в части, о их намерении побывать на базе, о стремлении получить вертолет. Он ждал их появления в штабе, ждал расспросов о базе.— Вероятно, вы пошлете туда вертолет для вывоза бумаг и пленных?

— Мы избегаем посылать вертолеты в районы джунглей,— ответил полковник.— В прошлом месяце мы потеряли одну машину. У противника появились зенитные ракеты «ред ай». Они действуют ими по вертолетам и низко летящим самолетам. Мы избегаем посылать машины в горы, где нет навигации, нет резервных площадок.

Это не был прямой отказ. Это было осторожное отдаление просьбы, еще не произнесенной. Кириллов, досадуя на свой малый просчет, произнес эту просьбу:

— Мы хотели просить наших вьетнамских друзей позволить нам побывать на базе. Познакомиться на месте с захваченными бумагами. Именно поэтому мы решились потревожить вас вечером в канун праздника, за что приносим свои извинения. Мы просим, если это реально, предоставить нам завтра вертолет для посещения базы.

Полковник молчал. Кириллов чувствовал, что молчание его — лишь вежливость, лишь видимость обдумывания. Ответ был уже заготовлен.

— Завтра, вы знаете, Новый год. И едва ли состоятся полеты. Завтра все отдыхают. К тому же разрешение на подобный вылет может дать только командующий.

— Нельзя ли нам повидаться с командующим? — Кириллов улыбкой старался снять заключенную в этой просьбе известную бестактность.— Может быть, он пойдет нам навстречу?

— Командующий улетел в Пномпень,— сказал полковник.— И вернется не завтра.

Кириллов видел: положен предел разговору. Поднялся, поблагодарил полковника и все же завершил беседу последней попыткой:

— У нас к вам просьба, разумеется, если она не покажется вам очень трудной. Просьба связаться с командующим в Пномпене и изложить наши просьбы.

— Мы постараемся связаться с командующим,— помолчав, отозвался полковник. Встал, пожал им руки.— Желаю вам счастливого Нового года, добра вашим близким, исполнения всех ваших желаний.

— Желаю и вам счастливого Нового года, добра вашей семье и друзьям.

Они покинули штаб, добрались до отеля, огромного ветшающего дворца. Измученные, расстались, разбрелись по душным просторным номерам, помнящим богатых туристов из Америки и Европы, а ныне простаивающим без воды и кондиционеров.

Кириллов разделся и лег. Слышал, как неохотно погружается в ночь азиатский горячий город. Ощущал свое голое, потное, тоскующее по душе тело вместилищем огромной, похожей на болезнь усталости.

И снова мысль его, перебрав весь долгий исчезающий день, окровавленный и простреленный, устремилась в другое, вьюжное время, чудное, снежно-сверкающее, где он был поставлен среди мерцающих звезд и сугробов, и она, его милая, вела его за руку по на-

чертаиным на снегу письмам. И чувство, что нынешняя, на моторах и пропеллерах, жизнь не уносит прочь, а, напротив, приближает его к былому, к той, другой, оставленной жизни, это чувство посетит его.

Они стоят на снегах. Лицо его поднято ввысь. Небо над ним выгнуто невидимой тяжестью, давлением живой, напряженной силы. Оно — тончайшая лучистая твердь, колеблемая незримым дыханием. Вот-вот оно распахнется, и откроется чудная, во весь свод, красота, ударит синева, прозвучит и прольется глубокое, к нему обращенное слово. Он ждет, стремится взглядом раздвинуть тугую завесу. Но она гибко колышется, не поддается, отделяет его от иного, недоступного знания.

— Идем,— говорит она, берет его за руку и ведет осторожно, но властно. И он послушно шагает, ставя ступни в ее неглубокие, оставляемые на настe следы.

Далеко за буграми в полях звенит бубенец, пиликает баян, нелетают раскаты смеха, взвизги. И он ловит эти родные, ранящие и веселящие звуки, в которых и старинная лихая гульба, и давнишние тоска и рыдания, и далекий гуд невидимого за лесом пожара. И чья-то родная, потерявшая дом душа все колотится ветром в забитые темные ставни, кидается серым волком в овраг, золотится глазами, морочит бубенцом и гармоникой.

— Идем,— торопит она, и он, без собственной воли, весь в ее власти, идет за ней следом.

У края села они спускаются к застывшему ручью, бесснежно блестящему. Шагают по черному льду, в котором остекленели и замерли пузыри и волнистые струи и запаян хрупкий, золотистый в ночи дубовый листок — знак исчезнувшей осени, остановившееся, остекленевшее время. Он смущен ее волей и властностью. Откуда в ней эта настойчивость, сила? Кто ему дал ее в поводыри? Как он связан с ней среди этих ночных горизонтов?

Они идут мимо спящих изб, и он знает — в тепле, в темных срубках, упрятаны: вот в том — однорукий скотник-старик, уставший за день среди коровьих дыханий и переступов, а там — тракторист, вывозивший стога из полей, вечно хмельной и драчливый, с женой, продавщицей сельпо, а там — ветхая беззубая бабка, вдова приходского дьякона, ее полногрудая дочка-бухгалтерша и тонконогая школьница-внучка. А дальше, под белой крышей, — тетя Поля на старушечьей высокой кровати. Он любит их всех, спящих в избах, и предчувствует неизбежное, совместное, его и их, исчезновение с земли, и верит в длящуюся общую жизнь, и знает, что есть нечто, роднящее их, всех живущих, между собой...

— Вот здесь... Мы пришли... Постой...

Они останавливаются у старой кузни под разломанной крышей. Сквозь черные клетки обрешетки он видит, как пульсируют, напряжены небеса, осыпаются изморозью. Из кузни веет ледяным углем, железом, накаленной морозной наковальней, и кажется, в этой кузне были откованы доспехи небес, здесь трудился неведомый искусный работник.

Туманно, стоцветно. Он смотрит сквозь старые колья, призывая кого-то, ожидая ответа на вопрос, который не был задан: он сам со своей молодой, явившейся в этот мир жизнью, он сам и есть тот вопрос.

— Ты слышишь меня? — говорит она. — Ты слушай меня. Слушай, и помни, и знай. Я люблю тебя. И буду всегда любить. Буду всю жизнь беречь и хранить. Буду служить тебе любовью. Когда-нибудь, я это знаю, моя любовь сохранит тебя и спасет. Может, в тюрьме. Или в болезни. Или в безумье. Или на войне. Но когда-нибудь, ты

увидишь, когда тебе будет страшно и худо, я приду и спасу тебя. Ты слышишь меня? Ты мне веришь? Ты любишь меня?

Она кладет ему руки на плечи, тянется к нему, белая лицом. И то ли с ее лица, то ли из накаленного неба, из-за стропил разрушенной кузницы, из-за темных елей — бесшумный, молниеносный удар света; пронесся над снегами, селом, над ними, озарил, промерцал и умчался, оставив гаснущий след.

Спустя много лет, когда кончилась пора журналистского ученичества, он приобрел имя, стал спецкором центральной газеты. Выполнял ответственные, связанные с политикой задания, отражал пропагандистские наскоки противника. Реального, живого противника он видел на пресс-конференциях, за коктейлем в журналистском баре, где представители американских, английских, западногерманских агентов, дружелюбные, очаровательные, обменивались с ним словами приветствий, и он отвечал им улыбкой, зная, что за каждым из них числятся десятки отточенно-острых, умно-беспощадных, направленных против его страны публикаций, использующих каждую боль, каждый промах и трудность, атакующих каждый успех и победу. Он видел противника в столицах Европы: штаб-квартира НАТО в Брюсселе, выходящие из машин генералы, и маленький, так свистящий топорик, истребитель британской армии, пикирующий над дорогой в Арденнах. И он видел противника в его яростном, истребляющем действии, атакующего социализм не в газетной статье, не пропагандистским залпом, а грохотом ракет и ковровых бомбежек, эскадрильями «фантомов», взлетающих с палуб авианосцев, превращающих деревни в жаркое пожарище, рисовые поля — в зловонное месиво. Несколько раз он ездил в воюющий Вьетнам, и там, наконец, его прежний опыт востоковеда, знатока этой пылающей оконечности Азии, слился с журналистской профессией, образовал сплав аналитика и репортера. Серия вьетнамских его публикаций получила широкий отклик.

Он ездил в районы Вьетнама, где американцы испытывали химические военные средства. Джунгли без крон, превращенные в остроконечные, вбитые в небо гвозди, в черный, мертвый частокол. Дохлые, разбухшие на жаре обезьяны, протухшие рыбы в черно-синей, похожей на нефть воде. Безжизненные термитники с ссохшимся комом умерщвленных сцепившихся насекомых. Бесшумный, без пролета бабочки, птицы воздух. И в местном госпитале — кашляющие кровью дети.

Он писал репортажи о зенитчиках, отражавших атаки «фантомов» на стратегический мост. Стальная дуга моста, пропускавшая сквозь себя трассы бомб и снарядов, грязно-желтые взрывы воды, и навстречу пикирующему, пульсирующему огнем самолету — раскаленные пунктиры зенитных пулеметов и пушек. Под каской темное бровое, в струйках пота лицо зенитчика, выбрасывающего вслед улетающему самолету маленький, с красной царапиной кулак. Снял каску, и девичьи волосы рассыпались на затылке. Женский зенитный расчет держал у моста оборону.

На тропе Хо Ши Мина, разветвленной, как дельта, под шатром джунглей двигались непрерывно цепочки пеших солдат, вереницы велосипедистов с оружием, подскакивали на ухабах грузовики и пушки. Он перенес ковровую бомбежку, когда в лесу, надвигаясь стеной, превращая небо и землю в одну черно-красную клокочущую завесу, ломился кто-то огромный, слепой, раскалывая деревья, превращая грузовики в щепы, сдувая, сметая людей. Он упал в зловонную лужу рядом с крутящимся пушечным колесом, вдавился в жижу лицом, слыша, чувствуя, как кто-то гигантский прошел над ним, переставляя ухающие мохнатые ноги, провернул в высоте красные, в лопнувших сосудах глазища.

Вернулся в Ханой, в отель, измызганный и изодранный. Запер номер на ключ. И внезапное, наподобие безумия затмение смяло его. Продолжали взметаться взрывы, бежали и падали люди. Ему захотелось разбить графин с водой, висящий на стене репродуктор. Он чувствовал, как погружается в тьму и последним усилием сознания, желая уцелеть и спастись, схватился за внезапно мелькнувший образ: старая кузница, сугроб у реки, Вера запрокинула к мерцающим елям лицо и проблеск молниеносной лазури. Этот проблеск, как малая искра, повторился в ханойском отеле. Воскресил, вернул ему разум.

Глава шестая

Утром он проснулся и медленно, не сразу, втягивался в огромность пустынного старомодного номера с альковами, статуэтками, пейзажами в золоченых рамах. Из-за штор косо, бледно сочилось солнце. С металлическим эхом играла музыка. И это мембранное, резонирующее в громкоговорителях звучание породило мгновенную иллюзию московских праздничных толп, поющих на углах репродукторов. И следом — возвращение в реальность: Сиенреап, буддийский Новый год, и вот-вот прикатит машина вьетнамцев и их повезут к вертолету.

Одевался, чувствуя, как ломит тело после вчерашней дороги, недового прыжка из машины. На обоих локтях запеклись ссадины, и гибкая руки, он видел, как треснула корка, засочилась кровью. Запрокинутое неживое лицо возникло и, повинувшись его воле, исчезло.

Дали воду, и он принял душ и побрился. В его запасах оставалась последняя чистая рубашка. Прежде чем ее надеть, он вынул из сумки другую, скомканную, постирал ее и повесил на спинку кровати, зная, что она не скоро просохнет во влажном горячем воздухе.

Вышел в коридор, в полутемный холл в надежде увидеть Сом Кыта, но того еще не было. Администратор отеля, немолодая, с былой красотой женщина улыбнулась из-за стойки печально. На стойку вскочила длиннорукая горбатая обезьяна. Защурилась, замигала на Кириллова, стала грызть ногти. Женщина тронула обезьяну гибкой, еще красивой рукой, снова слабо улыбнулась Кириллову.

Он вышел из отеля, с высокого каменного портала осматривал пустынную гулкую площадь, наполненную пружинно-металлической музыкой. Далеким пестрым пунктиром катили велосипедисты. Вьетнамский патруль двигался в тени пальм.

Сзади кто-то тронул его за локоть. Он оглянулся. Обезьяна, бесшумно подкравшись, вложила свою чернопалую руку в его ладонь. Его поразило это человекоподобное прикосновение сухой горячей руки, в котором было нечто от сочувствия, утешения. Словно зверь, наделенный проницательностью человека, исполнился к нему сострадания. Так и стояли рука об руку. Потом обезьяна, забыв о нем, кособоко покатила по ступеням, мягко, с чуть слышным шлепком скакнула на пальму, тонко заскудила, грозя кому-то невидимому.

Вернулся в номер. И внезапная тоска и потерянности опять охватили его. Слабей, охнув, как от боли, он улегся плашмя на кровать, лежал лицом вверх, стиснув веки, чувствуя лому во всем теле, слушая непрерывную азиатскую музыку, все убыстряющую визжащее яростное колесо. Ему казалось абсурдным пребывание здесь, в этом безвкусно-роскошном номере с неостановимым, необратимым проживанием минут, с которыми он не знал что поделать. Когда-то, очень давно, его захватила политика, грозные, формирующие сегодняшний мир силы понесли его, он отдал себя их движению, слил с ними свою волю, судьбу. И вот они привели его в этот номер и как бы на время оставили, отлетели. Смотрят на него, выжидают: что станет он делать, отпущенный на свободу, лежащий навзничь на скомканном, из китайского шелка, покрывале, на лазоревых птицах, цветах? Как воспользуется этой свободой?

Ну что ж, он ею воспользуется. Как нормальный, выполнивший свой долг человек. Он сделал, что должен был сделать, и может теперь вернуться. Его стремление добраться до базы — просто большая инерция вовлеченного в гонку сознания. Род психоза, которым он болен давно, добывая, разыскивая, накапливая бесконечные сведения. Они, эти сведения, увеличивают непомерно свой груз, но не приводят к простому ясному знанию, не приводят к истине, объясняющей жизнь. И надо прервать эту гонку, прервать накопление сведений. Повернуться вспять. Тем более что нет вертолета. Нет и, конечно, не будет. Надо найти Сом Кыта, поздравить его с Новым годом и пуститься обратно в Пномпень, где Вера, самолетный билет, близкое возвращение домой, туда, где смысл его бытия, где оставлено время на последние, важнейшие в жизни усилия: понять, кто он есть? Зачем родился и жил? Зачем дана ему Вера? Зачем было Троицкое? Надо помимо всяческой информации, помимо накопленных сведений понять, что есть жизнь, данная ему то светом, то бойней, то любовью, то великим унынием, то Россией, Кремлем, то душными джунглями, зрелищем разгромленных пагод.

Он чувствовал, что в состоянии подняться и тронуться в обратный путь. И никто ему не будет судьей. Сейчас от него самого зависит выбор решения. Он сам себе архитектор. Сам себе судья.

И он лежал, чувствуя сквозь веки бледное жидкое солнце, без прошлого и без будущего, на шаткой ускользящей грани личной свободы и воли, не умея ими воспользоваться.

Он вдруг почувствовал: в комнате кто-то есть. Открыл глаза — никого. Снова закрыл. И снова ясное ощущение, что комната его не пуста, что в дальнем, полутемном углу присутствует кто-то и наблюдает за ним. И этот кто-то — она, его Вера, в их московской квартире, сидит на диване с ногами в его кабинете, смотрит, как он работает. Ее долгий спокойный взгляд не мешает ему. Он любит, чтоб она вечерами сидела в кабинете, читала, вязала, пока он не устанет и они не пойдут перед сном на прогулку. Молодой снег сыплет в синеве фонарей, пронзаемый лакированным блеском машин. У Каляевской в маленькой булочной они купят теплые булочки, пойдут по улице Чехова, ломая обсыпанные маком кругляки, поедая их вместе со снежинками. Памятник Пушкину с проносящимися над его головой электрическими буквами на крыше «Известий», у подножья, на свежем снегу, краснеет гвоздика. Тверской бульвар сцепил в высоте голые ветки с притихшими сонными талками. Особняки, решетки в снегу, голубой в водостоках лед. Минуют огненный проруб Калининского проспекта, белую Кропоткинскую, дымно-розовый пар бассейна. Проходят любимый свой путь до ленивых льдов на реке, до морозной рекламы «Ударника», и если оглянуться — Кремль воспарит в ночной позолоте, и они, шагая обратно, глядят на дворцы и соборы. Днем в Александровском саду обрезали деревья, и она подняла отсеченную веточку тополя. Принесла домой, поставила в воду, и ветка распустилась, наполнила зимний его кабинет горько-миндальным запахом. Весной она высадила тополь во двор, ухаживала целое лето. Тополь прижился, подал. Она говорила: под старость сядет под этим тополем, вспомнит прогулку, булочки, гвоздику у Пушкина, Кремль и их молодых, гуляющих по зимней Москве.

Открыл глаза. Дальний угол с золотистыми сумерками. Никого. Но все еще длился, чуть струился по комнате исчезающий запах мороза и горькой тополиной ветки.

Медленно встал. Тело болело, но слабость души прошла. Сомнение его миновало. Он одолел свою слабость, один или с помощью Веры, но дух его, потомившись на шаткой грани свободы, снова был в несвободе — в служении, в деле. На спинке кровати, под выстиранной рубашкой, словно укрощенный ею, резной, с маленьким красным зевом, извивался дракон.

В дверь постучали. Вошел Сом Кыт, торжественный, в нарядной рубашке.

— С Новым годом,— сказал он, улыбаясь Кириллову, кланяясь ему от порога.— Я пришел вас поздравить. Пожелать вам, дорогой друг, здоровья, исполнения ваших желаний, благополучия вашим близким.

Он достал из нагрудного кармана, протянул Кириллову перламутровый инкрустированный ножичек на цепочке. Тот, растроганный, принял подарок. В ответ, поздравляя, достал из сумки новую, с золоченым пером паркеровскую ручку, одарил ею Сом Кыта. Оба стояли, держа подарки, улыбаясь друг другу.

— От вьетнамцев вестей никаких? — спросил Кириллов.

— Я был в провинциальном комитете, звонил к вьетнамцам. Вестей никаких.

— Думаю, они свяжутся со своим посольством в Пномпене и в конце концов пойдут нам навстречу.

— Сегодня едва ли нам дадут вертолет. Я вызвал машину. Мы можем поехать в Ангкор. Через несколько минут,— он взглянул на часы,— будет Новый год. Будет салют.

Они вышли из отеля на каменный подъезд. Их «тойота» белела у самых ступеней. Шофер и солдаты козырнули им, приложили ладони к фуражкам. Площадь была пустой, и только вьетнамский патруль медленно двигался в тени пальм.

— Ну вот сейчас,— Сом Кыт следил за секундной стрелкой.— Сейчас — Новый год!

И в ответ вдали, за деревьями, за красными черепичными кровлями прозвучала слабая очередь. Ей откликнулась другая, погромче. В разных концах города застрекотало беспорядочно, часто. Стрельба усиливалась, охватывала кольцами город. Над мохнатыми деревьями полетели пульсирующие колющие трассы, зачертили небо. Зашипели сигнальные, бледные на солнце ракеты. Весь город сотрясался, трескался, лопался от очередей, словно катились уличные бои. Рассыпанные гарнизоны и патрули падали яростно в небо в честь наступления буддийского Нового года, и близко над пальмами, оглушая, ударила трескотня,— это вьетнамцы, подняв автоматы, разряжали свои магазины, издали улыбаясь, кивали им, стоящим на ступенях отеля. Солдаты-кхмеры выскочили из «тойоты» и в два автомата, вбирая головы в плечи, по-мальчишески блаженно грохнули подряд несколько очередей, рассыпая гильзы, окутываясь дымом. Кириллов, оглушенный, затыкая уши, смеялся, глядя на Сом Кыта, и тот смеялся, а город свивал над собой букеты красных и зеленых, медленно парящих ракет, чертил молниеносные перекрестия автоматных и пулеметных трасс. Реже, реже — и смолкло. И вынеслись велосипедисты и дети, и площадь запестрела женскими длинными одеждами.

Они сели в машину, покатали по шумному, жаркому городу к окраине, к зеленому огромному лесу, к Ангкору.

Он знал Ангкор издавна, по хрестоматиям и альбомам. Издалека мечтал о нем, изучал, стремился к нему, связывая с его образом характер страны и культуры. И читая сводки о боях под Сиенреапом, он с болью представлял минометные взрывы, выкальывающие из черных стен барельефы царей и героев, автоматные трассы среди сумеречных ниш с каменными буддами. И пугался, и страдал, и стремился увидеть Ангкор.

Теперь, проехав по зеленой аллее, он вышел из машины и был поражен громадой сумрачного ступенчатого храма, растолкавшего джунгли. Косое, воронкой ввысь, расходилось небо. Падали из-за гуч синие лучи. Храм словно приземлился с неба, как огромный инопланетный корабль — тяжкий, геометричный, инженерно сконструированный, переполненный ношей. На бесчисленных барельефах шли люди, звери, растения, изделия рук человеческих, инструмен-

ты, оружие. И казалось, это из него, приземлившегося, высыпались на землю семена цветов и деревьев, превратившись в окрестные джунгли, изверглись звери, птицы и рыбы, населив небеса и воды, и люди построили свои города по образу и подобию Ангкора, избрали себе царей, затеяли войны, труды, моления, повели исчисление времен, начали историю царств. Весь мир вышел из этого огромного каменного лона, здесь заложены программа конца и начала бытия. Каменная, мощенная плитами, огражденная резными перилами дорога вводила к храму через наполненный водой, заросший лилиями ров. На перилах, на львиных и драконьих башках стоял ручной пулемет, и солдат-кампучиец в протершихся кедах, опершись локтями о камни, пропустил их, сделав знак глазами.

Они шли с Сом Кытом к медленно приближавшейся рукотворной горе. Под ногами у них, на плитах, извивались резные травы, струились звериные и рыбы тела, и казалось, они движутся среди кишашей, шевелящейся жизни.

Они осматривали храм. Долго, бесконечно шагали в прохладных галереях, излучавших льдистое, исходящее из плит свечение, мимо высеченных барельефов, где клубящимся непрерывным напором скакали кони, ревели боевые слоны, сражались враждующие армии, падали в прах города, казнили пленных и мучеников, венчали триумфаторов, пировали, любили, строили лады, пускались в охоту и рыбную ловлю, молились, затихали на смертном одре, кружились бесплотными душами среди светил и галактик.

Он погружался не глазами — душой в бесконечные жития. Касался гладкого, то блестящего до черноты, то красноватого камня, ощупывая, как слепой, то голову молодого царя, то хобот боевого слона, то грудь танцовщицы, то терзаемого висящего пленника. Тела, казалось, были выточены из метеоритных камней, покрыты ржавыми, из космоса принесенными окислами, отшлифованы ревушим огнем, сотворены не земным мастерством, а в иной, небесной гранильне.

Он быстро устал. Понимал, что свидание с храмом слишком коротко. Что за эти минуты ему не обнять заложенный в сооружении смысл. Но не жалел об этом. Когда-нибудь после, в другой земле, ему явится видение храма, и смысл себя обнаружит.

Они обошли галерею с маленькими полуразбитыми буддами, лишенными рук и голов. По изглоданным, покосившимся ступеням они поднялись на самую высь, и он, задыхаясь, с ухающим сердцем, с кружащейся от духоты головой, смотрел на сумрачно-золотую, истрелянную пулями статую, а в округлом проеме позади нее, как в иллюминаторе, синели озера, леса, летели птицы, дышали пашни, и Будда, словно пилот в золоченом скафандре, вел свой громадный корабль.

Осмотрев Ангкор, они побывали в соседнем Байоне. «Улыбающиеся горы», — думал он, глядя на огромные мягкогубые лики, высеченные на черных утесах. Там, среди горячих, шуршащих осьшьями изваяний он видел змею, стеклянно скользнувшую в трещину. Маленький зеленый кузнечик прыгнул ему на руку, спокойно сидел, двигая прозрачным хлорофилловым тельцем. Кириллов, несмотря на усталость, пережил давно не посещавшее его чувство единства человека, камня и твари, сочетаемых, согретых общим для всех, бьющим из-за тучи лучом.

Они вернулись в отель. Войдя к себе в номер, Кириллов почувствовал себя столь уставшим, что едва раздевшись, ухнул на кровать и уснул.

Проснулся в сумерках с легкой, как в юности, и прозрачной веселостью. Лежал в темноте, пока не услышал приближающиеся шаги Сом Кыта. Поторопился подняться, застегнуть рубашу, пригладить волосы.

— Входите, дорогой Сом Кыт, — он зажег свет, почти с нежно-

стью глядя на знакомые, смугло-строгие черты кхмера.— Какими известиями вы порадуете меня на этот раз?

— На этот раз,— улыбнулся ему Сом Кыт,— я хочу сообщить вам, что нас ждет новогодний ужин. Полагая, что за время поездки вас могла утомить азиатская пища, я на свой риск заказал европейскую кухню. Стейк и овощи. Надеюсь, я вам угодил.

— Я тронут, дорогой Сом Кыт. Вы вспомнили, что я европеец, в то время как сам я об этом стал забывать. Стал забывать и о том, что в сумке у меня прячется еще одна бутылка водки. И как бы мне хотелось, чтобы вы, дорогой друг, изменили своей обычной привычке и в честь Нового года выпили со мной за компанию.

— Должен вам сказать,— улыбнулся кхмер белозубо,— за эти нелегкие дни я понял, что мне нравится наша компания. Я выпью немного водки.

Они ужинали одни в пустом, огромном, печальном зале с запыленными зеркалами и люстрами. Официант, облаченный в лежалый белый жилет, прислуживал им с выражением грусти, давая понять, что в прошлом его услугами пользовались великие люди. Но эта чопорная грусть на лице официанта и их одинокая трапеза, отраженная в десяти зеркалах, только веселила Кириллова. Тем более что горячее кровавое мясо розовело на тарелке, пестрели наклейки на бутылочках с соусами, зеленым плюмажем кудрявились листья салата.

Он налил в рюмки водку.

— Дорогой Сом Кыт, что пожелать вам в этот первый вечер Нового года? Выскажите свои пожелания, а я буду просить судьбу, чтоб она помогла им осуществиться.

Сом Кыт поднял рюмку и очень серьезно, не замечая легкой иронии в словах Кириллова, произнес:

— В этот первый вечер Нового года у меня нет личных желаний. У меня вообще не осталось личных желаний. Все мои желания связаны с судьбой моего отечества. Пожелаем ему, и вы и я, отдохновения в мире, урожаев на полях, младенцев в семьях. Пусть в Новом году тьма еще дальше отступит от его границ и порогов, от сердец и помыслов его сыновей. Ведь именно к этому, дорогой друг, мы с вами оба стремимся. За тем и пустились в дорогу. Если вы мне позволите, пожелаем в этом Новом году счастья моей дорогой измененной родине.

Они чокнулись, выпили во благо стране, шумевшей за шторами ночным гулянием, мерцавшей развешенными вдоль пальм цветными фонариками.

Ему было хорошо сидеть за чистой скатертью, есть вкусное мясо и пьянеть, глядя на торжественное лицо Сом Кыта.

— Дорогой Сом Кыт,— сказал он, испытывая умиленное чувство.— Я рад, что судьба нас свела. Мы многое пережили за эти дни. Поверьте, я дорожу вашим обществом. Эту поездку я никогда не забуду.

— В свою очередь, отвечу вам встречным признанием. Все эти дни я наблюдаю, как вы работаете, как не щадите себя. Я знаю, уже теперь вы бы могли пожелать вернуться в Пномпень. Ибо цель поездки достигнута. Но вы остаетесь, несмотря на усталость, несмотря на то, что вас ждет жена, ждет близкое возвращение на родину. Поверьте, я это очень ценю. Я учусь работать, глядя на вас. Я многому от вас научился. Видимо, так и должен работать настоящий журналист и политик.

— Ну какой я политик, Сом Кыт! Я — ученый! И скоро, обещаю вам, вернусь в Москву, к моей любимой библиотеке, к письменному столу, к моей диссертации. Если бы вы знали, как я хочу в Москву!

— Есть сведения, я поделюсь с вами, есть некоторые намеки на то, что меня могут послать на дипломатическую работу в Москву. Быть может, третьим секретарем посольства.

- Сом Кыт, да за это же надо выпить!
- Хочу вам сказать, что по возвращении в Пномпень буду счастлив принять вас с женой в моем скромном доме.
- С удовольствием приду! А когда вы с супругой приедете жить в Москву, я приглашу вас к себе. Поверьте, у нас будет много прекрасных вечеров в Москве!
- Вот за это и выпьем, за Москву!
- И они выпили за красно-седые башни, и желто-белый, целомудренно-чистый дворец, и за диво Василия Блаженного.
- А теперь мы погуляем, не так ли?

Они медленно шли в толпе по переполненной улице. Кириллов чувствовал хмель, чувствовал жар от бесчисленных встречных лиц, освещенных гиляндами огоньков. Испытывал безотчетное, непрерывно длящееся блаженство. Женщина с лилово-черными волосами и приколотым к блузке цветком встретила с ним глазами, улыбнулась, почувствовав его состояние. Двое юношей проводили его долгими взглядами, оглянулся — они все еще смотрели. Солдат-кампучиец, без оружия, пил сок, опустил стакан и посмотрел на него. Он радовался, что замечен ими, что их лица обращаются к нему, следят за ним, и мимолетно, с каждым, делился своим блаженством.

Рыночная площадь клочотала толпой, взрывалась возгласами, свистом, озарялась прожекторами, множеством масляных мигающих светильников на лотках и колясках. Люди ели, пили, брели, бежали, скакали, свивались в хвосты и очереди, в жужжащие пчелиные ступки. И вид веселящегося люда, не помнящего прокатившихся бед и потерь, отзывался в Кириллове жарким желанием продлить их праздник, заслонить их собой, защитить.

— Как хорошо, Сом Кыт! Как хорошо!

— Да, хорошо!

В центре площади были устроены аттракционы. Народ густо окружил место игрищ, ликовал, стонал, замирал, и снова охал, и голосил наивным восторгом, наивным огорчением и радостью.

Их пропустили вперед, кивали, кланялись, вовлекали в игру. Они оказались перед дощатым белым щитом, на котором карикатурно, аляповато были намалеваны фигуры Пол Пота, Лон Нола, Сианука и дяди Сэма, и Кириллов вспомнил художника из Баттамбанга: его искусство жило, веселило, работало.

В руки им вложили по два пернатых заостренных дротика, и Сом Кыт, прицелившись, ловко, точно послал их в Пол Пота, пронзив ему лоб и жирную, исколотую другими попаданиями грудь. А Кириллов неумело, неловко метнул свой дротик и оба раза промахнулся, и его утешали, предлагали бросить еще.

Тут же, в соседнем скопище, они наблюдали народную игру, протекавшую в деревянном, похожем на просторную кадку загоне. В стенках кадки были выпилены круглые норки, кончавшиеся сетками, как бильярдные лузы. За пределами кадки стояла плетеная корзина с живыми крысами. Хозяин игры длинным сачком выхватывал из корзины крысу, помещал ее посреди кадки, накрывал колпаком. Играющие выбирали каждый свой номер, делали ставки, сыпали на поднос бумажные деньги. Хозяин снимал с испуганного, сжавшегося зверька колпак, и крыса, ослепленная светом, оглушенная гамом, сидела, мигала, шевелила усами. Толпа начинала свистеть, улюлюкать, кидать в крысу щепки, и та испуганно металась и рыскала по загону, пока не толкалась в лузу, ныряла в нее, билась, запутавшись в сетке, а толпа ревела, как в Колизее, и счастливцев, гордый победой, собирал с подноса бумажный денежный ворох.

Им предложили сыграть и в эту игру, но они отказались. Гуляли, ели сласти и к полуночи, усталые, разморенные, вернулись в отель. У портала в тени от колонн они заметили военный «джип».

В холле из низкого кресла поднялся офицер-вьетнамец. Отдал честь. Поздравил с Новым годом. Сообщил, что из Пномпеня получена телеграмма командующего, и завтра утром их ждет вертолет.

Они простились с вьетнамцем. Потом друг с другом, до утра Кирилов вошел к себе в номер, отрезвленный, точный и ясный. Собрал свою сумку. Медленно разделся и лег. Сегодняшний день еще трепетал и звучал за шторами, манил к себе отголосками. Но был уже пройден и прожит. На завтра был назначен полет.

Они идут по деревне к избе торопливо, почти бегом, он впереди, она сзади. Он не оглядывается, но знает — она боится отстать, и боится идти, и идет, и уже не отстает, и пойдет, куда он захочет, а он чувствует и ее страх и свой собственный — вдруг отстанет и это теперь не случится? — и знание, что оно непременно случится.

На дороге блещут замерзшие водяные капли. Сверкает втиснутый в лед тракторный болт, тот, что утром краснел на заре. Все видно ярко, остро в ночи, и их влечет бесшумная, неодолимая сила.

Имба. Проискрился на сугробе след, оставленный его утренней лыжей. Колючее плетение шиповника. На носках, чтоб не скрипнула на крыльце половица, не стукнула щеколда, пробираются в сени, в запахах осиновых невидимых дров. Нащупал дверь. Душный, жаркий, темный дух дома. Оконца, тусклое сияние стекол. Старушечье, чуть слышное дыхание на высокой, в темном углу, кровати.

В шубах за занавеску, за перегородку, где тесно, бело от печи. Голубое, мерцающее льдом оконце. На печи колючая тень от шиповника. Сняли шубы. Ее темный пушистый свитер. Взмахи рук. Электрический треск волос, полыхнувшая на вздетых руках зарница. Красно-черное в темноте, тяжелое одеяло кровати.

Ложат близко, не касаясь друг друга, отдалившись друг от друга, закрыв глаза. И сквозь закрытые веки, сквозь все запреты и заповеди — медленное приближение друг к другу, без слов, одним дыханием, одним шевелением губ, скольжение, влечение друг к другу, падение с ледяного наката в сверкающую бездну. И нет избы, и дпящийся молниеносный полет над снегами, лесами к далекой краснеющей точке, к малой багровой бусине, к красному тугому бутону, из которого вдруг вспыхнул алый огромный мак, превратился в шар красного света, и он, раскрывая глаза, ослепленный, в слезоте прозревает свою жизнь, свою смерть, свое избавление от смерти, свое, во веки веков, пребывание с нею, с любимой. Погасло. Он возвращается в крохотное пространство избы. Ночь. Тень шиповника на белой печи. Рядом она, его милая.

В черном небе латунная лента. Пальма, черная на заре, со страусиным плюмажем. «Джип» у подъезда. Капли воды на капоте, желтые, как мандариновые брызги.

Вьетнамский офицер, аккуратный, в португее, козырнул Кирилову и Сом Кыту. Принял вещи. Оглядывался с переднего сиденья, когда проносились по пустынному городу. Любезно отвечал на вопросы. Да, их штаб связан с посольством. Да, видимо, это указание посла и командующего. Да, на базу вместе с ними полетит начальник разведки.

Аэродром был в легчайшей золотистой дымке, словно окутан пылью цветущих трав и деревьев. Они прокатили по бетону мимо военных транспортов, белесых старомодных истребителей, разрушенного двухкилевого американского бомбардировщика. На дальнем конце, одинокий, отточенный, темнел вертолет.

— Начальник разведки, — представился им невысокий, с седыми висками вьетнамец, в кителе без знаков различия, с кобурой и фотоаппаратом. — Экипаж готов. Можно лететь.

— Мы признательны командованию за предоставленную нам воз-

возможность.— Кириллов пожал вьетнамцу руку, глядя не в лицо, а мимо, на поле, где расхаживал с карабином охранник, и в заре клубилась спутанная трава, и плавно скользила большая птица.— Должно быть, вы что-нибудь знаете о базе?

— Мы знали о ее существовании прежде. Долго ее искали. Она тщательно маскировалась. Мы засекали ее по передатчику. Несколько раз на короткое время он выходил в эфир. Мы послали на захват базы специальные части. Теперь она наша.

— Вы намерены вывезти пленных с базы?

— Да, бумаги и пленных. Вы бы, конечно, могли ознакомиться с ними и здесь, в Сиенреапе или даже в Пномпене. Но вы предпочитаете лететь.

— Мы полагаем, что оперативней все увидеть на месте.

— Как вам угодно. Командующий дал разрешение.

— Еще раз спасибо. А сколько мы будем лететь?

— Часа полтора.

— Спасибо.

Они уселись в вертолет на железные лавки. Тут же, укрепленная обручами, стояла оранжевая стальная цистерна с горючим. Лежали на полу два автомата. Пилоты захлопнули дверцу, запустили винты.

Их пронесло над бетоном, и Кириллов в иллюминатор успел разглядеть над собой ширококрылую, лениво сносимую птицу. Взмыли над пальмами, и косо, желто-серебряное, в разводах, блеснуло огромное озеро, словно приподняли над землей металлический лист, послали вслед вертолету бесшумную вспышку.

Вдруг возник Ангкор, обнаружил свой каменный, раздвинувший джунгли четырехгранник. И Кириллов, прижимаясь к стеклу, смотря на проплывающий внизу храм, представил себя, как сидит золоченый простреленный Будда, представил себя, вчерашнего, с зеленым кузнечиком на рукаве. Струнка шоссе натянулась и лопнула. И он вспомнил, как день назад мчался по дороге и где-то здесь укрывалась засада, был бой. В красноватых полях, над которыми они пролетают, лежит засыпанный Тхеу Ван Ли, тень вертолета скользит по его могиле. Но поля и дороги исчезли, и за клубились внизу зеленые волнистые джунгли, то с провалами горных долин, наполненных синей мглой, то с золотистыми, освещенными солнцем вершинами.

Вначале он зорко смотрел, стремясь различить тропы и двигающиеся цепочки солдат, вспышки и дымки перестрелок. Но леса тянулись непрерывно и плотно, поражая обилием нечеловеческой первобытной природы, в которой нет места людям, а господствуют стада слонов, обезьян, таятся проглоченные джунглями храмы, следы погибших, побежденных природой цивилизаций. Он старался сосредоточиться на этих мыслях, но они скоро утомили его, и он стал осматривать вертолет, оранжевую цистерну с топливом, лежащие на полу автоматы. Обнаружил, что на одном из его башмаков начинает отставать подошва. Попробовал ее, она еще держалась, но грозила вот-вот отвалиться.

Его толкнуло спиной о шпангоут, и в толчке, в круговом, наклонившем вертолет вираже, увидел падающего на него с противоположной лавки начальника разведки, его растопыренные руки, и Сом Кыта, ухватившегося за ремни.

Машина выровнялась, заревела надсадно, продолжала горизонтальный полет. Начальник разведки метнулся к кабине, и один из пилотов снял шлемофон, слушал его сквозь гул, что-то отвечал ему в ухо.

Вьетнамец появился через минуту, растерянно наклонился к Кириллову:

— Горим!..

В правом иллюминаторе виднелось бледное мелкое пламя. **Перь-**

ями налетало к стеклу, пропадало, и вместо него тянулись синие волокна дыма. Пламя вновь возникло, злее и ярче, и откуда-то сверху, как в дождь, западали огненные тягучие капли.

— Горим! — снова не крикнул, а бесшумно, сквозь вой винтов, произнес начальник разведки и опять бросился к кабине.

Вертолет выл металлически и трескуче. Кириллов, отшатнувшись от обшивки, смотрел сквозь бледный наружный огонь на джунгли, не пугаясь, оцепенев, не давая места страху, не давая пространства никакому другому чувству.

Вьетнамец снова навис над ним жестким, седовласым лицом:

— Топливная система!.. Горючее!.. Будем садиться!.. Ищут место посадки!..

Вертолет снижался. Джунгли толпились внизу сплошным плотным войлоком. Зеленые, сквозь дым и красноватые огни они казались лиловыми, как через светофильтр. Он подумал, что вертолету для посадки нет места и придется садиться прямо в деревья. Представил удар в металлическое брюхо машины, ломающиеся вершины, хруст отсекаемых сучьев, скрежет и скрип металла.

Он поднялся, чтобы перейти к другому, бездымному борту, но из пола, снизу, из невидимых щелей ударил огонь, охватил нутро фюзеляжа, пропал, брызнул едкой, бескопотной вонью и снова возник, свистя и треща, окружив их всех, заслоняющих лица локтями, приседающих, стремящихся вырваться из обжигающих обручей.

— Бочка!.. Взорвемся! — крикнул вьетнамец. Отталкивая его, из кабины набежал на огонь пилот, упав на колени, что-то делал у бочки, перекрывал какой-то вентиль, напрасно, как казалось Кириллову, и бессмысленно.

Огонь почти пропал, но брюки его горели, и ногу вдруг обожгло и ужалило. Он стал бить по прожженной ткани, сшибая огонь, превращая его в тлеющие угольки.

И эта боль, и вид своей тлеющей одежды, и забившийся в кашле Сом Кыт, и начальник разведки, вместе с летчиком что-то творивший в дыму, и вой металла, и ожидание, что сейчас, сию минуту они умрут в огромной бесшумной вспышке, расшвыривающей их в небесах, осыпающей их горячей рухлядью на землю, — все это родило в нем мгновенный, черно-белый испуг, превращая весь мир в негатив. В сотрясенной душе было только страстное нежелание смерти, страстное отрицание гибели. Но приблизилось на тонком луче, возникло иное знание. Знание о единстве и разумности мира, о возможности победы в борьбе, в той, в которой сложил свою голову отец в сталинградской степи и вьетнамец в стреляющих джунглях.

Распалась оболочка реальности, рассыпался металлический короб, и в избу в отворенную дверь, с облаком пара, давя на перламутровые кнопки, краснея подолами, лицами, ввалилась ликующая родная толпа, и родной, как дух, высокий, как спасение, голос запел: «В о-острова-а-ах охо-о-отник!..»

Это длилось мгновение и кончилось. Снова был вертолет. Огонь, треск обшивки. Внизу открылась поляна с одиноким деревом, и на поляне под деревом и дальше, запрокинув лица, стояли люди в военном.

«Свой? Чужие?.. Что теперь?..»

Он прижался к стеклу, глядя вниз на поляну. Горящий вертолет, свистя лопастями, шел на посадку.

ПОЭТИЧЕСКАЯ ТЕТРАДЬ

★

МИХАИЛ ЛЬВОВ

ПАМЯТЬ

Юные следопыты

Они живут во мне неслышным гимном.

М. Луконин.

Нет одиночества у ветеранов,
Они роднее всем
 день ото дня.
От океанов и до океанов
Им весь народ — бессмертная родня!

Нет у погибших наших одиночества —
И школьники, их юная родня,
Живая, трепетная ребятня,
Поют, как гимн, их имена и отчества,
Их,
 ставших Светом Вечного Огня.

Награды на войне

Да, страна орденов не жалела —
Благодарной рукою она
За солдатское славное дело
Раздавала награды сполна.

Орден — гордость,
 и слава,
 и боль же:
Сколько сложено в битвах голов!
... Все же подвигов было побольше,
Чем в Монетном дворе орденов.

Годы

1

Мне снятся уральские танки,
Солдатское наше житье.
Я снова кидаю в атаки
Звонящее тело свое.

Ничто мне не кажется страшным
И кажется ночью сквозь сон:
Проснусь молодым и
 отважным —
Из тех легендарных времен.

2

Отбушевали, отпылали,
Отговорили дни мои.
Не возвратятся эти дали,
Как ни зови, как ни моли.
И — утешенье небольшое
И от сознания того,
Что все ж они —
 во мне, со мною,

Да только нет
 меня того.
Отбушевали, отлетели
В невозвратимые
 края
Мои и май и метели,
Короче — молодость моя.

3

Вопросы века вновь — смертельны.
Продлится ль сдержанность ракет?
Вопросы чести вновь — дуэльны.
Дороже стали — Да и Нет!

И наши судьбы — не отдельные,
Мир сообща оберегай!
А сроки мне не беспредельны,
Не безграничны берега.

ИЗ ПОЭМЫ «ГОСПИТАЛЬ»

Г. З. Балянской.

1

Солдатский госпиталь — обитель
Повоевавших за страну,
Огромный звукоуловитель
И слышал столько про войну.
Чтоб не осталось погребенным
В небьгие —
 так много тем, —
Сюда б ходить с магнитофоном,
Записывать рассказы стен.
Раз не приходят прозы гении,
Магнитофон вживляй в кровать,
Чтоб те солдатские трагедии
Потом — для всех —
 расшифровать.
Как много слышали тут уши
Палат
 и госпитальных стен.
Великие

какие
 души
В палаты попадали — в плен.
И — отбивались тут от смерти.
Налеты смерти отбивать
Им помогало милосердье —
Их не спешили отпевать.
Распластанные по палатам,
Убитые и раз и два,
Как полагается солдатам,
Я слушал — с сердцем
 виноватым —
Солдатской памяти слова
И слезы сдерживал едва.
Вы о себе не написали
Поэмы — ни одной главы.
И пьесами не потрясали.
Шекспиры в жизни — это вы!

2

Здесь территория Отечественной,
Но не оконченной войны —
Такие раны человеческие
В палаты эти свезены.
Невероятные ранения
И память фронтовых ночей.

Сестер бессонные радения
И труд волшебников врачей.
... И после операционной
С ее стерильной белизной
Ты засыпаешь, окруженный
Отечественною войной.

3

Здесь продолжается война,
Но — в медицинском варианте,
Рука войны во всем видна.
С врачами вместе рано встаньте,
Придите в госпиталь сюда,
Накиньте белые халаты,
Войдите в белые палаты

Как в залы страшного суда —
И вы увидите тогда,
Что тут еще война жива,
Не все излечены раненья,
И держат души и слова
На ветеранов тут равнение:

Врачи и сестры им нужны, Их с медицинской любовью
Кто до сих пор, как с поля боя, Вытаскивает
Их с материнской любовью, из войны.

4

Представлен...

Рассказ соседа по палате.

Перед боем
я был к офицерскому званью
представлен,
А в бою —
был убит.
И за ратные в жизни
труды
Не забыт,
а солдатской молвой
и начальством прославлен,
А за бой
я представлен
был к ордену
Красной Звезды.
А потом уже, кажется,
был я представлен
и господу..
(Подобрали меня
санитары другого
полка.)
Но меня
отобрал у него
всемогущий
наш госпиталь
И решил оживить —
был я нужен
на фронте пока.
Восемь суток
врачи
продолжали
мое оживленье.
Получила несчастная
мать
в городишке родном
И одно —
с присвоением звания мне
поздравленье,
И другое —
пришла на меня
похоронка потом.
Возвратился
я сызнова в жизнь..
«Ограниченно годен»..
Через многие годы
меня и бумаги
нашли,
Пригласил военком —
мне вручили посмертный
мой орден.
Я — обычный солдат.
Ты в тетрадь
про меня не пиши.

Наши раны видны.
 Мы — руины войны,
 Человеческие руины,
 Человеческие обломки.
 Только в книгах —
 для них — старинных
 Нас увидят потом
 потомки.
 И грядущих годов
 археолог
 Разберет,
 где прошел
 осколок,
 Где там
 очередь
 врезал ас.
 Изваяет
 ваятель
 нас.
 Перед будущими людьми
 Воплощеньем
 Добра и Любви —
 Мы, как боги,
 тогда предстанем,
 Быть руинами
 перестанем.

Друзьям

(Тост)

Пишу — всю жизнь, не требую «простоя»,
 А требую пространства и простора.
 И все — за жизнь!
 Не «бодрячок» в годах —
 Такому объяснение простое:
 Штурмуя неоткрытое, и строя,
 И принимая все удары стоя,
 Стремясь и стать некрайними в рядах —
 Быть первыми в открытиях и трудах,
 Тогда себе мы задали Такое,
 Что кончится не в наших временах.
 Мы отвергали многое с порога!
 Печаль? Не к месту! Грусть или нытье?
 Себя мы этим грабили немного,
 И все ж — все это обрывали строго,
 И Главное — мы делали свое,
 И выдавали зримо Громадьё.
 ... Все та же продолжается дорога,
 И сердце продолжается мое.
 Оно хранит настрой первоначальный,
 Из прошлого в грядущее летя.
 Оно звенит — не звон стекла хрустальный,
 Звенит — об Жизнь, о ближний Край и Дальний,
 Где домны как бокал индустриальный,
 Об этот мир — прекрасный и реальный,
 И радуется — чисто, как дитя,
 Физически не молодо хотя.

1983.

МИХАИЛ НАЙДИЧ

Уцелевший

«А! Попятились!» — вслед вражьи танкам Послан был и последний снаряд... Уцелевший боец стал подранком, Но глаза — поглядите — горят!	Он сквозь слезы глядел на опушку И подбитые танки считал... У своей скособоченной пушки, У примятого крепко щита Он и горд был и даже напуган, По-мальчишески строен и мал.
Он в лесу был. Один. Будто леший. А костры догорали вдали. Он потряс кулаком побелевшим: «Что? Дошли до Москвы? Доползли?»	И доверчиво так, будто друга, Остывающий ствол обнимал.

* * *

Поле было в белых бугорках, А перед атакой — было ровным. Цепью негустой пошли солдаты С трехлинейками наперевес; Красная сигнальная ракета Рассыпалась, задевая лес, Оставляя хвост нечеткий дыма... Вот и все. А так необходимо Было до окопов добежать,	Добежать и в ход пустить гранаты — Падали. И словно виноваты, В чем — незнамо, слизывали снег. Затихали... Санитары к ним Подползали и вздыхали горько: «Тут уж не помочь!» И падал снег. Падал снег и падал. И под вечер Поле было в белых бугорках. Поле было. В белых. Бугорках.
--	---

За рекой

Глянь на солнышко из-под руки — Вон березы стоят, поле выбелив. За Донцом за рекою — враги, Мы пока их оттуда не выбили. Скоро выйдем! Есть все-таки долг И пружиную сжато терпение... Просыпается утречком полк От веселого птичьего пения.	Все пройдет... На другом рубеже Вспыхнут памяти давней отметины — И со смешанным чувством в душе Мы припомним июль сорок третьего: «Как вы пели красиво, дрозды! Вам тогда даже дождики вторили! Как вы пели красиво, дрозды, За рекой, на чужой территории».
--	---

СОФЬЯ ПЕТРЕНКО

Два стихотворения

* * *

Ах, какая случилась радость!
Я живою вернулась с войны
И теперь по Литейному мчалась,
Всем и каждому улыбалась
Под капель — перезвон весны.

Только вдруг осторожно стала,
Бесшабашная! Вот те на!
И с оглядкой от стен отступала —
Как бы вывеска не упала
Иль цветочный горшок с окна.

Преодо мной не апрельской наледью
Расстелилась незнамо куда,
Самобранной широкой скатертью
Жизнь —
а я перед ней молода!..

* * *

Ни бой, ни марш, ни караульный пост,
Ни воинские будни полевые
Не пригасили блеск далеких звезд,
Не притупили запахи лесные.

Сноровка долгая армейских лет
Всегда со мной в пути нелегком новом.
Все ж жизни соль и радостей основа —
Души доверчивость и материнства свет.



АНДРЕЙ ВОЗНЕСЕНСКИЙ



О ПРОПОРЦИЯХ

Все на свете русские бревна,
что на избы венцовые шли,
были по три сажени — ровно
миллионная доля Земли.

Непонятно, чего это ради
мужик в Вологде и Твери
чуял сердцем мильонную радиуса
необъятно всеобщей Земли?

И кремлевский собор Благовещенья
и жемчужина на Нерли
сохраняли — мужчина и женщина —
две мильонные доли Земли.

И как брат их березовых родин,
гениален на тот же размер,
Парфенона дорический ордер
в высоту шесть сажений имел.

Научились бы, умиленно-
пасторальные кустари,
соразмерности с миллионной
человечески общей Земли!

Ломоносовскому проспекту
не для моды ведь зодчий Москвы
те шестьсот тридцать семь сантиметров
дал как модуль красы и любви.

Дай, судьба, мне нелегкую долю —
испытанья любые пошли —
болью быть и мильонною долей
и моей и всеобщей земли.

1983.

МАТЬ

Я отменил материнские похороны.
Не воскресить тебя в эту эпоху.

Мама, прости эти сборы повторные.
Снегом осело, что было лицом.
Я тебя отнял у крематория
и положу тебя рядом с отцом.

Падают страшные комья весенние
Новодевичьего монастыря.
Спят Вознесенский и Вознесенская —
жизнью пронизанная земля.

То, что к тебе прикасалось, отныне
стало святыней.
В сквере скамейки, Ордынка за ними
стали святыней.
Стал над березой екатерининской
свет материнский.

Что ты прошла на земле, Антонина?
По уши в ландыши влюблена,
интеллигентка в косынке Рабкринина
и ермоловская спина!

В скрежет зубовой индустрий и примусов,
в веке, замешенном на крови,
ты была чистой любовью, без примеси,
лоб-одуванчик, полный любви.

Ты — незамеченная Россия,
ты охраняла очаг и порог,
беда и волосы молодые,
как в кулачок, зажимая в пучок.

Как же ты сможешь, как ты там сможешь,
там без родни?
Носик смешливо больше не сморщишь
и никогда не поправишь мне воротник.

Будешь ночами будить анонимно.
Сам распахнется ахматовский томик.
Что тебя мучает, Антонина,
Тоня?

В дождь ты стучишься, ты не простудишься,
я ощущаю присутствие в доме.
В темных стихиях ты наша заступница,
Тоня.

Рюмка стоит твоя после поминок.
С корочкой хлебца на сорок дней.
Она испарилась наполовину.
Или ты вправду притронулась к ней?

Не попадает рифма на рифму,
но больше не знаю я связи с тобой!

Жизнь оборвалась. Стою у обрыва,
малая часть твоей жизни земной.

«Благодарю тебя, что родила меня
и познакомила этим с собой,
с робким присутствием идеала,
что приблизительно звали — любовь.

Благодарю, что мы жили бок о бок
в радости дня или ужасе дня,
робкой любовью приткнувшийся лобик —
лет через тысячу вспомни меня».

Я этих слов не сказал унизительно.
Кто прочитает это, скорей
матери ландыши принесите.
Поздно — моей, принесите — своей.



ЮЛИУ ЭДЛИС



ЖИЗНЕОПИСАНИЕ

Ч

ип умер двенадцати лет, от старости. Отец купил его Ольге ко дню рождения в тот год, когда она пошла в школу, а когда Чип умер, Ольга перешла на третий курс медицинского.

Однако на самом деле Чип умер в более преклонных летах: отец купил его в зоомагазине на Кузнецком уже достаточно зрелым кенаром, обученным множеству колен и трелей, а ведь это дается только временем. Но в семье все равно возраст Чипа исчисляли с того самого Ольгиного дня рождения, когда он появился в доме.

Впрочем, если смотреть в лицо непреложным фактам, то и семьи к тому времени никакой уже не было и никакой это был не подарок, а замаливание греха, жалкая попытка улестить собственную совесть.

Дело в том, что за два месяца до этого отец ушел из дома.

Но об этом — ниже.

В доме остались четверо: Ольга, мать, бабушка — мамина мама — и парализованный после инсульта, недвижимый и безгласный дед — бабушкин муж. И хотя в трехкомнатной квартире у Ольги была отдельная, девятиметровая, комната, Чипа поселили у бабушки — она настояла на этом из боязни, что ночами Чип будет мешать девочке спать. На самом же деле бабушке жилось очень тоскливо и одиноко, хотя рядом на своей длинной и узкой железной кровати лежал больной дед. Но своей немотой и полнейшей отрешенностью он только усугублял бабушкино одиночество.

Бабушка прожила с дедом целую жизнь и всю жизнь любила его, и теперь она никак не могла привыкнуть к мысли, что этот парализованный, изменившийся до неузнаваемости и, собственно, чужой старик — тот самый человек, с которым она прожила столько легких, но, как ей теперь казалось, беспечальных, добрых лет, с которым она играла в молодости в любительских спектаклях в Народном доме Казанской железной дороги, где они оба служили — он инженером-путейцем, она телеграфисткой, — и который нет еще и года как, идучи домой по Разгуляю, вдруг грохнулся среди бела дня наземь и пролежал в декабрьском грязном снегу не менее часа, пока его не забрала вызванная кем-то из прохожих «скорая» в Басманную больницу, откуда его через полгода выписали вот этим новым, незнакомым и чужим стариком.

Чип скрашивал бабушкино одиночество в те долгие ночные часы, когда она чувствовала себя никому не нужной.

Со временем бабушке стало казаться, что она научилась по-своему толковать шепетание Чипа в ответ на ее сетования или просто будничные замечания насчет погоды, здоровья или отсутствия понимания со стороны дочери и внучки.

Иногда она даже беседовала с Чипом как бы на равных.

Все очень страдали от ухода отца, особенно же он сам. Он ужасно мучился собственной унизительно-неразрешимой виной, ведь он был добрый и совестливый человек, до бессильных слез любивший дочку и, как это ни странно звучит при сложившихся обстоятельствах, чрезвычайно привязанный к семье и дому. Вполне возможно, что и ушел-то он единственно потому, что не мог изо дня в день прикидываться и лгать себе и всем и этой ложью унижать в собственной душе свою любовь к дочери и семье. В том числе и к матери — к бывшей своей жене.

Чувство неотмолимого греха не отпускало его ни на день, ни на час, но, как это ни странно, этот тяжкий душевный груз был вместе с тем непостижимым каким-то образом сладостен и даже, если угодно, мучительно-милосерден, ибо, как казалось самому отцу, он-то и оставлял хоть какую-то надежду на прощение или хотя бы на искупление вины.

Пусть не сейчас, не сразу, но когда-нибудь в будущем.

И отец и мать старались всячески уберечь Ольгу от травмы, от унизительного, как им казалось, понимания того, что произошло в семье. Но она, несмотря на свои семь лет, все понимала, пусть и не умом, а одним сердцем.

Не исключено, что в семь лет это одно и то же — ум и сердце. Потом, правда, это проходит и ум и сердце начинают жить порознь.

Родителям же от сознания того, что, оберегая дочь от травмы, они и сами стали выше дрязг, пошлых, оскорбительных сцен и взаимных попреков, — от сознания этого им становилось чуть легче на душе.

Во всяком случае, уже не так важно было, что о них думают и как все это выглядит со стороны.

Итак, Чип поселился у бабушки в комнате. На ночь клетку накрывали старой скатертью и убирали на шкаф. Чип, пошуршав в темноте крыльями, умолкал и до самого утра не подавал голоса.

И лишь дед, у изголовья которого на всю ночь оставляли бледный ночник, не спал и, мыча про себя что-то нечленораздельное для других, но полное глубокого смысла для него самого, косился красным, налитым кровью после инсульта глазом в сторону шкафа, и было ясно, что Чипа он не любит и ревнует к нему бабушку.

Кроме Чипа и бабушки, никто в эту комнату, собственно, и не заходил: матери было некогда — работа, магазины, дом, а потом, когда Ольга пошла в школу, уроки с нею, ну и, само собою, спасительные, как хватание за последнюю соломинку, разговоры с приятельницами по телефону далеко за полночь; Ольге же и вовсе было не велено сюда ходить — считалось, что своим мычанием и налитым кровью глазом дед может ее напугать. Но Ольга боялась не деда с его красным глазом и неопрятной, колючей седой щетиной на лице, а запаха залеженного тела, спертого воздуха, лекарств, судна, в которое дед ходил, — нечистый этот запах болезни и безнадежности страшил ее больше, чем сам дед.

Днем, а именно на то время, которое Ольга, вернувшись из школы, приготовив уроки и погуляв час-другой во дворе, проводила в своей комнате, бабушка переносила Чипа от себя к ней. В Ольгины обязанности — в этом взрослые видели некий особый педагогический умысел — входило убирать Чипину клетку, насыпать в кормушку свежее конопляное семя и менять в блюде воду.

Поначалу Чип занимал и даже поражал Ольгу, она подолгу зачарованно следила, как он ест, как чистит клювом перышки или почесывает лапкой шею, как пьет, запрокидывая голову и булькая в горле водой, или же как, склонив ее набок, косит золотисто-шоколадной бусинкой глаза, переводя взгляд с предмета на предмет мелкими, дергающимися рывками, словно заводная игрушка. Либо же слушала, как он, прочистив горло, выводит свои коленца и рулады и, закон-

чив музыкальную фразу или внезапно оборвав ее на неразрешенном гармоническом перепутье, тем же мигом уронит головку набок, словно критически и даже недоверчиво прислушиваясь к отзвуку своего пения в воздухе.

Но через несколько месяцев Чип не то чтобы ей надоел, просто уже ничего нового, неожиданного она в нем больше не обнаруживала, да и уроков задавали все больше, времени стало не хватать не то что на Чипа, но даже на то, чтобы погулять во дворе («девочка совершенно лишена кислорода», — привычно сетовала мать), и в итоге так вышло, что Чип окончательно и безвыездно остался жить в бабушкиной комнате, прожил там всю жизнь и пережил деда, и бабушку, и Ольгины детство и юность.

Двенадцать лет для пернатых — это все равно что для человека сто. Девяносто как минимум. А и деду и бабушке далеко не было девяноста, когда они умерли.

Под старость Чип поседел. Его перья и особенно пух на груди и брюшке стали белесыми, будто поросли печальной плесенью. А в молодости он был до того желт, едко-лимонно желт, просто-таки химически едко, что у Ольги, когда она долго на него смотрела, пощипывало глаза, как от запаха дедовых лекарств.

Иногда Ольга задавалась вопросом — что думает Чип по поводу всего, что творится в доме? И вообще?

Бабушка утверждала, что вполне понимает не только щебетание и пение кенара, но и даже читает его мысли. Ну пусть не мысли в общепринятом, человеческом, так сказать, смысле слова, но то, что у Чипа есть свое вполне сложившееся и определенное отношение к миру (невзирая на то, что, казалось бы, этот мир ограничен для него стенами одной лишь комнаты или, более того, даже прутьями клетки), — в этом бабушка насколько не сомневалась.

Как бы там ни было — имел ли Чип свою точку зрения на происходящее или не имел, — но волею обстоятельств, или, если угодно, судьбы, он стал свидетелем и даже, не побоимся этого слова, участником всех событий, которые имели место в доме и семье на протяжении двенадцати лет.

Целой птичьей жизни.

Впрочем, человеческий век тоже довольно-таки короток.

Когда родилась Ольга, отцу с матерью было по двадцать четыре года, они были однолетки. Подросши, она никак не могла взять в толк, каким это образом ее вполне еще молодые родители помнят и даже лично видели такое невообразимо давнее, совершенно для нее уже историческое событие, как война.

Помнили они, конечно же, не самое войну, а лишь эвакуацию, бесконечную холодную дорогу в теплушках, скудную жизнь в скученных и настороженных чужих городах, продуктовые карточки, страх, которого не было страшнее, потерять их в хмурых, серых очередях и — совсем уже далеко и нечетко, на самом краю детской их памяти, — надсадный вой воздушной тревоги и веселые, игривые белые облачка зенитных разрывов в беззащитно-ясном московском небе первых месяцев войны.

Тем не менее отец и мать почти с гордостью считали себя детьми той войны, и Ольга часто ловила их на том, что, когда они смотрят по телевизору фильмы про войну, особенно документальные, или даже просто слушая «Войну народную», или «Этот день Победы», или песню из «Белорусского вокзала», у них увлажняются глаза и светлеют лица и они, пряча друг от друга эти слезы, сопят и шмыгают носом.

Чип же, когда по телевизору показывали фильмы про войну и раздавались громкие (бабушка с годами стала терять слух, и телевизор приходилось включать на полную громкость) взрывы и стрельба, беспокойно метался по клетке, перелетал с жердочки на жердоч-

ку, опрокидывая блюдце с водой, и жалобно, словно взывая о милосердии, пищал. Но стоило накинуть на клетку скатерть, как он тут же успокаивался.

Зато музыкальные фильмы он смотрел, или, точнее, слушал, с несомненным удовольствием, уронив как бы в сладостной истоме голову набок. Бабушка утверждала, что, прослушав музыкальную передачу, Чип тут же пытается воспроизвести ту или иную мелодию. В его пении бабушка отчетливо различала заимствования или вариации на темы различных выдающихся композиторов, от классиков до наших современников.

Уйдя с Казанской железной дороги, бабушка в тридцатые и сороковые годы, в том числе и всю войну, работала на Центральном телеграфе, но в любительских спектаклях уже не участвовала.

Дед объяснял бабушкину измену любительскому театру ее, как он безжалостно выражался, погрязанием в тине быта. При этом он сознательно или бессознательно упускал из виду, что вслед за бабушкой, и, кстати, очень вскоре, он тоже отказался от сценической карьеры, пусть даже и любительской.

В отличие от бабушкиного ухода из мира изящных искусств свой собственный добровольный уход он обосновывал соображениями сугубо художественного порядка. Даже, если угодно, философского.

Дело в том, что дед напрочь и даже с каким-то сладострастным остервенением отрицал драматургию Чехова, Андреева, Горького, не говоря уж о тех, кто объявился после них. Для него русский театр начинался и кончался одним Островским.

Бабушка не без ехидства объясняла этот дедов ригоризм тем, что в пору его увлечения сценой дед имел наибольший и, собственно, единственный успех на Казанской железной дороге в заглавной роли в «Красавце-мужчине» Островского, все же остальные созданные им на подмостках образы проваливались с неизменной последовательностью.

Дед, если верить сохранившимся старым фотографиям — блеклая кофейно-коричневая печать на просторных паспарту из толстого, добротного, какого уже давно не делают, картона с золотым тисненым вензелем фотографического ателье где-нибудь на Кузнецком или, скажем, на Арбате, — на этих старых фотографиях дед и вправду был очень красив и, судя по самоуверенному и даже чуть надменному выражению лица, знал за собой эту красоту и, скрестив на груди руки с наследственно длинными и слабыми пальцами, глядел с карточки чрезвычайно неприступно.

Считалось, что инсульт и, как следствие инсульта, паралич и полная неподвижность (впрочем, вначале не полная — первые два или даже три года дед передвигался самостоятельно по комнате, опираясь на палочку и волоча правую ногу) имели причиной его приверженность к вину.

Действительно, последние лет десять, предшествовавшие инсульту, дед был склонен к этой слабости. Пил он, правда, не водку, а недорогой, цвета химических чернил портвейн и мадеру, а также еще не исчезнувший из продажи в те годы кагор. Пил он дома, один, сидя у окна и глядя насупленным, недобрим взглядом в тесный двор дома на Разгуляе — тогда вся семья еще жила в одной комнате старой коммунальной квартиры. Пил он, как сам не без чувства собственного достоинства объяснял, по-старинному, как то и подобает интеллигентному человеку, а именно — был постоянно, с самого утра, особенно как вышел на пенсию, не пьян, но и не трезв. В этом состоянии он становился раздражителен и агрессивен. Хотя при всем этом оставался в пределах приличий и даже подчеркнутой вежливости по отношению к домашним, но эта нарочитая, высокомерная благовоспитанность была для них тягостнее, чем откровенное пьяное **тиранство**.

Впрочем, Чипа в доме тогда еще не было и по поводу дедова печального порока и едкого характера он не мог иметь сколько-нибудь определенного мнения.

Когда, через сколько-то лет после смерти деда, Ольге впервые разрешили за праздничным столом попробовать красного вина, ей пришло в голову, что оттого-то и был таким красным, налитым кровью дедов неживой глаз, что пил он всю жизнь красное вино.

Но из всего вышесказанного вовсе не следует, что деда в семье терпели с трудом или, того хуже, не любили. Или что он, безусловно, не любил Чипа.

Правда, последнее никогда уже с полной точностью установить не удастся.

Отец относился к Чипу далеко не ровно. С одной стороны, как уже отмечалось, когда он принес его Ольге и увидел Ольгины широко распахнутые от восторга и счастья глаза и чуть потеплевшие, чуть смягчившиеся глаза матери — к тому времени его уже, соответственно, бывшей жены, — ему поверилось, что рано или поздно вина его и грех будут если и не забыты и прощены, то хоть станут не так немолимы; с другой же стороны, Чип был как бы постоянным напоминанием об этой его вине и более чем что-либо другое свидетельствовал, что нечего строить по этому поводу прекраснодушных и, по правде говоря, совершенно тщетных иллюзий.

Вот почему, приходя к Ольге, отец не мог без душевного смятения и тоски глядеть на Чипа и слышать его фиоритуры.

Считалось, что отец «влип».

Слово это — «влип» — как простейшее и все приводящее к общему знаменателю объяснение пришло в дом извне, а именно — от ближайшей материной подружки Регины.

Чипа Регина не любила из глубоко принципиальных соображений. Она вообще считала, что брать от отца какие бы то ни было подарки (она говорила «подачки») — предел унижения собственного (имелось в виду материного) достоинства.

Дело в том, что в свое время Регинин муж тоже «влип», и ее не знающая удержу принципиальность произросла на горькой почве собственного опыта.

Эта недвусмысленная и не оставляющая никакой лазейки формулировка — «влип» — была безупречна тем, что с порога отметала самое предположение о возможности какой бы то ни было любви, страсти, душевного тяготения и прочего в этом роде. Следовательно, все происшедшее можно — и должно! — объяснить лишь нравственной слепотой отца, с одной стороны, а с другой — расчетливой порочностью той, которая его увела от матери.

Таким образом, преступление отца как бы несколько умалялось отсутствием заранее обдуманного злого намерения, а отсюда просто-таки логически вытекало, что, открыв ему глаза на неприглядную правду, его можно (и должно!) спасти, вырвав из хищных лап совратительницы, и вернуть в лоно семьи, но при этом не прощать, никогда и ни при каких обстоятельствах не прощать! — напротив, дено и ночью напоминать ему о его вине, тыкать в нее мордой (еще одна выстраданная всей жизнью формулировка Регины), чтобы до конца своих дней он покорно и униженно ее искупал.

Похоже, единственно с этой целью отца и следовало вернуть в лоно.

Будет ли лучше и покойнее от этого кому бы то ни было — в том числе хотя бы и самой матери, — Регину совершенно не занимало: справедливость должна восторжествовать любыми средствами и любой ценой.

Считалось, что Регина — «цельная натура».

Чип Регину тоже не жаловал и замолкал всякий раз, как она приходила в дом.

А она называла его всегда только в третьем лице — «эта птица».

Ольге же Чип, особенно в молодые его годы, напоминал соловья из андерсеновской сказки. Причем не того настоящего, живого, а другого — искусственного. Чип и вправду был почти ненатурально красив: празднично-желтая, блестящая от ежедневных купаний в блюде с водой грудка, отливающие медью или даже, если угодно, чистейшим золотом спинка и крылья, бледно-коралловые хрупкие лапки с растопыренными перламутровыми коготками. Несомненно, все эти несколько вычурные и даже, может быть, выпренные сравнения тоже пришли из андерсеновской сказки.

Но главное в Чипе были его глаза-бусинки, поразительно осмысленные и пытливые.

А если прибавить к этому его пение, этот сокрытый в его груди нежнейший органчик, способный извлекать такие колоратурные изощрения, такое пленительное бельканто, то невольно приходило в голову, что он весь — произведение высокого вдохновения великого мастера, а не слепой игры природы.

Итак, как уже отмечалось выше, отец «влип».

Когда это случилось, мать по совету той же Регины ограничила общение отца с Ольгой одним разом в неделю, по пятницам от трех до шести.

Но драконовский, как он был задуман, этот распорядок продержался недолго.

Во-первых, именно по пятницам нередко отец бывал занят, либо же, наоборот, мать оказывалась как раз в эти часы дома, а весь смысл этого графика заключался единственно в том, чтобы они не встретились.

Во-вторых, отец частенько забывал о времени и задерживался, и мать, вернувшись с работы, заставляла его, и ей ничего не оставалось как, демонстративно хлопнув дверью, запереться у себя в комнате.

В-третьих, позже, когда Ольга училась уже в четвертом классе, в шестом, в седьмом, отец занимался с ней математикой, физикой и прочими противопоказанными неокрепшему детскому уму отвлеченными науками и засиживался допоздна.

Одним словом, со временем повседневная, все перемалывающая, все переиначивающая на свой живой лад жизнь стала брать свое, и отец уже чуть ли не через день, и даже без звонка, приходил в прежний свой дом.

А впоследствии случалось подчас и так, что они весь вечер проводили втроем (отец, мать и Ольга) или даже вчетвером (отец, мать, Ольга и бабушка), пили на кухне чай с бабушкиными оладьями с клубничным вареньем и смотрели по телевизору фигурное катание, «Клуб кинопутешествий» или еще что-нибудь такое, от чего нельзя оторваться.

Кстати, забота о корме для Чипа лежала на отце. В зоомагазинах на Кузнецком или на Арбате не всегда бывало в продаже конопляное семя или канареечная смесь, и отцу приходилось ездить на птичий рынок, к черту на рога, и он клял про себя все на свете.

Аппетит у Чипа был завидный, но более всего он любил мелко-мелко нарезанную свежую морковь. Бабушка где-то прочла, чуть ли не в «Науке и жизни», что именно морковный витамин более всего необходим птицам в неволе. Ольга же терпеть не могла сырую морковь.

Впрочем, Чип не был свободен в выборе. Никто и никогда ему не предлагал, скажем, хрустящий картофель в целлофановом пакетике или, к примеру, изюм в шоколаде.

Конфеты и картофель приносил Ольге отец. Мать, особенно вначале, была этим крайне недовольна: дома девочку кормят простой и здоровой пищей, какую едят все нормальные дети, а отец пичкает ее бог знает чем, и получается, что каждый его приход превращается

для Ольги в этакий, видите ли, праздник, а дни с мамой и бабушкой — серые будни!

Отец безропотно с ней соглашался, но хрустящий картофель и изюм, или орехи в шоколаде, или хоть те же бананы, торт «Прага» и пепси-колу приносить продолжал.

Кстати говоря, однажды в отсутствие бабушки отец с Ольгой дали Чипу поклевать орехов в шоколаде. Мигом с ними разделавшись, он долго и скандально требовал еще, и ничего такого с ним не случилось.

И хотя Чип не заболел, бабушка никогда не могла простить Ольге и особенно отцу этого случая и даже когда много времени спустя Чип сломал левую лапку, она с непреклонной убежденностью связывала этот несчастный случай с теми давними орехами в шоколаде.

Но об этом — ниже.

Дед был интеллигентом, как он сам утверждал, не то в четвертом, не то в пятом колене, а бабушка происходила непосредственно от кустаря-гравера, делавшего до революции и некоторое время спустя памятные надписи на внутренней стороне крышек серебряных и золотых карманных (других, наручных, тогда, собственно, и не было) мужских часов фирм «Лонжин» и «Павел Буре», а также на подстаканниках и, реже, на столовом серебре.

Сама же бабушка в юности работала в дорогом магазине игрушек и всяческих сувениров, а попросту говоря — всевозможных безделушек, принадлежащем дальней ее богатой тетке, на бывшей Тверской.

Эта бабушкина тетка приходилась в свою очередь еще более дальней родственницей известному московскому купцу и владельцу фабрики золотой канители К. С. Алексееву. Впрочем, он был более известен под фамилией Станиславский и вошел в отечественную историю как великий реформатор русской — и не только русской — сцены.

Так что, работая в магазине тетки и частенько бывая и даже временами живя в ее доме, бабушка уже в ранней юности не раз и не два, по ее словам, даже общалась и с самим Константином Сергеевичем, и со многими прочими корифеями тогдашнего властителя дум, а именно — Московского общедоступного художественного театра.

Не отсюда ли проистекало раннее и столь сильное увлечение бабушки, а затем и деда, сценой, пусть даже и любительской?

От дедовых родных и предков — земцев, земских врачей, приват-доцентов и инженеров-изыскателей, прокладывавших в конце прошлого и начале нынешнего века первую Байкало-Амурскую железную дорогу, от их библиотек, собраний гравюр, картин и автографов знаменитых современников, от ореховой, обитой вытертой от времени кожей кабинетной мебели, писем, девичьих стыдливо-потаенных дневников и переписанных от руки в альбомы в темно-вишневых бархатных переплетах стихов Надсона и раннего Блока или Северянина и несложных фортепьянных пьес Скрябина и Стравинского — от всего этого ничего или почти ничего не сохранилось, не дошло до наших дней. А вот от прадедушки-гравера и его жены, Ольгиной прабабки, не говоря уж об упомянутой выше бабушкиной тетке, — от них, как это ни странно, осталось и пережило две, а то и три русских революции и уж никак не менее двух мировых войн бесчисленное множество разнообразнейших вещей и вещиц, заполнявших до самой бабушкиной смерти все полки, полочки, висячие шкафчики и высокие, черного, облупившегося местами лака тумбы в ее комнате.

Почему-то история необычайно и даже, если угодно, капризно, чтоб не сказать — слепо, избирательна в смысле того, что она оставляет и чего не оставляет в наследие грядущим поколениям на пепелищах великих переломов и смутных времен.

Бабушкина комната была битком набита фарфоровыми и фаянсовыми фигурками собачек всевозможнейших пород и мастей, жеман-

ных пастушек, маркиз в пудренных париках, пьеро, коломбин и печальных арлекинов, счастливых поселян и поселянок с розовыми щечками и васильковыми глазками, а также целой толпой пай-мальчиков в коротких бархатных штанишках и курточках, с белыми отложными воротниками («маленькие лорды фаунтлерои» — непонятно для Ольги называла их чохом бабушка). У многих из них исторические потрясения поотшибали носы, тонкие, хрупкие пальчики, а некоторым даже головы, и они так и стояли, беспальные и обезглавленные.

Время, как уже отмечалось, кажется, выше, не знает ни пощады, ни милосердия.

Кроме изделий массового, как бы мы сейчас сказали, производства из фарфора и фаянса начала века (именно так, кстати, и назывался этот несколько лениво-изнеженный и даже упадочный эклектический стиль, а точнее — «модерн начала века», хотя, к слову сказать, по-французски тот же стиль называется *fin de siècle* — конец века, что по зрелому размышлению лишний раз убедительно доказывает полнейшую относительность всех общепринятых систем координат и точек отсчета) — кроме них, на полках и за зеркальным стеклом огромного бабушкиного букового буфета (резьба по дереву: подстреленные утки с бессильно свисающими вниз головами на неестественно длинных шеях, ягдташи, патронташи, голова вепря с ощеренными клыками и прочий охотничий аксессуар) было еще превеликое множество коробочек и шкатулок из сандалового дерева, по сей день пахнущих тепло и нежно то ли самим старым деревом, то ли едва уловимым, тревожащим память запахом далеких, невозвратно канувших времен; зеленые, на высоких изящных ножках, два бокала старинного венецианского стекла; бронзовые или под бронзу настольные лампы в виде обнаженных наяд и артемид с колчаном со стрелами на боку, на которые вместо былых абажуров с фестончиками и оборками были нахлобучены совершенно неподходящие самодельные колпаки из дешевого ситца; морские раковины с матово-розовым светящимся нутром, в котором, если приложить их к уху, все еще неистовствовал тропический океанский прибой, неизменно напоминавший бабушке Вертинского: «В бананово-лимонном Сингапуре...»

А еще в бабушкиной комнате на круглом столе, покрытом с тех пор, как заболел дед, не старинной камчатной скатертью с тяжелой бахромой по краям, а обыкновенной клеенкой в крупную клетку, стояло лубяное лукошко и в нем празднично-пестрые яйца: стеклянные — зеленые и синие, приятно-прохладные даже на вид, празднично расписанные деревянные и просто оставшиеся с прошлой и даже позапрошлой весны обыкновенные крашенки.

Более всех в семье любил эту не такую уж древнюю с исторической точки зрения старину не кто иной, как Чип.

Дело в том, что в первые годы жизни Чипа в доме его выпускали полетать по комнате. Самое странное, что эта идея принадлежала именно бабушке. Странно потому, что, скажем, к Ольгиной свободе и самостоятельности бабушка относилась куда более сурово: вплоть до четвертого класса бабушка неукоснительно проводила Ольгу в школу, хотя та находилась в двух шагах от дома и улица была тихая, с односторонним движением; более того, даже во дворе Ольге разрешалось гулять исключительно под бабушкиным присмотром, и именно бабушка с достойным удивления упорством сопротивлялась, к примеру, покупке велосипеда или коньков — зимою во дворе заливали водой баскетбольную площадку и ЖЭК даже нанял, правда, за счет родителей, тренера по фигурному катанию.

А вот Чипа бабушка поначалу выпускала почти ежедневно из клетки, предварительно закрыв наглухо дверь на балкон и все окна и форточки, чтобы он не улизнул на улицу.

Чип с нескрываемым восторгом, мелко и шелковисто шурша на лету лимонно-желтыми крыльями с более светлой, почти белесой изнанкой, совершал облет бабушкиной комнаты.

Вот тут-то и обнаружались его художественные, чтоб не сказать — эстетические, пристрастия: он садился исключительно на головы пастушек и фаунтлероев, отдавал должное экзотическим раковинам и, если буфет оказывался случайно открытым, венецианскому стеклу, но с совершеннейшим пренебрежением относился к предметам современного обихода, даже если это был бюстик Бетховена или фигурка гоголевского Собакевича, изготовленные, к слову сказать, из того же фаянса.

Впрочем, о вкусах не спорят, даже если речь идет о вкусах молодого, мало что успевшего повидать в жизни, да к тому же и воспитанного в неволе кенара.

Кстати говоря, самое время и место упомянуть без ложного стыда или ханжеского лицемерия, одной нелицеприятной правды ради, что до конца Чиповых дней пол его так и не был установлен с достаточной степенью точности. Утверждение отца, будто высокое искусство пения под силу только кенарам, то есть особям исключительно мужского пола, ни в Большой Советской Энциклопедии, ни у Брокгауза и Ефрона подтверждения не получило, а специальной литературы по орнитологии в доме не было.

Жертвами предрасположенности, точнее, пристрастия Чипа к модерну начала века, или, как уже отмечалось выше, *fin de siècle*, стали два старинных — к счастью, не те, венецианского стекла, а обычные хрустальные — бокала и групповая фарфоровая композиция, изображавшая счастливое пейзажное семейство. Композиция упала на пол, и многодетная семья еще недавно таких беспечных поселян оказалась расчлененной в прямом и фигуральном смысле слова: мать лишилась любимых чад, а все вместе — отдельных частей тела.

Склеить эту фарфоровую идиллию отказались даже в специальной мастерской на Красной Пресне.

В этих хранившихся в бабушкиной комнате совершенно, казалось бы, бесполезных безделках для Ольги с самого детства как бы таилась какая-то живая, но позабытая, щемящая тайна.

Когда Чип возник в доме, дед уже был безнадежно прикован к постели. Впрочем, это только так говорится — прикован к постели. Он действительно большую часть времени проводил на своей длинной и узкой кровати, к тому же очень высокой, так что даже дед при своем довольно-таки внушительном росте, сидя на ней, едва доставал пятками до пола, но раза два или три на дню его высаживали в кресло. Это было дачное кресло из дюралевых гнутых трубок и натянутой на них толстой шершавой парусины. Отец приделал к ножкам четыре колеса на подшипниках, кресло стало, как выразилась Регина, мобильным.

Когда деда высаживали в кресло и он сидел в нем, скособочившись на правую, больную, сторону, бабушка про него совершенно серьезно говорила «дед гуляет».

А Чип, бывало, летал в это время по комнате.

Деда плотно укутывали до самого подбородка одеялом, края которого еще и подтыкали под него с боков, как будто от взмахов Чиповых крыльев в комнате возникал такой сквозняк, что дед мог простудиться.

Поначалу, когда Чип только осваивал бабушкину комнату, в нее набивалась вся семья поглядеть на это зрелище.

Бабушка садилась на дедову кровать, и ее ноги, крошечные, тридцать третьего размера (обувь она себе покупала в мальчиковом отделе «Детского мира»), совсем по-детски болтались в воздухе.

Мать с Ольгой на коленях устраивалась на стуле у двери.

Отец при полетах Чипа присутствовал не более двух или трех раз, стоял, прислонясь спиной к дверному косяку, таким бедным родственником. Едва ли есть нужда напоминать, что отец в это время уже не жил в доме, а лишь приходил навещать Ольгу. Впрочем, не уйди отец из дома, не испытывай он горькую потребность в искуплении своей вины, очень может быть, что Чип и вовсе бы тут не появился.

Но со временем это зрелище, как, впрочем, и всякое другое, всем приелось, мать и Ольга перестали приходить в бабушкину комнату, да и сама бабушка, выпустив Чипа из клетки, теперь занималась своими делами либо и вовсе уходила на кухню к плите и готовке.

И Чип летал один по бабушкиной комнате.

Впрочем, в комнате оставался еще дед. Но, судя по поведению Чипа, он деда совершенно не замечал, во всяком случае вел себя так, будто того можно было не принимать в расчет.

Что же касается деда, то он не сводил с Чипа взгляда. В его глазах, точнее в единственном его здоровом глазу, темно-карем с зеленоватым отливом, загоралось тревожное, напряженное выражение.

Кстати говоря, так и не было ясно, видит ли он тем, другим, пораженным болезнью глазом, или же обходится одним этим, здоровым.

Как бы там ни было, а дед неотступно следил взглядом за рваным, рывками, полетом Чипа по комнате, и, следуя за ним, дедов здоровый глаз вращался словно бы на шарнире.

Чип летал как-то судорожно, чтоб не сказать — истерично, чертя в воздухе острые, колючие зигзаги и неправильные треугольники. В полете Чипа, в смене направлений, в чередовании скоростей и углов атаки было невозможно усмотреть ни осмысленного побуждения, ни осознанной необходимости, ни, на худой конец, хотя бы простой последовательности причин и следствий.

Чип взлетал под самый потолок, садился там на круглый стеклянный плафон и, озирая с орлиной этой, головокружительной высоты комнату, не находил ничего более подходящего как чистить клювом перья на груди, на брюшке и почесывать лапкой шею; затем кидался вниз головой, словно бы во все потерявший веру самоубийца с моста, но на полпути к верной гибели менял решение, на едва уловимую долю секунды зависал в воздухе и, изнемогая то ли от ужаса перед столь только что близкой смертельной опасностью, то ли, напротив, от неожиданного счастья чудесного спасения, садился на веер ближайшей фарфоровой маркизы либо же на гладко причесанную головку пай-лорда Фаунтлероя, чтобы тут же, торопливо хлопая немощными от долгой жизни в неволе крыльями и изо всех сил отталкиваясь лапками, перелететь еще куда-нибудь.

Итак, Чип летал.

Чип летал, а дед неотступно, с завистливой тоской следил за ним. Пораженный, налитый кровью дедов глаз был пуст и бесстрастен, как всегда. Но здоровый глаз... Он становился прежним — и даже не просто таким, каким был до паралича, он словно бы вновь становился таким, каким был давным-давно, в бесследно канувшие времена дедовой невозвратной молодости. Такими Ольга видела бабушкины глаза лишь на старых, с золотым вензелем фотографического ателье карточках. Такими были глаза у того чуть надменно красивого студента в серо-голубой форменной тужурке с полупогончиками, каким бабушка его помнила до последнего своего вздоха — того несравненного исполнителя заглавной роли в «Красавце-мужчине» молодого, полного сил и нетерпеливых упований русского потомственного инженера-путейца, свято хранившего переписку своего отца-путейца с Гариным-Михайловским, путейцем же и изыскателем первой транссибирской магистрали.

Но ни бабушка, ни тем более Ольга не видели и не могли увидеть полного надсадной зависти и тоски выражения дедова здорового глаза, жадно следящего за полетом Чипа.

Конечно же, никто не может хотя бы с приближенной точностью сказать, о чем думал или что чувствовал дед, следя за полетом Чипа по комнате.

Но то, что дед о чем-то упорно и, можно даже предположить, страстно думал в эти минуты, — несомненно.

Может быть, о том, что — вот, жизнь кончена.

И что кончилась она задолго до того, как придет спасительная смерть.

И что это несправедливо и жестоко.

Вполне допустимо также предположить, что, глядя на Чипа, дед думал о том, как относительно и неопределенно само понятие свободы.

Вот Чип (так, вполне вероятно, думал или мог думать дед или, по крайней мере, вправе предположить мы, что он мог так думать), Чип почти наверняка убежден, что несвободен по той простой причине, что полет его (точнее даже не самый этот полет, а его, Чипа, изначальная, родовая предназначенность для полета) ограничена узкой, длинной (5,5 м на 2,5 м) и низкой (2 м 60 см) бабушкиной комнатой, в то время как всякой птице по неоспоримому естественному праву принадлежит не более и не менее как все поднебесье.

Предельная же степень свободы, которой хотел теперь для себя дед, была возможность невозбранно двигаться, передвигаться хотя бы по той же тесной бабушкиной комнате.

Но тут же дед вспомнил войну, вернее не самую войну, а свое ранение и госпиталь, госпитальную койку, на которой он лежал после ранения и контузии, и неотступную, ни на секунду не отпущавшую чудовищную боль и этой болью питавшиеся мысли о смерти как единственном от нее избавлении; тогда он был готов, ни мгновения не колеблясь, только предложи ему кто-нибудь, с радостью и слезами счастья согласиться вот на эту, нынешнюю свою несвободу: лежать неподвижно и даже умирать без боли в своей постели, в своем доме.

И тут ему пришла, или, точнее, неминуемо должна была прийти, еще одна мысль, самая странная, самая страшная, которую он и здоровый-то не осмелился бы облечь в слова.

В этой жесточайше трезвой и ясной мысли была такая унижительность и вместе такой вернейший залог не подвластного никому покоя, что дед громко и нетерпеливо застонал.

Чип испугался дедова стона и перелетел с настольной лампы под бронзу на бокал из горного хрусталя русской работы начала века.

Чип не понимал деда, как, впрочем, и дед не понимал Чипа.

Дед, как уже было упомянуто выше, был потомственным, в четвертом или даже пятом поколении, интеллигентом. Об этом уместно лишь раз напомнить хотя бы с тем, чтобы объяснить склонность деда — и до инсульта и после — к самоанализу, а также к мучительным и бесплодным поискам ответов на вопросы, на которые ответов заведомо нет.

Он искал, если угодно, свое место под солнцем, вернее — в системе мироздания.

Дед и его отец, точно так же как, несомненно, и деды и прадеды тоже, иначе они не были бы интеллигентами, тем более русскими интеллигентами, много и напряженно думали о себе и о мироздании.

Они были уверены, что думают о себе в соотношении с безмерностью мира совершенно бескорыстно. Более того — с полнейшим самоотвержением и готовностью принести себя в жертву во имя общего блага.

Юношей, особенно в студенческие годы, дед мечтал о революции,

или, точнее, о Революции как о высшей и единственной форме С в о б о д ы. Причем, и это извинительно по младости его тогдашних лет, перед его мысленным взором предстала не та свобода, которая восторжествует и воцарится в результате революции, а ничем не ограничиваемая, никем не упорядочиваемая свобода самой Революции как трагически-прекрасного всеисторического действия с пламенными монологами вдохновенных народных трибунов, с несчетными и вместе стройными толпами послушных их воле борцов на баррикадах, подсвеченных, словно бы огнями рампы, кровавым отсветом мятежа, со стремительными взлетами прямого, как стрела, исторического сюжета и завершающим его торжественно-монументальным очищающим катарсисом.

Но революция пришла совсем иною — обыденной, не театральной, неудержимо жаждущей безотлагательной, хоть и справедливо-возмездия.

И дед — испугался.

Потом начались долгие — правда, это теперь кажется, что долгие, а на самом деле это были промелькнувшие как один огнедышащий миг два коротких десятилетия от двадцать первого года до сорок первого, — начались годы восстановления, нэпа, пятилеток, индустриализации, коллективизации, стахановских починов, напряженной подготовки огромной страны к неминуемой, как все понимали, войне. Но дед еще долго не мог избавиться, не мог перебороть в себе этот неожиданный и унижительный страх.

Но это не был страх — и дед этого не мог со временем не понять — перед самой революцией, перед ее неизбежной кровью и возмездием, а перед безжалостной правдой, перед тем, что не оправдалось, не осуществились юношеские прекраснодушные упования мальчика из хорошей семьи.

Это был страх перед самой жизнью, перед разом рухнувшими иллюзиями и книжно-идеальными мечтаниями о синей птице.

Птица же — в данном случае имеется в виду отнюдь не метерлинковская, вспорхнувшая во времена дедова отрочества с подмостков уже упомянутого вскользь Художественного общедоступного театра, а обыкновенный и, по чести говоря, ничем особенно не примечательный кенар по имени Чип, — птица в это время, пока недвижимый дед, следя за ней печальным и жадно-завистливым взглядом своего единственного живого глаза, думал, или, по крайней мере, предположительно мог думать, свою обращенную вспять думу, шелковисто хлопоча крыльями, носилась по бабушкиной комнате, перелетая с одного fin de siècle на другой.

Дед думал.

Как ни странно это может показаться, но деда излечила от страхов война.

Война, которой, казалось бы, ничего на свете страшнее нет.

Дед, хоть и не воевал на передовой, а всего-навсего служил в железнодорожных войсках за линией фронта, навидался на ней страшного по горло. Впрочем, слово «служил», как и слово «воевал», в смысле участия деда в войне не самое подходящее, в данном случае надо бы скорее всего сказать «прошел войну» или, может быть, «выполнял свой долг».

Как бы там ни было, все эти четыре года — с июля сорок первого по сентябрь сорок пятого — между тем, как жил дед и что делал, с одной стороны, и, с другой, его мыслями и убеждениями, короче говоря — его душой, не было не только, как прежде, пропасти, не только противоречия или хотя бы двусмыслицы, но даже трещины, даже узкой и невидимой глазу трещинки.

Потом, после войны, до самой своей болезни и даже до самой смерти, дед вспоминал об этих четырех страшных, выше всяких человеческих сил годах как о лучшем времени своей жизни.

О времени, когда он был и оставался самим собою до конца и когда, собственно, от него и требовалось лишь одно: чтобы он был и оставался самим собою, но — до конца, до самого последнего и, если понадобится, смертного конца.

Так понимал он тогда свой долг, и вышолнять этот долг было легко душе.

Четыре года день за днем он делал все, чего от него требовала война, делал не по принуждению, а единственно лишь потому, что ничего другого он не мог, не хотел и не считал нужным делать. И поэтому дед на войне никого и ничего не боялся. Кроме смерти, разумеется, но на то и война, с этим приходилось считаться.

Дед пришел с войны совсем другим человеком, и поначалу бабушку это приводило в недоумение и даже пугало, но со временем она привыкла к нему, новому.

Дед проболел почти полных тринадцать лет, последние пять не вставая с постели, а два так даже не пересаживаясь с кровати в свое кресло на колесиках. Он лишь виновато и вместе сердито косился на бабушку своим налитым кровью глазом и мычал что-то, полное раздражения и укора.

Когда дед начинал мычать, Чип метался в испуге по клетке, натываясь грудью на металлические прутья.

А бабушка плакала едва слышными, мелкими слезами, уткнувшись лицом в кухонное полотенце или передник.

Мать, если это происходило во время приходов отца к Ольге, начинала почему-то на него кричать, будто он был виноват в дедушкиной неизлечимой болезни и в том, что ни у кого уже не было ни сил, ни нервов, и неизвестно было, сколько это может еще так продолжаться.

Отец и сам в такие минуты чувствовал себя вдесятеро виноватее, и грех его перед всеми казался ему чернее самого черного предательства.

Когда дед умер, Ольге было двенадцать лет.

Взрослые по-прежнему полагали, что ребенка может оградить от душевных травм хлипкая, из прессованной древесной стружки дверь, и пытались свести Ольгино общение с больным дедом до минимума.

Но и об Ольге — тоже ниже, хотя бы потому, что у нее времени и простора впереди было гораздо больше, чем у кого-либо другого. Ее жизнь еще только начиналась.

Чего никак нельзя было сказать о Чипе.

Потому что птичий век много короче, и Чип старился день ото дня.

С годами все на него почти перестали обращать внимание. Кроме бабушки, разумеется.

Чип стал неотъемлемой частью дома, быта, более того — как бы частью обстановки квартиры, вроде мебели, книг, бабушкиного *fin de siècle* или вечно испорченного смесителя в ванной. К нему привыкли и пригляделись, и кроме необходимости купить и не забыть ему засыпать в кормушку конопляное семя или канареечную смесь и налить свежую воду в блюдце, попутно вычистив клетку и сменив в ней бумажную подстилку, — кроме этих простейших забот никто в доме — опять же кроме одной бабушки — не испытывал по отношению к нему никаких иных обязательств.

К тому же его перестали вышускать из клетки, и он не летал больше по бабушкиной комнате.

Теперь случалось даже так, что бабушка забывала закрыть скатертью его клетку на ночь, и он до утра мучился бессонницей.

Бабушка всегда была душой дома, его, как было принято некогда говорить, добрым гением.

Собственно, бабушка всю жизнь держалась единственно на своей доброте.

В свое время она даже не окончила гимназию и была вынуждена пойти работать в магазин своей дальней богатой родственницы на бывшей Тверской по той простой причине, что надо было кормить себя и помогать многодетной и малоимущей семье.

Во всем и во всех она видела одну доброжелательность. Она была готова всем без разбора безоговорочно верить, и, вероятно, именно поэтому мало кто отваживался ее обмануть или обвести вокруг пальца. Для этого надо было быть совсем уж отпетым негодяем. А если ее и обманывали или попросту обсчитывали или обижали, то лишь в случае полнейшей очевидности этой обиды она не решалась ее отрицать, но тут же приводила такие веские объяснения неблагоприятным поступкам обидчика, что не только она сама, но и все вокруг склонялись к тому, что его можно и даже следует если и не простить, то, на худой конец, хотя бы понять.

В бабушке просто-напросто сказывалась привычка жить с детства в большой неимущей семье, привычка к зависимому положению приказчицы в магазине у тетки, к длительному — до самых последних лет, когда она вместе со всеми переехала вот в эту трехкомнатную отдельную квартиру, — проживанию в коммуналке на Разгуляе. Да и вообще к быту двадцатых, тридцатых и сороковых годов с его скученностью, скудностью, постоянными переборами со снабжением. Эти характерные особенности быта тех лет породили в бабушке, как это ни парадоксально, именно доброту, открытость и такое сердоболие, что она могла показаться на сторонний и не очень пронизательный взгляд наивной, почти юродивой. В том, само собой разумеется, смысле юродивой, какой в это слово вкладывали в давние времена: юродивой — не от мира сего.

Кстати говоря, в наш век люди не от мира сего, во всяком случае в массе своей, почти совсем повывелись. Как вывелись, к примеру, многие редкостные звери, птицы и даже отдельные виды никому не причинявших вреда легкомысленных бабочек.

Хотя, с другой стороны, было бы смешно и даже нелепо внести людей не от мира сего в Красную книгу природы.

Выше уже упоминалось о том, что в первые годы жизни Чипа в доме его выпустили полетать по бабушкиной комнате. Со временем он настолько к этому привык и даже обнаглел, что, если бабушка хоть на мгновение забывала закрыть дверь, он стрелой — впрочем, это скорее напоминало не стрелу, а маленькую огненно-желтую молнию — вылетал из комнаты и, словно бы потеряв голову от счастья, носился по квартире. Стоило невероятных усилий водворить его обратно в клетку.

Раза два, летом, Чип вылетал в открытую по недосмотру форточку наружу, во двор, но оба раза дальше балкона мигрировать не отважился, садился там на бельевую веревку и, раскачиваясь на ней словно бы в задумчивости, внимательно и без особого удивления взирал на беспредельность мира.

Хотя, само собой разумеется, никто не возьмет на себя ответственность строить ни на чем, собственно, не основанные догадки о том, что именно думал, раскачиваясь на бельевой веревке, Чип по поводу вышеозначенной беспредельности.

И тем более никто не возьмется ответить, движимый какими соображениями, Чип предпочел распахнувшейся перед ним свободе возвращение в тесную клетку, пусть даже эта клетка и была ему родным домом.

Однажды, выпорхнув из бабушкиной комнаты, Чип метался бесшумно-желтой шаровой молнией по всей квартире.

Реакция членов семьи на подобные его эскапады была совершенно различной: Ольга от души развлекалась, мать носилась за Чи-

пом с полотенцем в руках, пытаюсь загнать его обратно в бабушкину комнату, бабушка же пребывала в паническом страхе, что Чип вылетит в форточку и тут же станет добычей не знающих пощады дворовых кошек.

Дед, забытый всеми на своей длинной и узкой железной кровати, в таких случаях ощущал как никогда остро и обреченно свое одиночество, и сердце его переполнялось тоскою по Чипу и — как ни трудно в это поверить, зная нрав деда и его сложные отношения с Чипом, — бессильной любовью к нему, а если посмотреть на это дедово чувство с философской точки зрения, то и ко всему существу вообще.

Так вот, в тот раз Чип вылетел молнией из бабушкиной комнаты, и опасность состояла в том, что на кухне по случаю июльской жары было распахнуто настезь окно.

Чип перелетел с книжных полок на пианино фабрики «Красный Октябрь», расстроенное со времен отцова отступничества от музыки (о чем будет упомянуто ниже) и давно никуда не годное, и уселся там на куст или, точнее, на букет желтых и рдяных кленовых осенних листьев: мать каждый год, до начала ноябрьских дождей ездила в недалекое Подмосковье и возвращалась оттуда с ворохом пожелтевших, но еще не окончательно увядших и обесцвеченных кленовых и частично дубовых листьев, подсушивала их не слишком горячим утюгом, и они стояли в большой керамической вазе на пианино, сохраняя свою свежесть — если это слово уместно употребить в отношении сухих осенних листьев — до следующего ноября.

Бабушка называла их «неопалимая купина».

Итак, Чип уселся на «неопалимую купину», не испытывая никаких сожалений о содеянном, ни тем более укоров совести. Но тут под ним неожиданно подломился стебелек, на котором столь хрупко держался сухой лист, и Чип, не успев даже взмахнуть крыльями, провалился внутрь керамической вазы, и было слышно, как он забился там в ужасе, в кромешной тьме.

Но еще больше Чипа испугалась бабушка, да и мать с Ольгой тоже. Мать кинулась к пианино, одним махом вытащила из вазы и бросила на пол ветки с листьями — они тут же, сухо и мертво шурша, рассыпались в бронзовый прах — и извлекла из вазы насмерть перепуганного Чипа.

Но лишь после того как его водворили обратно в клетку, точнее даже на следующий день, обнаружилось, что он сидит на жердочке, вцепившись в нее одной только лапкой и подогнув под себя другую, и в полном укоризны и невысказанного горя молчании.

Странное дело — казалось, лишь сейчас все вдруг увидели и убедились, как полна неукротимой, хоть и неслышной, не бросающейся в глаза решительности бабушка, словно бы вся ее жизнь, особенно после того как заболел и окончательно слег дед, не была одним сплошным доказательством именно этой ее тихой, как бы смущающейся самой себя энергии.

На следующее же утро бабушка соорудила из картонной коробки из-под обуви временную клетку для Чипа, наделала ножницами аккуратные дырочки, чтобы воздух беспрепятственно в нее проникал, выложила изнутри ватой и не мешкая кинулась с притихшим Чипом в коробке в районную ветеринарную поликлинику.

Ольга поехала вместе с ней — ехать надо было довольно далеко, с двумя пересадками, и за всю дорогу бабушка не проронила ни одного слова.

Ветеринар в поликлинике подтвердил, что у Чипа сломана лапка, но мало чем мог помочь.

С тем и возвратились домой.

В последующие несколько дней бабушка не отходила от клет-

ки Чипа, утешала и отвлекала его разговорами, и даже дед притих, словно бы и он принимал близко к сердцу Чипову беду.

На самом же деле очень возможно, что сосредоточенный на собственной своей беде дед и не заметил беды Чипа.

Через неделю, как велел врач, бабушка осторожно сняла с лапки тугую повязку, но Чип остался навсегда инвалидом. Лапку он никогда уже так и не смог разогнуть, но боли, по-видимому, никакой не чувствовал и не очень горевал по поводу своего увечья.

Если посмотреть на жизнь с философской, точнее, со стоической точки зрения, то — все проходит, все забывается на этом свете.

Как бы там ни было, Чип прекрасно научился обходиться одной лапкой. Правда, полеты по бабушкиной комнате на этом прекратились.

Судя по тем же старым фотографиям, бабушка никогда не была так картинно красива, как дед. Но она была на них прелестна — другого слова тут не подыскать, и даже очень уместно, что оно отдает, если угодно, некой позабытой в наш деловой век несмелой женственностью.

На одном из снимков бабушка была в плоской, чуть набекрень белой меховой шапочке, и подбородок ее утопал в таком же пушистом воротнике стоечкой. У нее было нежное, милое лицо с маленьким, откровенно простолюдским носиком, такой же маленький, бантиком рот, и половину ее лица занимали глаза.

Даже на потерявшей от времени глянец фотографии было видно, какие они у нее лучистые, просто-таки сияющие добротой и тихой радостью. Разве что чуточку испуганные — то ли от робости перед страшноватым ящиком под черной суконной накидкой, то ли от необходимости долго сидеть с застывшей на лице напряженной улыбкой («кулыбнитесь, барышня, и не двигайтесь, прошу вас!»), то ли бабушка вообще испытывала что-то вроде легкого испуга, точнее пугливого недоумения перед жизнью. Во всяком случае, даже сейчас, пронесенный через всю жизнь, в глазах ее теплился — именно теплился, именно доброе, отрадное тепло излучали ее глаза — этот легкий испуг-удивление.

Но он ее только красил, даже в старости.

Вероятнее всего, она не боялась жизни, вернее боялась не жизни, а того, что ее простые и доверчивые представления об этой жизни могут быть обмануты или как-то унижены.

Вообще, главная и обезоруживающая всех, кто ее знал, черта была в ней именно терпеливая и даже не требующая взаимности доверчивость. Что не мешало ей меж тем быть не только душою, но и главою семьи, хотя властолюбивый и вздорный дед никогда этого не замечал и рассмеялся бы в лицо всякому, кто осмелился бы ему это сказать.

Бабушку было нетрудно представить себе княгиней Волконской или Трубецкой, едущей за мужем-декабристом в бескрайнюю сибирскую ссылку. Или сестрой милосердия на севастопольских редутах в Крымскую кампанию. Но так же легко и просто бабушку можно было вообразить и кем-нибудь поскромнее, побудничнее. Скажем, сиделкой при неизлечимом больном (каковой она, собственно, и была при дедушке тринадцать лет кряду), пряхой за прялкой в курной избе или попросту терпеливо и молча стоящей в двадцатые, тридцатые, не говоря уж о военных сороковых годах, в бесконечных очередях за хлебом, за керосином, за ливерной колбасой.

Она и в молодости была хрупкого сложения, тонкокостна, неприметна. А к старости стала еще меньше, и уже лет в двенадцать Ольга ее переросла чуть ли не на целую голову. Выше уже было упомянуто о том, что бабушка носила мальчиговую обувь тридцать третьего размера и покупала ее себе в «Детском мире» на Лубянской площади.

Бабушка так и говорила — Лубянская, а не площадь Дзержинского. И вообще называла московские улицы и переулки старыми, до переименования, названиями: Мясницкая, Воздвиженка, Хамовники, Поварская, Пречистенка — в ее устах они звучали как-то необыкновенно уютно и мирно.

В войну — вторую, то есть Отечественную, — бабушка возвращалась после вечерних или ночных смен на Центральном телеграфе с бывшей Тверской на Разгуляй через весь затемненный огромный город — метро в эти ночные часы уже не работало, чаще всего и трамваи не ходили, либо же их надо было ждать часами, и бабушка шла, бывало, пешком, не боясь ни темноты, ни немецких налетов, ни комендантских патрулей.

Бабушка ничего не боялась. Вернее, боялась, но делать было нечего и надо было идти.

Вот это «надо» — надо — было заложено в бабушке от рождения, и она делала все то, что надо, так же естественно, тихо и без аффектации, как дышала, ела, пила, как любила деда и свою дочь, как любила Ольгу. И как любила всегда отца Ольги, своего зятя.

Кстати говоря, именно в тот давний день Ольгиного рождения, когда, как уже было упомянуто, отец принес в дом молодого и полного радужных надежд Чипа, бабушка и сказала ему, глядя на него снизу вверх — отец был вдвое ее выше — своими ставшими к старости еще более лучистыми глазами: «Ты мой первый и единственный зять, и я тебя буду любить всегда, так и знай».

Так вот когда, по укоренившемуся в обиходе выражению материной лучшей подруги Регины, отец «влип» и между ним и матерью происходили долгие, изматывающие (особенно тем, что их приходилось вести вполголоса, чтобы не услышала материн беззащитный плач семилетняя Ольга за стеной), мучительные объяснения, когда дед, все еще тогда понимавший, грозно мычал и угрожающе размахивал здоровой рукой, сидя в своем дачном кресле на колесиках, одна бабушка не изменила своего отношения к отцу, именно она шла открывать, когда он звонил в дверь, а если он приходил в отсутствие матери, всякий раз — и не с каким-либо дальним умыслом, а так же просто и естественно, как прежде, — предлагала ему поужинать или попить чаю.

Бабушка полюбила отца с первого взгляда еще в тот день, когда мать привела его в их коммунальную квартиру на Разгуляе. А однажды полюбив, бабушка ни за что, никаким насильем воли над сердцем разлюбить уже не могла.

Это бабушкино незыблемое отношение к отцу после того, как он «влип» и когда затрепали по всем швам семья и дом — тот самый дом, который бабушка своими руками строила по крохе, по зернышку всю свою жизнь, — может быть, и было единственное, что в известном смысле выделяет эту печальную историю из тысяч и сотен тысяч таких же печальных и таких же, по правде говоря, будничных историй, а также побудило хрониста приняться за настоящее, выносимое на общий суд жизнеописание.

Итак, отец «влип».

Он с ходу, очертя — как все, и в первую очередь Регина, считали — голову влюбился в женщину, у которой было уже два мужа, ребенок — ровесник Ольги и, по слухам из достоверных источников, перепроверенных той же Региной, тьма любовников.

Но отцу это было решительно все равно, он пребывал в том состоянии, когда море по колено. Более того, все приводимые ему в предостережение неоспоримые факты он перетолковывал в пользу своей новой пассии: она была несчастна с двумя мужьями, натерпелась, набедовалась и теперь сумеет вдвойне оценить мирное и покойное счастье, которое обрела наконец в его, отца, лице; что же до

несколько избыточного списка романов и прочих летучих увлечений, то и эта сторона ее биографии свидетельствует лишь о том, что она мучительно и упорно искала истинной, одной на всю жизнь любви; наличие сына говорит, в свою очередь, о том, что и с нелюбимым мужем — не то с первым, не то со вторым, отец этого пока не знал с достаточной точностью, — она хотела создать настоящую, надежную семью.

Новая отцова жена была моложе матери и, если смотреть фактам, даже неприятным, в лицо, несколько красивее, свежее и — вот это уж было очевидно даже на предвзятый взгляд — гораздо более, чем мать, модная и уверенная в себе женщина.

Впрочем, у нее было много и других, менее бросающихся в глаза, но зато неизмеримо более пригодных для обыкновенной семейной жизни достоинств. Например, она совершенно не умела огорчаться по мелочам, портить себе и другим настроение, а также была абсолютно не приспособлена к постоянному выяснению отношений, чем так часто и столь многие злоупотребляют в семейной жизни.

Словом, судя по всему, отец нашел свое счастье.

Оно продолжалось недолго.

В том смысле, что всему рано или поздно приходит конец. Но нам всегда кажется, что — рано.

Отцова новая жена не была, как сейчас принято говорить, запрограммирована на длительные чувства и привязанности. Это была ни вина ее, ни даже беда, поскольку она сама в этом особой беды не видела. Пока она любила — а вовсе не исключено, что она и отца искренно и даже по-своему глубоко, хоть и непродолжительно, любила, — пока она любила, не было жены более покладистой, нежной и даже верной. Такой она была и с первым мужем, и со вторым, и с третьим — то есть с отцом, — такой она останется, надо полагать, до окончания своего, увы, тоже недолгого, века.

Тем не менее, «влипнув» и пережившись, отец был донельзя счастлив.

Если, конечно же, можно назвать счастливым человека, испытывающего неотступное чувство горькой вины. Человека, у которого при одном взгляде на дочь и на свой прежний дом навертываются на глаза жалкие слезы и он запирается в ванной, чтобы никто этих слез не увидел.

Судя по всему, можно, ибо отец, несмотря ни на что, был несомненно счастлив.

Он влип (на сей раз кавычки совершенно ни к чему) по самые уши.

Новая его жена, кроме данных, собранных и систематизированных Региной и в общем и целом соответствующих реальной действительности, была еще и замечательный музыкант-аккомпаниатор, концертмейстер Московской консерватории.

Очень возможно, что в том, что отец влюбился именно в эту женщину, а не в какую-либо другую, сыграло определенную роль то обстоятельство, что она была музыкантша.

Дело в том, что отец и сам когда-то был музыкант. То есть, точнее, музыкантом он так и не стал, но в свое время поступил и три года проучился в Гнесинском на отделении народных инструментов.

Родство душ или хотя бы призваний — это тоже, кроме, разумеется, всего прочего, в подобных ситуациях нельзя сбрасывать со счетов.

На отделение народных инструментов отец поступил потому, что, еще учась в музыкальной школе, бредил возрождением народной музыки на самой, разумеется, современной, обновленной исполнительской основе.

Еще в школе отец пытался, и небезуспешно, сколотить то оркестр балалаечников, то ансамбль рожечников или гудошников, то даже концертную группу исполнителей на гребешках в сопровождении деревянных ложек. Начинания имели шумный успех, но как-то быстро и незаметно даже для самого отца увядали.

В те достославные шестидесятые годы начинаний вообще было хоть отбавляй.

В Гнесинский отец поступил на отделение народных инструментов единственно с этими далеко идущими замыслами.

Он отпустил негустую рыжеватую бородку, рыжеватые же, точнее, пепельные с ржавым отливом волосы до плеч и в один прекрасный день дошел в своем рвении до того, что попросил бабушку сшить ему косоворотку.

Бабушка не сразу принялась за дело, да и негде было достать выкройку, искусство шитья косовороток к тому времени успело порядком позабыться, как и искусство игры на гребешках или деревянных ложках.

Но вскоре настоящая необходимость в косоворотке сама собой отпала, поскольку отцу стало не до музыки.

Отца погубил спорт.

Как впоследствии, по словам все той же Регины, его погубила слепая страсть.

Отец с детства играл в теннис и уже в девятом классе музыкальной школы получил первый разряд. Когда он поступил в Гнесинский, выяснилось, что институту он нужен как теннисист в не меньшей, а очень может быть, и в гораздо большей степени, нежели как музыкант и ревнитель народной музыки. На карту были поставлены честь и достоинство одного из самых славных музыкальных заведений столицы, и отцу пришлось, образно говоря, сменить скрипичный ключ на теннисную ракетку.

Впоследствии ему не раз приходило в голову, что в том был перст судьбы.

Полной правды ради надо, однако, сказать, что теннис и на самом деле был вторым его призванием, или, на худой конец, увлечением, и, как показало дальнейшее, не менее сильным, нежели музыка. Это-то его и погубило.

Правда, он стал гордостью института.

В те годы отец играл и за сборную «Буревестника» и за сборную Москвы, а однажды был даже включен кандидатом в студенческую сборную страны, но на Универсиаду так и не поехал по не зависящим от него обстоятельствам.

Раза два он выиграл даже у молодого Тоомаса Лейуса, а кто такой был в те времена Тоомас Лейус, объяснять не приходится.

Тренировки, сборы, соревнования съедали без остатка все его время, на музыку и вообще на учебу его не оставалось. Ну и успехи — первая ракетка «Буревестника», третья ракетка Москвы — тоже кружили голову, обещали славу.

То есть, если воспользоваться ретроспективно Региной позднейшей формулировкой, отец тогда тоже «влип».

И тоже был совершенно счастлив, вот что примечательно.

Тут невольно приходит на ум несколько риторический вопрос: может быть, мы именно и единственно тогда и бываем счастливы, когда «влипаем»? В широком, разумеется, смысле слова.

Кстати говоря, уходя навсегда из дома, отец из каких-то одному ему ведомых соображений, впрочем, может быть, и по случайной забывчивости, не взял одну из своих старых ракеток — ту самую, которой он в единственный раз выиграл студенческое первенство страны. Можно предположить, что он оставил ее не столько как память о себе и о главной в своей жизни удаче, сколько потому, что очень хотел, чтобы и Ольга научилась играть в теннис. Ольга не на-

училась, а вот Чип очень любил во время своих эскапад садиться передохнуть на эту ракетку, висевшую на гвоздике в коридоре. Мелко перебирая лапками, он поднимался и опускался по струнам, которые служили ему чем-то вроде шведской стенки.

Бабушка никогда не забывала, убирая в квартире, стереть с ракетки пыль.

Ракетка и по сей день висит там же на стене в коридоре, но пыль с нее теперь вытирают редко. Потому что нет уже ни бабушки, ни Чипа, да и все поросло быльем и ракетка ни у кого уже не вызывает никаких воспоминаний. Висит и висит.

Впрочем, все уже упомянутое выше, как и то, чему еще предстоит быть изложенным ниже, есть не что иное, как более или менее последовательное и ни на что не претендующее жизнеописание рядовой, ничем, собственно говоря, не примечательной канарейки, а вовсе не опыт извлечения из простых и неопровержимых фактов каких бы то ни было далеко идущих умозаключений.

В жизни вообще всего интереснее факты. Собственно говоря, она и состоит из одних фактов. Независимо от того, соответствуют эти факты нашим представлениям о ней или не соответствуют.

К примеру, смерть деда стала несомненным фактом задолго до того, как он умер.

Дед был обречен, все это знали, как знали и то, что одна только смерть может избавить его от мук полной неподвижности и, в последние годы, почти растительного существования. Более того, все понимали, что смерть избавит не только его, но и всех остальных, прежде всего бабушку, от не меньших и вполне, в отличие от деда, осознаваемых страданий.

Дед проболел тринадцать лет, и почти столько же прожил в доме Чип.

Все понимали, что смерть в данном случае — благо и избавление, и тем не менее делали все, что было в их силах, чтобы эта смерть наступила как можно позже.

Потому что, кроме страданий, страха смерти и так называемого здравого смысла, есть еще круговая порука всех живых перед лицом смерти. Ведь и с тобою самим может случиться нечто подобное — и неизбежно, неотвратно случится! — и ты хочешь быть вправе рассчитывать, что близкие будут твою жизнь отстаивать так же упрямо и терпеливо, как ты отстаивал чужую.

Иначе чем объяснить, что старую, никому уже, если смотреть правде в лицо, не нужную птицу — речь идет все о том же Чипе — ни бабушка, ни Ольга, ни даже менее их сентиментальная мать не захотели отдать в живой уголок бывшего Ольгиного детского сада, когда заведующая садом, приятельница матери, предложила это им из самых, кстати говоря, добрых побуждений?

Мать никогда особенно и не занималась Чипом — для нее он навсегда так и остался (хотя, очень может быть, она и самой себе в этом не признавалась) зарубкой, болезненно напоминающей о предательстве отца; Ольга, выросши, им тоже мало занималась; оставалась одна бабушка, а она стала совсем старенькой и на ее руках был безнадежно больной дед. Да и самому Чипу в живом уголке было бы, очень может быть, куда веселее, там бы он опять почувствовал себя нужным и интересным для других.

И все-таки решено было его не отдавать.

А дед умер.

И опять стал похож на старые свои фотографии, на «красавца-мужчину» из стародавнего любительского спектакля на Казанской железной дороге.

Дед умер сразу после полуночи, и бабушка до самого утра не сказала об этом матери и Ольге, не стала их будить и всю ночь просидела одна, если не считать Чипа, рядом с мертвым, холодеющим дедом.

И лишь под утро, в сером, зыбком свете февральского позднего расвета увидела это — а именно, что дед вдруг стал похож на себя прежнего, давнего — и вдруг вспомнила, что та же мысль поразила ее, когда он вернулся с войны.

За тринадцать лет болезнь так исказила дедовы черты, да и в его характере вытащила наружу самые тяжелые для окружающих стороны — эгоизм, брюзгливость, раздражительность, — он так далеко ушел от всего и всех в свою болезнь, в неподвижность и немоту (и от бабушки, как это ни странно, дальше и бесповоротнее, чем от всех остальных), что все эти последние годы ей было никак не узнать в нем того, прежнего.

Она заботилась о нем, выхаживала, кормила с ложечки, стирала замаранные простыни, выбиваясь из сил, переворачивала с боку на бок, чтоб у него не образовались пролежни, но делала она все это не для того, прежнего, знакомого и близкого, каким он был для нее всю ее жизнь, а для ничего общего не имеющего с тем, прежним, чужого, раздражительного старика, каким он стал.

А умерев, он опять стал похож на самого себя, и бабушка сразу его признала.

Если раньше, выхаживая этого чужого старика, ночами она плакала о том, прежнем, то теперь, в ночь, когда он умер, она плакала о них обоих — и о том, прежнем, и об этом, недвижимом и безъязыком, к которому она успела привыкнуть и привязаться за эти тринадцать лет.

В ночь его смерти бабушка поймала себя на мысли — и не удивилась ей, не испугалась, — что и она тоже как бы стала в эту ночь собою прежней, той далекой и, казалось, безвозвратно забытой милой девушкой с Разгуляя с чуть испуганным нежным лицом и вечно удивленными глазами, какими она глядела со старых фотографий на толстых картонных паспарту.

Они опять встретились, бабушка и дед.

Впрочем, она знала, что главная и окончательная, бесповоротная встреча им еще только предстоит.

Она надеялась, что теперь этой встречи ждать уже недолго.

На время дедовых похорон и поминок клетку с Чипом перенесли в Ольгину комнату и на весь день закрыли скатертью. Это случилось с ним впервые — одиночество и темнота так надолго. Но Чип перенес их безропотно. Он был уже и сам очень стар и готов ко всему, а может быть, по-своему тоже горевал о деде.

А заодно и о собственной своей старости, а также, возможно, о том, что, по всему виду, уже недолго ждать того часа, когда тьма скроет от него навсегда свет дня.

Если, согласно новейшим научным данным, признано с неоспоримой достоверностью, что киты или, скажем, слоны чувствуют загодя свою смерть и выбрасываются на берег или уходят умирать в одиночестве в чащу леса, почему нельзя предположить, что и малый кенар способен на то же, пусть даже вопреки тому, что прожил всю жизнь среди людей.

Тем более что Чип уже изрядно подустал от жизни.

За дедовым гробом шло («шло» — так говорится лишь по привычке, никто не шел, а все поместились вместе с обитым красной камкой и пахнущим сырыми сосновыми дровами гробом в одном погребальном автобусике) совсем немного народу. А если уж называть вещи своими именами, то и никого, кроме бабушки, матери, Ольги и отца да еще двух или трех дедовых старых товарищей по Казанской железной дороге или по войне.

Похоронили его на Преображенском кладбище. Был конец февраля, оттепель, под ногами таял и хлюпал желтый кладбищенский снег.

Собственно, Ольга плохо знала деда — она родилась через два

месяца после того, как деда разбил паралич, и когда к нему впервые привели годовалую внучку, дед уже почти совсем не разговаривал. Он ласково и как-то виновато глядел на нее и, пытаясь дотянуться своей здоровой рукой и погладить ее по голове, замычал громко и нечленораздельно. Ольга испугалась, заревела в голос, потом долго не могли ее успокоить.

Со временем страх перед больным дедом, перед его налитым кровью глазом и грозным мычанием прошел, но осталась память об испуге при первой встрече с ним.

Выросши, Ольга испытывала по отношению к деду не любовь, а чуть опасливую, на расстоянии, жалость. И жалость скорее даже не к нему, а к бабушке — за то, что она была цепью прикована к больному деду, никуда не могла выйти, разве что в соседнюю молочную или булочную, и даже вечерами, когда она, покормив и напоив его чаем из горлышка чайника, уходила на кухню смотреть телевизор, дед и тут не давал ей покоя.

Ольга жалела, конечно же, и деда, но бабушку больше, а виною всех бабушкиных бед был дед и его болезнь.

Ей запали надолго в память хмурые, тесные и скользкие от разъезжающегося под ногами февральского снега кладбищенские аллеи, сырое и низкое небо над головой, голые, мокрые стволы берез. Но более всего ее поразили печальные, набрякшие от сырости водюю искусственные венки на свежих могилах. Крашенная стружка слиняла, лужицы под венками тускло и маслянисто отсвечивали всеми цветами радуги.

Но потом все произошло так быстро и споро, что Ольга ничего и не успела запомнить: заколотили гвоздями крышку, опустили на длинных осклизлых веревках гроб в яму, засыпали мокрой, слипшейся землей.

Комья тяжелой глины гулко ударялись о крышку гроба, и казалось, что гроб пуст.

Долго потом, когда она думала о деде, прежде всего ей приходил на память зев нагло-жадной, ненасытной земли.

А Чип надолго пережил деда, и нет никакой уверенности в том, вспомнил ли он его.

Так уж сложилась дедова жизнь, что — кроме, разумеется, близких — его смерть мало кем была замечена.

Надо признать, что это было несправедливо.

Дед прожил долгую и не такую уж бесполезную жизнь. К тому же он прожил ее честно и достойно. Он был хороший инженер, и его ценили на Казанской железной дороге, в свое время он увлекался изобретательством — тогда это называли упорно рационализаторством — и сконструировал не один довольно-таки оригинальный и полезный для дела механизм или даже агрегат, у него были авторские свидетельства, бабушка их хранила вместе со старыми фотографиями и письмами в дальних глубинах шкафа, где доживали свой век многие совершенно бесполезные вещи.

Дед воевал, и опять же честно и достойно. И если на войне ему тоже бывало страшно, то он старался преодолеть или хотя бы не выказывать свой страх. И пусть у него не было боевых орденов, одни медали, пусть дедовы изобретения не были лампочкой накаливания Эдисона — Яблочкова, ни даже тормозом Вестингауза — дед прожил свою жизнь как подобало.

Как подобало интеллигентному человеку, сказал бы он сам.

Но, оказывается, этого мало для того, чтобы за твоим гробом шла притихшая толпа опечаленных друзей или хотя бы сослуживцев.

Как это ни покажется странно, но если исключить войну, которую он не колеблясь считал самым высоким делом и событием всей своей жизни, — как это ни покажется даже сомнительно со стороны, но, перебирая в памяти свою жизнь, дед прежде всего вспоминал лю-

бительские спектакли в Народном доме Казанской железной дороги и бабушку — такой, как на той давней фотографии: удивленное, чуть испуганное юное лицо, лучистые, в пол-лица глаза, из-под меховой, несколько набекрень шапочки выбивается прядь мягких волос.

Дед никогда не знал другой женщины, кроме бабушки. Даже на войне.

При этом, по ее же словам, он всю жизнь тиранил ее вечной раздражительностью, мелким самодурством. Бабушка и в глаза ему говорила, что характер у него не сахар.

Но она его любила и такого. Других мужчин, кроме него, для нее просто не существовало на свете. В самом прямом смысле слова: она их не замечала, не видела. Это были просто прохожие, знакомые, сослуживцы, и только.

Мир меняется.

И Чип менялся. Он седел, особенно грудка и брюшко, голова его заметно облысела, пушок едва прикрывал желтоватую пергаментную кожу. Впрочем, может быть, это была не просто старость, а какая-нибудь болезнь.

Вскоре после того, как умер дед, в новой отцовой семье начало происходить неладное. Но сам отец об этом узнал, как водится, последним.

Первой принесла на хвосте эту новость, конечно же, Регина. Какими-то неведомыми путями она все и обо всех узнавала раньше их самих.

Отец и прежде считал, что жизнь вообще ему не удалась.

Когда его включили в сборную и он выиграл личное первенство страны среди студентов, стало ясно, что надо выбрать что-нибудь одно: музыку или теннис.

На самом же деле выбор был сделан: за время тренировок и соревнований отец совершенно запустил занятия, отстал по всем дисциплинам, особенно по специальности, но главное и, как вскоре выяснилось, необратимое заключалось в том, что в нем самом угас интерес к обновлению народной музыки. Он и сам не заметил, как это произошло. А если и отмечал про себя что-нибудь в этом роде, тут же приходила успокоительная мысль: вот пройдут очередные состязания — и он навсегда вернется к музыке, к серьезному делу. Но, выиграв, скажем, межвузовские соревнования, он тут же, естественно, начинал готовиться к городским, за городскими неумолимо надвигались республиканские, всесоюзные, Универсиада... И хотя он выше первого места на студенческом первенстве, да и то один-единственный раз, не поднимался, а только входил в первую десятку, в первую пятерку, но и этого было достаточно, чтобы тешить свое честолюбие и иметь как бы внутреннее право отодвигать, откладывать музыку на завтра, на послезавтра, на потом.

Очень, кстати сказать, распространенный случай.

Конечно же, это говорит в первую очередь о том, что отец был человек слабый и безвольный.

Однако если взглянуть непредвзято на всю остальную его жизнь, в частности, на его отношение к матери после того, как он с ней расстался, к Ольге, бабушке и даже к деду и Чипу, то факты говорят об обратном. Во всяком случае, так полагал он сам.

Регина же утверждала, что отец всегда и во всем выбирал путь наименьшего сопротивления.

Кстати говоря, в этом смысле судьба Чипа тоже дает пищу для размышлений. Выше уже упоминалось о том, как, выскользнув из бабушкиной комнаты на кухню, а оттуда через открытую форточку во двор и доставив тем бездну беспокойства и тревог всей семье, он через некоторое время вернулся оттуда как ни в чем не бывало. Не говорит ли это, хотя бы на уровне гипотезы, о том, что, вернувшись в клетку с кормушкой и блюдцем со свежей водой, Чип тоже

выбрал в жизни путь наименьшего сопротивления, а именно предпочел неизвестности и превратностям свободы сытость, безопасность клетки?

Впрочем, перед отцом этот вопрос стоял не так односложно: или — или.

Ведь отец даже в пору самых главных своих теннисных успехов верил, что музыка никуда от него не уйдет и он рано или поздно к ней вернется.

К тому же это зависело не от него одного.

Дело в том, что когда от отца уже нельзя было ждать новых блистательных достижений, вдруг выяснилось, что в институте у него сплошные «хвосты», а профессор по специальности сменился, пришел другой, очень далекий от симпатий к какому бы то ни было виду спорта, они с отцом не нашли общего языка, да и без того сдать все «хвосты» и наверстать упущенное было очень и очень не просто, чтоб не сказать — невозможно. Отец, застигнутый врасплох и оскорбленный в лучших своих чувствах новым, далеким от прежнего попустительством отношением к себе ректората и общественных организаций, еще недавно не чаявших в нем души, ушел из института не доучившись.

Впоследствии он утверждал, что даже хлопнул на прощание дверь.

Но вопреки его ожиданиям никто его не отговаривал от этого шага, не умолял остаться.

К тому же родилась уже Ольга и надо было кормить семью, а на студенческую стипендию не очень-то разгуляешься.

У отца по сей день сохранились нотные тетрадки с его собственными юношескими переложениями малоизвестных народных мелодий. Но он давно в них уже не заглядывает, они лежат в старом дражном портфеле, закинутом за шкаф, вместе с совершенно не нужными уже, постылыми грамотами и медалями, завоеванными на различных спортивных соревнованиях, который, кстати говоря, он даже забыл взять с собой, когда уходил из семьи.

Институт он бросил сам, а из большого спорта все равно не миновать было уйти: возраст. Да и техника мирового тенниса ушла далеко вперед.

Пришлось навсегда расстаться с мечтами — впрочем, отец не очень обольщался насчет их достижимости и в более молодые и бесшабашные времена — об Уимблдоне и Кубке Дэвиса.

Однако он был мастер спорта, известный в недалеком прошлом теннисист, и его охотно взяли в «Динамо» тренером по работе с детьми. У него, кстати говоря, вообще была педагогическая жилка, и дело пошло неплохо. Кроме того, он стал давать частные уроки на динамовских кортах на Петровке.

Росла Ольга, ее надо было вывозить летом на дачу, семья получила новую трехкомнатную квартиру на Ямском поле, деньги были нужны.

Ну и так далее и тому подобное.

Последним отзвуком юности и юношеских упований было то, что, когда по радиоточке на кухне передавали музыку — настоящую, серьезную музыку, — отец молча выключал репродуктор. В семье к этому привыкли и не спорили с ним. Хотя бабушка очень любила слушать радио, когда возилась у плиты. Но с годами она стала понемножку гложуть, так что это уже не имело такого значения.

Тем более что репродуктор бабушке заменял Чип. Правда, он тоже со временем постарел и перестал петь. И хотя это несомненно совершенно случайное и ни о чем не свидетельствующее, с материалистической хотя бы точки зрения на мир, совпадение — Чип перестал петь накануне дедовой смерти.

А вскоре после смерти и похорон деда начались нелады в новой семье отца.

Ольге тогда шел шестнадцатый год, Чипу, соответственно, девятый или, очень может быть, даже десятый.

Условно можно считать, что по человеческим масштабам Чип уже перевалил за пенсионный возраст.

Да и отцу тогда было уже за сорок. Тоже немало, особенно для спортсмена, пусть даже и бывшего. Потому что про отца говорили (да и он сам про себя) не «бывший музыкант», а «бывший спортсмен».

Хотя на самом деле он был отнюдь не «бывший», а еще вполне молодой и здоровый человек, правда начавший грузнеть и седеть — седеть он начал рано, с висков. Дела его в детской спортивной школе шли как нельзя лучше, дети его любили, он умел с ними разговаривать совершенно на равных. На Петровке тоже от жаждающих приобщиться к теннису не было отбоя — этот спорт стал не просто модой, но и чем-то вроде отличительного знака принадлежности к престижной части общества, то есть даже не самый теннис, а скорее спортивная одежда и обувь фирмы «Адидас» и ракетки с эмблемой «Данлопш», «Вилсон» или, на худой конец, «Доннэй».

Все, казалось бы, шло прекрасно, и все разом рухнуло.

Отцова новая жена была красива, а быть красивой совсем не так просто, как может показаться со стороны: невольно приходится ломать себе голову, что делать с собственной красотой, а также над тем, что годы идут, а точнее — уходят, как вода в песок.

К тому же отцова жена была до чрезвычайности жизнелюбива, а это тоже недешево обходится: хочется, чтобы твоя жизнь была наполнена радостями и удачами, чтобы она вообще была — одна сплошная радость и удача.

А это уже не только непросто, но и небезопасно.

Отцова новая жена задумывалась над жизнью именно в этом смысле: ей ужасно хотелось (и она была совершенно уверена в том, что имеет неоспоримое на это право) беспрестанного праздника, праздника изо дня в день, вечной легкости и беспечального, не слишком обременительного для души счастья.

Как ни странно, все это ей прямо-таки шло в руки.

В том числе и отец.

Он был добрый, покладистый, легкий человек и любил ее нежно и, если угодно, даже пылко — случай не такой уж частый в наш, мягко говоря, психастенический век.

Во-вторых, она была хорошим аккомпаниатором и часто ездила в зарубежные поездки, а значит, проблема модных шмоток, как она сама выражалась, очень и очень немаловажная для женщин вообще, а для таких, как отцова жена, особенно, разрешалась довольно-таки просто.

Ну и так далее и тому подобное.

Но и ей шло уже к сорока и она все чаще задумывалась: что дальше?

Особенно неотступно одолевала ее подобные мысли, когда она придирчиво и с растущей тревогой рассматривала себя в зеркале или когда с жадным любопытством пролистывала модные журналы «Вог» или «Эль».

Отец в таких случаях только посмеивался и в благодушном неведении надвигающейся катастрофы говорил о своей новой жене, что она «слишком женщина».

Что там ни говори, но с годами — а если смотреть правде в глаза, дело шло к критическому для современной женщины возрасту — все в ее жизни (и в ее жизни с Ольгиным отцом, естественно, тоже) ей наскучило, приелось, отдавало будничной преснятиной и, главное, не сулило никаких сногшибательных или хотя бы неожиданных перемен в обозримом будущем.

Как бы там ни было, но слепой случай распорядился так, что аккомпаниатор некоего известного французского скрипача — имя и фамилия, само собой, не играют особой роли — во время московских гастролей серьезно заболел, и отцову новую жену вызвали в Госконцерт и в ультимативной форме предложили аккомпанировать приезжей знаменитости.

На что она — имеется в виду отцова жена — дала, разумеется, свое согласие.

Она была очень способной и опытной аккомпаниаторшей, и на нее можно было положиться.

Знаменитость же оказалась сравнительно молодым (между тридцатью и сорока годами), милым и обаятельно-доступным человеком, лауреатом конкурсов имени Чайковского и имени Лонге, чем-то напоминающим бывшего спортсмена, даже более того — бывшего теннисиста (что можно с известным допуском считать не просто случайным совпадением, а, если угодно, злой иронией судьбы), с такими же седыми висками и загорелым даже среди зимы лицом, как у отца.

То ли это роковое обстоятельство, введшее, может быть, новую отцову жену в заблуждение или, что тоже вполне вероятно, показавшееся ей и вправду указующим перстом судьбы, то ли, если не побояться посмотреть правде в лицо и называть вещи своими именами, тот несомненный факт, что француз был гораздо увереннее в себе и, что называется, жовиальнее отца, но она влюбилась в него без памяти, и к тому же с первого взгляда, точнее — с первого концерта в Малом зале Московской консерватории.

Не в оправдание ей, а все той же нелिцеприятной правды ради следует со всей определенностью упомянуть, что отцова новая жена была человеком увлекающимся, легким, если уместно так выразиться, на подъем, но ни в коем случае расчетливым или тем более корыстным.

Вероятнее всего, она просто-напросто, ничего, по своему обыкновению, не загадывая наперед, влюбилась в этого француза так же без оглядки и махнув на все рукой, как в свое время влюблялась в предыдущих своих мужей, в том числе, само собой, и в отца.

Тем более что это новое ее увлечение было несомненно подготовлено и предвосхищено тем самым фатальным в ее возрасте вопросом: что дальше?

Все решилось в течение каких-нибудь трех гастрольных недель, предусмотренных контрактом скрипача с Госконцертом.

Первым делом застигнутый врасплох, растерянный и раздавленный, отец прибежал, естественно, к матери.

Мать при первых же лихорадочных словах отца не удержалась от характерного для любой женщины в подобной ситуации восклицания: «я так и знала!» Впрочем, может быть, она воскликнула и иначе: «этого следовало ожидать», или «так тебе и надо», либо же «за все рано или поздно приходится расплачиваться» — с абсолютной точностью никто этого знать не может, так как разговор они вели с глазу на глаз, запершись в комнате.

Правда, эта комната граничила с комнатами Ольги и бабушки, перегородки были тонкие, панельные, и Ольга с бабушкой не могли не слышать того, о чем говорили отец с матерью.

Тем более что отец был возбужден, чтоб не сказать — доведен до полного отчаяния, и не соразмерял свой голос с необходимостью не быть услышанным дочерью и бывшей тещей.

Собственно, он орал во все горло, мало стесняясь в выражениях.

Потом он побежал опростетью, как это с ним случалось и тогда, когда они расходились с матерью, в ванную и долго там рыдал, хлюпая носом и громко сморкаясь.

Но самое удивительное и не объяснимое общепринятой логикой заключается в том, что не успел он выскочить за дверь и укрыться

в ванной, как и мать и бабушка — Ольге это было отлично слышно благодаря безупречной звукопроницаемости московских новостроек второй и третьей категорий — тоже зарыдали.

Причем, а это уж и вовсе не укладывается ни в какие рамки, обе — от жадости к отцу.

Потом, когда он пришел несколько в себя — на это ему потребовался не год и не два, — отец уже был в состоянии посмеиваться над собой и над этой историей с французом. Но это был, как принято в таких случаях говорить, смех сквозь слезы.

Ольга как раз тогда проходила в школе Гоголя.

Собственно говоря, это выражение — «смех сквозь слезы» — вполне применимо и к Чипу. К его пению в неволе, например, или к тому, каким смешным казался он сам со стороны — той же Ольге хотя бы, — когда, выпущенный из клетки, судорожно и нелепо натыкаясь на стены, оконное стекло, люстру и прочее, летал по бабушкиной комнате, а ведь это он, собственно говоря, радовался воле.

Со стороны это, должно быть, действительно выглядит смешно. Или даже, может статься, жалко.

Что же до отца, то все дело в том, что он очень любил свою новую — теперь уже, увы, бывшую — жену. И, сам того, вероятно, не осознавая, долго не мог поверить, что и она, эта красивая, хрупкая, обольстительная женщина («блестящая женщина», как сказали бы когда-то) любит его тоже. Строго говоря, он ждал с замиранием сердца — особенно в первые годы, потому что со временем он свыкся со своим счастьем и даже уверовал в его незыблемость, — ждал, что все вот-вот кончится, рассеется, как радужный туман, как мираж какой-нибудь.

Потому что он сам — тщательно это утаивая даже от самого себя — считал себя неудачником.

Со стороны он и казался, наверное, именно неудачником: начав с музыки, с мечты о служении, так сказать, изящным искусствам, он кончил тем, что учит теннису неловких детишек, из которых едва ли хоть один выйдет в чемпионы, а заодно и поспешающих за модой незамужних девиц и не первой молодости старших научных сотрудников.

Много лет спустя, когда умерли и дед, и бабушка, и Чип, а Ольга уже училась в медицинском и влюбилась и собиралась замуж, когда отцу и матери было уже под пятьдесят и вместе с возрастом снизошла на них некоторая умиротворенность, отец с поразившей его самого ясностью вдруг подумал, что на самом деле он прожил удивительно полную, не дававшую ему ни минуты передышки, ни мгновения пустоты, а значит — по крайней мере в высшем смысле слова, — счастливую жизнь.

Дело в том, что в глубине души отец был уверен, что ему так и не удалось завоевать в своей жизни ни одного главного приза. Это выражение — «приз» — следует в данном случае толковать расширительно, а не только в смысле рода его занятий, а именно тенниса. Ему казалось, и, если смотреть фактам в лицо, небезосновательно, что слава и успех (сначала предполагаемая музыкальная слава, а затем и спортивная) обошли его стороной. Во всяком случае, обманули его ожидания.

В юности отец грезил именно славой. То есть всеобщим, не знающим исключений и сомнений признанием. Попросту говоря, поголовой восторженной любовью.

А поскольку и музыка и спорт — занятия публичные, открытые для обозрения и суда всех и каждого, то и славы ему хотелось громкой, шумной, с аплодисментами, с цветами, с фотографиями и интервью в газетах.

Так вот, когда в жизни отца объявилась эта обольстительно-яркая, полная неотразимого очарования и не омрачаемой никакими

сомнениями уверенности в этой своей неотразимости женщина, вполне естественно, что он воспринял ее как тот самый вожделенный главный приз, который столь долго не давался ему в руки.

Вполне возможно, что он был недалек от истины.

В том смысле, что, по мнению многих авторитетов, чтоб не скатать властителей дум, как прошлого, так частично и настоящего, любовь — разумеется, в высшем или, точнее, даже возвышенном смысле слова — есть единственная цель, единственное благо и единственная награда человеческой жизни.

Отцу не оставалось ничего иного как довериться собственному счастью. Что и сделал бы, надо полагать, на его месте каждый.

Да и некогда, собственно говоря, было раздумывать.

После разрыва и развода со второй женой и ее отъезда со скрипачом отец остался, казалось бы, совершенно один.

Не говоря уж, что — у разбитого корыта.

На самом же деле, это было вовсе не так. По крайней мере, не совсем так.

Во всяком случае, дело обстояло отнюдь не так просто, как могло бы показаться на сторонний и не очень проницательный взгляд.

Во-первых, он стал бывать почти ежедневно в старом, точнее в прежнем своем доме, то есть у Ольги, матери и бабушки. Если это объяснять единственно тем, что тут его жалели и были преисполнены желания помочь ему, как он сам выражался, зализать раны, — подобная версия будет отнюдь не исчерпывающей.

Его здесь любили.

О незыблемости любви к нему бабушки уже упоминалось.

Об отношениях Ольги с отцом будет полно и подробно рассказано ниже.

Что же касается матери, то она любила его уже, естественно, не прежней любовью, не той, которой она любила его тогда, когда была его женой и когда они жили вместе, как и не той болезненной и несколько мстительной любовью, которую она испытывала к нему, когда он ушел из семьи. Теперь это была ровная, чуть печальная и если не все, то многое простившая любовь-дружба, любовь-сочувствие, любовь-память, черпающая свое постоянство из совместно прожитых с отцом годов, из общих, уже не жалющих душу воспоминаний о том молодом и добром, что было в прежней их жизни.

К тому же мать просто-напросто была хорошим и верным человеком.

А быть доброй и верной по отношению к бывшему мужу — явление не менее редкостное и достойное удивления, чем вообще любовь.

Но вот что и в самом деле может показаться совершенно неправдоподобным, во всяком случае с естественнонаучной точки зрения, так это то, что именно когда брошенный, оставшийся, казалось бы, в полном одиночестве отец стал почти ежедневно приходить в прежний свой дом, — именно тогда Чип вдруг неожиданно запел вновь.

До этого в течение по крайней мере полутора или даже двух лет он хранил полнейшее молчание. Старость, подумали все с грустью, все проходит.

Но Чип, ко всеобщему удивлению, вновь запел. Правда, ненадолго. Фигурально говоря, это была его лебединая песнь.

Хоть на самом деле, как известно, лебеди не поют. Правда, в пении Чипа уже не было той самозабвенности, того упоения собственным голосом и виртуозностью, характерными для него прежде. Он более не склонял голову набок, как бы вслушиваясь в отзвуки своей песни, еще звенящие в воздухе, и не закатывал самодовольно свои глазки-бусинки. Не стало также прежнего изыска в его фиоритурах, прежнего изощренного блеска в руладах и каденциях. Его искусство стало проще и сдержаннее. В нем как бы зазвучала некая

высокая, покойная мудрость, некое светлое примирение с жизнью, с ее неотвратимой, если воспользоваться музыкальной терминологией, кодой, с ее заключительным аккордом, свойственные зрелой поре большого мастера, его несуетному осеннему, озаренному нежарким последним солнцем дню.

Однако, что бы там ни было, Чип вновь запел.

Кстати говоря, тот душевный покой и примирение с тем, что жизнь сложилась именно так, а не иначе, которые столь явственно проявились в зрелом искусстве Чипа, снизились в той или иной степени и на всех прочих членов семьи. Если, разумеется, слово «семья» вообще уместно в данном контексте.

Конечно же, кроме тесного мира самой семьи, существовал огромный, бескрайний мир страны и даже всего человечества, малой, но тем не менее неотъемлемой частью которого была судьба каждого в отдельности и всех вместе, совокупно — отца, матери, деда, бабушки и, несмотря на юный ее возраст, Ольги. И само собою, их жизнь и судьба в решающей степени зависели от этого бескрайнего мира.

Нет сомнений, что в этом большом мире есть профессии и роды занятий куда более важные и необходимые, чем работа тренера по теннису и даже врача-косметолога. Но и без них тоже ведь не обойтись. И отец и мать, несмотря на кажущуюся узость или, можно сказать, специфичность их работы, ощущали себя не просто малой, но и вполне равноправной, необходимой частью этого большого мира. Что уж тут говорить о деде — путейце и участнике войны или о бабушке-телеграфистке в самые тяжкие военные времена — уж их работу никак не назовешь ни второстепенной, ни тем более ненужной.

В конце концов, общественная значимость человека измеряется не только и не столько его профессией, должностью или же его участием в делах, его прямо не касающихся, сколько тем, как честно, добросовестно и бескорыстно он делает свое дело на своем месте.

Это можно в полной мере отнести к отцу. Он любил свою работу и делал ее хорошо, и за это его любили и отдавали ему должное его ученики, коллеги и начальники. Он, как и мать, твердо знал, что теннис нужен его подопечным не только в часы досуга, но в гораздо большей степени тогда, когда они, набравшись бодрости и жизнелюбия на корте, возвращаются с новыми силами в свои НИИ, КБ, почтовые ящики и ученые советы.

И в этом смысле надо со всей решительностью отметить как несостоятельные любые поспешные суждения о нем только и исключительно сквозь призму чисто семейных, или, как это принято называть, камерных, коллизий и пертурбаций.

Мать все эти годы прожила не так пусто и безрадостно, как может показаться иному излишне торопливому читателю нашего правдивого, хоть и беглого повествования. Точнее — хроники. Или даже — жизнеописания. Хотя, строго говоря, в нем нет ничего сочиненного или домысленного, так что в данном случае слово «сочинение» не следует понимать слишком буквально.

Матери было к тому времени уже за сорок, но она все еще была на удивление молода и жизнеобильна.

Сама ее профессия как бы предполагала в ней эту молодость: она была врачом-косметологом.

Трудно верить своих пациенток в пользу, чтобы не сказать — в чудодейственности косметических процедур и манипуляций, если ты сама в твои сорок с лишним лет не являешь собою наглядного примера возможности победить время и неумолимые, казалось бы, следы, оставляемые им на женском лице. Впрочем, может быть, в данном контексте было бы лучше сказать — на лице женщины.

Кстати говоря, сама мать как раз и не прибегала к помощи косметологии.

Она даже давно бросила подкрашивать волосы, и выяснилось, что седина, кое-где уже посеребрившая ее голову, скорее красит ее, чем старит, придавая, особенно в разгар лета, ее загорелому, без единой морщинки лицу некий ореол повелительницы собственного возраста. Подглазья ее стали глубже, темнее, отчего большие серые глаза, унаследованные ею от бабушки и в свою очередь переданные в наследство Ольге, казались еще больше и лучистее.

Во всем остальном она тоже доверилась собственной счастливой натуре, и о ней никак нельзя было сказать — «врачу, исцелися сам».

Самое же замечательное и необъяснимое в ней было то, что, работая в Институте красоты, мать никогда ни под каким видом не брала со своих пациенток ни денег сверх того, что они платили в кассу института, ни даже дорогих подарков — разве что цветы или в особо трудном и требующем максимума усилий и внимания случае коробку конфет «Ассорти».

Хотя, с другой стороны, нет и не может быть слишком высокой платы за красоту и свежесть возвращаемой тебе молодости.

В результате — и об этом вполне уместно упомянуть — даже при отцовых ежемесячных ста рублях, которые он давал матери и Ольге, денег в семье всегда было в обрез.

Собственно говоря, все в доме теперь держалось на матери. После смерти деда бабушка сильно сдала, почти — а со временем и вообще — не выходила из дому, гуляла, по ее собственному выражению, лишь на балконе, благо деревья во дворе за эти годы еще больше разрослись и превратились, опять же по ее словам, в настоящий лес. Ольга училась уже в десятом классе, не за горами был аттестат и пугающее даже при одной мысли о нем поступление в институт, в какой — еще решено не было, так что помощи от нее было немного.

Нельзя сказать, чтоб за эти годы в жизни матери не появлялись мужчины. Однажды она даже сделала было попытку — «провела эксперимент», как она сама впоследствии говорила с чуть вымученной усмешкой, — завести новую семью. Эксперимент продолжался около полугода, новый мамин муж, тихий и робкий доктор геологических наук, океанолог, даже переехал жить в материну комнату, но был так скучен и бесцветен, что ее и без того не очень пылкая привязанность к нему скоро превратилась в едва сдерживаемую зеленую тоску, и он, безмолвно собрав в чемодан свои коллекции экзотических раковин, окаменелых морских звезд и нежно-розовых обломков коралловых рифов, которые всю жизнь собирал и тащил с собою, ушел из материнной жизни так же незаметно и покорно, как и появился в ней.

Были и другие, но ни один из них так и не пустил корней в ее жизни.

Причиной тому была, как это ни покажется парадоксальным, убывающая с годами ее молодость, точнее говоря, почти по-юношески прямолинейный максимализм: мать все еще ждала, надеялась и верила в новую большую любовь.

Что там ни говори, а на поверку пятый десяток, умиротворенность души и несколько увядшая острота желаний — отнюдь не пащаца от жажды полного и непреложного счастья.

На меньшее мать была не согласна.

Иногда не сговариваясь она и отец встречались глазами и тут же, смутившись или даже словно бы испугавшись того, что они смогут прочесть во взглядах друг друга, отводили их, и тогда Ольге казалось, что они, боясь в этом признаться не только друг другу, но даже каждый самому себе, подумывают втайне о том, не начать ли все снова...

Но поскольку «снова» в этих обстоятельствах могло означать

лишь «сначала» — начать жизнь сначала, — а они знали по собственному опыту, что это невозможно, что это никому еще не удавалось, вот они и отводили глаза и молчали.

Собственно говоря, это был бы тот же самый, уже упомянутый путь наименьшего сопротивления.

А отец и мать были еще вовсе не так стары и не так еще устали от жизни с ее вечным ожиданием несбыточного, чтобы согласиться на повторение уже однажды пережитого, а не мечтать о чем-то совершенно новом и неведомом.

Иногда у Ольги складывалось впечатление, что она гораздо старше и многоопытнее отца с матерью.

Впрочем, лишь до того дня, когда пришла и ее очередь в первый раз влюбиться и испить эту чашу до дна.

Во всем доме один лишь Чип не испытал восторгов и горечи любви.

Любовь обошла его стороной.

В жизни же прочих членов семьи любовь всегда играла первостепенную, чтоб не сказать — основополагающую, роль. Как, впрочем, и отсутствие любви. Отсутствие любви ими переживалось как беда, как худшее из зол.

Несомненно, что жажда любви и тоска по ней — такая же сильная, пламенная страсть, как и сама любовь.

Собственно говоря, это всего лишь две стороны одной медали.

Короче говоря, мать тоже жила в постоянном и нетерпеливом ожидании любви. Это в ее-то годы. Хотя, как уже упоминалось выше, она не только внешне, но и внутренне была все еще молода. Достаточно сослаться хотя бы на тот факт, что по субботам и воскресеньям она, надев синий тренировочный костюм (синий цвет был ей очень к лицу, и она это знала) и штормовку, с тяжеленным рюкзаком за плечами приставала на Белорусском вокзале к какой-нибудь группе завязтых туристов и отправлялась с нею — то есть с совершенно незнакомыми и гораздо моложе ее годами людьми — в турпоход по Подмоскovie, невзирая на погоду. Пасмурное, холодное небо или даже дождь радовали ее не меньше, чем безоблачная летняя теплынь. Она с одинаковым восторгом любовалась весенней поляной в золотой россыпи одуванчиков и сиротливым осенним березняком, не говоря уж о праздничной радости, которую рождал в ее душе зимний лес, сверкающий до рези в глазах снежными блестящими и воскрешающий в памяти далекую юность с ее лыжными вылазками в Сокольники, с ее воскресными, в электрических разноцветных отражениях на гладком блестящем льду катками в Парке культуры, с острой сладостью эскимо или пломбира в лютой рождественский мороз, с первыми поцелуями — как гладки, нежны и холодны были щеки ее и того, кого она неумело и бесстрашно целовала, щеки и губы пахли морозом, праздником, новогодними каникулами...

Однажды мать даже заставила робкого и совершенно не спортивного доктора геологических наук купить себе ботинки с коньками и потащила его с собой на каток на Патриаршие пруды. Правда, ничего из этого не получилось, если не считать порванных связок голеностопного сустава океанолога.

Этот вечный бой с неумолимостью времени поддерживал в ней не только физические силы, но и силу духа.

Мать умела радоваться жизни, и в этом она была полной противоположностью отцу.

Отец был человеком скорее меланхолического склада души.

Кстати говоря, вторая отцова жена обладала сполна такой же жизнерадостностью, таким же брызжущим жизнелюбием, что и мать. И тем не менее они были совершенно, просто-таки непримиримо разные. В том смысле, что вторая отцова жена радовалась радостям жизни, а мать — самой жизни, жизни как таковой.

Очень даже может быть, что отец любил именно этих двух женщин — а в том, что он любил и одну и другую, сомневаться не приходится — как раз за это общее им обоим радостное мироощущение. И, вероятнее всего, потому, что ему самому его недоставало. Отец был веселый, смешливый, легкий и даже легкомысленный человек, но при этом он постоянно и остро ощущал необратимый — всегда и неизменно в одну сторону! — ход времени, вечное его убывание, жил прошлым, сожалением о нем и вообще воспоминаниями больше, чем надеждами на еще несбывшееся. За всякой безмятежностью он с жесткостью рентгеновского луча видел печальное или, по крайней мере, повседневное ее, как он сам выражался, зазеркалье.

Из этого, однако, вовсе не следует, что отец был, скажем, ипохондрик. Ничуть не бывало. Просто он, говоря опять же языком музыки, то есть языком его собственной юности, наряду с каждым чистым, полным звуком слышал его дальнее глухое эхо, вместе с каждым тоном — его обертон. Эту отцовскую черту очень точно выражают известные строки поэта: «Мне грустно и легко, печаль моя светла». Отец с полным основанием мог бы подписаться под ними.

Можно смело утверждать, что нечто очень схожее с подобным умонастроением — «печаль моя светла» — свойственно и отдельным представителям царства пернатых, тому же Чипу хотя бы. Многие его опусы и музыкальные пассажи были сочинены — а точнее, исполнены — в несомненном миноре. И это несмотря на постоянное наличие в кормушке конопляного семени или канареечной смеси, а в блюде — свежей, дважды на день сменяемой бабушкой воды.

И все же глубоко не прав был бы тот, кто взял бы на себя смелость утверждать, будто в основе минора и элегической грусти Чипова музицирования лежала односложная неудовлетворенность жизнью.

Печаль, очень может быть, есть не что иное, как оборотная сторона бескорыстнейшей радости и полноты жизни, мужественное, хоть и горестное понимание того, что эта полнота и несказанная прелесть — уходят.

Это вовсе, разумеется, не значит, что надо постоянно только и делать что печалиться об этом и лить бесполезные слезы.

Отнюдь.

Печаль, собственно говоря, — это наша плата за радость.

И уж вовсе нет никаких оснований полагать, что отец был человеком минорного — в вышеупомянутом, само собой, смысле — склада души потому, что считал себя неудачником. Дело обстояло решительно противоположным образом: он и считал себя неудачником именно и единственно в силу того, что был от рождения человеком несколько печального умонастроения.

Будь он настоящим, прирожденным неудачником, он непременно завидовал бы баловням судьбы.

Отец им не завидовал. Он их даже по-своему жалел.

Что же касается его predeterminedного, казалось бы, самими нынешними холостяцкими обстоятельствами его жизни одиночества, то тут дело приняло и вовсе неожиданный оборот.

Выше уже было упомянуто, что семья — или, во всяком случае, нечто очень близкое, если не быть ригористом, к понятию «семья», включающему в себя ответственность, заботу и тревоги о ближних, чувство собственной необходимости им и получаемые от них в ответ (именно в ответ, а не взамен) тепло и те же заботы и тревоги, — в этом смысле семья у отца как бы была и даже более того, ему подчас казалось, что теперь она у него есть в большей степени, нежели прежде. Речь, разумеется, идет об Ольге, матери и бабушке.

И никакой, как казалось отцу, роли не играет то обстоятельство, что он живет не под одной крышей с этой своей семьей, а на другом конце Москвы, точнее — у черта на рогах, в Чертанове.

Но и там он был не один.

Короче говоря, бабушка была не единственной его тещей.

У второй отцовой жены была мать, и эта мать (вторая отцова теща) жила вместе с дочерью и очередным ее мужем (то есть с отцом) в недорогой кооперативной квартире в Чертанове.

И когда ее дочь уехала со своим скрипачом, эта вторая по счету отцова теща осталась с отцом в Чертанове.

Не исключено, что она просто-напросто несколько подустала от неутомимой влюбчивости, точнее — от неиссякаемой, прямо-таки пугающей любвеобильности собственной дочери.

К тому же тут, в Москве, прошла вся ее жизнь.

Очень может быть также, что она, как и бабушка, тоже любила отца.

Как это ни покажется неправдоподобным со стороны, но похоже, что тещи любили отца больше или, по крайней мере, дольше, чем жены. Конечно же, подобное явление — редкость и, уж во всяком случае, исключение из правила.

Кстати говоря, вопреки распространенному мнению, далеко не каждое исключение призвано подтверждать общепринятое правило.

Во всех прочих отношениях вторая теща отца была совершенно другим человеком, нежели бабушка. Если угодно, диаметрально или даже полярно противоположным.

Вторая отцова теща была светской женщиной.

Покойный ее муж был в войну морским офицером на северном театре военных действий. Правда, он служил в интендантстве.

В комнате тещи на стене на самом видном месте — над телевизором — висела мужнина фотография первого послевоенного года, до демобилизации: чуть нахмуренное крупное лицо, остриженные ежиком, в первой легкой седине волосы, золотые капитан-лейтенантские погоны, золотой же пояс и на нем, искрясь в свете трехсотваттных ламп фотографического ателье, кортик.

Теща и по сей день хранила в ящике буфета этот офицерский золоченый кортик и награды мужа. Среди них было два ордена Отечественной войны и один Красной Звезды: интендант интенданту тоже рознь.

На противоположной стене висел такого же формата и в такой же латунной окантовке портрет самой тещи, сделанный в тот же день и в том же фотоателье на улице Горького, напротив Центрального телеграфа, у знаменитого в те времена фотомастера Файбусовича.

На портрете у нее был высоко взбитый по тогдашней моде, волною, кок, осветленные перекисью роскошные волосы, несколько искусственный — по требованию фотомастера — и смелый наклон головы.

После демобилизации тещин муж работал сначала главным администратором, а потом до самой пенсии и скорой после пенсии смерти — заместителем директора одного из домов творческой интеллигенции.

Отсюда, собственно говоря, и светскость тещи.

Она не манкировала ни одним просмотром, ни одной премьерой, ни одним банкетом или приемом для иностранных деятелей культуры, не говоря уж о фестивалях и всевозможных кинонеделях, и очень скоро стала — так ей во всяком случае, хотелось думать — совершенно своим человеком в мире изящных искусств.

Кстати говоря, она еще и сейчас в свои шестьдесят с немалым, давно овдовев и поневоле отойдя от светского коловращения, не теряла, по ее собственному выражению, форму, регулярно красилась под блондинку, и если смотреть на нее со спины, так ей вообще можно было дать не больше пятидесяти. Ну от силы пятьдесят пять.

Отца она приняла и полюбила отнюдь не сразу. Растерянная и

даже напуганная упомянутой избыточной любвеобильностью дочери, она просто-напросто боялась самого факта ее третьего (и, как она не без оснований опасалась, не последнего) брака. Поэтому она еще долго с опаской и недоверием приглядывалась к отцу.

К тому же в мире, в котором она столько лет жила и к которому — пусть даже не прямо, а лишь по касательной — принадлежала, профессия теннисного тренера с незаконченным высшим образованием была не из самых престижных.

Хотя на самом деле, если отвлечься от этой, собственно говоря, наносной, нахватанной светскости, она была человеком простым, добрым и благожелательным.

Отец называл ее за глаза экс-тещей.

Короче говоря, экс-теща осталась жить с отцом, ухаживала за ним, кормила, обстирывала, ждала с беспокойством, когда он задерживался где-либо допоздна. Они даже смотрели вместе по телевизору хоккей, футбол, сопотские фестивали и фигурное катание в те редкие вечера, когда он оставался дома.

Более того — и это непреложный факт, которому, однако, читатель вправе по своему усмотрению верить или не верить, — со временем Ольга, бабушка и, что может показаться и вовсе невероятным, даже мать не только познакомились со второй отцовской тещей, но и стали ездить друг к другу в гости.

Возил их с Ямского поля в Чертаново и обратно отец, который к тому времени, залезши в неоплатные, во всяком случае в обозримом будущем, долги, купил машину — одиннадцатые «Жигули» цвета «коррида», что, по мысли дизайнеров, означает «кровь на песке». Но потом они стали ездить и сами на метро, тем более что не надо было делать пересадок.

Неисповедимы пути господни.

Собственно говоря, неисповедимого, точнее — необъяснимого или, на худой конец, непонятного на свете вообще гораздо больше, чем принято думать.

Как уже упоминалось выше, отец никому не завидовал. А стало быть, он не был на самом деле неудачником. Ибо классический неудачник, подобно огурцу, состоящему, как известно, на девяносто процентов из воды, состоит в той же пропорции из зависти.

Зависть — то самое первичное сырье, из которого жизнь наладила массовое производство неудачников. Причем, что характерно, можно чувствовать себя обойденным судьбой и быть снедаемым лютой завистью, даже будучи осыпанным регалиями и почестями.

Потому что в глубине души каждый знает себе истинную цену.

Собственно говоря, отец всю свою жизнь был дилетант — сначала в музыке, потом в теннисе.

Более того, он по самой своей природе был именно дилетант — в расширительном, разумеется, смысле.

Очень может быть, что именно в этом и состояло его обаяние.

Не исключено также, что за это его и любили женщины. Это давало им ощущение некоторого превосходства над ним. Они могли его не только любить, но и жалеть. Женщинам это совершенно необходимо. До поры до времени, конечно же. Потом они начинают тосковать по мужчинам с сильной волей, твердым характером и неукоснительной программой жизни.

Но, с другой стороны, от таких мужчин они тоже скоро устают, и их снова тянет к слабым, неуверенным в себе и требующим от них жалости и сочувствия.

Принцип маятника.

Отец имел успех у женщин.

Он был интересен им странной и даже, пожалуй, несколько загадочной смесью спортивной мужественности, такового пересаженного на отечественную почву плейбойства, с некой зыбкой, без

видимых причин печалью и неутолимой жаждой чего-то, чему они и имени-то не знали.

Они восхищались им и вместе глядели на него несколько по-матерински: с обожанием, но снисходительно и даже чуть сверху вниз.

Он был довольно-таки сложной молекулой, отец.

Особенно же его любили дети и подростки. Он на удивление легко и сразу, без всяких усилий со своей стороны находил с ними общий язык. Просто-напросто он разговаривал с ними как равный с равными. Впрочем, так оно и было на самом деле: он и был в известном смысле ребенком, подростком с седыми висками.

Хотя со временем стал грузнеть, отяжелел, и теперь не только виски, но и вся голова у него стала похожа на тронутую инеем пшеничную копенку.

Кроме того, он был прирожденным педагогом, в данном случае — тренером. Он не мог да и не стремился сделать из своих учеников мастеров и чемпионов, но научить их любить теннис и его простые, естественные и доступные радости — это он умел.

И этого с него было достаточно.

Отца огорчало, что ему так и не удалось привить Ольге любовь к спорту. Как и то, что она не стала музыкантом. То есть не пошла по его стопам.

Он считал, что Ольга вообще пошла в мать. Он был даже доволен этим — если сам он считал себя неисправимым дилетантом, то мать, на его взгляд, была воплощением профессионализма, и не только в том, что касалось ее специальности: мать, за что бы ни бралась, все делала уверенно, спокойно и все, как считал отец, ей удавалось.

И все же про себя он печалился, что дочь пошла не в него, а в мать.

Хотя на самом деле все обстояло совершенно наоборот и Ольга росла полнейшим его повторением и подобием. Все в ней самое глубинное и не подверженное переменам было как раз от него.

Верхний слой ее характера — упорство, настойчивость, трудолюбие и даже некоторый раздражавший, точнее, ставивший в тупик отца педантизм были действительно унаследованы ею от матери. Но все, что было под этим верхним слоем и что составляло самую суть, или, точнее, тип, ее души — мягкость, неуверенность в себе, неумение довести до конца дело, начатое, казалось бы, с такой настойчивостью и педантизмом, ее затаенная мечтательная грусть, которую она, как, впрочем, и сам отец, упорно прятала за иронической колючестью суждений и слов, — все это было несомненно от него.

Ольге, как и отцу, было непросто жить.

А уж когда она вырастет — правда, это уже выходит за рамки настоящего жизнеописания, поскольку задолго до этого Чипу предстоит умереть и вместе с этим неизбежным событием жизнеописание исчерпает себя и те скромные задачи, которые оно перед собой ставило, — когда Ольга станет совсем взрослой и уйдет, как говорится, в самостоятельное жизненное плавание и станет все решать за себя сама и сама же нести бремя содеянного и несодеянного, ей будет, по всей видимости, и вовсе непросто жить.

Но до этого было еще далеко.

Чип был еще жив и вполне, казалось, здоров, более того, как уже упоминалось, он опять, после почти двухгодичного перерыва, стал петь.

А бабушка занемогла.

Она держалась долго и стойко.

Ее жизнь была не из самых легких и безоблачных. Даже напротив. Один дед чего стоил — даже до болезни, более того, даже в молодости еще, в лучшую их с бабушкой пору, — дед с его стра-

хами, брюзгливостью, мелким и, в общем, безобидным, но утомительным тиранством, не говоря уж о его приверженности к вину, один дед выпил немало бабушкиной крови.

Ну и прочие тяготы, заботы, неурядицы, а также, как уже упоминалось выше, исторические потрясения и катаклизмы — все это ложилось в первую очередь на слабые бабушкины плечи.

Бабушка слегла.

И, словно чуя беду — а пернатые, как известно, даже землетрясения или, скажем, цунами чувствуют загодя, — Чип вновь перестал петь.

Теперь уже окончательно.

Врачи бабушкину болезнь определяли по-всякому, и почти наверняка каждый из них был по-своему прав: это были хорошие врачи, товарищи матери еще по институту, внимательные, опытные. Некоторые из них в отличие от матери стали профессорами и докторами наук, а один так даже академиком.

На самом же деле бабушка умирала от старости.

Точнее говоря — от усталости: она просто устала жить.

Всем было ясно, что бабушке уже не встать. Даже Чипу — иначе с чего бы ему умолкнуть навсегда именно в эти дни?

Знала это и бабушка. Она тоже умолкла, как и Чип.

Вообще с годами они стали чем-то очень похожи, бабушка и Чип. Мать не в первый раз бросалась спасать бабушкину жизнь. Несколькими годами ранее — уже после дедовой смерти, когда бабушка стала сдавать и стариться, увядать прямо на глазах, — она простудилась, «гуляя» на балконе.

Воспаление легких, к тому же двустороннее, да еще в ее-то возрасте, — не шутка. Мать всю ее исколола уколами, ставила горчичники, грелки, поила чаем с малиной, доставала из-под земли дефицитнейшие лекарства.

Воздух из бабушкиных легких вырывался с трудом, но не с хрипом, а с едва слышным, без жалобы шипением.

Материны друзья-врачи, навещавшие на дому бабушку, прятали глаза и разводили руками — они были уверены, что бабушкины дни сочтены.

И все же мать выходила ее. Это было почти чудо.

Во второй раз чуда ждать было нельзя. Бабушка не болела, она угасала.

И Чип перестал петь.

Когда мать уходила на работу, а Ольга — она уже была студенткой первого курса — на занятия, приезжал дежурить у бабушкиной постели отец. Он на эти часы отменял все занятия в детской спортивной школе и на динамовских кортах на Петровке, сидел у бабушкиного изголовья, давал по часам лекарства, сажал на судно, поил водой из горлышка фаянсового чайника из давно разрозненного кузнецовского сервиза, разговаривал с нею, когда она была в состоянии разговаривать.

Но чаще бабушка впадала в забытие, в рыхлую, бездонную дрему, и тогда-то и было слышно, как вырывается из ее легких воздух с едва слышным шипением.

Бабушка умирала так же тихо, застенчиво и без жалоб, как и жила.

Когда она задремывала, отец уходил в соседнюю, материну или Ольгину, комнату, садился в кресло и пытался читать. Но внимание его было не в состоянии ни на чем закреплиться, из памяти тут же испарялась только что прочитанная страница, и отец просто сидел, глядя невидящими глазами за окно на начинающие невнятно желтеть и краснеть листья разросшихся деревьев — было начало осени, первая половина сентября, — и не столько думал, сколько вразброд, бессвязно и без мысли вспоминал.

А за стеной были бабушка и Чип, оба старые и безмолвные.

Время от времени отец вставал, неслышно отворял дверь в бабушкину комнату, на цыпочках переступал порог и, если бабушка не дремала, видел, как она, неловко повернув голову на высоких подушках, глядит неотрывно снизу вверх на Чипа.

Чип сидел недвижно на жердочке в своей клетке и тоже, только сверху вниз, молча глядел на бабушку.

Словно между ними шел долгий, без слов разговор о самом главном, насущном и теперь уже наверняка неотложном.

Отец так же тихо возвращался в соседнюю комнату, садился в кресло, брал книгу и тут же ронял ее на колени и, уставившись в окно, вспоминал.

Впрочем, это были даже не воспоминания, а бессвязные их обрывки, слабые тени мыслей о том, что было за эти долгие, казалось даже — безначальные годы с ним, с матерью, с бабушкой, с Ольгой и со всеми прочими, кто так или иначе прошел через его и их жизнь, пропав бесследно или оставшись в ней навсегда. А также о том, как скоро все проходит. И еще о том, что из всех людей на земле он более всего задолжал за свою жизнь именно бабушке.

Он знал, что самой бабушке никогда не приходила и не могла прийти в голову мысль о том, что кто-то — дочь ли, внучка, зять, покойный ли муж или тот же Чип — чего-то ей недодал, чего-то самого главного и нужного так ей и не сказал, чем-то не поделился.

Или хотя бы, на худой конец, не помолчал рядом с нею об этом самом главном и неотложном.

Эта маленькая, слабая и тихая женщина, теперь уже старуха, теперь уже не жилец на этом свете, всю свою жизнь не только везла на себе дом, хозяйство, стояние в очередях за хлебом насущным, но была сердцем и душой семьи — и даже тогда, когда семья эта бесповоротно распалась. Более того, именно благодаря ей, никогда и ни во что не вмешивающейся, не лезущей в чужую жизнь, именно благодаря ей эта семья, даже распавшись, каким-то странным, необъяснимым образом продолжала существовать.

И вот — бабушкин век подходит к концу.

Медицина была бессильна.

И даже любовь — тоже.

Едва вздымались, жадно глотая воздух, и опадали легкие, отказали почки, пульс еле-еле прослушивался.

Отец сидел и думал о том, что бабушка всю жизнь отдавала, отдавала, отдавала себя — свою заботу, любовь, тревогу и ненавязчивую нежность — и ничего не только не требовала взамен, но и удивилась бы и смущенно замахала своими тоненькими, кожа да кости, руками с узловатыми пальцами и пожелтевшими обломанными ногтями: не надо! как можно даже подумать об этом?!

В бабушкиной комнате висела большая отцова фотография в старинной деревянной рамке с облупившимся темным лаком. Бабушка не сняла ее со стены и тогда, когда отец разошелся с матерью и ушел из дома. Регина, уже не раз и не два упомянутая выше, бурно возмущалась, проводила с бабушкой долгие и нервические разъяснительные беседы, требовала от матери, чтоб та не сидела сложа руки и не давала себя в обиду, мать тоже устраивала сцены, даже кричала на бабушку и плакала, но бабушка так и не убрала фотографию.

На ней отец был снят в давние свои годы, еще студентом и чемпионом Москвы, вскоре после того, как они с матерью поженились.

Фотограф его снял на корте сразу после победной финальной партии, с ракеткой в руках, разгоряченного, потного, счастливого, с пестрым полотенцем вокруг сильной, молодой шеи. Отец тогда еще носил свою рыжеватую бороду и длинные прямые волосы до

плеч, он их повязывал, чтоб не мешали во время игры, шерстяной ленточкой вокруг лба.

На фотографии, если бы ему дать вместо ракетки в руки топор или, скажем, меч, он был бы похож на древнерусского веселого и бойкого мастерового или ратника.

Потом, когда жизнь пошла размеренной и отмеренной на годы вперед неважкой поступью и в ней не стало уже места для мечтаний о музыке или, на худой конец, о том, чтобы стать первой ракеткой страны и выиграть, скажем, Уимблдонский турнир, он сбрил бороду, остриг волосы и из иконописного воина или мастерового превратился в обыкновенного современного, шестидесятых и семидесятых годов нашего столетия, молодого, потом не очень молодого, а спустя — и погрузневшего, седеющего человека без особых примет.

По обеим сторонам от этой фотографии на бабушкиной стене висели еще две: отец и мать, он — в белой крахмаленной рубашке и при узком, жгутиком, галстуке, она — в платье с подложенными по тогдашней моде ватой плечиками, в день их помолвки; вторая — Ольга восьми или девяти месяцев от роду, впервые вставшая на ножки и крепко вцепившаяся ручонками в край деревянной решетки ее детской кровати, толстощекая, со вздернутым носиком, повязанная цветастым материным платком — «купчиха», называла Ольгу на этой фотографии бабушка.

И — ни одной бабушкиной фотографии, ни одной фотографии покойного деда.

Иногда, входя на цыпочках в комнату умирающей бабушки, отец заставлял ее повернувшейся лицом не к Чипу, а к висящим невысоко на стене этим фотографиям.

Бабушка и с ними вела свой безмолвный разговор о самом насущном и неотложном.

Словно она хотела напоследок что-то такое объяснить дочке, зятю и внучке, наиважнейшее и совершенно необходимое им, чтобы они все наконец поняли, и тогда она со спокойной душой сможет их покинуть.

Бабушке всю жизнь казалось, что она всем чего-то недодала.

Мать вся извелась, хотя и она яснее ясного понимала — она хоть была и косметолог, но все же врач, — что ничем бабушке уже не помочь. Но она бежала сломя голову каждые три часа с работы домой, чтобы сделать вовремя совершенно уже бесполезный укол, измерить давление, сдать на анализ мочу или кровь, напоить и накормить бабушку, сменить ей постельное белье и повязки с мазью — у бабушки пошли по всей спине и ягодицам пролежни.

Именно в эти трудные дни и недели сполна проявилась в матери ее упорная, целеустремленная воля и то, что она называла «чувством долга» и что на самом деле было просто добротой и любовью, которые она, словно бы стесняясь их, прятала за унаследованной от своего отца, Ольгиного деда, безапелляционностью и окриком.

Доброта, долг и воля — именно из этих черт складывался сильный, иногда даже трудный для домашних характер матери.

Правда, свою личную жизнь мать так и не сумела наладить. Очень может быть, что именно благодаря этому своему характеру.

Ольга приходила после трех, а иногда и четырех «пар» из института, после анатомички, лабораторных занятий и физкультуры, как она сама говорила, «без задних ног», кидалась помогать матери, но все делала невпопад, не по-материному, отчего меж ними вспыхивали короткие, но бурные стычки со взаимными упреками, криком и хлопаньем дверьми.

Собственно говоря, Ольгу всегда воспитывала бабушка — матери было недосуг, отец давно жил отдельно. Бабушкино воспитание состояло в том, чтобы снять с внучки какие бы то ни было домашние заботы и дела. Отец и мать настаивали, чтобы Ольга с малолет-

ства сама застилала за собой постель, мыла посуду, убирала свою комнату, а когда она стала постарше — то и стирала всякое мелкое свое белье. Ольга не спорила, но покуда она умывалась утром в ванной, бабушка неизменно успевала застелить ее кровать и приготовить завтрак. А пока Ольга после обеда или ужина хоть на секунду выходила из кухни, бабушка молниеносно перемывала всю грязную посуду. О стирке и уборке комнаты и речи быть не могло, все это бабушка передельывала, пока Ольга была в школе, а мать на работе.

До самой бабушкиной смерти Ольга так и не научилась толком ни готовить, ни стирать, ни шить — все делала бабушка; мать устраивала бабушке по этому поводу сцены, обличала ее в потакании Ольге, в том, что она хочет вырастить из внучки тунеядку и белоручку, и призывала на помощь, как она говорила, авторитет отца.

Бабушка виновато выслушивала все их поучения и пени, беспрекословно со всем соглашалась, но упорно продолжала делать за Ольгу все.

После бабушкиной смерти Ольга всему научилась и все делала охотно и быстро и, моя посуду или стирая, думала с щемящей болью о бабушке.

Все эти два месяца бабушкиной болезни, точнее — бабушкиного умирания, Ольга ходила притихшая, испуганная, и видно было по ней, как она взрослеет день ото дня.

Она очень любила бабушку, но прежде как-то не задумывалась над этим и вообще, как она теперь понимала, печалась и стыдась, мало о бабушке думала. Бабушка — была, как были сама жизнь, дом, детство, небо, лето, весна, зима. Как была она сама, Ольга, и весь необъятный, неизъяснимый мир вокруг. А о том, что ты есть и есть целый мир вокруг тебя, — об этом как-то не думаешь.

А бабушки не стало.

О Чипе в течение этих семи или восьми тяжелых недель попросту забыли. Впервые за все годы его жизни в доме мать и Ольга забывали убирать его клетку, а однажды он двое суток провел впроголодь и даже без свежей воды в блюде.

Но Чип не роптал и не сетовал, он, очень может быть, понимал, что сейчас не до него.

Зная хоть сколько-нибудь Чипа и его биографию, невозможно ставить под сомнение, что он, проживший всю жизнь, если можно так выразиться, бок о бок с бабушкой, более того, живший одной с нею жизнью, а если уж идти до конца, воспитанный и сформировавшийся в нравственном климате этой семьи и наконец ставший, не побоимся этого слова, полноправным ее членом, — можно ли ставить под сомнение, что Чип чувствовал и переживал вместе со всеми беду, постукавшуюся, как говорилось в старину, в двери дома?!

И только тогда мы получим ответ на вопрос, почему Чип именно в это время перестал петь.

Очень может быть, что подобный вывод вызовет нареkania или даже недоверчивую усмешку со стороны ученых-орнитологов. Но Чип любил бабушку, а любовь объясняет многое такое, в чем наука плукает как в трех соснах.

Бабушка умерла.

Был конец сентября, бабье лето никак не кончалось.

Стояли такие ясные, чистые дни, и ночи тоже были прозрачные, словно отлитые из темного стекла, искрящегося вспышками высоких звезд, в полдень так красно и жарко полыхали клены, березы и осины, так молодо-свеж был по утрам воздух, что от счастья и собственной чистоты и легкости, а также от чуть горчащего, как крепкий бабушкин чай, предощущения того, что с недалекими уже дождями вся эта чистота и хрупкость посереет и облетит и что вообще

все так непрочно, хрупко на этом свете,— от всего этого хотелось плакать чистыми же и свежими слезами.

В такой-то день бабушка и умерла.

В отличие от деда ее кремировали — в ограде семейного участка на Преображенском кладбище стало уже тесно.

Урна с прахом занимает гораздо меньше места, чем гроб.

«Прах» — было новое для Ольги слово. Прежде оно встречалось ей лишь в старых книгах или в официальных сообщениях о похоронах государственных деятелей и разных знаменитостей, и оно казалось ей устаревшим и даже чуточку смешным.

А теперь оно стало простым, обыкновенным и потому пугающим.

Кремация прошла как-то тихо, неприметно, и не она запомнилась Ольге, матери и отцу. В автобусе опять поместились все — и родные, и несколько соседей по дому, и единственная оставшаяся в живых давняя, еще со времен коммунальной квартиры на Разгуляе, бабушкина близкая подруга Глафира Васильевна, тоже очень старая, тучная, едва передвигавшаяся на толстых, разбухших ногах в теплых домашних тапочках. Ну, разумеется, и вторая отцова теща.

На следующий же день бабье лето неожиданно оборвалось, грянула слякотная осень, зарядили холодные, наводящие тоску дожди, предать урну земле было нельзя — земля набухла, напиталась водой, могла осесть и даже провалиться в яму, надо было дожидаться весны.

Поминки тоже были тихие, немногочисленные, бабушка и при жизни не любила и даже боялась толчеи, шумного застолья.

Никто в эти дни и не вспомнил, что Чипу забыли задать корм и налить в блюде свежей воды.

Когда все разошлись, мать, Ольга и отец остались втроем. Если не считать Чипа.

За стеной была пустая, теперь уже бывшая бабушкина комната, им было страшно туда входить, и они не знали, как им теперь без бабушки жить и что с ними будет дальше.

Правда, там продолжал жить Чип.

Впрочем, и он вскоре умер.

Запомнился же Ольге, матери и отцу и врезался навсегда в память не день бабушкиной смерти и поминок, а совсем другой день, а именно когда они в мае следующего года захоронили на Преображенском кладбище белую, отлитую из тяжелого алебаstra урну. Этот день пришелся на девятое мая — День Победы.

К тому же так в тот год совпало, что это был и день поминовения усопших.

Когда они приехали на Преображенское, их поразило невообразимое количество народа на кладбище.

Захоронение урны не заняло слишком много времени — отец заранее договорился с кладбищенскими рабочими, как ни странно, в этот день они были, против обыкновения, совершенно трезвые, быстро и споро выкопали яму, врыли в нее цементную кубическую нишу, в которую затем поставили урну, засыпали землей, подровняли холмик, получили свою десятку и заторопились дальше.

Мать и Ольга вывели за ограду мусор, высадили в землю купленные на соседнем Преображенском рынке цветы, вымыли со стиральным порошком прабабкин каменный памятник с отбитым крестом.

Почти у каждой могилы копошились люди, их было в этот день не счесть. И были они какие-то притихшие, спокойные, доброжелательные, охотно одалживали друг другу лопату, веник, банку с серебряной или бронзовой краской.

Стояла солнечная, непривычно теплая для начала московского мая погода, уже застенчиво зеленели первые листочки, полезла из жирной кладбищенской земли первая трава.

И все это вместе было похоже на радостный и, несмотря на как бы разлитую в воздухе и отражавшуюся на лицах людей покойную печаль, светлый праздник.

Управившись с бабушкиной могилой, отец, мать и Ольга пошли к центру кладбища, к братским могилам и Вечному огню.

На улочках-аллеях было не протолкаться, над головой не жарко сияло весеннее солнце.

Ближе к Вечному огню народу стало еще больше.

На братских могилах — на могилах безымянных солдат, многие из которых были наверняка не москвичами, а сибиряками, казаками, украинцами или кавказцами и у которых не могло быть в Москве родственников и близких, — на этих могилах тоже лежали цветы.

В покойной, светлой тишине стоял какой-то едва уловимый ухом, нежный и дальний не то звон, не то мелодичное серебряное позвякивание. Он стоял еле слышной, ускользающей, но неизменной нотой в густо-солнечном воздухе, и было неясно, откуда он доносится.

Вечный огонь горел на покато, со срезанной вершиной постаменте из темно-красного гранита над главной братской могилой. Пламя то вскидывалось красным и желтым, то становилось в ярком солнечном свете прозрачным и исчезало из глаз.

Серебристый легкий звон стоял в воздухе оттого, что люди, проходившие к Вечному огню или проходившие мимо, бросали на гранитный цоколь серебряные и медные денежки, они ударялись с певучим, долго не гаснущим звуком о полированный камень и скатывались вниз, к широкому основанию. Вся земля вокруг Вечного огня была в белых и желтых кружочках монет.

Никому, даже бойким преображенским, сокольническим и черкизовским мальчишкам не приходило в голову поднять монетку и прикарманить ее.

Монеты блестели на солнце, и, может быть, от этого их блеска наворачивались на глаза слезы.

Негромкий, нежный звон плыл над головами, и было похоже, будто тысячи маленьких серебряных колоколов благовестят вразнобой.

Они долго стояли втроем у Вечного огня, мать держала Ольгу за руку, и Ольга чувствовала, какая у нее горячая, напряженная рука. Отец обнял ее за плечи — Ольга сильно выросла за последний год-два, просто-таки вымахала, переросла мать и почти сравнялась с отцом.

Справа, и слева, и сзади, и спереди молча стояли десятки и сотни людей, не сетуя на толчею, не проталкиваясь вперед и никуда не торопясь.

Очень может быть, что это был первый и единственный такой светлый и чистый праздник во всей бабушкиной жизни. Пусть это даже и произошло после ее смерти и она ничего этого не увидела.

Потом они, не переговариваясь и не обмениваясь впечатлениями, поехали с Преображенки домой, точнее к матери и Ольге на Ямское поле, на отцовых «Жигулях» цвета «коррида». Отец молчал и думал о том, что, когда он умрет и уйдет в землю, ему больше всего на свете хотелось бы слышать хоть изредка, хоть раз в году над своей могилой этот нежный, хрупкий звон.

Мать и Ольга тоже молчали.

Ольге казалось, что она открыла сегодня в себе и в людях новый, совершенно неведомый ей до сих пор мир. И она надеялась всей душой, что сегодняшнего дня ей хватит на всю жизнь.

А мать вдруг вспомнила старое, давным-давно забытое слово: «вечность».

Не в мистическом, конечно же, смысле. В философском, если угодно.

Впрочем, философия — это от ума, это работа и плод выверенного, бесстрастного разума. Философия тут ни при чем.

Чип весь этот день провел дома в полном одиночестве. Теперь он уже не страдал даже от него — он стал слишком стар и для этого.

В философском опять же смысле, в данном случае как раз вполне уместном, старость — это и есть, может быть, окончательный и бесповоротный уход в одиночество. Или, по крайней мере, привычка к нему. Точнее даже — потребность в нем. Наверное, так нам легче подготовиться к одиночеству смерти, свыкнуться с мыслью о ней.

Единственным человеком в семье — хотя это и слишком сильно сказано, точнее было бы: единственным близким семье человеком, — который продолжал испытывать к Чипу повышенный интерес и всякий раз, приходя в гости, ждал и даже понукал Чипа вновь запеть, как то и подобало, на ее взгляд, уважающему себя канару, была вторая отцова теща, мать его уехавшей со скрипачом второй, и теперь уже, соответственно, бывшей, жены. Она еще надеялась услышать Чипово пение.

Дело в том, что прежде — так уж сложилась ее жизнь — она ни разу не слышала канареечного пения.

Но Чип молчал.

Он уже никак не походил на андерсеновского соловья, выкованного из червонного золота, с изумрудами или рубинами вместо глаз и с волшебным музыкальным механизмом внутри, он стал похож скорее на больного желтухой старого, печального воробья.

Он был уже не броско-лимонного цвета, перья и особенно пух на груди и брюшке поседели и стали всего лишь неопределенно охристы. Голова его и вовсе облысела, и глаза уже не глядели на мир веселыми бусинками, а словно бы затянулись полупрозрачной тусклой пленкой.

Теперь Чип большую часть дня сидел отрешенно на жердочке, вцепившись в нее из последних, убывающих сил единственной своей здоровой лапкой и поджавши под себя увечную, и дремал или, очень может быть, уходил в себя и в воспоминания о своей пусть и прожитой в неволе, в клетке, но все же такой дивной и такой некогда безбрежной жизни.

Иногда он в этой своей полудреме не удерживался на жердочке и сваливался вниз, на дно клетки. Но и больно ударившись, он не жаловался и не пенял на судьбу.

Каким бы это запоздалым парадоксом ни показалось стороннему наблюдателю или даже самому хронисту и жизнеописателю, именно теперь Ольга вновь, как двенадцать лет назад, полюбила Чипа.

Очень может быть, она просто созрела для любви вообще.

Теперь уже она вместо отца ездила за конопляным семенем или канареечной смесью на Кузнецкий и Арбат, меняла Чипу воду в блюде и бумажную подстилку на дне клетки.

Ей даже казалось, что она — как когда-то бабушка пение Чипа — понимает его молчание.

Когда она глядела на престарелого, безмолвного Чипа, на Ольгу накатывала печаль.

Впрочем, это была странная печаль — в ней было больше томительной, изматывающей надежды, больше ожидания неведомо чего, чем горечи и сожалений. Это была даже, можно сказать, вовсе и не печаль, а то, что в старину называлось томление духа.

А может быть, и плоти.

Ей было уже девятнадцать лет, она училась на втором курсе медицинского, была мечтательна, прямодушна и преисполнена нетерпения, а любви — не было.

У нее до сих пор не было ни одного мальчика. Она ни разу не влюблялась, и в нее тоже никто еще не был влюблен.

Душа ее и сердце томилась. Ей казалось, что она уже отчаялась ждать.

Собственно говоря, Ольга была уже не только готова к любви и для любви, но и — любила. Вот только предмет этой любви пока отсутствовал.

Иногда Ольгу даже охватывало смятение. Ей казалось, что любви уже не дожидаться, что все уже позади и впереди ничего ее не ждет. Довольно распространенный, чтоб не сказать — типичный случай, если иметь в виду ее девятнадцать лет.

Когда Ольгино смятение и, не побоимся этого слова, испуг перед будущим подступали к горлу и требовали выхода, сочувствия или хотя бы простого понимания, отец и мать переводили все в шутку и, как в подобных случаях поступают все родители, позабыв о собственной томительной жажде любви в их девятнадцать лет, утешали ее стертymi и мало обнадеживающими сентенциями вроде «все впереди», «куда ты торопишься», «все в свое время» и так далее и тому подобное.

У взрослых вообще наблюдается нечто вроде аберрации памяти, или, точнее, притупления уставшего, чтоб не сказать — оглохшего от грохота и торопливости жизни слуха на молодое, нетерпеливое сердце.

Красивой в полном смысле слова Ольгу, очень может быть, и нельзя было назвать, но выросла она тоненькой, высокой, на длинных, по моде, ногах, с едва выступающей, по той же неумолимой моде, грудью, а талия у нее была такая, что отец своими большими, сильными ладонями теннисиста почти мог ее обхватить.

У нее были большие, совсем как у матери и у бабушки, но только еще больше и лучистее серые глаза. Даже не серые, а какие-то дымчато-синие, в мелких серебряных брызгах, или, точнее, искорках. А волосы были в отца — густые, пепельные, с совершенно бронзовым отливом. Она их носила по конским хвостом, то рассыпала тяжелой, плотной волной по плечам, но отец больше всего любил, когда она собирала их в тугой узел на затылке. Тогда становилась видна ее высокая нежно-юная шея и, когда она ходила в летних открытых сарафанах на бретельках, покатые, округлые и вместе трогательно еще детские плечи.

Отец вообще любил ее без памяти, а теперь, когда от него ушла вторая его жена и он остался, собственно говоря, совершенно один, Ольга стала его единственной, если уместно это выражение, страстью.

Ольга тоже его очень любила и страдала, когда он — ей для этого не нужны были его слова — казался самому себе обойденным судьбой.

Но вслух они об этом меж собой никогда не говорили.

Она и с матерью далеко не всем делилась. Мать была менее, чем отец и сама Ольга, склонна к рефлексированию. Очень может быть, у нее попросту не хватало на это ни времени, ни сил.

Отец считал, что Ольге надо специализироваться по психиатрии. Мать же была категорически против — она знала, что такое работа врача вообще, а психиатра особенно, сколько на это нужно физических сил, самоотвержения и терпеливости.

Она хотела, чтобы Ольга пошла по ее стопам и стала косметологом.

Но окончательное решение вопроса насчет будущей специальности оставалось за Ольгой. Иногда, глядя на дряхлеющего на глазах Чипа и на его подогнутую под брюшко вечную ногу, Ольге приходила мысль стать ветеринаром и лечить птиц.

Чип меж тем угасал, как еще совсем недавно угасала и бабушка.

Временами Ольге казалось, что Чип и бабушка как бы слились в одно и что новая, вспыхнувшая в ней именно после смерти бабушки любовь к Чипу — это просто-напросто недоданная, не израсходованная при жизни бабушки нежность и жалость к ней.

Она любила и жалела Чипа, кроме всего прочего, и из какого-то неотступного чувства вины перед бабушкой.

Любовь к Ольге пришла совершенно внезапно, когда она, вконец отчаявшись ее дождаться, готова была махнуть на себя рукой и, за неимением лучшего, заняться всерьез наукой.

Он ездил на мотоцикле.

При этом он был виолончелистом и учился в том самом Институте имени Гнесиных, в котором учился — точнее, недоучился — отец.

Мотоцикл был без коляски, — так вот, он придумал и сконструировал хитроумное приспособление, позволяющее приторачивать виолончель вдоль мотоцикла справа.

У него вообще были, сверх, разумеется, музыкальных, еще и разнообразнейшие технические задатки. Например, он сделал для Ольги параллельный телефон — до этого телефон существовал только в материной комнате, и Ольге приходилось бежать сломя голову на каждый звонок, и часто она добежала, когда в трубке раздавались уже ехидные гудочки отбоя, — так вот, он установил в Ольгиной комнате самодельный аппарат, состоящий из одной трубки с приделанным к ней диском с цифрами, очень похожий на полевую рацию.

Его чуть ли не каждый день останавливали и штрафовали гаишники: притороченная к мотоциклу виолончель никак не предусматривалась правилами уличного движения.

К тому же он всегда повсюду опаздывал и превышал скорость.

А вообще он был высоченный и до чрезвычайности тощий, чуть надменный и немногословный мальчик хрупкого и даже несколько женственного склада. Это впечатление усугублялось тем, что на его смугло-бледном лице под густой и рассыпающейся на обе стороны копной черных волос постоянно лежала розовая, почти прозрачная, как бы девичья тень румянца.

Только руки — крупные, широкие ладони, длинные, сильные пальцы — были мужские и, казалось, принадлежали не юноше, а совершенно взрослому человеку.

Когда они впервые встретились, Ольга не только не запомнила, но просто даже и не успела разглядеть его лицо.

Она, как всегда, опаздывала на занятия и, стоя на остановке восемьдесят второго автобуса на улице Правды, голосовала безнадежно вытянутой рукой. Но машины — и такси и леваки — проносились мимо, не обращая на нее никакого внимания.

И когда около нее резко, с каким-то истерическим визгом притормозил мотоцикл (в тот первый раз без притороченной к нему виолончели; потом-то они претотлично приспособились ездить втроем: он, Ольга и виолончель) и некто в защитном шлеме и очках во все лицо сказал традиционное в подобных случаях: «Вам куда?» — Ольга в полнейшем цейтноте взобралась на заднее сиденье и, обхватив за талию спасителя-мотоциклиста, помчалась с ним на адски тарахтящей машине, предназначенной, как заметила впоследствии мать, больше для самоубийства, чем для безопасного передвижения, сначала по Ленинградскому проспекту, потом по улице Горького (по Тверской, как бы непременно уточнила покойная бабушка), по Садовому кольцу до Зубовской и — направо, к своему Второму медицинскому.

В тот день она впервые села на мотоцикл.

Ей это пришлось по душе.

Когда он домчал ее до института, она едва удосужилась бросить ему на ходу «спасибо».

Даже если бы она и обернулась, то лица его все равно бы не увидела — он так и не снял очки и шлем.

Но у нее и обернуться-то не было времени. Точнее, ей это и не пришло в голову.

За весь день она ни разу о нем не вспомнила — ни сидя на лек-

циях, ни на лабораторных, ни к вечеру, когда, совершенно выдохшаяся и измотанная, вышла из института.

Однако самое необъяснимое во всей этой истории заключается в том, что, не вспомнив о нем ни разу за весь день, Ольга ничуть не удивилась и даже сразу, без малейших колебаний узнала его, когда, выйдя из института, обнаружила, что он ее ждет на том самом месте, куда доставил утром.

Она ждала любви, и вот та явилась — что ж тут удивительного?!

Она удивилась лишь его лицу, когда увидела его без очков: ей показалось, что именно его — с этим его лицом, с этими рассыпавшимися на обе стороны прямыми черными волосами и с этим смугло-розовым, словно бы светящимся изнутри румянцем, с его, наконец, мотоциклом и виолончелью, — одним словом, что именно его-то она и ждала.

Вот это-то полнейшее, как ей теперь казалось и в чем она мгновенно, но раз и навсегда, на веки веков уверилась, совпадение ее ожиданий с нежданно нагрянувшей реальностью ее и поразило — и только.

К тому же, как выяснилось, его звали Глеб, и это имя ей тоже показалось давно знакомым, полным некоего тайного, устойчивого значения, другого имени у него и не могло быть.

Случилось так, что в тот же день к вечеру, когда заходящее городское солнце неспешно изливалось на прощание на Москву-реку, на Нескучный сад на противоположном берегу и на притихшую после часа пик Фрунзенскую набережную, отец ехал на своих «Жигулях» цвета «коррида» на лужниковские корты. Он ехал по широкой пустой набережной и думал бог весть о чем.

И когда навстречу ему на строжайше наказуемой правилами дорожного движения вплоть до лишения водительских прав скорости — навстречу ему и мимо него — пронесся бешеный мотоцикл с двумя седоками, в этот короткий, почти иллюзорный миг, когда мотоцикл и «Жигули» поравнялись и умчались в противоположные стороны, отец успел увидеть и запечатлеть, как на моментальном снимке, в памяти смуглое, сосредоточенное и даже чуть нахмуренное от напряжения и ответственности лицо парня в шлеме за рулем, а из-за его плеча, прижавшись подбородком к этому плечу и всем телом — к спине парня, которого она тесно обхватила руками за талию, счастливое и чуть испуганное, испуганно-счастливое от бешеной этой скорости и тугого ветра лицо девушки с разметанными, летящими как бы отдельно от нее пепельно-бронзовыми волосами.

И в то же мгновение отец безошибочно, до острой и сладкой боли, сжавшей безжалостной рукой его сердце, узнал в этой девушке с разметанными волосами — не свою дочь, нет, а свою собственную юность, свою первую, с такими же испуганно-счастливыми глазами любовь, а в парне — самого себя, того давнего, с рыжеватой бородкой и длинными, по плечи, волосами, повязанными вокруг лба шерстяной ленточкой, что делало его похожим не то на бойкого мастера, не то на древнерусского ратника.

Хотя, собственно говоря, у отца никогда, ни в юности, ни после, не было мотоцикла и он никогда не мчался на нем с недозволенной скоростью с девушкой, всем телом тесно прижавшейся к нему и с разметанными по ветру волосами.

Единственно о чем он успел подумать в этот краткий, мгновенно умчавшийся в прошлое миг, это о том, что парень превышает скорость, а это рано или поздно добром не кончится, и что первый же гаишник оштрафует его и за скорость и за то, что на девушке не было шлема.

Это он подумал, а всему остальному — молодости, скорости, бестрашию и испуганно-счастливым глазам девушки — всего лишь успел **возавидовать.**

Хотя, как уже упоминалось выше, он был по природе совершенно не завистлив.

А на следующий день умер Чип. Точнее, той же ночью.

Утром мать вошла в бывшую бабушкину комнату и увидела, что Чип лежит на дне клетки на спине, лапками кверху.

Он умер, конечно же, от старости, но всем — отцу, матери, Ольге и даже не менее их печалившейся по этому поводу второй отцовой теще — пришло в голову, что умер он потому, что все написанное ему на роду и приговоренное судьбою прожить, увидеть, быть свидетелем или даже, не побоимся опять этого слова, участником, — все это имело место и осуществилось, и теперь он был вправе с чистой совестью и чувством исполненного долга, от которого он никогда не уклонялся, тоже уйти.

Чип пел, пока пелось, и о том, о чем пела его душа, и ни разу не сфальшивил. И умолк он тогда, когда петь ему стало больше не о чем.

Он имел полное право уйти.

Чипа уложили в картонную коробку — это с ним, как упоминалось выше, уже однажды было, — выложенную изнутри ватой, и на белизне ваты он опять казался празднично-желт и вновь стал похож на кованный из червонного золота андерсеновского соловья с теперь уже навсегда сломанным музыкальным механизмом в грудке.

Похоронили его за городом, в лесу, на двадцать третьем километре Минского шоссе. Поехали четвером — отец, мать и Ольга на отцовых «Жигулях» цвета «коррида», а сзади на своем мотоцикле с притороченной сбоку виолончелью — Глеб.

Был конец мая, лес уже зеленел распаханто и просторно, невдалеке пел первый майский соловей — живой, не андерсеновский.

Пока хоронили Чипа, Глеб стоял чуть поодаль, в стороне и не мешал им.

Когда яма была вырыта, коробку с мертвым Чипом положили на дно, Ольга засыпала ее землей, потом старой, тускло-бронзовой, как и Ольгины волосы, хвоей.

Они постояли втроем — отец, мать и Ольга — молча, думая каждый о своем.

Но им так только казалось — что каждый о своем, на самом деле они думали об одном и том же.

Потом они пошли к машине, а Глеб к своему мотоциклу, и поехали обратно, в Москву.

Думали же они о том, что вот — кончилась одна жизнь и надо начинать другую.

В том смысле, что надо жить.

Но об этом — ниже.



ИЗ ЛИТЕРАТУРНОГО НАСЛЕДИЯ

СЕРГЕЙ НАРОВЧАТОВ

★

«СТИХОВ ПИШУ МАЛО — НАСТУПЛЕНИЕ БЫЛО»

Прости меня, мама! С тех давних пор,
Как с тобой обнялись в расставанье мы,
Я судьбам своим и чужим вперекор
Не утешился расстояниями.

Ни дорогами, ни раздорожьями,
Ни путями не шел осторожными
И не бросил, о боли увечась,
Ни азартов своих, ни абречеств.

Но беды не взяли во мне ни аза,
Не с того ли, что, трудно мне, грустно ли,
Надо мною вполнеба твои глаза,
Путеводные, светят без устали.

Сентябрь 1943 г.

Эти стихи, которые так и называются — «Маме», — одно из множества писем Сергея Сергеевича Наровчатова с фронта. Мать бережно хранила их почти сорок лет — всю пачку в сереньких дешевых конвертах с неизменным адресом: «Москва, Центр, ул. Мархлевского, д. 19/4, кв. 15. Наровчатовой Лидии Яковлевне». И обратный адрес: «Полевая почта 57872-А. С. Наровчатов». Подготовить публикацию сама она не успела — Лидия Яковлевна всего на несколько месяцев пережила сына. Письма передала нам дочь Сергея Сергеевича, Ольга Сергеевна Наровчатова. Мы выбрали для публикации часть писем 1944—1945 победных годов.

Во всех автобиографиях Наровчатов писал: «Военные годы — самые емкие и наполненные в моей жизни... На войне я сформировался и как человек, и как поэт». И в сознании читателей Сергей Наровчатов остался прежде всего поэтом славной плеяды фронтового поэтического братства. При всем разнообразии и значительности своей последующей деятельности он до конца остался верен главной теме своей жизни — перечитайте последнюю его поэму «Фронтальная радуга».

Письма с фронта, которые мы публикуем, — свидетельство формирования личности. Молодой офицер, за плечами которого уже была война с белофиннами, прошел с полной выкладкой всю Отечественную — с самого начала до самого конца. В его лирике 1941—1945 годов, которую он неизменно включал во все свои сборники, живость и непосредственность впечатлений, гражданственность и порывистость чувства сочетаются с нетерпеливым желанием проникнуть в ход истории. Впоследствии стремление сомкнуть «обе полы времени» — настоящее и прошлое России — станет ведущим в его творчестве. Но и в письмах с фронта вы почувствуете неистребимую любознательность молодого Наровчатова, уважительный интерес к содержанию жизни других народов, бешеную его работоспособность, ощутите ту волну патриотического подъема, без которого, пожалуй, просто не состоялась бы эта личность.

Почувствуете вы и то, как он молод. Не потому только, что в одном из писем он сообщает о своем двадцатипятилетии, но и в желании покрасоваться перед близкими («Я сам король, будь хоть одет в рубище из рубищ, и на известное время с меня хва-

тит сознания того, что я пишу хорошие стихи и буду их писать», — из письма от 6 декабря 1944 года), в напористой энергии своих рассказов, в пылкости и непримиримости чувств и привязанностей. Духовная связь его с матерью, с отцом, со всем, что олицетворяет отчий дом, звучит в письмах юношески откровенно. Вот письмо к отцу, Сергею Николаевичу Наровчатову:

«22.III.42.

«Дорогой папа!

2 апреля день твоего рождения — тебе исполняется 58 лет — это немало — за этот срок ты успел очень многое увидеть и многое пережить, но если бы с нами, смотря мимо лиц наших, разговаривал незнакомый человек — он решил бы, что мы с тобой ровесники!

Не все складывалось удачно в твоей жизни — но главная твоя удача в том, что ты остался верен себе, а этим не все могут похвастать в твои годы. И поэтому ты молод, отец. Я бы хотел дожить до твоих лет с тем запасом энергии, который тебя отличает.

Я бы во многом хотел походить на тебя...

Я бы хотел заимствовать у тебя удивительную способность интересоваться самыми различными вещами, быть так же влюбленным в знание, как ты. Я бы хотел пережить все твое энтузиастское, с чем ты так хорошо и прямо смотришь жизни в глаза.

Я бы хотел быть добрым, как ты, но теперь это уже вряд ли получится... Моя молодость замешена на крутых дрожжах. Я пережил уже около тысячи людей — друзей и врагов — бывших примерно в равных условиях со мной. Как понимаешь, это не так-то просто получалось... Я родился с ясной головой и я многое понимал... После финского похода я стал готовить себя к следующей, уже Большой войне... Я не опущу голову ни перед кем и ни перед чем. У меня много дурных привычек, и вряд ли когда-нибудь я полностью освобожусь от них — но все же, надеюсь, хорошие качества во мне перевешивают дурные. Этим я на 75/100 обязан тебе и маме, на 20/100 встретившимся мне хорошим людям на пути и на 5/100 — себе самому.

Ты мне многое дал — все-таки я видел всегда перед глазами хорошего человека — а этого удобства на дому, понимая Дом шире, чем обычную квартиру, многие лишены.

За все хорошее — а плохого я от тебя не видел, не знал, да я не ожидал никогда — спасибо!..»

Публикуемые письма — живой голос трудных и прекрасных победных дней, голос поэта, которому многое удалось сказать о своем поколении.

Д. ТЕВЕКЕЛЯН.

3.II.44.

Моя родная мама!

Прости молчание. Не писал с 20-го числа. Все время в походе — стремительном и безостановочном. Славянская речь, ставшая привычной Польша — далеко позади, воюем в Германии. Мы все-таки пришли на эту проклятую землю...

Все чертовски интересно. Мы прошли насквозь цитадель немецких захватчиков и разорили и сожгли гнездо наиболее махрового пруссачества. Ты не представляешь, что это такое, все рассказы бледнеют перед тем, что я увидел здесь. Во-первых — это гигантское рабовладельческое поместье. Не говоря о помещиках, каждый крестьянин-немец имел у себя от 5 до 20 иностранных рабов, работавших на него с утра до ночи ни за понюх табаку. Я встречал здесь и поляков, и французов, и чехов, и итальянцев, и больше всего наших русских. На какую-нибудь тупую скотину — немецкого кулака, самодовольного и мелочного, работали учитель из Курска, капитан французской армии, студентка Пражского университета и девушка из Мелитополя, мечтавшая стать инженером (эту картину я застал в одной деревне, где сами же бывшие рабы повесили негодяя, эксплуатировавшего их 3 года, на воротах его же дома). Здесь собрана вся Европа — мимо полыхаю-

щих немецких домов возвращаются вольные толпы бывших невольников. «Куда идешь?» — спросил я одного француза, остановив его на дороге. «К де Голлю!» «А ты куда?» — спросил я девушку-украинку. «До Черниговщины!» Меня поразил возок, запряженный по русскому давнему обычаю тройкой лошадей. В нем сидели две русские девушки. На одной был соболий палантин, цветной платок, бобровая муфта на руках. Простое русское круглое лицо. Я подошел. «Кто ты?» «Настя из-под Новгорода». «Откуда у тебя все это?» «Бойцы подарили, езжай, говорят, царицей до самого Ильменя». И вправду — и при мне к ней подходили солдаты, расспрашивали, сочувствовали (она сломала ногу у немцев на работе), каждый одарял ее, чем мог и хотел, а потом желал счастливого пути. Это было олицетворением освобождения наших невольников, светлым символом возвращения на Родину.

У помещиков работали уже не десятки, а сотни рабов. Я был в усадьбе фельдмаршала фон Бока, потом побывал в поместье фон Паулюса. Это средневековые замки с портретами предков, с шкафами, полными хрустала, со стенами, убранными тканями, с оленьими рогами над каждой дверью. И во всем — отвратительный, давящий дух пруссачества — чинного и жестокого, самодовольного и наглого. Нет, они никогда не ожидали, что мы придем сюда. Но мы пришли, чтоб навек вытравить этот яд, чтобы никогда уже они отсюда не смогли напасть на нас.

Немцы отступают, яростно сопротивляясь, бои идут жестокие. Но мы идем вперед, и каждый километр пути приближает нас к концу войны. Впереди еще центральная Германия, ее север, где мы наверняка побываем раньше своих медлительных союзников...

6.II.44.

...Два дня назад послал большое письмо. Рассказывал о нашем походе, о встречах, о виденном. Расскажу и о менее интересном, о бытовом, о повседневном. Как мы живем? Немцы умели пожрать и имели что пожрать — ограбили всю Европу. Нет того, что бы можно было захотеть из еды и чего нельзя было бы достать, не прилагая к тому малейшего усилия. Понимаешь?!

Более подробно мне было бы противно описывать. Я не фриц, который весь поход на Россию рассматривал как поход за жратвой и выпивкой. У нас более серьезные задачи, и более серьезные вещи мы имеем в виду. Трофеев до черта. Но только плевать я на них хотел.

Риска достаточно. Не только на передовой, но и в тылу. Страна врагов. И поэтому надо быть настороже. Наган всегда в руках или в головах, ежели сплю. Счастлив, что привелось участвовать в этих битвах. Мне, воюющему с 41 года, особенно радостно видеть позор и разгром своих врагов. Я вспоминаю им осеннюю Москву, Брянск, Ленинград, ораниенбаумский пяточок.

Бок о бок со мной действует и мятется Мишка Луконин. Хочу встретиться. Уже видел людей, встречающих его повседневно. Все говорят о его обаянии, смелости, таланте. Послал ему записку — авось дойдет.

Я все время в передовых частях. Перерывы в письмах из-за этого. Буду слать оттуда...

18.VIII.44.

...Сегодня я отправился в командировку. Вместе со Славентантом и Вайцем (фотокорреспондент) — в тыл. Весь день бродили по лесу — говорили с народом, делаем полосу к годовщине блокады Ленинграда. Мы записываем, Вайц снимает. Погода с утра стояла скверная — моросил дождь, лес здесь заболоченный, ноги вязнут в мшистом болоте. К вечеру погода прояснилась — выглянуло солнце. Лес сразу стал веселее. Поляны поросли брусникой. Паслись на приволье, пока оскомину на зубах не набили. Ночью я у артиллеристов. В землянке

с парторгом. По фронтовым условиям — прилично, тепло, просторно (я, он, ординарец), коптилка, стол, покрытый газетой. После Москвы — странно. Отвык я уже от этого. Спать придется не раздеваясь — подстилка на топчане застелена плащ-палаткой. Настроение хорошее — оно не покидает меня все время. Вечером в клубе — кинопередвижка. Показывали «Миссию в Москву». Занятная вещь. Глазами американцев поглядеть на свою страну. Только никто не похож. И Таня Литвинова, занимающая в фильме видное место, очень разнится от живой, с которой я познакомился у Эренбурга. Завтра возвращаемся в редакцию — они уже перебрались на новое место, придется разыскивать. Здоровье в порядке. Об этом не беспокойся...

30.VIII.44.

...Статью Симонова мне прислали из Ленинграда. Это то, что было мне нужно. Суть не в том, о ком в ней больше говорится — обо мне или Мишке Луконине, а суть в выводах и тенденции. Симонов с лихвой выполнил свое обещание. Во всеуслышание он ставит вопрос о выезде в Москву на творч. конференцию, о членстве в ССП и о сборнике. Кроме того, о нас говорится как о реальной силе, представляющей новое поэтическое поколение. Если принять во внимание то, что статья инспирирована сверху — значение ее усиливается. «Литература и искусство» не щедра на такие статьи — это первое официальное слово. Меня не интересуют ни комплименты, ни оговорки — не это главное. (Кстати, «Пропавшие без вести» напечатаны целиком — я не ожидал этого.)...

27.IX.44.

Дорогая мамочка!

Экзотические бумага и конверт — память Прибалтики. Из газет ты уже знаешь, что эти дни у нас шли победные бои. Мы получили три благодарности Верховного Главнокомандующего — этот поход был проведен блистательно. Через неделю наступления мы сбросили немцев в море и утвердились по всей стране. Все это время шел с наступающими частями и лишь вчера, после 10-дневного отсутствия, возвратился в редакцию. Эта неделя была, пожалуй, самой счастливой из всех подобных недель войны. Труден был очень первый день боев, когда мы прорывали укрепленную полосу немцев. Потом мы не слезали с машин, преследуя поспешно отступавшего врага. Я ехал на разведывательной машине передовой части — это была фантазмагория. Мы первыми врывались в города, пробыв там несколько часов, мчались дальше. Места здесь удивительно красивые и не тронутые войной. Города совершенно не похожи на наши — узкие улицы, дома с готическими крышами, крытые черепицей, чистота ослепительная. Женщины — европейского склада, светлые волосы, голубые глаза. Встречали нас с цветами — и, право, это было очень хорошо. По-русски здесь мало кто разговаривает, по-немецки еще кое-как. Деревень, как мы привыкли их понимать, нет — хутора в один-два дома, связанные желтыми лентами дорог. Крестьяне в шляпах и сюртуках, разъезжают на велосипедах, вид городской... Сейчас бои кончились, весь край очищен от немцев, и у них снова начинается мирная жизнь. Находимся мы очень далеко от места первоначальной стоянки и еще дальше от того места, куда я выезжал, возвращаясь из Москвы. Выгляжу я хорошо — волосы мало-помалу начали отрастать — я писал уже тебе, что побрился наголо. Получил письма от Михаила — он на прежнем месте, и все у него в порядке — и от Платона Воронько — он получил еще орден и медаль, принят в члены ССП, работает в Киеве, все складывается у него как нельзя лучше.

Огорчен, что ты **медленно** поправляешься. Все мои **мысли** с тобой, моя **родная мамочка**, и ты все время была рядом во время последних

боев и скитаний. Я верю в нашу скорую встречу — мы снова будем вместе и все у нас будет хорошо.

Крепко и много целую тебя, моя ненаглядная. Спасибо за ласковые письма — они мне дороже всего и с ними легче жить и воевать.

Выздоровливай скорее. Счастья тебе и спокойного сердца.

Всегда твой

Сереза.

Целую папу и Оленьку.

2.X.44.

...Я долго не получал твоих писем — мы оторвались от почты, и лишь сегодня мне передали два твоих письма, письмо отца и письмо Львова, которое ты мне переслала. О блистательном нашем походе я уже писал тебе подробно в прошлом письме. Это, пожалуй, самая яркая и счастливая страница во всей моей военной жизни. Были и опасности, и скачка верст, и вино, и поцелуи, и цветы, и неожиданности, и новые места, не похожие ни на что, ранее виданное. Я ничего не писал о своей работе, но об этом тоже стоит сказать несколько слов. Работали много и продуктивно. Меня послал редактор старшим бригады. Работу редакции оценили как отличную, а работу нашей бригады как лучшую в редакции. Хвалили нас на партсобрании. Работали и верно не за страх, а за совесть — случалось и ходить в разведку, и отстреливаться, и первыми входить в города. Настроение сейчас великолепное — и дела хороши, и вокруг хорошо. На дворе, так же как у вас, золотая осень. Воздух синий и прозрачный, листья багровеют ковром под ногами и левитановскими полотнами над головой... стоим пока в тылу, в городе своеобразном и необычайном для русского глаза. Но воевать еще, верно, будем — надо добить зверя в его берлоге. Чувствую себя хорошо. Обриться я уже обрился чуть не месяц назад наголо. Курю втрое меньше, чем прежде. Стихов пишу мало — наступление было. Теперь снова возьмусь. Рад, что ты поправляешься, но дай бог это произошло бы поскорей и накрепко...

5.X.44.

Мама, родная и хорошая моя!

Позавчера был мой день рождения. 25 лет... В этот день меня наградили орденом Красной Звезды и присвоили капитанское звание. Просто здорово! Утром меня вызвал редактор и трижды поздравил — с именнами, с орденом и со званием. А потом отпустил меня на целый день — «празднуй!..»

18.X.44.

Родные мои!

Побывал уже в Латвии и Литве. Из Вильнюса и Двинска отправил вам открытки. Сейчас двигаюсь дальше. Буду писать из Польши — до нее здесь подать рукой. Жив, здоров, настроение хорошее...

26.X.44.

Моя родная мама!

Заранее поздравляю с праздником 7 ноября.

Жизнь идет необычайным чередом — о непохожести ее на нашу я уже писал тебе. За эти дни я перевидал еще много интересного, ездил в командировку, и впечатлений было хоть отбавляй. В городе шумно илюдно; хоть он и вдвое меньше городов Эстонии, в которых мне случалось бывать, но жизнь здесь бойчее и откровеннее. Едва ли не в каждом доме — лавка или лавчонка. За прилавком стоит пан торговец или пани хозяйка и «прошу, пан...». Каждая лавка одновременно и закусовая — продают и самогон, и молоко, и белый хлеб, и пирожные, и разную снедь. Тут же и галантерея, и часы, и жакеты, и разная всячи-

на. Народ разговорчивый, охотно отвечают и поддерживают беседы. Говорили мы с людьми самых различных классов и сословий. Все поляки. Евреев немцы здесь вырезали до единого, как и по всей стране. Ночь заставила нас постучаться в дверь одного дома, нам открыли и предложили ночлег. Хозяин оказался мелким торговцем. Наше пребывание оказалось ему выгодным — мы поужинали, накупив снеди в его же лавчонке. Он много рассказывал о притеснениях немцев — в ненависти к ним сходятся здесь все от мала до велика. Все, с кем я разговаривал, производят впечатление одержимых идеей восстановления польского государства. Пожилой аптекарь, окончивший фармацевтический фак. в Варшаве и объездивший всю Европу, просто трясся, когда рассказывал, что он должен был кланяться в пояс немецкой солдатне. О Майданеке он говорил со слезами на глазах — это страшное место стало нарицательным для немецкого господства. Особо гордятся поляки тем, что среди них немцы не нашли квислингов — это действительно показательный факт. В городе работают гимназии — мужская и женская. И в той и в другой уже взрослые ребята и девушки (здесь их зовут «паненки»). Это объясняется тем, что немцы закрыли все учебные заведения от гимназий до университетов (профессура Варшавского и Краковского университетов была почти полностью истреблена) и в течение пяти лет молодежь была лишена возможности образования. В старших классах — 20—21-летние. Система преподавания, как у нас до революции, — закон божий (но не священник, а ксеццз), латынь, логика и т. д. Тяга к образованию большая — сразу же после открытия заново гимназий они оказались переполненными. Высшее образование здесь получить было нелегко, и люди, обладающие им, пользуются почтительным уважением. Когда я говорил, что окончил в Москве университет, со мной становились вдвое вежливей — здесь это марка общественного положения. Нравы здесь свои — наблюдал я и крестный ход, и шумный базар, и местный праздник. Девушки в воскресенье назначают свидания у ограды костела: «Я выйду, когда кончится обедня». Совершенно серьезно меня спросили, сколько у моих родителей недвижимости и сколько лежит в банке — «пану 25 лет, а он уже капитан — такая карьера обеспечивается не воздухом». Можно было бы много рассказывать о местных нравах и обычаях, но меня ограничивают размеры письма — продолжу в следующий раз. Я здоров, все у меня в порядке, настроение хорошее, скучаю без твоих писем — они мне необходимей всех экзотик.

Ребята тоже сейчас кочуют по границам. От Слуцкого пришло письмо из Болгарии, Мишка в Венгрии, у него сейчас жаркие бои. Очень сердечное письмо прислал Платон Воронько. Он в Киеве, избран пред. правления клуба укр. писателей, напечатали его поэму, работает он в редколлегии «Дніпро»...

22.XI.44.

...У нас все спокойно. Жизнь течет своим чередом, и пожаловаться не на что — много здесь интересного и неожиданного, чего раньше не видел и не слышал. Я всегда был жаден до впечатлений, а здесь их хоть отбавляй. Отчужденности я не ощущаю — в котле этих страшных испытаний многое переплавилось, и думается мне, не только здесь, но и в Ново-Зеландии нас встречали бы хорошо. Везде есть плохие и пошлые люди, но везде есть хорошие и интересные — первых избегаю, вторых не сторонюсь.

Живем мы так, как жили месяц, год, два года назад. Меняются страны и люди, но воинский обычай, раз заведенный порядок остается прежним.

Пишу стихи. Пришлю в скором времени. Скучаю по тебе. О многом бы хотелось побеседовать, о многом рассказать, мудрая моя слушательница и советчица...

24.XI.44.

...Жизнь у меня течет своим чередом. Погода стоит теплая, можно без шинелей ходить — климат здесь мягче, чем в России. О местных нравах я писал уже вам. Кое-что становится утомительным — мне уже надоели лошадиные челюсти Пилсудского, выпирающие на меня с каждой стены, равно как и мелкое мошенничество торговцев, вымогающих у тебя путем бесчисленных уверток лишний грош.

Польская интеллигенция, с которой приходилось сталкиваться, весьма своеобразна. Образование у них не шире, чем наше: по крайней мере мне не приходилось здесь попадать впросак. Польскую историю я знаю значительно лучше, чем они русскую, — я занимался ею лет пять назад, а память у меня цепкая, и в отличие от них я могу оперировать фактами русской и украинской истории, которая известна им лишь понаслышке. Да и свою-то историю они рассматривают как историю царей и войн, не умея как-либо глубже вникнуть в нее. Это относится к университетским воспитанникам и даже людям с магистерскими степенями — пороки буржуазной ограниченности здесь сказываются со всей силой. Трех китов польской литературы — Мицкевича, Словацкого и Сенкевича — я знаю не хуже любого поляка, Мицкевича я помню наизусть, Словацкого читал в свое время пристально, Сенкевича тоже. Это дает возможность говорить свободно. Западная литература им известна, пожалуй, хуже, чем нам. Русскую они знают весьма поверхностно — Толстой, Достоевский, Пушкин, Чехов, Горький... Ни Гончаров, ни Грибоедов, ни Крылов, ни многие другие наши классики им не известны. Из современных наших писателей известны Шолохов, Толстой, Эренбург. Эренбург здесь издан дважды полным собранием сочинений. Под влиянием Маяковского находится вся новая польская поэзия, его здесь — что меня обрадовало — знают. Продолжателем его линии был крупнейший из молодых поэтов Польши — Тувим, который, как говорят, погиб на баррикадах во время Варшавского восстания. Я сейчас читаю в подлиннике Словацкого — это большой поэт прошлого века. Если Мицкевич был Пушкиным для Польши, то Словацкий — ее Лермонтов. Пробую разбирать и новых поэтов — интересно.

В чем я, конечно, профан — это в католической образованности, которой здесь пропитаны все в той или иной степени. Я не знаю ни Августина, ни Франциска Ассизского, ни ритуала, ни особенностей.

О шляхте разговор особый — нигде, как известно, не было столько мелкого дворянства, как в Польше. Оно деклассировалось в значительной своей части, но — что особенно примечательно — сохранив при этом старые предрассудки и старую спесь. Пусть он гол, как сокол, но крестьянина он зовет холопом и относится к нему с нескрываемым пренебрежением, свою родословную помнит наизусть, забывая все остальное при этом, — какого-нибудь своего деду, служившего доезжачим (т. е. попросту псарем) у Яна-Казимира или Владислава, вспоминает к стати и некстати. Досадно, что от этих предрассудков не свободна и их молодежь, в остальном совершенно современная и европеизированная. С ними трудно договориться, будто мы люди разных планет. «Разбойник», — сказала одна красавица о Хмельницком. «Почему?» — удивился я. «Так он же ризав шляхту!!!» — и панна подняла на меня небесные очи, полные такого изумления по поводу того, что я не могу понять этой простой истины, что я просто растерялся. Как ей сказать, что с моей точки зрения он именно поэтому-то и хорош, что резал шляхту, а не мирволил ей? Объяснить трудно и почти бесполезно — повторяю: мы люди разных миров.

Однако я забылся и, верно, утомил тебя. Думаю, что все-таки тебе будет небезынтересно читать мой рассказ о чужих людях чужой земли — это рассказ очевидца, который ты не прочтешь в книгах.

24.XII.44.

...Я рад, что тебя заинтересовал мой сбивчивый рассказ, он не претендует на полноту и непогрешимость оценок, но так или иначе это рассказ очевидца. Говоря о сумбурности настроений и мешанине взглядов, я не разумел под этим того широкого обобщения, которое ты придаешь этим словам. Конечно, можно выделить основные тенденции и течения в духовной жизни нации — это же не стоячее болото, но изменчивая река. Я говорил лишь о внешнем впечатлении — это раз, и второе — в сравнении с нашей страной, где духовная жизнь народа монолитна, где людьми управляет одна идея, это государство, где правят сразу четыре партии и где спорят десятки разных течений и оттенков, производит чрезвычайно пестрое впечатление. Это я и разумел, говоря о сумбурности поляков и разномастности их убеждений.

Дни, которые мы переживаем, чреватые событиями, которые надолго определят жизнь и устройство человечества на нашей грешной планете. «В каждой капле спит потоп, сквозь малый камень прорастают горы...» И особенно интересно сейчас быть в самой гуще событий, наблюдать общественный водоворот, да и самому временами окунаться в него. Я не завидую москвичам — за беготней, повседневщиной и житейскими заботами они не видят ничего и не знают ничего, война проходит мимо них, напоминая о себе лишь ограничениями питания и комфорта, они вдалеке от ее опасностей, но и вдалеке от той колоссальной переделки, которая совершается всюду. К сожалению, многие не понимают, что переделка и становление мира не вопрос послевоенных конференций, к-рые в значительной мере будут фиксировать уже происшедшее и установившееся, но процесс, к-рый происходит уже сейчас, непрерывно и неумолимо. Жизнь моя течет своим чередом. Несмотря на изрядную загруженность повседневщиной, я нахожу время и для стихов, и для работы над собой. Я настойчиво изучаю историю философии и думаю дать папе бой по приезду. Я ушел еще не далеко — штудирую элейскую школу, но то, что прочел, знаю, как свои собственные стихи. Я уже писал тебе, что читаю в подлиннике Словацкого, из русских же поэтов я всюду таскаю с собой сборник Эренбурга — о нем я тебе расскажу как-нибудь в следующий раз.

Установились морозы. Ночью месяц в кольце — значит, еще крепче будут. Снега до сих пор нет — странное впечатление от травы в декабре... Получил полшубок и — вовремя: сегодня за 15° зашло...

11.I.45.

Моя родная и ненаглядная!

Мама моя!

Почта одарила меня новогодними поздравлениями — твоими и папиными, письмами от 28 и 30 декабря, 2 и 4 января. Я сегодня долго, наверно, не смогу заснуть, думая о тебе, припоминая наши разговоры, все ласковое и хорошее, связанное с тобой. Я очень люблю тебя, моя родная и милая мама. Очень люблю и очень помню... Да и не то что помню — просто ты всегда и везде со мной, забываемая и светлая.

После Нового года, встреченного хмельно и весело, снова пошли дни за днями, в меру однообразные и обычные. Было несколько дней подряд нужное настроение, которое временами находит на меня. А тут что-то особенное было нужно — вдруг стало думаться, что и стихи — главная моя отрада здесь — пишу я, словно в воду камни бросаю, — и не к кому и не для чего. Да и бог весть — хороши ли они, нужны ли они, — а я просто маньяк, привязанный к поэзии, как каторжник к ядру. И снова ощутил и глушь, в которой торчу, и оторванность от родины. Вот, мама моя, бывает же такое... Но милостивая судьба, верно, всякий раз насылает на меня такую хандру, чтобы сильней отконтрастировать то светлое, которым оно меня дарит вперемежку с хмурым... Первой вестью такой было короткое письмо Эрен-

бурга. В конце декабря я все-таки собрался написать ему. С письмом я послал стихи — «Рассказ о восьми землях» и «Польские стихи». Ответ пришел удивительно быстро — через 10—12 дней. Вот что он пишет — привожу дословно:

«Дорогой Наровчатов! Наспех среди газетных дел хочу Вас поблагодарить за Ваше исключительно интересное письмо. Спасибо и за хорошие стихи. Я пересылаю их в «Новый мир». С Новым годом! Желаю Вам счастья — человеку и поэту. Жму Вашу руку. Ваш Илья Эренбург».

Это была первая хорошая весть.

А еще через несколько дней меня вызвали на фронтовое совещание писателей. Сперва были доклады и прения по ним, потом вечер с чтением. Читало около 20 поэтов и стихотворцев. Я читал одним из последних, когда внимание зала было уже утомлено. Волновался. Зал гулкий, кроме поэтов и писателей — офицеры, командование, солдаты — все вместе. Произошло неожиданное. Я начал читать стихи, и через два четверостишия водворилась тишина. Когда я дочитал до середины, зал загремел аплодисментами. Дочитал первое стихотворение — снова аплодисменты. Читаю второе, третье... — я сразу стал первым на этом вечере. Меня окружили полукольцом, жали руки, повторяли и заучивали строки. Матусовский — помнишь, когда-то грохотавший на меня, тогда еще мальчишкой, — подошел, говорил что-то восторженное, волновался, жал руку. Трегуб. Исбах поздравляли с успехом, с «большой поэзией». Безымянные майоры и солдаты записывали мой адрес, благодарили... Здорово получилось. И читал ведь я без всякой скидки на пеструю аудиторию — читал то, что написал последние месяцы, лирику, простую и сложную одновременно. И проняло всех. От солдата — до Эренбурга. Хорошую встряску дало мне это совещание. И еще одно было там хорошо — встретился я с Женькой Аграновичем — старым моим приятелем по стихам, с кем мы в ряду с Кауфманом, Павлом Кульчицким, Слуцким начинали свою поэтскую дорогу. Он тоже был в центре внимания в этот день — хорошие стихи читал, — и это было особенно приятно — два однокашника после 3 1/2 лет разлуки, случайно встретившись, взяли верх над другими и незнакомыми...

Редактор мой после этого вечера говорил со мной серьезно и хорошо. Он предложил, если я сделаю 10—15 добротных стихов о наших людях для нашей газеты, в апреле — мае отпустить меня в творч. командировку в Москву. Здорово!..

20.I.45.

...Все хорошо. Идем дорогами Большого наступления. Уже который день в боях. Немцы ожесточенно сопротивлялись, но теперь бегут. Темпы продвижения все нарастают. Иду с наступающими частями, делю с ними походные тяготы и боевые удачи. Устаю зверски, но настроение великолепное. Пишу тебе из вновь захваченного города, который завтра покидаю для других городов и сел, которые еще нужно освободить. Вижу уйму интересного. Когда будет больше времени, напишу подробно. Чтобы искупить грех короткого письма, посылаю большие стихи¹ при нем. Свеженаписанные. Пишу эти дни много. Запоем просто. Все сочиняю вслух. Эти стихи я двое суток держал в голове, пока сегодня впервые не перенес на бумагу. Объясняю непонятности: «кёзаданакым» — узбекское ласкательное слово, дословный перевод «кругом глаза», Хамза и Навои — узбекские поэты, «джан» — любимая, милая, ненаглядная. Вот и все. Напиши, как понравилась...

15.II.45.

Получил твое письмо от 5.II. Рад, что нравятся мои новые стихи. Я сам считаю, что подошел к тому, чего так долго искал. «Период

¹ Имеется в виду стихотворение «Капитанский тост». — Д. Т.

сомнений», к-рый тебя встревожил,— кончился. Пишу все время, буду присылать. За два последних дня — две знаменательные встречи. Ви-дел и говорил с Эренбургом. Он объезжал наш фронт и был у нас. Был рад мне. Долго говорили о лит-ре, о поэзии. Слушал его новые стихи, а он — мои. Письмо, к-рое я ему послал в декабре, запомнилось ему, он вспоминал отдельные его положения, говорил разные хороше-сти по этому поводу. Стихи, к-рые я тогда ему послал,— «Разговор о восьми землях» и «Польские стихи» он отдал в «Новый мир». «Будут ли они напечатаны?» — спросил я его. «Безусловно», — ответил он. Посмотрим.

Новые мои стихи хвалил. Подробно разбирал их по строкам. Взял с собой 5 ст-ний, хочет отдать их в «Октябрь». Сеговал, что я не писал ему новых писем, я сослался на поход и командировки, что и соответ-ствует истине. Рассказал мне о Москве, о литературной и нелитератур-ной жизни столицы. Окончание войны, по его прогнозу,— май месяц.

22. II. 45.

Поздравляю тебя с нашим праздником — днем Красной Армии. Счастья и здоровья тебе, хорошая моя!..

Папе я отправил большое письмо в двух конвертах, где рассказал о своих впечатлениях в неметчине. Прочти его, оно, наверно, будет интересно тебе. Сейчас я только что вернулся из одного города, за ко-торый уже несколько дней идут бои. Совинформбюро уже несколько раз сообщало о нем и о боях по уничтожению окруженного гарнизона. Немцы сопротивляются с упорством обреченных в этой старой поль-ской крепости. Генералитет вылетел на самолете, остались солдаты и офицеры, но и эта сволочь продолжает сопротивляться. При мне к ним были отправлены парламентареры с предложением сдаться, на 4 часа прекратился всякий огонь с обеих сторон, я ходил по городу, как по летнему саду,— тихо, солнечно, непривычно. Но немцы отказались ка-питулировать, и начался штурм. Видимо, сегодня-завтра над городом заплещет наш флаг, участь его предрешена, и снова над Москвой за-гремят салюты в нашу честь.

Снова видел польскую землю — как она не похожа на неметчину! Бедная, разоренная, нищая страна, но насколько ближе к нам ее люди, насколько сердечней относятся наши бойцы к ним. На дороге из го-рода я встретил трех полек. Три земные мадонны в старых дождевых плащах, облепленные кучей детишек мал мала меньше. Они шли из города. «Дзень добрый, пани!» «Дзень добрый, пан офицер». Я вступил с ними в разговор. Подошли наши бойцы. Расспрашиваем. Оказыва-ется, они три дня ничего не ели, скрываясь в подвале от обстрела. Не прошло и 5 минут, как бойцы натащили им и хлеба, и сала, и молока для малышей. «Куда же вы сейчас?» — спросил я. «Куда очи смотрят...» «Идите вон до тех хат, там поляки живут, они вас приютят. А вы,— обратился я к солдатам,— помогите им вещи дотащить, вишь ведь измучились как». Солдаты охотно сделали это. Реакция полек бы-ла самая неожиданная. Одна из них поставила мальчишку, которого тащила на руках, на землю, подошла ко мне и расцеловала «прямо в уста», как говорят поляки...

6. III. 45.

...Сегодня у меня что-то грустноватое настроение. Из Ленинграда прислал мне Мишка Дудин только что вышедшую книгу Георгия Су-ворова. Первую и последнюю. Я живо вспомнил красивого гвардейца, с которым я в первую же встречу говорил так, как не говорю с людьми, знающими меня много лет. Мы до встречи еще слышали друг о друге, и когда я взошел на порог бревенчатого сруба, где он жил в те дни, навстречу мне поднялся рослый красавец и сказал одно слово: «Наровчатов?» «Суворов?» — спросил я. И мы по-русско-

му расцеловались. Потом, я помню, была дымная ночь, читали стихи до рассвета, говорили о жизни, о будущем, о поэзии. Меня поразила тогда жадность к жизни и заинтересованность во всем незнакомом и неизведанном этого парня. Мы о многом тогда договорились, и я не вспомню ни одного случая, когда человек так сразу пришелся мне по сердцу, как он. Это было взаимно. Следующие встречи укрепили дружбу. Где-то дома у меня до сих пор должно храниться его письмо в стихах ко мне — хорошее, доброе письмо. И потом — нарвские бои и гибель на нарвском льду. Давняя боль снова ожила сегодня, когда я читал знакомые стихи, которые я когда-то слушал с живого голоса. Заключительные строки одного его стиха можно поставить памятной метой всей его короткой и прекрасной жизни:

Свой добрый век мы прожили как люди
И для людей...

Мих. Дудин написал к книге хорошее вступление — печальное и светлое одновременно.

Свою книгу он тоже прислал мне. Это уже 6-й или 7-й дудинский сборник. Хороший сборник. Талантлив он, черт, до удивления.

16 марта Оленька празднует трехлетие. Поздравляю ее, желаю всяких хорошествей, здоровья, счастья. Она уж, наверно, вовсе большая выросла, хорошая моя девочка...

26.IV.45.

Моя родная, хорошая мама!

Меня можете поздравить с новым орденом — Отечественной войны II ст. — это уже пятая награда у меня. В начале апреля я получил медаль «За оборону Москвы», позавчера мне вручили орден.

Мы очень далеко ушли на запад, места, где я встретился с Мишей, давно остались позади. На очереди встреча с союзниками. Попадаем их где-нибудь на Эльбе, если только до Дании не доберемся к тому времени. В мае, думается, война окончится, и май уже не за горами. Погода стоит ветреная и холодная, весна поздняя. Дни солнечные, в безлюдных садах и парках уже зацвели яблони, но ветер с моря резкий и влажный. Но, господи, как надоели мне все эти померанские и прусские земли, хоть бы уж скорее в Россию, соскучился я по ней. В Москве небось весна в разгаре, мокрый асфальт, солнца осколки по лужам, девушки в цветных платьях... Была у нас здесь в гостях труппа из Малого театра — я с ними вечера целые о Москве вспоминал...

Сейчас мы снова идем на запад, следите за мной по московским салютам, мы их немало уже получили и немало еще получим...

4.V.45.

...Прости за мое молчание. Я до щемей сердечной волнуясь, представляя себе, как оно тревожило тебя. Но в той круговерти, в беспрестанных переездах и кочевьях, в которых мы живем, когда даже почта отстает от нас на десятки км, я вынужден был редко писать тебе письма.

Поздравляю тебя, папу, Олю, Мишу и тетю Тоню с прошедшим праздником. Москва в огнях! Москва снова светит всеми окнами — какое счастье, господи...

Мы прошли далеко на запад — по московским салютам ты можешь представить, где я. Война кончается — верю в близость нашей встречи.

Из Москвы мне прислали из издательства «Интернациональная литература» переведенные и изданные на французском языке мои стихи «Пропавшие без вести». У меня руки дрожали, когда я читал свои строки на чужом языке. Кто их перевел, кто отдал их в печать

и кто мне их переслал — не знаю, обратного адреса нет. Я отдал читать их французам, которых мы освободили из немецкого плена,— это был триумф...

29.V.45.

Моя родная мамочка!

Сегодня я хочу поподробнее рассказать тебе о своем житье-бытье. Я редко пишу последнее время и этим письмом я хоть отчасти попробую исправить этот грех.

Вот уже третью неделю мы живем на мирном положении. Город, в котором мы стоим, выделяется из других городов Германии тем, что совершенно не пострадал от бомбардировок союзной авиации, и тем, что в нем нигде не найдешь следов боя — он капитулировал без единого выстрела. Город известен еще тем, что в нем находится один из старейших университетов Германии — вся городская жизнь вращалась вокруг обслуживания этого большого учебного заведения с десятками клиник и институтов. Предприятий и заводов здесь не было, были только мастерские и мелкие «гешефты», как они здесь называются. В городе сейчас совсем мирно. Улицы многолюдны, движение, торгуют все магазины, бары, отели. Живем мы сейчас по-городскому, спим на перинах, на чистом белье. Мебель — кресла, зеркала, шкаф, комод. На столе — настольная лампа. Электричество. Ванна. Душ. Питание очень хорошее... наша столовая теперь преобразилась. Платим мы — марками, золотые и рубли не ходят.

Насчет демобилизации пока ничего не слышно. Пора, кажется, писать письма Тихонову — авось он чем-нибудь поможет. Живем мы здесь очень хорошо, но в Россию тянет сильно...

10.VII.45.

Моя родная и хорошая мама!

Вчера послал большое письмо, рассказ о своем житье-бытье. Сегодня снова захотелось поговорить с тобой.

Ты как-то спрашивала, достал ли я что из вещей. Я никогда не придавал серьезного значения тряпкам, но одеться все-таки нужно. Ты видела Мишку в Москве? Ты писала, что он франтит? Так вот — твой сын будет одет с иголочки, мама, и с ног до головы. Студенческая пора кончилась, мне придется общаться с лучшими людьми России, и хороший костюм хоть и не определяет судьбы, но, как и внешность, служит своеобразной вывеской перед входом в магазин.

Франтить я в Москве, как и другие мои товарищи, приезжающие отсюда, буду по праву. Пусть разная сволочь, отсиживавшаяся по теплым углам от войны, завидует, глядя на нас, нам пришлось перенести то, что им и не снилось, зато и одеты мы будем так, как им и во сне не приснится, зато и живем мы сейчас в десять раз лучше любого из них...

14.VII.46.

...Положение таково. В конце июня у нас была комиссия Гл. управления кадров Главпуркка. Беседовала с каждым. Я снова настаивал на увольнении, приводя все доводы, которые приводил и раньше. Беседа дала результаты. Через несколько дней по указанию пред. комиссии меня вывели за штат, а документы оформили на увольнение в запас и послали на утверждение в Москву. Сейчас нахожусь в резерве. Ничего не делаю. Жду приказа. Сколько его ждать — бог весть. Ребята, на которых посылали документы еще в апреле, получили приказ только на днях. Но полагаю, что в августе все же все придет к желаемому концу.

Читаю невероятно много. Глотаю книги, просиживая целыми днями в читальне. Занимаюсь латынью — она мне понадобится при поступлении в аспирантуру; вернее, при работе над диссертацией. Успехи кое-какие есть: прошел за месяц курс полутора классов гим-

назии. Стихов не пишу — ожидание меня выбивает из творческой колеи, настроение беспокойное, пока не получу приказ, не успокоюсь...

19.VII.45.

Моя родная мамочка!

Мы наконец на нашем постоянном месте.

Живу в просторной угловой комнате в первом этаже. Два больших окна нерусского типа — т. е. длинные и широкие — выходят в сад — цветы, ягоды, яблони. Комната очень светлая и просторная. Выложил я свои книги. Их у меня скопилось изрядно. Очень хорошие книги — всех веков и на всех языках. Есть книги начала 16 в., есть Расин 18 в. на французском, Цицерон на латинском 18 в. с пометками на полях и комментариями какого-то аббата времен Луи XVI, есть в прекрасном издании Диккенс на английском языке. Сейчас разрешена пересылка бандеролями — часть, видимо, вышла. На стены я повесил старинные панно с кавалерами 18 века, с замками и тавернами и несколько акварелей. На столе цветы. Гопля, мы живем!

Город, где мы будем теперь жить, — один из лучших городов Германии. Это центр целой провинции, бывшая столица Мекленбургского герцогства. Дома большие — четырех- и шестизэтажные, масса магазинов, улицы многолюдные, шумные, на перекрестках полицейские. Здесь два месяца были сперва американцы, а затем англичане — все цело, город был ими взят почти без боя. Есть театр оперы и балета, оперетта, варьете, кинотеатры. Посещаются они очень усердно — народу до черта. Был в опере, смотрел «Виндзорские проказницы». Оркестр хороший, голоса приличные. Варьете не понравилось — русский зритель к этим штукам не привык, уж больно все развязно. В кино идут иностранные фильмы. Функционирует местное правительство — об образовании этих провинциальных президентств ты, верно, читала в газете.

Много читаю. На немецком. Прочел Гейне, Шкицлера, Андерсена и еще кое-кого из классиков. Никогда не думал, что у меня есть способности к языкам, но, оказывается, есть. В Польше я довольно быстро выучился понимать и через пень колоду говорить на незнакомом языке и даже прочитал в подлиннике Мицкевича и Словацкого, сейчас же я не только воскресил знания языка, когда-то штудировавшегося мной, но увеличил их раза в два с лишком.

Из Москвы получил несколько тревожных писем от друзей и подруг — беспокоятся молчанием. Сел за ответные письма — пора.

Ну, целую тебя крепко и много. Целую папу и Ольку. Счастья, здоровья, самого наилучшего. Как у тебя с печенью? Прошло ли? Обеспокоился очень. Еще раз целую.

Всегда твой

Сережа.



В МИРЕ НАУКИ

В. БАРАШЕНКОВ,

доктор физико-математических наук



НАДЕЖДЫ И ТРУДНОСТИ

Апри Пуанкаре однажды сравнил науку с постоянно пополняющейся библиотекой, где эксперимент обеспечивает новые поступления, а теория приводит их в порядок и каталогизирует. И вот теперь эта библиотека постепенно приближается к такому состоянию, когда для пополнения ее в прежнем темпе вскоре не хватит ни людей, ни средств, ни помещений. Граница, отделяющая область наших знаний от «terra incognita», которую еще только предстоит исследовать, становится слишком протяженной, и можно уже предвидеть то время, когда наука чисто физически, просто в силу ограниченности материальных средств и людских резервов, не сможет изучать «все, что интересно», как она это делала до сих пор.

Резко возрастает стоимость исследовательских работ. Экспериментальные установки все более приближаются к крупным промышленным сооружениям. Например, средний эксперимент по физике высоких энергий обходится примерно в столько же, сколько нужно для создания большого завода. В целом на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в мире сегодня расходуется около 200 миллиардов долларов в год, в этих работах занято свыше 3 миллионов ученых и инженеров и многомиллионная армия работников других категорий. Еще быстрее, практически по экспоненте с периодом в 10 лет, росли в последние десятилетия затраты на фундаментальные (поисковые) исследования. В среднем темп развития науки в нашем веке значительно превосходил темпы развития других областей человеческой деятельности.

Ресурсы, выделяемые на развитие науки, стали достаточно весомы даже для экономически развитых государств, поэтому можно ожидать, что уже в ближайшем будущем произойдет их стабилизация на каком-то разумном уровне¹. Тенденция к этому отчетливо ощущается учеными. Отражается она и в определенном снижении общественного престижа научной деятельности, наметившемся в последние годы во всех странах, которые создали у себя индустрию науки.

Однако в долгосрочной перспективе главные трудности порождаются внутренними причинами, свойственными самой науке, и прежде всего — стремительным нарастанием объема накопленной информации, привести в систему, осмыслить и использовать которую становится все сложнее. Поток научной информации в мире сейчас выражается во многих миллионах статей и препринтов в год, этот поток удваивается приблизительно каждые десять лет, а в области естественных наук — еще быстрее.

Правда, так быстро растет лишь общий поток информации. Число по-настоящему важных результатов не так велико. Большая часть публикуемых данных имеет

¹ Американский биофизик Е. Стэнтон Мэкс свидетельствует на страницах журнала ЮНЕСКО «Импакт» (1982, № 1-2): «В физике цена открытия стала обратно пропорциональной размеру новой описываемой элементарной частицы... Столь высокие затраты ведут к тому, что некоторыми видами исследований могут заниматься лишь высокоразвитые страны, но даже и в этом случае наблюдается тенденция к сокращению расходов».

частное значение, представляет интерес в связи с другими работами и быстро аккумулируется либо оказывается просто излишней, играя роль «информационного шума». Многолетняя статистика показывает, что 95 процентов ссылок в научных трудах относится всего лишь к 2 процентам наиболее распространенных читаемых изданий. Однако необходимость просмотра и оценки данных даже из такого числа источников требует серьезного внимания и занимает все больше времени ученого.

Это покажется невероятным, но сегодня зачастую с трудом друг друга понимают даже те ученые, которые работают, казалось бы, в очень близких областях одной и той же науки. Например, физику, изучающему строение атомного ядра, подчас не ясны не только идеи, но даже терминология участников семинара по теории поля, а специалист по вычислительной математике чувствует себя «чужаком» при обсуждении проблем топологии. Развитие науки все более напоминает легенду о строительстве Вавилонской башни.

Быстрое увеличение числа препринтов и журналов, трудность выделения действительно существенных сведений на фоне «информационного шума» — все это приводит к тому, что исследователь, который жаждет добиться успеха в своей области, как правило, просто не успевает обдумать проблемы, далеко отстоящие от конкретного вопроса, каким он непосредственно занят. В результате возникает множество отдельных, слабо контактирующих друг с другом разделов исследования, они иногда рассматриваются даже как некие новые науки.

Более того, в условиях лавинообразного роста информации большая часть ее практически оказывается утерянной. В книгохранилищах скапливаются издания, которые ни разу не были затребованы читателями (в Библиотеке им. В. И. Ленина количество таких забытых книг насчитывает миллионы наименований). Подчас быстрее и экономнее выполнить исследование заново, чем проводить информационный поиск, затрачивать усилия на разбор, как правило, очень сжато изложенных результатов уже выполненных работ. Эта ситуация известна в настоящее время, пожалуй, каждому научному сотруднику.

Создается парадоксальная ситуация: чем больше мы узнаем, тем труднее становится приобретать новое и использовать уже имеющееся знание.

Увеличение объемов информации в наших хранилищах будет продолжаться и при стабилизации расходов на науку. Можно думать, что это — один из тех глобальных факторов, которые будут определять далекие пути развития науки. В решении проблемы «информационного потока» в конечном счете состоит одна из главных задач современной научно-технической революции. Если первая промышленная революция путем внедрения машины в сферу физического труда устранила противоречия между быстро возрастающими потребностями общества и очень ограниченными мускульными возможностями человека, то современная научно-техническая революция связана с использованием машины в области умственной деятельности для преодоления противоречия между общественными потребностями в огромных объемах информации и нашими индивидуальными способностями к ее накоплению, хранению, переработке. Для сравнительно небольших интервалов времени, если не заглядывать далеко вперед, здесь нет принципиальных трудностей. Однако в более отдаленной перспективе (а при современных темпах развития это, вообще говоря, не такое уж далекое будущее) положение довольно неясное.

Некоторые оптимисты видят выход в более широком использовании различных запоминающих и селекционирующих кибернетических устройств. Опыт показывает, что потребности здесь обгоняют реальные возможности: параллельно с ростом последних не только возрастает объем сведений, требующих обработки, существенно усложняются и критерии их отбора. Удвоение мощности вычислительного центра практически не означает удвоение объема перерабатываемой информации, не говоря уже о том, что создание самих программ, возможность достаточно быстрого их совершенствования и другие вопросы, связанные с кибернетическими системами, — это сложная проблема.

Долго и тщательно готовившийся запуск первой американской ракеты на Венеру сорвался из-за того, что в управляющей программе была допущена, казалось бы, пустяковая ошибка: при кодировке одну из запятых случайно заменили точкой. Обычно подобные ошибки приводят к тому, что вычислительная машина не понимает смысла команды, «спотыкается», и к оператору поступает «сигнал бедствия». Однако иног-

да ошибка лишь несколько изменяет смысл команды. Никакого сигнала тогда не поступает, система проходит все тесты, но при каких-то особых условиях вдруг «теряет голову» — начинает сбиваться. Так и случилось при запуске американской ракеты. Выявить подобные сбои в работе кибернетических систем очень трудно, а чем сложнее система — тем больше их вероятность.

Обслуживание программного обеспечения крупной вычислительной машины уже сегодня дороже всех затрат на эксплуатацию ее электронных и механических устройств. Если принять во внимание затраты на разработку программ, то программное обеспечение в целом на порядок дороже самой машины. Так что широкое применение кибернетических систем может лишь ослабить трудности, связанные с быстрым нарастанием объемов информации, полностью устранить их таким путем нельзя.

Конечно, нельзя не заметить, что пугающий призрак «информационного потопа» отвечает только такой картине мира, которая признает бесконечность, неисчерпаемость его фундаментальных законов, так как в противном случае раньше или позже может быть создана некая «Окончательная Теория», которая в компактном, свернутом виде содержала бы всю принципиальную информацию о свойствах мира и была бы способна предсказать и объяснить любое явление природы. Задача науки состояла бы в изучении следствий этой теории и изыскании способов их практического применения.

Такая точка зрения имеет своих сторонников. Действительно, откуда нам знать, конечна в своем качественном разнообразии природа или бесконечна? Например, С. Лем в примечаниях, написанных им специально для русского издания своего философского труда «Сумма технологии», высказывает опасение, что допустить бесконечность окружающего мира дело довольно рискованное: «...слишком уж коротко историческое развитие человека, чтобы подобные тезисы можно было высказывать в качестве абсолютных истин». По мнению Лема, может случиться, что познание очень большого числа фактов и связей между ними приведет к своеобразным «высям познания», после чего число вопросов, не имеющих ответов, начнет уменьшаться. Аналогичные мысли в книге «Характер физических законов» излагает известный американский физик-теоретик Р. Фейнман. Он тоже допускает, что может наступить момент, когда мы достигнем 99,9 процента явлений природы, а изучение оставшейся доли процента будет сопряжено с огромными техническими трудностями и человечество утратит к этому всякий интерес.

Однако история развития науки и анализ ее современного состояния показывают, что для таких опасений оснований нет. На практике получается так, что каждый успех наших знаний, каждое новое открытие ставят больше проблем, чем решают. В природе не существует каких-либо абсолютно простых, изначальных объектов, все они имеют бесконечное множество различных свойств и обладают сложной внутренней структурой. Как подчеркивал В. И. Ленин, неисчерпаем любой, самый маленький атом, даже электрон.

Конечно, эту неисчерпаемость не следует понимать очень упрощенно, в виде бесконечной механической делимости, когда каждый объект обязательно содержит внутри себя еще меньшие. Мир может быть устроен значительно сложнее. Например, некоторые частицы могут лишь для внешнего наблюдателя выглядеть микроскопическими, а изнутри быть огромными космическими мирами. Как писал когда-то В. Брюсов:

Быть может, эти электроны —
Миры, где пять материков,
Искусства, знания, войны, троны
И память сорока веков!

Несмотря на фантастичность такой картины, современная физическая теория допускает ее возможность и подкрепляет это расчетами. Понятия большого и малого, простого и сложного в современной физике весьма относительны.

С другой стороны, предположение о том, что мир конечен в своих фундаментальных свойствах, что в нем существует нечто первично-исходное, составляет открытым вопросом, откуда взялась эта «первосущность», почему ее свойства (а следовательно, и структура нашего мира) таковы, как они есть, а не иные. Основа мироздания остается тайной за семью печатями. По существу это уже не научный, а религиозный подход к пониманию природы.

Представление о качественной неисчерпаемости материального мира, о его бесконечной «информационной емкости» — один из основных выводов современной науки.

Планирование науки

Трудности, с которыми сталкивается наука, сложность стоящих перед ней задач требуют прогнозирования и планирования научных исследований, цель этого — отбор наиболее важных и перспективных тем, изучение которых позволит сделать обобщения, охватывающие и первоначально пропущенные близлежащие направления. Несомненно, это вполне возможно для так называемых прикладных исследований, задача которых — применение уже сделанных фундаментальных открытий к решению конкретных технологических проблем. Значительно проблематичнее планировать фундаментальные разработки. В каком смысле можно говорить здесь о предвидении и планировании: ведь, казалось бы, открытие потому и открытие, что оно непредсказуемо? Какие критерии следует использовать для того, чтобы можно было судить о большей перспективности одного научного направления в сравнении с другим, как при этом избежать ошибок прошлого, когда на основе некоторых предвзятых точек зрения третировались области исследований, оказавшиеся затем ключевыми для многих разделов науки? (Вспомним печальный опыт кибернетики и генетических исследований.) Следует ли учитывать критерии морально-этического плана? В частности, можно ли, основываясь на этих критериях, установить мораторий или вообще запретить какие-то направления научной деятельности?

Подобные вопросы весьма дискуссионны, но как бы там ни было едва ли можно сомневаться, что в основу дальнейшего развития науки будет положена определенная ценностная ориентация. Времена, когда наука беспрепятственно развивалась сразу по всем направлениям, безвозвратно ушли в прошлое. Это значит, что существенно повышается роль того, что принято называть «административным элементом» научной деятельности; эта сторона науки не менее важна, чем сам процесс исследования. В таких быстро развивающихся, связанных с большими затратами областях, как астрофизика и физика элементарных частиц, вопросы ценностной ориентации и соответствующей организации научных работ уже сейчас — одна из основных проблем.

Довольно широко распространено мнение, что планирование поисковых исследований принципиально невозможно: ведь открытия в данной сфере по своему смыслу — это качественные скачки в плавном развитии науки, они происходят непредсказуемо. И развивая в соответствии с каким-то планом одну область знания в ущерб другой, можно пропустить нечто очень важное и в конечном счете задержать развитие науки и прогресс общества. Такая «максималистская» точка зрения, по существу, центральная идея упомянувшейся уже книги С. Лема. «Чем выше развитие науки, тем больше появляется связей, соединяющих отдельные ее ветви, — подчеркивает Лем. — Нельзя ограничить физику без ущерба для химии или медицины и, наоборот, новые физические проблемы могут приходить, например, из биологии. Короче говоря, ограничение темпа развития какой-либо области исследований которую сочли менее важной, может отрицательно сказаться именно на тех областях, для блага которых решено было ею пожертвовать». Такой путь Лем считает проигрышем цивилизации в ее великой «стратегической игре с природой». По его мнению, может случиться так, что именно через одно из таких оставшихся неизученными, забытых явлений как раз и проходит столбовая дорога в будущее, поэтому в своей непредсказуемой игре с природой наука должна «ставить на все билеты» лотереи, иначе есть вероятность вытащить только пустые.

Как пример, иллюстрирующий, насколько могут ошибаться в прогнозах путей развития науки даже самые выдающиеся ее представители, часто приводят высказывание Э. Резерфорда — человека, исследования которого открыли ядерную физику, — о том, что пройдут, может быть, столетия, прежде чем энергия атома станет доступной людям. Неожиданное открытие деления тяжелых ядер «сжало» эти столетия в несколько лет. Число подобных примеров можно умножить.

Безусловно, отсутствие каких-либо ограничений было бы наилучшим условием развития науки. Однако естественная ограниченность наших возможностей предопре-

деляет и неизбежную ограниченность научных изысканий. Впрочем, строго говоря, ограничения существовали на протяжении всей истории науки. Распределение усилий никогда не было полностью одинаковым по всему фронту, какая-то наука — иногда естественная, иногда гуманитарная — всегда была преобладающей. Современная ситуация специфична лишь в том смысле, что этот фактор развития науки приобрел жизненно важное значение, когда ошибки и неверные концепции планирования могут нанести непоправимый ущерб в глобальных масштабах.

Не исключено, что в результате неравномерного, выборочного развития науки какие-то очень важные сведения об окружающем мире действительно будут пропущены и останутся нам неизвестными, однако это вовсе не означает, что дальнейшее развитие нашей цивилизации будет в каком-то смысле ущербным.

Стратегия бесконечной, ничем не сдерживаемой экспансии, политика «штурма и натиска» в наших отношениях с природой, когда основным девизом является «покорять», а не «приспосабливаться», — это продукт слабо развитой цивилизации. В длительной перспективе такая стратегия просто невозможна, на определенном этапе она должна смениться другой, более искусной, изощренной, и тут нет никакого «проигрыша цивилизации».

Что и ради чего изучать?

В настоящее время каждая страна в зависимости от своих конкретных условий разрабатывает и осуществляет определенным образом ориентированную программу научных исследований. Пока это касается главным образом прикладных направлений и особенно дорогостоящих разделов физики, однако недалеко то время, когда будет планироваться вся наука в целом, как прикладная, так и фундаментальная. И вопрос сегодня фактически уже не в том, планировать науку или нет (сама жизнь принуждает нас к этому), а в том, как это делать — как найти достаточно надежные критерии для определения значимости (ранжировки) различных научных проблем и направлений исследований.

Это очень сложная задача, при решении которой должна приниматься во внимание не только внутренняя логика развития самой науки (учет ее наиболее «горячих» точек), но и многогранные экономические, социальные и политические аспекты жизни общества. В век научно-технической революции, когда способности человека воздействовать на природу сравнимы с естественными процессами планетарного масштаба, учет экологических и социальных последствий того или иного научно-технического проекта может оказаться решающим при общей его оценке.

Не последнее место занимают здесь критерии морального плана, особенно если учесть, что выбором определенной цели можно оказывать обратное воздействие на моральные установки общества, существенно их деформируя. Этот аспект проблемы заслуживает того, чтобы на нем остановиться подробнее.

Иногда говорят, что сами по себе научные исследования, как поиск истины, находятся вне морали, которая касается лишь того, как использовать на практике результаты этих исследований, — ведь один и тот же нож можно использовать для резки хлеба и как орудие преступления. Такие взгляды идеологически обосновываются в концепции сциентизма. С этой точки зрения наука — чистое познание истины, и потому морально-этические категории к ней просто не применимы, подобно тому как понятия добра, зла и справедливости нельзя применять по отношению к таким стихийным явлениям, как, например, гроза или наводнение. А раз так, то и ученый в своей деятельности неподвластен суду гражданской совести и не несет никакой ответственности за результаты своих разработок.

Такая антигуманистическая позиция совершенно неприемлема. Она уводит ученого от осознания того, что последующее использование результатов его работы уже от него не зависит, predetermined политическими установками общества, в котором он живет. Как идеология сциентизм призван снять и не допустить нравственный кризис, который часто переживает ученый, видя, что результаты его чистых научных исследований обращаются во зло человеку. Сциентизм усыпляет гражданскую совесть ученых, ослабляет их сопротивление антигуманистическому (прежде всего военному) использованию достижений науки. Не случайно это идеологическое течение в последние годы широко пропагандируется в США.

Позиция ученых, которые, подобно тому как это делал Ферми во время работы над атомной бомбой, считают, что как бы там ни было, а они занимаются настоящей наукой, может дорого обойтись человечеству. На этой почве однажды уже выросли атомные грибы Нагасаки и Хиросимы.

Естественно, возникает вопрос о запрете некоторых направлений научных исследований, опасных для окружающей среды, вредных по своим потенциальным физическим или моральным воздействиям на людей. Человечество в силу реально существующих политических, социально-экономических условий или недостаточного уровня знаний может быть просто не готовым к использованию некоторых научных открытий, способных сыграть роковую роль злого духа, выпущенного из бутылки. Поэтому все разговоры о поисках «чистой истины», о принципиальной недопустимости ограничения «интеллектуальной свободы» кажутся просто безответственными.

Еще сто лет назад К. Маркс отмечал, что культура, если она развивается стихийно, а не направляется сознательно, оставляет после себя пустыню. Всеобщее осознание этого факта сегодня стало жизненно важным. Цивилизация в своем стремлении к благу не должна быть похожей на героев известного рассказа У. Джеймса, которые неосторожно попросили у волшебного талисмана — обезьяньей лапы — двести фунтов и получили их в виде пособия за неожиданно умершего сына. Сиюминутная выгода может не стоить и сотой доли того, что потом придется за нее заплатить.

Конечно, абсолютного запрета развивать какую-либо область науки быть не может, следует говорить о частичном, временном моратории до тех пор, пока не возникнут условия для безопасного продолжения исследований. Более того, научно-технический прогресс вообще исключает полный запрет и необходимую для этого полную изоляцию какой-либо области знания. Рано или поздно неизбежно обнаружатся неожиданные, достаточно простые для реализации и неподдающиеся контролю выходы в эту сферу. Подобное обстоятельство образно проиллюстрировал в одном из своих научно-фантастических рассказов-предостережений А. Азимов: строго охранявшееся направление исследований, грозивших человечеству неисчислимыми социальными и психологическими катаклизмами, оставалось запретным до тех пор, пока открытия в соседних науках не сделали его доступным изучению в домашних условиях с помощью бытовых приборов, которые продаются в любом магазине. Мораль этого замечательного рассказа не только в подчеркивании потенциальной побочной опасности, казалось бы, чисто научных изысканий, но и в необходимости превентивных мер, ограничивающих возможности их непродуманного применения.

Связанное с оценкой многих вероятностных факторов планирование научных исследований всегда будет обладать некоторой «степенью риска». Это особенно касается определения научной значимости проблем. Что перспективнее: изучение внутреннего строения элементарных частиц или астрофизические исследования нейтронных звезд и квазаров? Чему отдать предпочтение: расшифровке генетического кода или конструированию сложных самоорганизующихся систем? Такие вопросы возникают внутри каждой науки, и ответы на них, конечно, достаточно субъективны. Впрочем, не в большей мере, чем само научное творчество, где способность предугадать потенциальное богатое «поле идей» в основном как раз и отличает талантливого ученого от его менее способных коллег. Мнение нескольких уже зарекомендовавших себя научными успехами специалистов здесь может весить намного больше мнения целого коллектива. В то же время взвешивание внешней значимости проблемы, ее социальных и политических последствий, влияния на другие области знания и т. д. требует многостороннего коллективного анализа.

Нужна ли чистая наука?

Недавно в «Литературной газете» появилась статья, где для повышения эффективности науки предлагалось оплачивать лишь те разработки, которые имеют очевидный выход в практику, а так называемые чисто научные исследования вообще не оплачивать — пусть ученые занимаются ими в свободное время. Смещение акцентов исследований в сторону «потребительских интересов» хотя и дает гарантированные и довольно ощутимые практические результаты, тем не менее в долгосрочной перспективе крайне невыгодно: это уничтожает почву, на которой вырастают качественные нововведения, и довольно скоро обернется снижением темпов научно-технического развития

общества. Судьба одаривает лишь подготовленные умы, а иначе можно наблюдать новое явление и даже не понять этого².

Есть еще один важный практический аспект чистой науки. Она оказывает влияние на технику и другие более близкие к жизни разделы науки не только практическим использованием открываемых ею принципиально новых явлений, но и тем, что в процессе таких исследований, выполняемых, как правило, в экстремальных, предельных по параметрам условиях, разрабатываются новые приборы, оригинальные методы и неожиданная технология, которые находят затем широкое практическое применение. Так, физика элементарных частиц содействовала быстрому внедрению в электротехнику сверхпроводящих магнитов и связанной с этим технологии сверхнизких температур. Здесь же впервые были разработаны методы автоматической обработки огромных массивов экспериментальной информации, получаемой в виде сотен тысяч и миллионов фотографий отдельных событий. Как показал экономический анализ, разработки, выполненные в связи с исследованиями по физике элементарных частиц, оказали влияние даже на такие далекие отрасли, как сталелитейное дело и железнодорожный транспорт.

Огромный экономический эффект дало использование побочных результатов космических исследований, которые на первом этапе тоже выглядели чисто научными.

Практический опыт убеждает нас, что чистая наука жизненно необходима и экономически весьма выгодна обществу. Такие исследования, образно говоря, играют роль катализаторов научно-технического прогресса.

И вот тут мы сталкиваемся еще с одной трудностью. Когда речь идет о поисковых исследованиях в области фундаментальных законов и принципов, особенно важным становится, казалось бы, совсем простой вопрос: какие цели исследования можно считать достижимыми, а какие несбыточными, принципиально невозможными? Ответить на этот «простой» вопрос очень нелегко — ведь соотношение или процесс, невозможные в круге привычных событий, способны реализоваться в области каких-то новых, неизвестных до того явлений; наука уже не раз демонстрировала относительность некоторых наших представлений о принципиально возможном и невозможном. Например, если бы лет тридцать назад (до того как было открыто нарушение зеркальной симметрии микромира) кто-либо предложил искать процессы, в которых нет привычного нам соотношения правое — левое, такое предложение в лучшем случае было бы отнесено к разряду фантастических. Наверное, таким же бессмысленным в глазах большинства современников выглядело когда-то предложение о кругосветном путешествии для проверки того, круглая или плоская наша Земля. Подкрепляемые богатой практикой, общепринятые представления («общественное научное мнение») обладают поразительной инертностью. Стоит вспомнить историю кибернетики, квантовой химии, генетики, которые — было время — считались лженауками с абсурдными, заведомо недостижимыми целями. Вместе с тем едва ли стоит поддерживать изучение так называемого телекинеза, ясновидения.

Что же может служить достаточно объективным критерием «принципиальной невозможности»?

Принципиально неосуществимым следует считать все противоречащее известным законам природы в области, где они хорошо проверены. Такой критерий позволяет «обрезать» большую часть научно недоброкачественных гипотез, основанных на недостаточном знании уже накопленных экспериментальных и теоретических данных. Примером подобных гипотез может служить, в частности, только что упоминавшаяся идея телекинеза. Эта идея обычно оправдывается тем, что наука, загадав многие тайны неживой природы, все еще очень мало знает о механизме и свойствах мышления. На каком уровне организации материи возникает этот удивительный феномен? Каковы его пределы? Пока это — белые пятна на карте науки. Тем не менее можно с полной уверенностью сказать: какими бы свойствами ни обладало мышление, его воздействие на физические тела, если таковое имеется, должно передаваться посредством какого-то материального агента или, как говорят физики, поля, притом

² Предложение отдавать чистой науке лишь свободное время — совершенная утопия еще и потому, что современный эксперимент носит индустриальный характер, в его выполнении заняты промышленные предприятия, конструкторские бюро, службы техники безопасности и много других организаций с десятками, а иногда и сотнями сотрудников: инженеров, ученых, рабочих. Какое уж тут свободное время и деятельность на общественных началах! Давно прошли времена, когда для проведения опыта достаточно было куска сургуча, нескольких стеклянных палочек и мотка медной проволоки.

чрезвычайно сильного, если с его помощью можно двигать предметы. Но мы уже достаточно знаем устройство мозга, чтобы утверждать: в нем нет ничего, что бы могло создавать такие сильные поля

Несколько иная ситуация с телепатией — передачей мыслей на расстоянии, которая, как и телекинез, время от времени обсуждается в печати. Нельзя исключить, что электромагнитные колебания, которыми сопровождается процесс мышления, могут улавливаться другим сверхчувствительным приемником-мозгом. Явного противоречия с физикой здесь нет. Хотя с точки зрения количественных оценок (опять-таки основанных на тщательно проверенных физических законах) это выглядит маловероятным

Вообще говоря, в природе может реализоваться любая, даже самая «дикий» гипотетическая возможность, если только она не противоречит другим твердо установленным фактам. И если этого не происходит — значит, существуют какие-то еще неизвестные, скрытые закономерности, обнаружение которых — важная задача науки.

Правда, установить границы области, где известные законы можно считать твердо установленными, на практике довольно трудно, и суждения о ценности той или иной идеи часто бывают весьма пристрастными. Недаром некоторые ученые предлагают предавать гласности (для широкого обсуждения в научной среде) все гипотезы, которые не сводятся к уже известным, но и не содержат явных противоречий с ними. Управление наукой должно быть очень осторожным.

Цели близкие и далекие, наука и фантастика

В физике, где исследования особенно дороги, необходимость планирования стала остро ощущаться в начале 60-х годов. К этому времени были закончены фундаментальные исследования, связанные с развитием ядерной энергетики, и перед физиками встала задача выработать достаточно долгосрочную, на 10—20 лет, стратегию научного поиска. Эти вопросы интенсивно обсуждались и в нашей стране и за рубежом. Американские ученые пришли к выводу, что с точки зрения потенциальных открытий из нескольких десятков направлений, охватывающих все разделы современной физики — от явлений микромира до процессов в космосе, наиболее обещающей является физика элементарных частиц, за ней следуют эксперименты по проверке общей теории относительности, астрофизические исследования и квантовая оптика — работы с лазерными пучками. Однако учет внешней значимости проблем, их ожидаемого влияния на военное дело, экономику и культуру вывел на первое место изучение лазеров, на второе — опыты с элементарными частицами высоких энергий, а проблемы астрофизики сдвинулись далеко назад — на двенадцатое место. Внешние факторы оказались крайне весомыми.

Интересно, что разброс оценок получился на удивление малым, хотя в качестве экспертов выступали около двухсот специалистов — представителей различных областей физики.

В нашей стране астрофизическое направление нашло большее число активных сторонников, но в целом программа исследований получилась близкой к американской. И, глядя в прошлое, можно сказать, что сколько-нибудь значительных просчетов при этом допущено не было.

Можно думать, что такому планированию доступны и все другие области знания.

Прогноз развития науки на более длительный срок, скажем, до середины следующего столетия, — задача безусловно гораздо более сложная, хотя бы уже потому, что необходимо учитывать возможные изменения в экономических и социальных условиях жизни общества: в ближайшие полвека они могут быть очень значительными. Некоторое представление об эволюции этих условий дают «модели Римского клуба» — прогностические исследования, выполненные неправительственной организацией со штаб-квартирой в Риме, объединяющей ученых и общественных деятелей более чем из 30 стран мира, в том числе из СССР. Эти модели часто (и в общем-то справедливо) критикуют с различных точек зрения, но при этом нередко забывают, что основной их вывод не в предсказании конкретных факторов нарастания или ослабления каких-то явлений — здесь действительно много спорных моментов. Более важно то, что в реальных условиях раздираемого противоречиями капиталистического мира не удастся найти общественных механизмов, способных без существенного снижения уровня жизни и других резко негативных последствий подавить (сгладить) экспоненци-

альное развитие таких потенциально катастрофических процессов, как истощение сырьевых ресурсов, увеличение народонаселения планеты и т. п.

Если быть оптимистом и верить, что человечество сумеет справиться с этими грозными процессами, то можно предполагать, что в следующие десятилетия резко возрастет интерес к биологии и вообще к сложным самоорганизующимся системам, естественным и искусственным. Здесь масса фундаментальных и прикладных проблем, решение которых может в корне преобразовать жизнь на нашей планете. Несомненно, по-прежнему будут важны работы, связанные с поиском и освоением новых источников энергии. Это задача, к которой человечество никогда не утратит интереса.

Что же касается еще более далекой перспективы, то, пожалуй, единственный, хотя и не очень надежный способ разведки в этом направлении — научная фантастика. Очень часто, особенно учеными, этот термин используется как синоним чего-то сомнительного, необоснованного, выходящего за рамки научной логики. Это действительно так — фантастика всегда связана с экстраполяциями, порой настолько далекими, что они выглядят уже произвольной игрой ума. И тем не менее фантастика — уникальный способ познания будущего. Именно познания, поскольку фантастика (если только она не принадлежит к тому типу, который американцы называют fiction, а мы — сказкой) всегда моделирует социальную, психологическую и научную окрестности определенной идеи. В меру своих знаний и таланта писатель-фантаст всегда — исследователь. Не случайно, когда речь идет об очень дискуссионных или о только намечающихся проблемах, к фантастике как способу удобного и весьма эффективного анализа (хотя в применении к фантастике это слово звучит несколько странно) обращаются профессионалы-ученые. Стоит вспомнить известные романы «Черное облако» английского астронома Ф. Хойла или «Землю Санникова» советского геолога В. А. Обручева. Научная фантастика предоставляет неограниченные возможности мысленного экспериментирования, что особенно ценится учеными. Таким путем можно подняться над гипнотизирующими целями ближайшего будущего и ощутить веяния далеких последствий научных результатов.

У научной фантастики есть еще одна особенность, которая влияет на формирование отдаленных целей науки. Дело в том, что развитие знания лишь ретроспективно кажется последовательным и логичным, а в реальной жизни каждая новая идея алогична и неожиданна. Принципиально новая идея возникает, когда удается выйти за грани представлений, ставших привычной нормой мышления. А к этому мозг ученого должен быть подготовлен, в нем должны уже зреть различные «а что, если...». Однажды мне довелось прочесть рассказ о талантливом физике, который в суете рутинных задач потерял интерес к своей работе. Все снова стало на свои места, когда практикант-психолог осторожно подбросила ему «сумасшедший» вопрос: а что, если «подвигать» мировые постоянные — может, они и не постоянные? Роль такого вот психолога, помогающего преодолеть инерцию нашего мышления, иногда и выполняет научная фантастика. Профессионализм и связанная с ним чрезмерная «заземленность» часто мешают видеть далекие перспективы.

Наука становится все более абстрактной и трудной для понимания. Вполне возможно, что в попытках представить пути ее развития мы слишком привязаны к сегодняшним представлениям и многие наши надежды не сбудутся, но так уж устроен человек — он не может не задумываться о будущем, тем более что и наука теперь уже не способна развиваться, не прогнозируя своей перспективы.

Какие бы трудности ни возникли на ее пути, они рано или поздно будут преодолены или обойдены — путей научного прогресса много. Стремление к знанию заложено в самой природе человека. Как еще двадцать пять веков назад отмечал великий греческий философ Анаксагор, целью познания является теоретическое познание и проистекающая из него свобода.



Ю. ПОЛЯКОВ,

член-корреспондент АН СССР



ВЕЧЕРА У АКАДЕМИКА ТИХОМИРОВА

Он не обладал представительной внешностью, академик Тихомиров, нет, не обладал. Небольшого роста, аккуратно, но скромно одетый, с более чем небогатой шевелюрой, с немодными очками, прочно сидевшими на крупном носу, под которым торпорчились редковатые усики, он напоминал скромного служащего какой-нибудь скромной районной конторы. Голос отнюдь не поражал силой или тем более красотой тембра. Да, он не казался репрезентативной фигурой. Он просто был одним из самых выдающихся ученых-историков середины XX века.

Он не обладал ангельским характером, Михаил Николаевич Тихомиров, которого ученики и коллеги не называли за глаза, как модно сейчас, ни инициалами — «Эм Эн», ни шефом, ни стариком, а называли обычно — никто не знает, откуда взялось и повелось, как закрепилось, — «Миха́л Никола́в». Прозвание, как принято в русской разговорной речи, склонялось во втором слове: собрались у Миха́л Николава, пойдем к Миха́л Николаву, поговорим о Миха́л Николаве.

Миха́л Николав бывал раздражителен, порой сварлив. Он мог завестись из-за пустяка, всерьез обидеться из-за мелочи. Любил играть в шахматы и подкидного дурака, проигрывая, страшно нервничал и не на шутку сердился. Он резко отчитывал аспирантов и младших коллег за упущения, недоделки, леность, неаккуратность. Далеко не всегда эти упреки были справедливы. Но, пожалуй, никого так не любили — искренне и почтительно — студенты и аспиранты истфака Московского университета, где М. Н. Тихомиров преподавал с момента восстановления факультета в 1934 году, где он начинал доцентом, продолжал профессором, заведующим кафедрой, деканом.

Мало кто пользовался таким уважением, авторитетом ученого и человека среди старых и молодых, старших и младших (но неизменно придирчиво требовательных к лидерам науки) научных сотрудников институтов Отделения истории Академии наук, где Тихомиров отработал уйму лет и рядовым сотрудником и академиком-секретарем.

И сейчас, спустя уже почти 20 лет после его смерти, трудно назвать крупного историка, о котором люди, общавшиеся с ним, вспоминали бы с такой теплотой, приязнью, благодарностью, как о Михаиле Николаевиче Тихомирове.

Скромная фигура Тихомирова, не терявшаяся среди достаточно яркого созвездия ученых-историков сороковых — шестидесятых годов, с каждым годом как бы укрупняется, становясь все заметнее, внушительнее, обретая новые черты и черточки.

Академик Тихомиров — один из наиболее почитаемых посмертно ученых-историков. Издаются и переиздаются книги, публикуются материалы эпистолярного и научного наследия Тихомирова. Труды специалистов пестрят сносками на его статьи и монографии. Выходящий регулярно «Археографический ежегодник» украшен титулом: «Основан в 1957 году академиком М. Н. Тихомировым». Регулярно, с 1968 года, проводятся специальные научные конференции — Тихомировские чтения. В научной печати — редчайший случай — распространяется выражение — «Тихомировские традиции» (с большой буквы!). Пишут: «Сфера воздействия Тихомировских традиций очень велика», «В русле Тихомировских традиций» и т. д. На очередных Тихомировских чтениях читался доклад: «Издание и изучение наследия М. Н. Тихомирова. Тихомировские традиции».

«Правда» пишет о том, как действует задуманный академиком М. Н. Тихомировым «Компас» для «путешествия на машине времени» — для устремления в глубь веков с целью поисков сохранившихся на территории страны старинных разноязычных рукописных книг и их фрагментов.

Широко развернулась деятельность созданной по инициативе Тихомирова Археологической комиссии при Отделении истории Академии наук. Работает основанная им кафедра источниковедения на истфаке Московского университета.

Собранная Тихомировым бесценная рукописная коллекция хранится, согласно его завещанию, в Государственной публичной научно-технической библиотеке Сибирского отделения Академии наук. Она стала ядром богатейшего (15 тысяч единиц хранения!) собрания рукописей ГПНТБ.

Тихомировская коллекция не просто хранится. Она не спрятана за семью печатями, а живет, используется для повседневной научной работы, всесторонне изучается историками, филологами. На Тихомировских чтениях 1980 года в Новосибирске ученые сделали семь докладов по материалам Тихомировской коллекции. Уже увидели свет специальные сборники, подготовленные по этим материалам.

Студенты и преподаватели Дальневосточного университета работают с книгами библиотеки, завещанной Тихомировым самому отдаленному университету нашей страны в городе Владивостоке.

Михаил Николаевич был одинок, а более или менее близкие и дальние родственники — чем знаменитее он становился, тем больше их обнаруживалось — не занимали в его жизни сколько-нибудь значительного места. Он не проявлял равнодушия к быту, к еде, хотя врачи последние два десятилетия его жизни налагали все большие ограничения. Но, конечно же, все бытовые явления он умел отодвинуть на задний план. А главное, он оставался самим собой — неизменным Михаилом Николаевичем — и в двух скромных комнатках коммунальной квартиры дома на Беговой, выстроенного на Ходыньском пустыре в конце войны, но через 20 лет пришедшего в аварийное состояние, и в великолепной квартире высотного здания на Котельнической набережной, куда переехал в 1953 году.

Он был одинок, а человек не может жить без общения.

В удивительно тесных помещениях институтов Отделения истории трудно найти место где поговорить, зато всегда найдется с кем и о чем перекинуться словом. Но институтские разговоры при всей их продолжительности, полезности, привлекательности не могут заменить общения домашнего.

И потому вечерами, почти каждый день, у Тихомирова собирались по несколько человек. Разные люди, много разных людей побывало тут. Бывали знаменитые и именитые уже тогда, бывали ставшие знаменитыми и именитыми позже. Приходили по делам, оставаясь ужинать. Приходили поужинать, придумывая дело.

Но чаще всего собирались без особых дел и без предлогов. И собиралась преимущественно молодежь — кандидаты наук, недавние аспиранты, кандидаты в кандидаты, кандидаты в аспиранты; научные сотрудники — младшие и старшие, но молодые, послыдневшие доценты и дошопные ассистенты — все, как правило, прошедшие тихомировскую школу в студенчестве или в аспирантуре.

Рассказывали академические и университетские новости (до всяких новостей Михаил Николаевич был большой охотник), обсуждали, как говорится, текущие события, ужинали скромно — нередко кто-то из гостей откомандировывался в соседний «Гастроном» за нехитрым подкреплением из колбасы, сыра или консервов, умеренно запивали сухим вином или — чаще и охотнее — водкой.

Играли в шахматы и в дурака. Бодро садился он за шахматную доску, напевая лирическим приятности голосом «О, Сусанна», выигрывая, шумел, бурно радовался («Гром победы, раздавайся, веселися, храбрый росс!»), проигрывать страшно не любил, злился, задирался («Немудрено выигрывать — думаете по часу над каждым ходом. Скучно с вами играть, неинтересно. Это вам не Азовское сиденье. Что вы, Псков обороняете от Стефана Батория, время тянете?»).

Но, конечно, и вечером, за отдыхом, хозяином и главным гостем была наука, ее проблемы, ее заботы, повседневные ее дела.

Новые находки, архивные и археологические, новые статьи и книги, доклады, диссертации — все обсуждалось, одобрялось или критиковалось, возносилось или низвергалось. Частенько эти оценки бывали пристрастными — не без того, — но по искренности, глубине, бескорыстной заинтересованности, меткости, высокому профессионализму эти мнения, суждения, право же, весили много больше и уж во всяком случае были куда интереснее, чем отзывы официальных оппонентов, признанных экспертов, присяжных авторов критических статей.

Тут же Михаил Николаевич распекал провинившихся аспирантов или сотрудни-

ков. Доставалось многим, но особенно часто мишенью становился Саша Мальцев. Александр Николаевич Мальцев¹, человек редкостной доброты и дружелюбия, встретивший на своем недлинном жизненном пути немало препятствий, был любимым учеником и другом Тихомирова. Михаил Николаевич заботился о Саше, как о сыне, помогал в его нелегко складывавшейся жизни. Саша бывал у него чаще всех. И, разумеется, на него чаще всего обрушивался праведный и неправедный гнев учителя.

— Вы обещали сдать вторую главу в январе. Сейчас на дворе июнь. Я спрашиваю, хотя, признаюсь, мне это крайне неприятно, мне это прискучило, но я вынужден и спрашиваю: где глава?

Он говорил, распаяясь, он задавал риторические вопросы, забывая о попритихших гостях. Милый добродушный увалень Саша сидел, пыхтя и надувая щеки. Он хорошо знал, что лучше помолчать, ибо ответ вызовет еще более бурную реакцию. Но отбиться от Михал Николава было не так-то просто. Он продолжал наседавать с удвоенной энергией.

— Вы не появлялись две недели, вы скрываетесь с постыдным рвением, вы затаились, яко тать в ночи. Я подозреваю, я догадываюсь, я знаю, вы завели новый роман. Но надо иметь мужество признаться, что вам надоела наука, что вы предпочитаете вести рассеянный образ жизни и скитаться меж двор вместо того, чтобы сидеть с пером в руках. Если вы убоились бездны премудрости, то просите увольнения от нее. Вы позорите науку, мне стыдно за вас. Честнее откинуть видимость научных изысканий и уйти в каменотесы. Это достойная профессия, и это будет единственно правильным применением вашей энергии, которую вы никак не можете сосредоточить в нужном направлении. Почему, я спрашиваю, вы заставляете меня краснеть, волноваться, подсчитывать ваши протори и убытки?

Саша не выдерживал и, понимая, что допускает тактическую ошибку, все же пытался возразить.

— Но, Михаил Николаевич, вы же сами сказали, что у меня не хватает материала, и потребовали, чтобы я снова поработал в архиве. Там я и сижу с утра до вечера.

Михаил Николаевич взрывался ракетой. Он высказывал из-за стола и, возбужденно бегая по столовой, гневно восклицал:

— Вы слышали? Вот, оказывается, где причина! Виноват не кто иной, как я. Это чудовищно! Это непостижимо! Вы наконец раскрыли свое истинное лицо.

Так продолжалось довольно долго. Потом он успокаивался, стихал.

— Я отпускаю ваши грехи в последний раз. Заявляю при свидетелях: через две недели глава должна лежать у меня на столе.

И, переходя на дружеский тон, доверительно, хотя и с подковыркой вопрошал:

— Ну, какова эта незнакомка, которая тормозит прогресс науки? Есть ли в ней хоть капля интеллекта? Впрочем, зачем я спрашиваю? Зная ваше тяготение к дамам полусвета, я мог бы и не задавать праздных вопросов.

— Михаил Николаевич,— отвечал с предельной искренностью взбодрившийся Саша,— ну какая незнакомка, какие дамы полусвета. Право же, я сижу в архиве как раб, прикованный к галереи... Исхудал вот...

— Ну, ну, скромность паче гордости. Что-нибудь интересное в архиве попало?

— Одна грамотка обнаружена — чудо. Сейчас расскажу.

Разговор входил в нормальное русло

И потом уже, после делового разговора, приглашая к столу, Михаил Николаевич говорил смущенно:

— Ладно, ладно. Ну — погорячился. Забудем. Как писал Петр Апраксину: «Да не напамтует всяк сей случай».

Он любил незатейливые розыгрыши, шутки. Однажды, придя под вечер, я застал его за странным занятием. Он колдовал над бутылкой цинандали, тщательно закупорив ее и припечатав сургучом (в ту пору винные бутылки, не знавшие еще пластмассовых пробок, запечатывались надежным дедовским способом).

— Переквалифицируетесь в химика? Или в винодела? — спросил я.

— Тс... — заговорщически ответил он. — Храните тайну вкладов. Сейчас должен прийти Э. Маленький розыгрыш. Я налил в бутылку не вино, а водку. Гарантирую огромный психологический эффект.

Все было разыграно, как по нотам.

¹ А. Н. Мальцев (1921—1964) — кандидат исторических наук, автор многих работ по истории феодальной России, доцент МГУ.

Явился З., известный своей склонностью к горячительным напиткам. Поговорили, сели ужинать.

— Вот беда,— сказал сокрушенно Михаил Николаевич,— надо бы выпить по рюмке, но забыл запастись. Извините, пожалуйста.

— Ничего, ничего, что делать,— с напускной выдержкой и не без труда, пытаюсь скрыть разочарование, сказал З.

— Впрочем, у меня заваялась бутылка цинадали. Я понимаю, это не тот напиток, который вселяет в вас бодрость духа, но на безрыбье...

— Можно и цинадали. Даже полезнее для здоровья,— несколько торопливо, вяло воодушевляясь, но с достоинством отозвался З.

Михаил Николаевич достал бутылку, штопор, нарочито медленно священнодействуя, открыл и разлил напиток в заранее приготовленные бокалы темного стекла.

Все взгляды обратились к З. Он сделал глоток. Недоумение отчетливо отразилось на его подвижном лице.

— Странное цинадали,— сказал он, еще не понимая, в чем дело.

— Пейте, пейте, неужто вы так отвыкли от сухого вина?..— дружески настаивал Михаил Николаевич.

З. сделал еще глоток. Догадаться, что это за напиток, было не так трудно.

Все от души хохотали и больше всех, разумеется, Михаил Николаевич..

Старик не любил ораторствовать. Он мало напоминал наставника, который виitivityует перед благоговейно внимающими учениками.

Но поделиться возникшей мыслью, рассказать о запомнившемся вчерашнем споре, беседе, вспомнить житейскую историю, высказать что-то уже продуманное или еще не перебродившее, но любопытное — это он делал охотно. Делал естественно, демократично, не заставляя всех слушать, не обращая внимания на тех, кто занят был своим разговором.

Особенно горячо он говорил о значении истории и (это была его любимая тема) об общественном достоинстве историка.

— Сегодня поспорил я,— рассказывал он как-то,— с одним видным представителем так называемых естественных наук. Не буду называть фамилии: он достойный человек и бои простит его прегрешения. Говорит этот представитель: «Люблю я историю. С удовольствием почитаваю вещички исторические между делом. Но, признаться, какой-либо пользы от истории не вижу. Ученый спроектировал, допустим, мост. Построили его по этому проекту. Действует, не рушится. Поезда ходят, людей перевозят, грузы. Граждане довольны. Государству, обществу польза. Рассчитали, допустим, наши ученые теоретически некоторые штуки для определения максимальных нагрузок или прогнозирования возможных вибраций. Фундаментальные открытия других позволили новые материалы изготовить. И так далее и тому подобное. От точных наук всегда прок человечеству. Не сейчас, так через год. Не через год, так через двадцать. Чем глубже открытие, тем дольше служит, тем больше граней практических потом проявляется. А история? Где тот мост, который при помощи исторической науки построен? Бог науки — эксперимент. А историческое знание экспериментом не проверишь. Не проверишь, как погиб царевич Дмитрий или когда и как была заложена Москва». Так говорил этот представитель точных наук, кротко, как целомудренный Иосиф, но с ехидством превеликим.

Ответил я ему спокойно, хотя, не буду скрывать, кипел от негодования. И сказал я ему таковы слова. Вот корова пасется на поле, и ей безразлично — Бородинское это поле или безвестный деревенский выпас сельца Анюткино. Овцы ходят по полю, и им все равно — Куликово это поле или лужок при деревне Чернушкино. А нам не все равно, нам не безразлично, черт побери! Мы — люди, а не парнокопытные. Человек тем и отличается от всех других млекопитающих, что ему надо знать, какое это поле. А если поле Куликово или Бородинское, он поклонится и шапку скинет долой. Человек не может считаться человеком, если он не знает своего рода-племени, если ему наплевать на родной край, если ему безразлична страна, где он живет. Человек становится гражданином, становится русским, узбеком, украинцем, казаком с того момента, когда узнает, что такое его страна и чем она славна. Русский не осознает себя русским, пока не узнал он о Дмитрие Донском, про Полтаву и Петра, про Пушкина и Некрасова, о зале «Авроры» и о Ленине. Без истории же и литературы сие познание невозможно. Никакие мосты, самые распрекрасные, человека человеком не делают, коли он лишен памяти, а память людская в исторической науке воплощается...

О науке в жизни Тихомирова, о его понимании науки стоит сказать особо.

Он был ученым потому, что сделал бесконечно много в той области науки, которой занимался. Он был ученым потому, что занимался наукой всю жизнь (и тогда, когда не работал в научном учреждении). Он был ученым не потому, что не мог заниматься чем-то другим, а потому, что не мог не заниматься наукой, потому что исследовательская и преподавательская деятельность составляла не просто главное, но единственное содержание его жизни.

Тихомиров жил наукой и для науки. Подлинная любовь к науке, преданность ей — неделимы.

Любовь, выражаемая в декларациях, — не любовь. Любовь, выраженная в собственном труде на благо науки, действительна, осязаема. Но это далеко не все. Часто это может означать, что ученый любит себя в науке, трудится и для науки и для себя. Это важнее, чем абстрактная любовь. Но все же она эгоистична, как, впрочем, всякая любовь.

Ученый не может заниматься всем. Он должен быть специалистом в какой-то узкой отрасли. Это очевидно. Именно здесь он двигает науку, здесь приносит наибольшую пользу. Но если он замкнулся в этой отрасли, не интересуется другими проблемами, неизбежно возникнет гипертрофированное представление о «своей» проблематике. По-настоящему большого ученого отличает понимание значимости других, «чужих», порой далеких проблем, широта взглядов, умение, желание, потребность поддержать эти проблемы, искренняя заинтересованность во всем, что касается науки.

Именно таков был Тихомиров — неутомимый ратоборец за историческую науку, за ее интересы. Мог и умел поддержать творческое начинание, если видел и понимал его перспективность. Не боялся резко обрушиться на ограниченность, непонимание, консерватизм.

Историческая наука необъятна, широка в своем диапазоне хронологически, географически, тематически. От каменного века до периодов, максимально приближенных к современности (старая шутка историков: «От Адама до Потсдама»). Она изучает загадочные памятники острова Пасхи и проблемы рабочего движения в США. Ей «поведомственны» проблемы общественного строя древней Индии и вопросы развития науки и культуры в ходе строительства социализма. История дипломатии и история кораблестроения.

В этом океане круг непосредственных интересов Тихомирова — история древней России — не столь уж велик. Но любя беспредельно прошлое родины, он видел науку в целом и делал что мог для ее развития на широком фронте. Он критиковал узких специалистов, не умеющих или не желающих увидеть что-нибудь важное за рамками своей темы. Он писал по этому поводу в газете «Известия» в 1962 году: «Некоторые историки — сторонники узкой специализации — всю жизнь занимаются историей одного столетия, а то и одной узкой темой. Есть среди них такие исследователи, которые всю свою энергию обратили на изучение, например, только XVII или только XVIII века, не заглядывая за пределы избранного ими периода».

В этой связи Тихомиров ставил вопрос, который волновал и продолжает волновать не только историков: может ли ученый писать о событиях максимально приближенных к современности, или для него обязательно нужна временная дистанция. Нужна, необходима, говорят многие: «большое видится на расстоянии». Историк должен быть объективным, беспристрастным, очевидец, современник — пристрастен, потому его суждения не могут быть подлинно научными. История современности — не история, а публицистика, далекая от науки.

Нет, отвечают другие. Писать по горячим следам событий можно и должно. Конечно, есть немалые трудности. Не все документы отложились в архивах. Трудно писать о процессах незавершенных — еще неясно, сколько времени продлится этот процесс, когда закончится, во что выльется. Время меняет оценки. Через годы с исторической вышки многое видно яснее, четче. Что-то казавшееся очень важным оказывается малозначительным по сравнению с новыми событиями и явлениями. Что-то бывшее вначале многообещающим захирело с годами, не окрепло, не разрослось. И, напротив, что-то поначалу малозаметное выросло, превратилось в ведущее, определяющее.

Но вместе с тем близость событий дает историку ряд преимуществ. Все хорошо помнится, ничто не забыто. Сохраняется та живость и непосредственность восприятия,

которая сообщает особый аромат историческому описанию. Сохраняется то проникновение в суть явлений, которое свойственно лишь участникам и современникам.

Так или примерно так рассуждали и продолжают рассуждать сторонники и противники временной дистанции. Как правило, среди сторонников первой точки зрения преобладают ученые, занимающиеся историей более отдаленных периодов.

Однако Тихомиров — ярко выраженный, законченный, несомненный «феодал» по непосредственным научным занятиям — придерживался широкого, масштабного взгляда.

Узкие специалисты по отдаленной хронологически истории, писал он в уже цитированной статье, «...утверждают, что современники якобы не могут написать историю своего времени. При этом суждении они исходят из того, что история должна быть написана с объективных позиций, а современник будто бы этого сделать не может. Товарищи, однако, забывают, что лучшие и наиболее значительные труды прошлых времен написаны современниками. Светоний и Тит Ливий были современниками римских цезарей, о которых они писали. Записки о Гальской войне Юлия Цезаря до сих пор, несмотря на их официальный характер, остаются незаменимым источником по истории Галлии. Русские летописцы были современниками тех событий, о которых они писали».

А объективность.. Объективность совсем не обязательно приходит с хронологической дистанцией. И опять-таки тысячу раз был прав Тихомиров, напоминая, что не существовало историков, которые писали бы, «добру и злу внимая равнодушно», «не ведая ни жалости, ни гнева». Историк — человек и гражданин, и он не в башне из слоновой кости и не на болотном островке. Он на стороне прогресса, свободы, справедливости, о каких столетиях ни шла бы речь. Он объективен — его объективность в том, что он честно и добросовестно изучает все факты, излагает события, не искажая, не фальсифицируя их, не приукрашивая историю и не сгущая произвольно краски. Но он не скрывает своих симпатий и антипатий, пишет ли он о войне американского империализма против вьетнамского народа, или о борьбе Руси против ордынского ига, или о восстании Спартака против римских рабовладельцев.

— Об историках,— говаривал Михаил Николаевич,— иногда думают, что мы храним правду в кармане и не хотим или по каким-то причинам не можем извлечь ее на свет божий. Это чепуха. Историческая правда никогда не лежит готовенькой для употребления. В расфасованном и упакованном виде она не выдается. До правды надо доработаться. До-ра-бо-таться! Каждое историческое явление многогранно. Историк видит одну грань, описывает ее и говорит — вот истина! И он прав. Но не до конца. Другой видит другую грань и говорит — вот правда. И он по-своему прав. Но опять-таки не до конца. Где же настоящая истина? Правда настоящая, полная появляется тогда, когда мы рассмотрим все грани, все стороны явления, совместим и сопоставим их. Это и значит — доискаться, доработаться.

Такой процесс длителен, а может быть, и бесконечен, ибо кто знает — сколько же граней у каждого исторического явления. И оно, явление, не изолировано, оно связано с другими, а у других — новые грани. На то и наука, чтобы углублять и расширять свои представления. А ежели все ясно, тогда и наука не нужна.

Еще одна черта, вероятно, не главная, но, несомненно, существенная, характеризовала отношение Тихомирова к делу. Это — непризнание мелочей в науке. В науке все важно. Любить ее надо и в мелочах, в частности, в повседневности, в малозаметных проявлениях.

Тихомиров рассказывал о таком эпизоде.

Как-то он выходил из Исторического музея (было это в начале пятидесятых годов). Подъехал грузовик — привезли материалы археологических раскопок. Вытаскивали ящики, переносили в здание. Один ящик упал, раскололся, и черепки рассыпались по тротуару. Мимо сновали прохожие, черепки могли повредить, ненароком прихватить из любопытства. Тихомиров нагнулся, стал собирать их, складывать в ящик. В это время из подъезда музея вышел молодой преуспевающий историк О. К. Михаил Николаевич обратился к нему:

— Видите, беда. Помогите собрать, покуда прохожие не растоптали.

— Черепки не по моей епархии. Вы же знаете, Михаил Николаевич, я далек от археологии.

— Черт побери! — взрываясь, закричал Тихомиров.— Какое это имеет значение? У нас одна епархия — историческая наука.

— Кандидату наук не к лицу ползать по тротуару,— с достоинством ответил О. К.— Вам, Михаил Николаевич, тем более. Надо кликнуть служителей музея. Пусть они и собирают.

Рассказывая об этом эпизоде, Тихомиров кипел негодованием.

— Не столь важно, что он барин. То гадко, что он к науке равнодушен. Ну — черепок. Черепок, конечно, и есть черепок. Но в данном случае это не просто черепок. Он в археологическом раскопе найден, к истории причастен. Он — часть истории. А попав в музей, становится частью исторической науки. Так как же давать эти рассыпанные черепки на поток и разграбление? А об О. К. и говорить не хочется. Не станет он настоящим ученым, не станет. Великий зверь на малые дела. (И что вы думаете — так ведь и не стал, в самом деле.)

Нетрудно догадаться, какое негодование и отвращение вызывали у Тихомирова научные работники — легковесные говоруны («Как много стало историков-пустозвонов. Кимвал брядающий, не более того»), невыразительные авторы безликих статей, безликие сочинители невыразительных рефератов («Много званных, но мало избранных. Развелось их множество, очень похожих друг на друга. Встретились — здороваются, а кто, признать не могу — так, некто в сером. Научных сотрудников ныне — тьма тьмущая, а трудов полезных — по пальцам сосчитать»).

Обязательность! Как редко — и, сдается мне, все реже — встречаемся мы с ее проявлениями. Качество, присущее старому русскому интеллигенту, присущее из-за внутренней потребности, составляющее одну из необходимых черт интеллигентности. Качество, присущее деловому человеку, присущее из-за интересов дела, составляющее одну из необходимых черт деловитости. Как часто — и, увы, все чаще — сталкиваемся мы с проявлением необязательности. Как часто человек, обещавший принести книгу, журнал, переговорить с кем-то по вашему вопросу, прийти на заседание, забывает об этом. Или не забыл, но посчитал мелочью, пустяком, отложил на завтра, на послезавтра, а там и в самом деле забыл. Тяжело, неловко спрашивать такого человека об обещанном. По-разному реагируют. Или, пристально глядя в глаза, переспрашивают удивленно: «Что? Что? Не помню...» А потом вспоминают и с подкупающей искренностью каются, извиняются, обещают обязательно сделать. Или мнутя, отводят глаза в сторону, краснеют. Или — пожалуй, чаще всего — воспринимают как должное: «А что, собственно говоря, произошло? Ну — забыл, ну — не смог, ну — было недосуг...» Сколько дел полезных не сделано из-за этой самой необязательности. Сколько открытых конфликтов, скрытых обид возникало, сколько друзей, товарищей, приятелей перестали быть таковыми из-за взаимной необязательности.

Откуда взялась, появилась необязательность — из вековой расейской расхлябанности, азиатской лени, бюрократического формализма, равнодушия к живому делу?

Истари ли она ведется, трансформируясь, впитывая в себя различные недостатки рода человеческого? Или она — порождение нашего необыкновенного века, с его суетой и беготней, с тысячей забот и дел, которые как ни старайся, все не переделаешь?

Михаил Николаевич был обязательным человеком. И его обязательность шла, конечно, не от деловитости, а от внутренней интеллигентности. Если он обещал что-то сделать, то для него это дело, даже пустяковое, превращалось в крупное, серьезное по той простой причине, что оно было обещано. К каждому делу он относился со всей серьезностью: обещал написать отзыв через неделю — напишет; согласится отредактировать к концу месяца — отредактирует; неохотно, но дал согласие прийти на заседание — придет; посулил принести в четверг в Институт книгу, о которой давеча спорили, — принесет. А не мог что-то сделать — по занятости, нежеланию, незаинтересованности, отсутствию симпатии, — отказывал прямо, открыто, порой резковато.

Будучи сам человеком обязательным, пунктуальным, людей неаккуратных в деле, ненадежных на дух не терпел, критиковал жестоко. Не раз приходил из Института, из Отделения истории, из Президиума Академии раздраженный, взъерошенный.

Его успокаивали, говорили, что вопрос пустяковый, мелкий. Он взрывался:

— Вы ничего не понимаете. За пустяком видеть суть надобно. Как я могу довериться человеку в большом деле, если в пустяках и то обманывает. Не дело мелкое, а человек мелкий.

С глубоким уважением относился Тихомиров к простым, извечным человеческим качествам, таким, как доброта, память о добре.

— Нельзя забывать о добре, тебе содеянном. Это тоже одно из качеств, человека от животного отличающих. Впрочем, говорят, и звери добро помнят. Вы же знаете старую притчу о льве, узнавшем и пощадившем человека, который ему когда-то занозу из лапы вытащил. Кто их знает, зверей, может быть, и помнят. Не знаю, видел лишь, что жеребенок или щенок, вырастая, ни папу, ни маму не признает. Хотя, пожалуй, это не доказательство, поскольку дитя человеческое тоже сплошь и рядом не проявляет ни малейшей благодарности по отношению к родителям. Ладно, как бы там ни было, память о благе — одно из главных человеческих достоинств. А отсутствие таковой — один из главных недостатков. Помните «Полтаву»? Мазепа в глазах Пушкина — законченный злодей. Каковы ж его пороки? «Что он не ведает святыни, что он не помнит благостыни». Да, для Пушкина главные черты, делающие человека злодеем, негодяем, — не ведает святыни, не помнит благостыни. Нет для злодея ничего святого, не помнит он блага. Не помнить благо — предел человеческого падения.

Михаил Николаевич не просил, не требовал благодарности от тех, кому сделал добро. Но он не прощал, не мог простить неблагодарности. И немало людей, которые отличались неблагодарностью своим учителям, своим доброжелателям, тем, кто им помогал, делал добро, навсегда лишились его симпатии. Я говорю «немало». Да, что поделаешь: Тихомирову довелось немало их повстречать. Всем нам, думаю, тоже.

Человеческие черты Тихомирова особенно ярко сказывались на отношении к памяти умерших.

Михаил Николаевич словно считал себя персонально ответственным достойно увечевить ученого (разумеется, достойного этого). Он, с великой неохотой ходивший к высокому начальству по своим собственным делам, не жалел усилий, чтобы провести сквозь лабиринты академических и издательских инстанций решение об издании книг умершего историка, не считал для себя зазорным по этому поводу хлопотать и просить. Как-то некий не слишком тактичный аспирант выразил удивление, когда Тихомиров вечером упомянул, что полдня провел в приемной одного ответственного редакционно-издательского деятеля по поводу выпуска книги покойного Х. Михаил Николаевич вопреки обыкновению не вскипел, не съязвил. Он кротко, даже каким-то извиняющимся тоном начал говорить о том, что мы все обязаны выполнять свой долг перед ушедшими и, в частности, добиваться выхода их книг.

— Ведь живущий может пробивать свою книгу, проталкивать. У живущего локти, чтобы конкурента оттолкнуть, ноги, чтобы бегать по издательствам, руки, чтобы жалобы строчить. А умерший за себя похлопотать уже не может. Кто же это делает? Мы, только мы... Человек писал, мучился над страницами, душу вкладывал. Не успел довести до конца. Как же не помочь? Нехорошо получится. Взять того же Х. Никакой радости в жизни в последние годы у него не было. Болел, с одной больничной койки на другую перекладывали. И все же работал, писал. Как полегче станет — за стол и писать. Единственное утешение, одна забота — писать. Весь он — в этой рукописи. Так как же не издать?..

М. Н. Тихомиров придавал большое значение языку историка. История любима народом. Миллионы людей интересуются отечественной историей, прошлым других стран. Люди всех возрастов, всех социальных групп, всех специальностей читают книги по истории. Особенность исторической науки (как и других гуманитарных дисциплин) в отличие от естественных наук в том, что почти любая научная книга по истории доступна широкому читателю. В науках естественных большинство сюжетов настолько специальны, сложны, что человек без определенной подготовки читать научные книги и статьи практически не может. Научно-популярная литература по этим отраслям знания затем и существует, чтобы их достижения делать общедоступными. В истории этого нет. Любой предмет научного исследования может быть интересен широкому читателю и соответственно с интересом прочитан. Исключение составляют лишь отдельные сюжеты по узким историческим дисциплинам (например, палеогеография), специальным вопросам (сопоставление текстов, выяснение терминологических расхождений и т. п.). Подавляющее же большинство исторических проблем, вопросов, от глобальных до мелочей, деталей, частных, интересны читателю. Итак, научные книги исторического характера читаются... Читаются, но в большинстве случаев (увы!) без

удовольствия: как правило, написаны они вяло, скучно, бедным и стандартным языком. Потому и тиражи научно-исторических книг ничтожны — от тысячи до пяти тысяч экземпляров; для страны с 270-миллионным населением это поразительно мало! Интерес к истории самими историками должным образом не удовлетворяется.

Академик Тихомиров хорошо видел стилистические, языковые недостатки современных исторических работ.

«...Многие исторические труды нашего времени пишутся и небрежно и невероятно скучно», — писал он, полемизируя с теми, кто игнорировал значение формы. Когда несколько почтенных историков в статье «История и современность», опубликованной в 1962 году, высказали мысль о второстепенном значении художественной изобразительности в исторических сочинениях, Тихомиров раскритиковал статью, не посчитавшись с тем, что одним из ее авторов был глубоко уважаемый им академик Сергей Данилович Сказкин.

Тихомиров назвал эту теорию «удивительной». Он писал: «Нельзя ориентировать молодых ученых на фактическое бракодельство. Ведь с таким же правом можно предложить обувной фабрике выпускать отвратительную по виду обувь на том лишь основании, что ее содержание (материал, носкость и пр.) — главное, а красота — второстепенное.

Единство содержания и формы так же обязательны для историка, как и для художника... Историк — это и писатель. Иначе ему нечего братья за свой труд. Забота о выразительности исторических сочинений не должна отбрасываться в сторону, ей следует отвести одно из первостепенных мест».

Среди советских историков были и есть блистательные мастера пера, облакавшие научные труды поистине в художественную форму. Книги Алексея Павловича Окладникова, Евгения Викторовича Тарле, Ивана Михайловича Майского, Альберта Захаровича Манфреда принадлежат к числу широко известных, широко читаемых. Это книги, где глубина исследования, новизна постановки вопроса сочетается с ярким ясным стилем. Они просто хорошо написаны. И не стандартно. Давно сказано, что стиль — это человек. И стиль каждого виден в книгах. Тихомиров обладал своим стилем. Не только на фоне бесчисленных шариковых скорописок, но и в сравнении с размашистым фигурным рондо Е. Тарле, серебряным стилем М. Нечкиной, добротным паркером Е. Жукова и другими золотыми авторучками и стальными перьями старое гусиное перо М. Тихомирова не уступало ни в красоте, ни в надежности. Оно ясно, честно, четко умно, убедительно переносило на бумагу то, что хотел сказать автор в ему одному присущей манере.

Великий труженик Тихомиров не любил говорить о значении труда. Он работал неустанно — и этим доказывал превосходство и пользу труда над пустым словоговорением. Но как-то он разговорился на эту тему. И говорил, как всегда, искренне, убежденно.

— В самом деле, — подчеркивал он, — как верно и глубоко марксистское положение о труде! Жизнь оценивая, с труда начинать надо. Без труда представить жизнь не могу. Любой труд нужен, важен, полезен. Нужен для самого человека прежде всего. Не может быть труда презренного — кроме как у ростовщика, палача и пыточных дел мастера. И потому в каждом труде человек находит какой-то интерес, какую-то удовлетворенность. Хочет сделать свое дело получше. Все же труд разный. И разный он по интересу и по результату, по характеру. Демагогично утверждать, что все трудовые процессы радостны и приятны. Но, повторяю, всегда в труде можно найти красоту.

Сколько красивого, поэтичного в крестьянском труде. Недаром поэты и писатели вдохновенно и сильно о нем писали. А он тяжел, крестьянский труд, как еще тяжел. Но — красив, разнообразен. Вообще, когда человек работает хорошо — это всегда красиво.

О красоте труда у нас тоже написано немало и неплохо. Я всегда люблю, просто эстетическое наслаждение получаю, когда вижу хорошую работу. Водопроводчик на днях краны чинил — ловко, споро, сноровисто, умело — душа радовалась. И ему самому, видно было, работалось в охотку.

Во всяком труде, я уверен, можно найти свой интерес, свою живинку. Что-то улучшить, усовершенствовать. Вот у нас сейчас дворник во дворе. В три минуты переметет мусор с дорожки по сторонам и уходит восвояси. А о прошлом годе была дворничиха — та работала с умом, со вкусом, с удовольствием. Метлой махать —

чего уж проще, а залюбуешься. Листья опавшие грабельками с газона сгребет, потом поджигает. Какой запах — не запах, аромат, когда в погожий осенний денек листья опавшие сжигают. Я подолгу смотрел, как она работает. Мести-то начинала издали, чтобы сор не перекидывать зазя, а рационально переместить к воротам, откуда его увозили. С умом, с умом, никаких бессмысленных, ненужных движений, лишних шагов.

А зимой снег фанерной широкой лопатой сгребала, потом метелочкой подчищала. Ровные валики по бокам дорожки, а на перекрестках сугробики как башенки крепостные. Красиво, по-настоящему красиво. Поэма! А вы говорите — дворник.

Но, конечно, работа научная требует максимального творчества, дает наибольшие возможности для творческого подхода. И я счастлив, что стал научным работником. Мне труд никогда не был в тягость. Всегда в охотку, всегда с интересом, всегда я мог его разнообразить — то пишу, то читаю, то редактирую, то к лекции готовлюсь, — всегда с радостью, с наслаждением работал. Хоть от зари до зари. Не знаю, насколько велики мои творческие потенции. Но судьба дала мне возможность их раскрывать. А я ее — судьбу — стараюсь не подвести. И потому — счастлив...

Ставя труд превыше всего, Тихомиров, естественно, не выносил бездельников, лентяев.

— Бездельник в моих глазах существо низшего порядка — трутень, паразит, — говорил он. — Иногда можно услышать, как иная сердобольная тетя с оттенком полускрытой гордости заявляет о ком-то: он страшный лентяй и учится неважно, но такой способный, такой способный. Способный бездельник подобен человеку, который расхищает казенное имущество.

Какое мне дело, почему он плохо учится или работает. Трудолюбив, но туп. Способен, но ленив. Трудолюбие — это тоже способность, и немалая. Раз этой способности у человека нет, значит, у него нет комплекса способностей. Особенность лишь в том, что эту способность — трудолюбие, — к счастью, можно развить. Воспитать трудоспособность, умение, желание, потребность трудиться регулярно, всегда, всюду — пожалуй, самое главное. Трудолюбие важно всем — и очень способным, просто способным, среднеспособным, малоспособным.

А вообще, — неожиданно заключил он, — я доволен своей жизнью. Я ее прожил хорошо, интересно. Оглянешься — она и короткая, и длинная, и простая, и сложная, и бедная событиями, и богатая, разнообразная, нескучная была. Путь жизненный у человека не ровный, не вымерить по линейке...

— Вы когда-нибудь на лыжах пересекали широкое поле? Вот выходишь на опушку. Перед тобой поле, снегом заметеное. Дороги нет, лыжни нет. А на другом краю, у другой опушки стог сена чернеет. Поле ровное, цель видна, иди прямо, не сворачивая. Так нет же. Ни один не пройдет напрямик, по этой самой ниточке. Нет ее. Обязательно уклонишься то в одну, то в другую сторону. Тот, кто первым идет, кто лыжню прокладывает, тот непременно хоть один шаг неточный да сделает. А если б все по ниточке ходили — уж до чего скучно было бы.

В жизни каждый свою лыжню прокладывает. Где-то по накатанному идет, а где-то — по целине. Может быть, в этой непреходящей обыденности и в этой вечной неизвестности, в повторяемости и новизне, может быть, в этом и есть особая привлекательность жизни?

Он был увенчан титулами, званиями, должностями, оставаясь скромным и доступным; был всегда окружен многими людьми, оставаясь одиноким; ужасно не любил критику в свой адрес, будучи не прочь покрывать других; был предельно честен и объективен в научных выводах, хотя частенько пристрастно оценивал людские поступки; бывал обаятельным и приветливым, временами — сварливо-придирчивым; простодушным до наивности, а порой весьма себе на уме; прохладно относился к женщинам, будучи весьма галантным, даже куртуазным в общении с ними.

Да, он не казался представительной фигурой. Он был первоклассным ученым, был труженником науки и великолепным человеком: Михаил Николаевич Тихомиров.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

ИГОРЬ ДЕДКОВ

★

О СУДЬБЕ И ЧЕСТИ ПОКОЛЕНИЯ

Бывает, молния сверкнет,
перечеркнет квадрат оконный,
и гром, как взрыв миллионотонный,
войну и молодость вернет.

Борис Слуцкий.

Разумеется, книги Григория Бакланова не только о судьбе и чести поколения, не только о войне и молодости. Разумеется, и о многом другом, потому что ничего и никого — ни человека, ни поколение не отделить от всей жизни, движущейся и меняющейся. И все-таки прежде всего о судьбе и чести своего поколения, о жизни, выпавшей ему на долю...

Лететь из Вашингтона в Атланту в шестьдесят девятом — стюардессы в домашних передничках, сэндвичи в целлофановых коробках, виски со льдом, — лететь и вспоминать, как зубами вырывал осколки из ноги раненого паренька-пехотинца, и как полз по дну траншеи из опрокинутого взрывом термоса горячий пшениный кулеш, и как хотелось брать его ложкой и есть, но было уже не до кулеша...

В далеком Ванкувере обсуждать издательские дела с молодыми симпатичными людьми, радоваться их вкусу и энергии — и невольно прикидывать в уме, что отец вот этого человека с мягкими голубыми глазами, родившегося в Германии, вполне мог быть солдатом, а если не солдатом, то все равно «активным или молчаливым участником» фашистского безумия...

Братся за современные сюжеты (об ученом-историке, провинциальных архитекторах или шофере, совершившем наезд) — и почти фатально при всяком ударе житейского грома возвращать своих героев туда, где все они были когда-то: под обстрел, на поле боя, к пушкам...

Писать ли статью о том, как понимаешь свое художническое назначение, о том, что дорого и что неприемлемо в современной литературе, — все одно: без фронтовой памяти, без света ее как впотымах.

Будто иначе ни в чем и ни в ком, ни в себе самом не разобраться.

Выходит, там, позади, в молодости лейтенантской или солдатской, среди всего, что было общей и твоей войной, среди страшного, мучительного и самоотверженного, есть то, что дает тебе право говорить и надеяться стойким ощущением правоты. Ты говоришь, а все это там, за твоими плечами, и это пока еще кое-что значит...

Когда кажется, что из-под ног ползет земля, можно попробовать туда вернуться, под накат землянки, к брустверу окопа; там теперешние беды и хлопоты, а то и «мировая скорбь» будут увиденны иным зрением — насмешливым и беспощадным.

Один из последних рассказов Григория Бакланова — «Вот и кончилась война» («Дружба народов», 1982, № 1). Там она и в самом деле только что закончилась, и люди в гимнастерках и шинелях кое-как обвыкаются в тихой-мирной жизни, которая и без них, оказывается, как-то росла и наслаивалась, и теперь нужно отыскивать в ней «место по себе», а пока все вокруг какое-то временное, словно передышка, — сбросить бы усталость, оглядеться, перевести дух... Но для безрукого комбата жизнь предстает законченной навсегда, бесповоротно, и неизвестно, достанет ли в нем силы на что-либо лучшее и достойное...

«Я хотел помочь ему выпить, но он сам привычно зубами за край поднял стакан, вылил в себя водку, только кадык вздрагивал на вытянутом напрягшем горле. И поставил на место. Сидел, ждал. Один глаз его заслезился, другой, с рассеченным мигивающим веком и синими порошинами вокруг, глядел грозно. Как на часах при взрыве останавливается время, так в этом

его глазу, в незрячем разлившемся зрачке осталось былое, грозное, и уж, видно, до конца дней».

В этом мертвом глазу — остановившееся грозное время войны. Г. Бакланов словно напомнил нам, что посреди самой живой из живых жизней присутствует, никогда не исчезал этот застывший взгляд, и кто-то из нас, может быть, вздрогнет, вспомнив, что он этот взгляд знает, встречал... Ничем мы не переменим его грозного выражения. Ни бодрее не сделаем, ни веселее. Он таков и таким останется навсегда. Зависит от обстоятельств, но можно себе представить, что именно такой взгляд становится временами насмешливым и беспощадным...

«Неужели кончится война и с такой же легкостью, с какой проглянуло сейчас солнце, забудется все? — думал лейтенант Мотовилов в повести Г. Бакланова «Пядь земли». — И зарастут молодой травой и окопы, и воронки, и память?» Он вообще думал хорошо и ясно, этот баклановский герой пятьдесят девятого года; что бы ни писали тогдашние критики, у него был не узкий, а отменный обзор и ближних, и дальних позиций; он чувствовал: «Пуля, убивающая нас сегодня, уходит в глубину веков и поколений, убивая и там еще не возникшую жизнь».

А с чего не расти молодой траве? Бойко растет, и многое повсюду зарастает; давно осыпались стены траншей и выгладились поля; с каждым днем больше тех, кого некому вспоминать, потому что никто не сочтет, сколько было убито еще не возникших жизней и сколько оборвалось человеческих родов. Но наперекор всякому благомыслию и пылкому жизнелюбию — «все, что было, бьельем поросло» — литература снова и снова возвращает нас на войну. Кто хочет помнить и знать, тот возвращается. Это от нас всех зависит, зарастает ли что и зарастет ли...

Наше возвращение совершается в самом свободном из доступных человеку пространствах — в пространстве воображения, и в огромной мере от личности и таланта писателя зависит, какими они будут — и возвращение и пространство. Мнимое художество в лучшем случае снабжает нас информацией; хорошо, если правдивой; возникающая картина часто бледна, и нередко расчётлива; остается ощущение какой-то подмены, будто кого-то — главного! — недостает, каких-то — главных! — голосов не слышно... Субординация лиц соблюдена, но ни художественного, ни нравственного порядка она ни определить, ни заменить не может. Наше читательское

счастье, когда мы возвращаемся на войну иначе... Вместе с юным Глечиком Василя Быкова в последний раз слышим журавлиный крик над его последней одинокой обороной; вместе с Сашкой Вячеслава Кондратьева обживаем ту редкую, насквозь прострелянную рощицу, где от всей-то роты — шестнадцать человек, а воевать надо; вместе с лейтенантом Мотовиловым и его боевыми товарищами постигаем, что такое на деле «пядь земли», если так вцепиться в нее и не отдавать...

Наше общественное самосознание многим обязано военной прозе, возвращающей нас на действительную войну, к ее действительным героям — к солдатам и командирам, действующим на острие красных полководческих стрел. По этой прозе историю решающих стратегических ударов и сражений не изучишь; на то существуют другие источники и пособия. Но безмерно дорогая, предельно конкретная правда о том, как доставалась народу победа, там есть, и уже потому дело нашей военной прозы — святое дело. Если же выделить в ней сложившееся в конце 50-х — начале 60-х годов идейно-художественное ядро¹, то его зарядом было резкое неприятие всякой поэтизации войны, всякого упрощения участи воюющего человека, всех расхожих, универсальных схем и облегченных концепций героизма. Невозможно себе представить, чтобы опорные герои этой прозы рассуждали, скажем, о том, что военно-исторический опыт «уточнил и возвысил человеческую мысль о способах ведения войны до подлинного искусства». Эта проза сохранила толстовский скептицизм насчет такого рода «искусства». Отдать должное командирскому дару, воинскому умению, военному профессионализму — да, она могла и делала это, но восхищаться «подлинным искусством»? До того ли, когда рассказываешь и напоминаешь о том, что прежде всего было великим народным подвигом и огромной народной бедою, самоотверженным порывом и несчастьем миллионов. Иньм критикам очень хотелось, чтобы фронтовики, пришедшие в ли-

¹ Вторая волна военной прозы (если считать первой книги, созданные писателями — фронтовыми корреспондентами в годы войны и вскоре после ее окончания) поднялась именно в ту пору: это были повести Ю. Бондарева «Батальоны просят огня» (1957) и «Последние залпы» (1959), В. Богомолова «Иван» (1957), Г. Бакланова «Южнее главного удара» (1957), «Пядь земли» (1959), «Мертвые сраму не нмут» (1961), В. Быкова «Журавлиный крик» (1959), «Фронтная страница» (1960), «Третья ракета» (1961), К. Воробьева «Убиты под Москвой» (1963).

тературу, изображали в своих книгах «исполнинскую силу богатырей-победителей», но те знали твердо: победили не исполины, не богатыри, а люди, рабочие, крестьяне, интеллигенты со всех концов страны и помнить надо — людей, и восхитаться надо — людьми, и скорбеть — о людях...

Теперь это кажется странным, но вокруг «Пяди земли» Г. Бакланова завязалось немало литературно-критических боев. Так и хочется добавить — местного значения, да не добавляется. Не столь уж и местного. Очень подходящей и выразительной оказалась та пядь, чтобы обозначить через нее раздражающую «узость» окопной правды, которая к тому времени заявила о себе повестями Ю. Бондарева и того же Г. Бакланова и теперь представляла наиболее откровенно и осознанно...

«Я глянул на убитого в стереотрубу, — делился своими окопными ощущениями лейтенант Мотовилов. — Свежая кровь блестит на солнце, и на нее уже липнут мухи, роятся над ним. Здесь, на плацдарме, великое множество мух». Нашел же о чем говорить главный герой повести — о мухах! Достаточно ли «пяди земли», задумывались противники «низких» траншейных подробностей, чтобы вместить нужную нам правду о войне и героях богатырях, и вообще способна ли узкая, ограниченная мысль какого-нибудь взводного постичь общий маневр и более того — высший смысл происходящих событий!

Прошли годы, кто-то попробовал соединить окопную правду со штабной, кто-то не стал этого делать, но споры улеглись, противоречия смягчились, и постепенно было понято, что мотовиловский или другой схожий взгляд на войну совсем неплохо улавливал высший смысл событий и что истинному художнику общий маневр открыт всегда и это никак не связано с должностью и званием его героев...

Историки литературы позднее разберутся, победил ли кто в отшумевших спорах, очевиднее вот что: военная проза бывших рядовых и лейтенантов Великой Отечественной войны силой таланта и нравственной своей чистотой заставила считаться с той правдой, которую она призвана была сказать от лица своего поколения. От лица всех, кто ушел на фронт совсем молодым.

Биографии многих писателей военного поколения можно пересказывать так: воевали там-то и там-то, ранены, контужены, выжили, вернулись, по истечении необходимого времени написали первые книги.

Никто из них еще, кажется, не признался, что воевал с мыслью: доживу до победы — стану писателем... Будущее прояснилось позднее; окопные и госпитальные мысли — все или не все — теперь в романах и повестях, но подвигимся, порадуемся, как жадно и полно впитывали, вбирали эти молодые души, эти светлые головы все, что было войной и одновременно их единственной, едва начавшейся и сейчас свершающейся жизнью...

Нравится ли вам, читая книги и чувствуя расположение к автору, догадываться и думать о его судьбе? Можно не знать, где родился, в какой семье, где жил и учился, где работал и воевал, во что верил и чем дорожил, — всё протупает само собой и еще многое сверх того, складываясь не столько в биографию, сколько в образ автора как непредусмотренного, не названного героя его собственных сочинений. Это совсем неплохо и даже отрадно, особенно если вы внутренне соглашаетесь признать его таким героем, и не по какому-то месту и значению, которое он сам себе определил, а по его ощущению и пониманию исторического времени, по всему его отношению к человеку и жизни, воплощенному во множестве оттенков и вариантов, но единому по своей нравственной и эстетической суги.

Судьба писателя иногда кажется таинственной, исключительной; на самом деле она чаще всего открыта и обыкновенна. Вот в рассказах мелькнул Воронеж, город баклановского детства, школьной юности, еще все цело, все живы, и лучший друг Димка Мансуров не знает, что стогит в танке; вот перед глазами опять и опять «мальчики с хорошими честными лицами», в новеньких ремнях и с курсантской выправкой, лейтенанты ускоренных училищных выпусков, — братья по судьбе и долгу; вот грохот пушек, рев тягачей, разгул смерти, оборванный провод, который нужно срastить, — Юго-Западный, 3-й Украинский, фронтовое забываемое отечество; и наконец, послевоенная Москва, старый «дом-развалюха», временное пристанище, плачущая тетка Берта Григорьевна,ждавшаяся племянника, но не сына, — самое начало какой-то неведомой мирной жизни...

И еще то там, то здесь мысль о судьбе семьи, о старшем брате, погибшем у своего орудия осенью сорок первого, о двоюродном брате, павшем в сорок втором, обо всех родных и близких, о друзьях, не вернувшихся, но победивших, — неутолимая, не знающая завершения мысль... И вот

уже сама эта неведомая жизнь, наброски не чего-нибудь — романа! — и Литературный институт, где учат, подумать только, на писателей, принявший и поддерживающий те наброски... И легкое студенческое братство взамен фронтового, и отчетливое сознание какой-то неловкости своего нового положения: «... ни из меня, ни из кого-либо моих однокашников, называвших себя прозаиками, драматургами, поэтами, конечно же, не может получиться писателей, потому что писатель — это совсем другое».

Писатели, предполагалось, из небожителей...

Однако писатели из них получились. Не из всех. Очень разные. Но получились.

Оказалось, это и была та жизнь, с которой начинается писатель. Жил вместе со всеми и воевал вместе со всеми... Никакого небожительства.

С пятьдесят седьмого, о чем бы ни писал Г. Бакланов, без войны, без памяти и мысли о ней не обходилось. С годами полнее осознавалось то, о чем писатель сказал в одном из интервью в дни 30-летия победы над фашистской Германией: «Ведь, в общем-то, в те годы решалась судьба не только России. Это был переломный момент в истории человечества, и сейчас, на отдалении, это особенно хорошо видно. Если бы мы тогда не победили, погибли бы еще десятки, может быть, сотни миллионов людей. Я был участником этого великого события и с этим сознанием и жизнь закончу».

В новых книгах Г. Бакланов мог рассказывать о мирных днях, о 60—70-х («Карпухин», «Друзья», «Меньший среди братьев»), но говорил он по-прежнему в основном о судьбе своего поколения, о его месте и значении в жизни. И потому шофер Карпухин, и сбитый им на дороге Мишаков, и народный заседатель, вступившийся за Карпухина, — бывшие фронтовики, и герои «Друзей» архитекторы Андрей Медведев, Виктор Анохин, художник Борис Маслов — тоже фронтовики, и «меньший среди братьев» историк Илья Константинович тоже прошел войну.

В 1979 году Г. Бакланов после почти пятнадцати лет «мирной» прозы опубликовал военную повесть «Навеки — девятнадцатилетние» — историю короткой жизни и быстрой смерти юного лейтенанта Володи Третьякова. Затем последовал цикл автобиографических рассказов в январской книжке журнала «Дружба народов» за 1982 год, всецело связанный с воспоминаниями о войне. Наверное, так и должно быть: возвращение памяти, воображения,

мысли неизбежно, если не все отобрано у забвения, не все досказано, не все обдумано и понято.

Живые правы, как известно, уже потому, что живы; мертвые молчат. Про войну пишут и по этой причине: договаривают за тех, кто уже ничего не скажет, напоминают о том навсегда застывшем грозном взгляде или о взгляде другом, добром и чистом, полном несбывшейся молодой надежды... О взгляде еще одного мальчика с «хорошим честным лицом»... Почему бы и нет? Почему не вспомнить все, что может пролить хоть какой-то свет, вернуть самоощущение поколения, его грезы и мысли о самом себе, о своем будущем?

Давнее, довоенное, почти ничтожное на фоне всемирно-исторических событий: мальчики и девочки в пионерской форме мчатся по городу в открытых грузовиках... Умер их товарищ, и они едут с похорон. У них бодрое, приподнятое настроение; они чувствуют, что весь город смотрит на них, на траурные полотнища по бортам, и им хочется мчаться и мчаться... Рассказ называется «Бабичев», такая фамилия у мальчика, который умер. Он долго болел, в школе его видели редко, и вот его не стало совсем, и детям сказали, что все поедут Бабичева хоронить. Простая история: дети не понимают того, что случилось. Но рассказ не совсем об этом. В далеком и памятном дне детства Г. Бакланову открылось горькое неведение жизни о себе завтрашней, здоровое и ликующее неведение поколения. Это так понятно: «даже фактом своей смерти» Бабичев «как бы утверждал наше бессмертие, потому что он был не такой, как мы, он был больной и постоянно болел, а мы здоровые». Здоровье и веселье, летящие на грузовиках, захлебывающиеся ветром жизни, — это уже больше, чем штрих к картине; всего-то какой-то шестой «б» и школьный оркестр из второгодников, а отсюда, от нас, из 80-х смотреть — поколение. Никто не знал, что «до второй мировой войны и до нашей Отечественной, к которой мы все подрастали, и второгодники и отличники, оставалось уж немного». Неведение естественно, говорит нам писатель, людям «не дано в начале жизни заглянуть в ее конец и хорошо, что не дано, никому не надо заранее знать свою судьбу». И вот подтверждение: «Я не знал тогда и не мог знать, что из всего нашего класса, из тех ребят, что пошли на фронт, мне единственному суждено живым вернуться с войны».

Все верно — не угадать, не предсказать, но сильное горькое чувство, живущее в

рассказе, всей памятью о мальчиках и девочках в тех несущихся грузовиках оспаривает фатальность неведения — не для каждого, но для поколения.

Неведение могущественно, но как хочется и как необходимо ведать; старшие поколения не ведают о судьбе младших поколений, отцы и деды — о детях и внуках, и есть ли тому оправдание? «Ведь это не движением планет предопределено, это все мы, люди. Иначе зачем мы все, если ничего от нас не зависит?» Это уже голос Третьякова, это то, что его мучило, и теперь историку Илье Константиновичу кажется, что Третьяков не хотел, чтобы эта его мысль «ушла вместе с ним». Через эту мысль, через Третьякова, возникающего в памяти Ильи Константиновича, повести «Навеки — девятнадцатилетние» и «Меньший среди братьев» как бы соединяются и одна продолжает другую, подхватывая и обдумывая именно эту, казалось бы, отвлеченную, но едва ли не самую тревожную и мучительную для человека мысль: если ничего не зависит и расклад «суждено — не суждено» вечен, то, значит, так и будут мчаться мальчики и девочки навстречу судьбе, а взрослые люди на тротуарах и обочинах будут лишь провожать их глазами, смотреть им вслед?

Странные, однако, идеи бродили в этом Третьякове. А что, думал он, вдруг со временем окажется, что «этой войны могло не быть? Что в силах людей было предотвратить это? И миллионы остались бы живы...». Не такие, впрочем, и странные; почему бы им не быть среди других здравствующих идей; тем более что предотвратить не означает согласия со злом. Илья Константинович, обдумывая это, имеет в виду главное: злу нельзя попустительствовать. Когда его принимают за что-то другое и попустительствуют, оно разрастается и распоясывается; вот тогда-то уже не предотвращают, а защищаются...

Лейтенант Третьяков праведен и чист; в праведности и чистоте любят сомневаться, возникает литературная мода на «неправедных» и «грязных»; праведность и чистота Третьякова — от молодости, от воспитания, от «раннего мужества», которым он наделен сполна. Сама природа баклановского таланта такова, что безжизненно-схематическое, положительное или отрицательное, он написать не может. Однажды Г. Бакланов сказал: «...писать — это значит обостренно жить во времени, о котором пишешь». «Обостренно жить» в контексте его творчества — это значит обостренно чувствовать, видеть, слышать, ощу-

щать, существовать в своих героях, хороших или плохих, и не где-то в условном, наскоро намеченном пространстве, а здесь, сию минуту, на этой земле с ее светом и тенью, теплом и холодом, запахами трав и простором полей. Это обостренное ощущение свершающегося, неостановимого бытия делает каждое мгновение Третьякова живым и отчетливым в своей какой-то последней ясности: ест ли он всухомятку, сидя на рельсе в пристанционном тупичке, положив рядом на ржавую щебенку солдатскую шинель с погонами лейтенанта, или на дне воронки отгоняет к краю лужи сухие листья и водяного жука, чтобы зачерпнуть этой коричневой, а в ладонь глянуть — прозрачной и чистой, воды и умыться... Кажется, Третьякова влечет какая-то непрерывно действующая сила, и нажатие не слабеет; он охвачен возбуждением войны. И когда он становится под настил моста (ничего, не провалятся ваши пушки, вперед!), и когда залезает на крышу коровника и корректирует стрельбу под самым носом врага — все это он делает не раздумывая, не колеблясь, в каком-то порыве, словно летит и летит куда-то и иначе — не может...

Были другие лейтенанты — у Ю. Бондарева, В. Быкова (вспомните хотя бы Ивановского в «Дожить до рассвета»), у В. Астафьева (Борис Костяев в «Пастухе и пастушке»), у самого Г. Бакланова, — и возможна, почти неизбежна переключка (иногда полемическая) мотивов, настроений, сюжетных положений. Но кажется, впервые нам так ясно и просто говорят: пожалейте этого лейтенанта, пожалейте, оплачьте. Неужели те страшные кости в траншее, открытые киношниками, — это все, что осталось от него или таких, как он? Неужели Третьяков предчувствовал именно это? Или такое тогда не предчувствовали и писатель напрасно заставляет своего героя мучаться вопросами, на которые мало что можно ответить? «Неужели только великие люди не исчезают вовсе? — думал Третьяков. — Неужели только им суждено и посмертно оставаться среди живущих? А от обычных, от таких, как они все, что сидят сейчас в этом лесу, — до них здесь так же сидели на траве, — неужели от них от всех ничего не останется? Жил, зарыли, и как будто не было тебя, как будто не жил под солнцем, под этим вечным синим небом, где сейчас властно гудит самолет, взобравшись на недостижимую высоту. Неужели и мысль невысказанная и боль — все исчезает бесследно? Или все же что-то остается, витает незри-

мо, и придет час — отзовется в чьей-то душе? И кто разделит великих и невеликих, когда они еще пожить не успели? Может быть, самые великие — Пушкин будущий, Толстой — остались в эти годы на полях войны безымянно и никогда ничего уже не скажут людям. Неужели и этой пустоты не ощутит жизнь?»

Г. Бакланов убеждает нас: мысль и боль остались. Лучшие страницы военной прозы — это не исчезнувшие мысль и боль мертвых, хранимые живыми. Мысль Третьякова возрождается в мысли Ильи Константиновича; она еще должна понадобиться и помочь людям... Небольшое утешение, но лучше, чем никакого.

Мы понимает: про пустоту — поэтическое, почти экзальтированное преувеличение, жизни очень много, она не терпит пустот и она сомкнется. Так смыкается вода. Так смыкались солдатские ряды, когда французское ядро шлепалось в мякоть полкового каре, а князь Андрей терпеливо ждал небрежного кивка судьбы: пора и тебе. Так бывает всегда, жизни очень много, но литература способна оставить в нас след той пустоты. Нам начинает не хватать и Третьякова, и Ивановского, и многих других. Только кроме литературы никто это выразить не может. Жизнь смыкается, но состав ее человеческого от больших, многомиллионных утрат тот ли по всему своему духовному и нравственному качеству, тот ли, каким мог быть?

Вокруг историка Ильи Константиновича — хорошо сомкнувшаяся жизнь, и ее очень много, даже больше, чем было; достаток, сытость, удобства, модные вещи, молодящаяся энергичная жена, а у жены — «духовник», спасает душу, готовит в рай, а у каких-то Кузьмищевых зять вернулся из Штатов, и непобедимым превосходством веет от этого зятя, и нужно немедленно строить дачный солярий, чтобы не хуже чем у Кузьмищевых, и вообще нужно, чтобы все было как у всех в «нашем кругу», и манит-гreet перспектива повышения и восхождения... Но почему-то жизнь эта мало веселит и все чаще осознается героем Г. Бакланова как бремя; он не может сказать, что оно легко, он говорит: «...постоянно я что-то в себе задувливаю». Так что же — винить жизнь? Но жизнь вокруг такая, какую мы сами себе выбрали; во всяком случае, мы с нею согласились. Вся повесть — это живые колебания, вибрация души, уставшей от долгого компромиссного существования, это маета сознания, смущаемого фронтовой памятью, ее болью и требователь-

ностью... Это такое время героя, когда он сильнее прежнего надеется — набирается наконец решимости — дописать свою «главную книгу»: «Я вернулся живой с войны, где полегли целые поколения. Если есть смысл в моей жизни, так только тот, чтобы вне зависимости от возможных выгод или невзгод рассказать, как и что это было». Но сбудется ли эта надежда? Слишком мощным инерционным движением захвачен Илья Константинович; его тащит и тащит по острым мелким камням домашнего и служебного быта, а силы уже не те...

Один из героев повести рассуждает об иных мемуаристах: на войне хватало и решимости и смелости, а взялись писать — что-то робко выходит... «Не судите — не судимы будете»? Но Илья Константинович сам себя судит, свою уступчивость, вялость, робость, и будто на каком-то высшем суде, в каком-то «последнем слове» — в жанре этого «слова» — произносит: «...мне кажется, что я все же заслуживаю снисхождения». Тут он не ошибается; его чуткий, пронизательный ум, не щадящий ни своего, ни чужого притворства, его искренность будут оценены: по крайней мере, скажем мы, этот человек сначала винит себя, обстоятельства потом; он вообще не тщится выглядеть лучше, чем есть, не добавляет себе значительности... Это уже доблесть, да еще какая: знать, чего стоят твои успехи и высоты, называть вещи своими именами... Не понимаю, когда пишут об Илье Константиновиче: «жалкий соглашатель», «подкаблучный муж», «капитулировавший перед жизнью мягкотелый добряк». Прямо как на страшном суде. Не замечают, что этот человек сам собрал и выложил все обвинения против себя; в нем уцелело неискаженное нравственное чувство; он поставил себе в вину то, что другие считают нормой и даже высокой целью жизни. Автор справедливо полагает, что судьба его героя могла бы сложиться достойнее, он мог бы получше ею распорядиться, но вот он и обстоятельства распорядились ею так... Разве не стоит над этим подумать? Мысль Третьякова еще жива в Илье Константиновиче — неужели для того только, чтобы теперь-то уж окончательно оборваться? Или это такая мысль, что иной участи для нее и быть не может?

Вроде бы много жизни в повести, многое сбылось, сверкает и блестит, правило «обостренно жить» действует, но само счастье жить словно бы уже не совсем счастье, а какая-то непрерывная забота и докука: «...смыслом жизни становится трясти

над ней». Странное, возможно, но приходит сравнение: Илья Константинович будто Мотовилов на поле боя за каким-нибудь бугорком: ни головы не поднять, не выпрямиться... Но тот поднимал голову и выпрямлялся, и какое же там, в баклановских военных повестях, острое ощущение счастья жить, как яркое ощущение живой, страдающей и борющейся мир!

Не приведи бог тосковать о такой яркости, чего уж хорошего, но та яркость у Г. Бакланова не от романтизации войны с ее якобы очистительным пламенем, а от накала, перенагрева человеческой жизни, от самой жажды и невозможности жить, от воли выдержать, пересилить, победить...

Это из романа «Июль 41 года», из самой, может быть, мучительной по смыслу книги Г. Бакланова: «Всходило солнце. На траве, на холодных телах танков, укрытых в лесу, обсыхала роса. Хорошо было сейчас сидеть в свежевырытом окопе. Сверху — солнце, сухой полевой ветерок по брустверу, а от не прогретой в глубине земли прохладно спине сквозь гимнастерку. Гудят вытянутые пудовые ноги, отходя понемногу, а голова легкая, и так сладко сейчас потянуться всем млеющим телом. Война ничего не отменила, только все чувства стали острее на войне. И нет сладше утреннего сна в окопе после такой ночи. Сквозь дрему бухнет орудийный выстрел, а ты сидишь, вытянув ноги, не размыкая век...»

Тяжелые июльские дни, но война «ничего не отменила»: ни восхода солнца, ни утренней росы, ни желания выспаться. Война не может обесцветить небо и луг; одинокое дерево в поле, переименованное в ориентир, не перестает шелестеть листвою и давать тень, пока живо... У Г. Бакланова (и кажется, у него одного в нашей военной прозе столь отчетливо и неизменно) сохраняется ощущение природного пространства — поля, леса, неба, дороги, самого воздуха — не как места боя, а как места жизни, где бой идет или вот-вот начнется, а жизнь всего лишь затаилась, померкла, словно прервалась, чтобы в любое мгновение, в любой паузе и передышке, на переводе дыхания снова открыться, возобновиться, напомнить о себе солнечным ли светом, прохладой земли, туманом, дождем, плеском реки...

Война могущественна, она кажется всезахватывающей, всезаполняющей и непобедимой — настолько она бесцеремонна и беспощадна; что ей человек? — «солдаты поднимались с земли, отряхивали колени», только заряжающий остался лежать, «закрыв

руками затылок», его «оттащили в ровик», и другой солдат вогнал снаряд в пушку.

И все-таки писатель говорит нам: подчинить себе человека полностью, отменить природу и человека война не может, человеческое в человеке неистребимо. Вместе с Мотовиловым («Пядь земли») видим: на «черном после дождя гнилом пне сидит раненый минометчик, мокрый веселый парень, и прямо с куста, сверкающего на солнце, губами объедает малину. Капли сыплются ему на лицо, он утирает их мокрым рукавом и смеется». Другие бегут в панике, он сидит себе спокойно и говорит: «А ни черта там никто никого не обходит» — и не столько от слов этих, сколько от самой жизни, которой переполнены этот мокрый веселый парень, и этот сверкающий куст малины, и даже этот черный пень, исходит какая-то ясная, неопровержимая сила, противостоящая хаосу и смерти. Важно еще вот что: Мотовилов здесь и повсюду в повести смотрит вокруг — как впитывает, кажется, все подряд, всякую малость, все единственно, дорого, все само собой врезается в память. Тут он жив е т (час ли ему остался, минута, сутки, годы — кто скажет?), живет, воюя, и другой формы жизни он не знает, и воюет храбро, страстно и справедливо, жадно вдыхая горячий воздух плацдарма; вся эта пропитанная кровью «пядь земли» отпечатывается в нем навсегда.

Война ничего не отменила, но все переименовала будничным распространением смерти. Это такая жизнь, где после дождя все «яркое, молодое, свежее», «мокрый луг блестит против солнца, как сквозь дым», а на сочной молодой траве навзничь лежит убитый солдат: «...лицо с открытыми глазами выполоскано дождем до синевы, в откинутой желтой ладони блестит налившаяся вода». Все вместе и рядом — это и есть жизнь на войне: короткое счастье ночного молодого купанья в реке, и будто в отместку, чтобы не забывались, не жили по-людски, — обыденно-простая, мгновенная гибель девушки в саду: чернильные пятна осыпавшейся шелковицы на ее лице, светлых волосах, гимнастерке, и теперь их смывает дождь...

Это родовая черта баклановских героев — и Мотовилова, и Васича («Мертвые сраму не имут»), и Гончарова («Июль 41 года»), и других: так полно и остро чувствовать доставшуюся им жизнь в ее бесконечных живых подробностях, то согревающих душу, то беспощадно жестоких.

Когда схваченного в плен старшину Пономарева («Ожнее главного удара») кон-

воиры ведут по улице, он видит, как на солнечной стороне капает и от крыш валит пар, как немец отводит воду от крыльца и «сверкающие осколки льда искрами» вылетают из-под его лопаты, он слышит запах свежих осиновых дров... И все сильнее и сильнее поднимается в нем «горечь расставания с этим сияющим миром». Никогда у Г. Бакланова «сияющий мир» жизни не смазан, не стерт до каких-то общих черт. Тем-то он и дорог его героям, что он таков; тем мучительнее от него отказываться, с ним прощаться.

Жить хотят все, и каждую минуту, годную для жизни, баклановские солдаты и лейтенанты — живут. Они снова и снова видят дорогую для писателя игру света и тени, влажный блеск луга, высокую синеву неба, и в который раз напоминает им о себе вечное соседство жизни и смерти: «Разорвался снаряд, убил лошадь, ранил или убил человека — это его окровавленное тряпье полощет дождь,— и в той же самой смертной воронке, занесенные сюда волной, уже живут два пескаря».

Фронт, передовая, стрельба, убивают, но так уж «устроен солдат: чуть подальше отошел от смерти и — жив, снова хочет есть». И вот уже обывак, притерпелся к опасности наш плацдарм, не часы, дни потянулись, и вот уже развешивают сушиться платки, подворотнички, играют в шахматы, шьют форму, начинают разбираться, хорошо ли сукно, стирают белье...

Жизнь не может ждать, глаза не могут не видеть... Они и видят, как пулемет отбрасывает вытянутую тень на снег, как блестят под луной никелевые часы убитого телефониста, как лоснится под дождем бок убитой лошади, как светится в ночной темноте «раскаленный металл» догорающих танков...

Взгляд баклановского героя или самого автора как бы обживает войну, обнаруживает присутствие подробного человеческого зрения в ее античеловеческом мире, норовящем упразднить все подробности. В том, как и что видит человек, сказываются его культура, его доброта или жестокость, его натура и душа. У Г. Бакланова нет «машинного», обездушенного зрения; то, как лоснится под дождем бок убитой лошади или как в ладонях мертвого бойца стоит дождевая вода, может увидеть только человек. Это только для него что-то может значить. Только для него в таких подробностях особая боль и горечь. Буднична смерть и всем могуществом, неотразимостью будничности заставляет с собой свыкаться. Но сжиться с нею значит уже

не видеть, не помнить, а этого баклановские герои не могут.

Когда говорим «быт», имеем в виду что-то устоявшееся, вошедшее в обыкновение. Быт — это то, во что втягиваются, что-то сносное, то, что продолжается и повторяется. У Г. Бакланова много фронтового, окопного быта, но не приходит в голову, что в нем есть что-то примиряющее с войной как с чем-то сносным. Окопный быт у Г. Бакланова — обмывают ли орден, влюбляются ли, пишут ли письма, разговаривают ли про всякую всячину, едят и пьют — сохраняет всегда свой главный смысл: это берет свое неупразднимая стихия жизни. Вот отлегло немного отбились, прорвались, уцелели, можно перевести дух, и человек вспоминает, что он человек...

Силу того, что называют художественной деталью, то есть подробностей, конкретности, Г. Бакланов знает хорошо. Василий Быков писал, что «вся военная проза Г. Бакланова... отличается скрупулезным вниманием к мельчайшим подробностям солдатского быта, окопного житья...». Некоторое щегольство такой деталью — подробностью можно заметить в повести «Южнее главного удара», но оно прошло быстро, а вкус к точной выразительной конкретности остается навсегда. Это даже не вкус, не что-то приобретенное, а качество таланта. Можно сказать, что это искусство ощущать и видеть жизнь в блеске и остром смысле ее неисчислимых граней, ее внешних выражений и воплощений.

Еще раз вспомним старшину Пономарева, как ведут его по весенней сверкающей улице — убивать. А пока ведут, надо ему что-то делать, выбирать. должно быть, нужно, если позволят, выбирать между жизнью и смертью. Выбор этот совершается так: чем ближе подходил Пономарев к подждавшей его толпе врагов, тем «сильнее поднималось в нем злое упорство», потом «страх в нем сменило великое презрение», и он стал глядеть мимо обступившей его солдатни... Он так и погибнет, глядя мимо, презирая этих мародеров и барахольщиков, и это будет его как бы главное чувство и главная мысль. Напоследок увидит он лицо маленького мальчика, уже понимающего, кого это и зачем ведут, и пожалет, что жизнь кончилась.

Через тринадцать лет после повести Г. Бакланова «Южнее главного удара» Василий Быков напишет «Сотникова». Сотникова тоже поведут по улице, и он тоже поймет, что жизнь помимо войны существует, что в домах вот топят печи... Он тоже увидит в последние свои минуты мальчика и по-

верит, что мальчик сбережет его в своей памяти дольше, чем кто-либо другой...

Это сходство естественно: жизнь разнообразна; но есть ритуальность (например, расстрел, казни), и в ней — тяжелая, незыблемая логика; есть и повторяющиеся узловые ситуации. без которых, кажется, войны не написать: возвращение за брошенными пушками («Южнее главного удара» и, например, «Выбор» Ю. Бондарева) или госпитальная любовь («Звездопад» В. Астафьева и «Навеки — девятнадцатилетние»).

Но не о сходстве и перекличке речь. Наоборот: о несходстве. О том, что В. Быкову, например, в его Сотникове, Ивановском или Рыбаке важен сам процесс, механизм выбора, работа мысли, логика внутреннего человеческого решения а Г. Бакланов эту-то работу, логику как раз опускает как лишнюю умственность (в случае с Пономаревым) или же скорее всего потому, что вообще не выделяет момента выбора, не делает на нем акцента. Обычно у Г. Бакланова человек поступает так или иначе, подчиняясь сильнейшим внутренним толчкам, решения его чаще всего мгновенны, мысль проскакивает, как искра, не до думания, не до анализа... Один жметя в траншее, а другой выскакивает на бруствер, как Мотовилов, спасать товарища: «Выскакиваю из окопа. Петляя, бегу между разрывами. Кукуруза кончается. Пустое, голое место. Низкая трава. Разрыв! Падаю. В бомбовую воронку скатываюсь головой вниз. На дне ее, на чьей-то шинели, лежит Шумилин...» Это и есть выбор и судьба баклановских героев: выскакивать из окопа, бежать, стрелять, задыхаться, срывать с пояса гранату, разворачивать оружие, заряжать, бить по танкам, опять разворачивать, заряжать, бить... То есть — действовать.

О чем думал девятнадцатилетний Ваня Горошко («Южнее главного удара»), поджигая скруды в ночном поле? Теперь-то на батарее увидят, откуда ползут немецкие танки, но ему уже несдобровать, не уйти. Что творилось тогда в его душе, что укрепляло ее? Скажут ли о том глаголы: «поднялся и побежал», «дал очередь», «лежа надергал сена», «достал зажигалку», «дал... очередь», «расстегнул телогрейку и, заслоняясь от ветра, зажег пучок сена», «почувствовал как сейчас выстрелят в него и жизнь, как крик, рванулась в нем»? Должны сказать и верно — говорят что-то, указывая не на мысль, бившуюся в этом юноше, а на весь строй его души и характера, на их скрытые, чистые, рано погибающие силы.

Лишь однажды Г. Бакланов сосредоточился на выборе как на центральном событии. Было это в «Карпухине», повести шестидесяти пятого года. Молодой начинающий следователь Никонов вынужден был выбирать между мнением большинства и правдой. Между настойчивым мнением «районной общественности» и какой-то неуверенной сумрачной, почти обреченной правдой Карпухина, бывшего лейтенанта, бывшего штрафника, ныне шофера грузовой машины. И хотя именно судьба Карпухина, его будущее стоят на кону и сострадание наше сполна отдается ему да еще погибшему Мишакову, основной, главный интерес повести заключается в никоновском решении: чью же сторону возьмет этот аккуратный, совестливый, очень старательный и благополучный молодой человек?

Понял же Никонов, понял, что Карпухин не виновен, ночь не спал Никонов, бегал по угреннему саду в волнении, распалил себя для борьбы за справедливость, а начальство ему сказало четко: защищайте не преступника от кары, а общество от преступника, и в этом-то и есть «наш высокий гуманизм». И опять мучался целую ночь Никонов, и стонал, и ворочался, и «был противен себе даже во сне», потому что он, ревнитель закона и истины, выбрал ложь. Писатель не стал, однако, чернить Никонова и всячески ронять его в читательских глазах какими-нибудь другими, дополнительными нехорошими поступками; он оставил ему его совестливость и доброту и поверил, что они все-таки возьмут свое; безнадежности здесь нет. Беда даже не в том, что совершен трусливый, постыдный выбор; шанс на восстановление справедливости оставлен. Писателя больше беспокоит давление, под которым тот выбор совершался, и еще та легкость, с которой местное общество отторгло от себя Карпухина. Позднее, в «Друзьях», откроется, сколь неумолимо пронизателен Г. Бакланов в изображении служебной сферы, ее иерархии и нравов, но начало этой пронизательности — в «Карпухине», в характере и воззрениях прокурора Овсянникова, в картине суда. К Никонову приходят поистине «непереносимые» мысли: «Как же так получилось, что все они, не злые люди, принесли в жертву такого же, как они, человека по фамилии Карпухин? Ведь завтра это же может случиться и с ним, с Никоновым. Не будет его, и вот так же ничего не изменится, и люди вечером выйдут поливать свои огороды...» Разумеется, это тоже торжество жизни: люди по вечерам выходят поливать свои огороды. Но люди

часто не догадываются — и это тревожит писателя, — что несправедливость и беда начинаются с несправедливости по отношению к одному человеку.

Военные сюжеты Г. Бакланова обычно насыщены боями, и герои его чаще всего поглощены сиюминутным. В романе «Июль 41 года» без воспоминаний не обойтись, иначе того, что происходит, не объяснить, не понять. Герои Г. Бакланова — воюющие люди, они заняты тем, что выполняют приказы; если же логика приказа и логика обстоятельства сталкиваются, то этот удар они чувствуют на себе, он приходится прямо по ним. Так в повести «Мертвые сраму не имут», но там трудно кого-либо винить: превратность, непредсказуемость военной службы. В романе люди действуют по недостаточно обдуманному, недостаточно профессиональным приказам. Разгром корпуса Щербатова, смерть, пленение многих героев романа особенно горьки, потому что в этих несчастьях есть почти неустраняемая предопределенность. Конечно, если б генерал Щербатов мог действовать в полную силу своего воинского разума, если б командовал армией не Лапшин, а кто-то другой, умнее и компетентнее, если б... Но этих «если б» набирается в таких случаях чересчур много.

Бойцы и командиры из «Июля 41 года» уже не ждут от войны ничего легкого и быстрого, о «малой крови» забыто, им говорят: «Идите и выполняйте свои обязанности»; они идут и выполняют, им неизвестно, что многое в их судьбах предопределено. Им непонятно, почему столь счастливо началось наступление их корпуса оборачивается поражением, многими напрасными жертвами. Автор повторяет: они «не знали и не могли знать», «не знали, не чувствовали». Но роман содержит в себе это знание и ради полноты этого знания написан. Рассказывать о тех, кто не знал, не ведал, об их лицах, голосах, чувствах, последних мгновениях боя и жизни, понимать, что их незнание тогда оказывалось благом, спасало души, и вот теперь соединить это святое неведение героев с тяжелым, одиноким знанием командира корпуса Щербатова, со своим сегодняшним пониманием хода истории — нелегкая и невеселая участь, и, чтобы выбрать ее, нужно мужество. В этом романе Г. Бакланов чаще обычного дает выход своей публицистической энергии и страсти. Это можно понять: трудное время, трудно говорить и думать о нем спокойно. Трудно избежать патетики, когда говоришь о людях, чей героизм для тебя несомненен. Щербатов, шагающий вместе со

всеми в цепи с винтовкой наперевес в решающую атаку, знает, по мысли автора, «непреложно», что «через страдания и кровь, через многие жертвы, так же неостановимо, как восходит солнце, взойдет и засияет людям выстрадавшая ими победа». Но еще непреложней он знает: сегодняшнего солнца «уже не увидел его сын», и тысячи чужих сыновей не увидели тоже, и вел к этому страшному дню «длинный путь».

Злополучные приказы командарма Лапшина, сам этот новый тип быстро преуспевшего военачальника с его кругозором и принципами, весь недобрый оборот событий — все, как думает Щербатов, «началось не сегодня», и в этом-то несегодняшнем начале, в каком-то давнишнем непростительном просмотре и была и крылась известная предопределенность. Щербатов чувствовал, что каждый факт жизни, «в отдельности казавшийся случайным, диким, был следствием чего-то и одновременно причиной... Развязанные, пущенные в ход события развивались теперь самостоятельно по своей внутренней логике, со всеми последствиями, которые вначале невозможно было предвидеть». Предопределенность не была фатальной; она воплощалась в непредвиденных последствиях, но это не означало, что последствий нельзя было предвидеть.

Можно подумать, что историк Илья Константинович подхватил и щербатовскую мысль: пружины событий, причины нашего ведения и неведения не столь уж иррациональны и таинственны, чтобы отказываться от их изучения и понимания. Сам Г. Бакланов, какую бы фронтовую обыденность, каких бы безвестных героев ни описывал, всегда думал и помнил о путях истории, о ее сбывшихся и несбывшихся вариантах, о зависимости отдельного человека и многих миллионов людей от исторических обстоятельств. Ощущение своего прямого отношения к истории, участия в ней живет во многих героях писателя. «Воюем с тобой, лейтенант, — говорит один из них, — а кому-то придется все это по истории заучивать». Герой другой книги думает о том, что «изучать историю время еще будет, но защищать ее время пришло». Об истории помнят и Мотовилов и Третьяков, и это в них тоже родовое, баклановское.

Рассказывая о самом кануне войны, о том, что было с Щербатовым и его корпусом, Г. Бакланов пишет: «В тот час, когда приказано было корпусу стать в оборону и ждать, судьбы многих сотен и тысяч людей были решены. Жизнь их могла бы пойти одним путем, но слово было сказано,

решение принято, и с этого момента им предстоял иной путь, иная судьба». Для писателя мотивы подобных решений небезразличны, но рассматривать их внутреннюю логику, степень оправданности, разумности, неизбежности, определять их зависимость от каких-то других важных решений и т. д., и все это отдельно от судеб людских множеств, от коротких и непрочных человеческих жизней, он не способен. Это ему чуждо. Это какое-то другое ремесло. Г. Бакланов не хочет уподобляться парикмахеру Трофимычу (рассказ «Помню, как сейчас...»), вспоминающему о войне так, что становится ясно, у какого конца подзорной трубы он там находился: «...как известно, в одну сторону она увеличивает, в другую сильно уменьшает». Познания Трофимыча о войне писателя не прельщают; каждому свое, парикмахеру — парикмахерство.

Это еще Мотовилов понял: «На фронте у каждого свой передний край. И в жизни, наверно, тоже». Насчет жизни он мало что знал тогда. Но насчет того, что одному — инвентаризация отечественного оружия, да еще по телефону, а другой из-за этой инвентаризации головой рискует, думает: дело! срочность! — насчет разных «передних краев» Мотовилов разобрался хорошо, на всю жизнь. Он знает: у этого проверяльщика Клепикова, начальника артснабжения полка, тоже служба,— и, отведя душу, выложив ему все, что думает про инвентаризацию, он смирится и даже пожалеет его: такая у человека должность, кричи не кричи, как на разных языках разговор. Мотовилов готов понять и это и другое, но понимание ничего не меняет; это умственное понимание, а чувствам не прикажешь. Писатель понимает много больше своего молодого героя и легко входит в положение тех и других. но уже четверть века, как это тоже ничего не меняет. Для Г. Бакланова восемьдесят третьего года, как и для Г. Бакланова пятьдесят седьмого года, есть и «разные передовые», и «разные языки». Свою главную книгу Илья Константинович может начинать с чего угодно, на то он и историк: с дипломатии, с экономики, с вопросов стратегии и полководческого искусства. Г. Бакланов — на то он и писатель, художник — начинает с неизвестного воюющего человека, с «неглавных участков фронта», с безымянной «пяди земли».

Илья Константинович, бывший штабной телефонист, не может забыть, как яростно скатывалось по проводам от дивизии к ротам: «Позор! Позор! Взять высоту! Взять!» И как «показалась реденькая цепь с вин-

товками, крохотные издали фигурки на склоне высоты...». И разрывы, разрывы, одни разрывы... Герой повести не забывает этого неизбежного, но тяжелого для ума и совести расклада обязанностей и прав, потому что об этом не может забыть писатель.

Реденькая цепь на склоне высоты. И уже — никого. И крупно — глазами Третьякова: убитый пехотинец сидит в траншее, «весь сползший на дно», а «лица вообще нет». Это то, «чего не должен видеть человек», думает Третьяков, но он это уже видит. В военных повестях и романе Г. Бакланова много того, что лучше не видеть человеку или поскорее забыть. Но писатель считает, что если это забыть, то война может показаться пригляднее, чем она бывает.

С первой же военной повести Г. Бакланов избрал своим предметом безвестную войну — ту, что проходила южнее, западнее ли, но в стороне от главных ударов. Это просто война — без помет об особой важности и значительности происходящего. Она буднична, как становится будничным даже самое страшное и невероятное, стоит ему осуществиться и продолжиться. Это не тихие заводи, это стремнина войны.

Только что тихо-мирно собирались ужинать, и Васич вырезал маленькому мальчику деревянную птицу, только что мелькнул призрак жизни, домашнего тепла, любимой женщины, сына — и все уже брошено, и ночная дорога навстречу опасности и гибели («Мертвые сраму не имут»)...

Эпицентр баклановских повестей — это захватывающие ситуации боя или нескольких боев: артиллерийская батарея героически сражается на окраине венгерского городка и, выполняя приказ, прорывается к своим («Южнее главного удара»); наши обороняют плацдарм и отчаянно контратакуют («Пядь земли»); дивизион тяжелых гаубиц-пушек, выходя на боевые позиции, попадает под неожиданный танковый удар врага и гибнет («Мертвые сраму не имут»). В романе «Июль 41 года» корпус Щербакова успешно наступает, а затем, не по своей вине оказавшись в окружении, идет на прорыв. Вот и вся канва событий; люди вовлечены в них, много выбора у них нет, ничто не оспаривается, и почти не возникает вопросов насчет оправданности и смысла того, что свершается. Отдан приказ, и люди действуют. Истинные, как бы внутренние баклановские сюжеты — это то, как люди действуют, как воюют и живут во власти войны, ее законов и превратностей. Внутри главного, соединяющего всех события происходят зависимые от него, но от-

дельные события многих человеческих жизней. Будь то истории старшины Пономарева или лейтенанта Богачева («Южнее главного удара»), комиссара Бровальского или начальника особого отдела Шалаева («Июль 41 года») — в них как бы свои сюжеты, свой заверченный смысл. Пожалуй, «сюжеты человека» всегда привлекали писателя больше «сюжетов событий» и обстоятельств. Он неизменно ясно и выразительно обозначал условия, в которых вынуждены действовать его герои, но главное-то было в них самих, главное заключалось в их голосах, живом дыхании, поступках и судьбе.

Самое приглядное на войне, по Г. Бакланову, это сам человек, не богатырь, но и не «тварь дрожащая». Оставив позади нормальное, домашнее и родное, герои писателя идут тяжким путем к победе, и всегда остается неизвестно, дойдут ли. Это люди «не лучшие и не худшие», как говорит кто-то из них, не желая ни возвышать себя и своих товарищей, ни умалять. Это трудящиеся люди войны, и что-то поистине братское соединяет и сближает их. Или это ощущение братства оттого, что они чувствуют и знают: их тяжелая ноша — на всех и никто не ответит из-под нее свое плечо. И генерал Щербатов тем хорош и значителен, что не вознесен среди них и над ними, а всем своим человеческим существом, всем опытом, памятью, затаенным страданием, своим ощущением общей ноши как бы уравниен со всеми, он из их числа. В едином длинном строю баклановских героев и тихий, безотказный связист Шумилин, умирающий с отчаянной мыслью о малых своих детях, и «спокойный упорный мужик», храбрый комбат Бабин («Я один. Убьют — на мне фамилия кончится»), и комиссар Бровальский с его героической верностью комиссарскому долгу, и надежный, как толстовский Тушин, скромный, неказистый командир полка Прищемихин, «издали похожий на подростка», каким его запоминают те, кого он со своими людьми должен прикрыть и спасти...

Почему-то одно время особо выделяли у Г. Бакланова плохих людей, находили, что негодяи сильны, безнаказанны, а это неверно. Современный читатель, думается, увидит, что это не так: откровенно плохих людей у Г. Бакланова мало, в негодяи годится разве что Ищенко («Мертвые сраму не имут»), писатель старается понять всех своих героев, и неприятие кого-либо из них основывается не на том, что он плох или более того — негодяй. Не так уж, скажем, плох Виктор Анохин в «Друзьях», а с оп-

ределенной, распространенной точки зрения даже хорош; просто он живет иначе, чем его друг Андрей Медведев, и делает ставку на то, на что делать ставку Медведеву противно. Когда-то в молодости они многое понимали сходно, но дух фронтового товарищества не выдерживает ветров нового благополучного времени.

Сменяются времена, усложняется «образ автора», но как ни тяжело ложатся новый опыт и новое знание, как ни учит жизнь всестерпеннию, всепрощению, есть в чертах постоянство и не резкое, но твердое упорство, мотовиловское, что ли...

Всепрощение? Ну а если вина анохинская? Не вина даже в чистом виде, а всего лишь короткий шагок навстречу отдельному, собственному успеху и всего лишь чуть-чуть за чужой счет, самую малость за чужой счет, почти мелком и походя предавая старого друга, старую общую веру, да на благодарном-то языке никто такое и предательством не назовет, — как же быть тогда с этой виной? Ускользающей и поистине неподсудной?

Уже не прорваться, как когда-то, мотовиловской ярости — время дипломатии и светских бесед, — но развилка дорог, разводящая Медведева и Анохина, начерчена автором столь же решительно и неутомимо, как и та, что развела в свою пору Мотовилова и музыканта Мезенцева. Мотовилов сказал о Мезенцеве так: «...он из той породы людей, за которых все трудное, все опасное в жизни делают другие. И воевали за него до сих пор другие, и умирали за него другие, и он даже уверен в этом своем праве. Потому что он играет на валторне».

Мотовиловская жестокость может сегодня не нравиться. Все-таки человек умеет играть на валторне, он артист, пусть себе играет и приносит пользу как может. Но, думаю, и сегодня водораздел между баклановскими героями проходит «по Мотовилову». В сущности, мысль Мотовилова очень трезва и безупречно нравственна. Она отвергает привилегии и претензии быть и слыть более ценным существом, чем другие. Мезенцев мелок и слишком дрожит за свою жизнь; что для него музыка, валторна — бог весть. Главное — через валторну доказать, что он ценный экземпляр и его жизнь важнее многих прочих.

Быть ценным экземпляром неприлично? Это мотовиловский максимализм. Вот посчитал же себя капитан Ищенко более ценным экземпляром — и спасся. Вот Виктору Анохину, например, хочется, чтобы его поскорее причислили к особо «ценным» ар-

хитекторам. Этого же всю жизнь добивался Немировский, и добился, и освещал своим примером дорогу Медведеву с Анохиным, да кончились «игрища и забавы»: уселся в президиуме, а оказалось — не избран. Ужас! Конец света! Под сомнением не что-нибудь — былая, утвержденная ценность жизни!

Немировского в романе жалеют. Добрый, обаятельный был человек, художественная, мягкая натура, ловкий такой местный «царедворец» и угодник. Сам взобрался, другим помогал взобраться... Но Анохин-то, Анохин каков! Как твердо, по-офицерски ставит ногу, как уверенно шагает... И место в президиуме свободно. Но вряд ли кому Анохин покажется победителем.

Мезенцев в конце повести даже развезжает на коне, и конь лоснится от сытости. Что из того? Придет ли кому в голову, что правда Мезенцева восторжествовала?

Мотовиловская мера — мера народная, Шумилины, Бабины, Гретьяковы хотят жить не меньше мезенцевых, да не всегда получается. Шумилины, Бабины, Гретьяковы не догадываются, какой они ценной человече-

ской породы. Люди этой породы никогда не догадываются...

Баклановский угол зрения на войну и воюющего человека, баклановские картины фронтового быта, поэтизация всякого мгновения жизни как противовеса смерти произвели в свое время сильное впечатление. Современную военную прозу, ее историю и сегодняшний облик без Г. Бакланова трудно себе представить. Книги писателя о мирной жизни («Карпухин», «Друзья», «Меньший среди братьев»), продолжив «историю поколения», выразили его тревогу за современного человека, проходящего порой испытания комфортом, покоем, служебным успехом, потребительскими идеалами.

«Если писатель всерьез думает о своем деле,— сказал однажды Г. Бакланов,— он неминуемо видит, что мир несовершенен и жизни не хватит его изменить так, как бы хотелось. Это трагическое противоречие. А уйти от него некуда, надо писать, и то, что мы должны сказать читателям, надо сказать. Это наша задача — продолжать борьбу, стараться что-то изменить в мире к лучшему».



ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВО ОБОЗРЕНИЕ

СОДЕРЖАНИЕ



ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО

А. Турнов. Не заглушаемое ничем... — **Расул Гамзатов.** Книга моего товарища. — **Ал. Горловский.** В соавторстве с читателем. — **Андрей Василевский.** Ополчившись на «шаблоны». — **А. Анист.** Поэтика романа XX века.

ПОЛИТИКА И НАУКА

А. Кондратович. От Советского Информбюро... — **М. Черепанов.** «Стиль Маркса — это Маркс». — **Юрий Гальперин.** Первая среди равных.

Литература и искусство

НЕ ЗАГЛУШАЕМОЕ НИЧЕМ...

Юлия Друнина. Избранные произведения в двух томах. Т. I. Стихотворения (1942—1969). 384 стр. Т. 2. Стихотворения (1970—1980). Проза (1966—1979). 552 стр. М. «Художественная литература». 1981.

Конечно, имя Юлии Друниной и ее стихи говорят сами за себя. И все-таки речь о ее двухтомнике хочется начать с предпосланной ему статьи Константина Ваншенкина, сердечно и точно характеризующей жизненный и творческий путь поэтессы. Предисловие тактично настраивает читателя на то, чтобы он в обилии стихов разных лет лучше расслышал главную, ведущую ноту:

Донесением из боя
Остался мой стих —
Из котлов окружений,
Пропастей поражений
И с великих плацдармов
Победных сражений.

(«Я порою себя ощущаю связанной...»)

В «Страницах автобиографии» («С тех вершин»), написанных несколько лет назад, Юлия Друнина рассказала о мытарствах, которые ей пришлось претерпеть прежде, чем оказаться на фронте медсестрой. И, словно бы оправдываясь, заметила, что «прозаические детали в стихах не лезут». Тут она не вполне права: этих «деталей» в ее стихах достаточно (одна процедура «сан-обработки» в стихотворении «Баня» чего стоит!).

Замечательна жизнестойкость совершенно неопытного, да и порядком замученного всеми незадачами, бедами, хворями «солдатика», из чьей души они не вытравляли ни чистоты, ни участливости, ни любопытства к жизни, земле, людям.

В хватившей окопного лиха девочке, перетаскавшей под огнем неслыханное число раненых и столько раз видевшей, как у только что вынесенного ею бойца на морозе «исчезает облачко у рта», — в ней «жила, кипела, ныла», говоря словами Твардовского, будущая песня. И это так же удивительно, как то, когда, бывало, с полностью, казалось бы, разбомбленного фронтового аэродрома вдруг взмывает и отважно кидается в бой иссеченный осколками самолет.

Горожанка, Юлия Друнина, по собственному выражению, «в семнадцать лет, кочуя по окопам... увидела Родину свою». Это ощущение было присуще тогда многим (достаточно сослаться на признание Константина Симонова: «Ты знаешь, наверное, все-таки родина — не дом городской, где я празднично жил»...).

Юлия Друнина увидела родину не только в незнакомых ей прежде краях, опаленных войной, но узнала ее, можно сказать, в лицо в яростном облике вставшего над бруствером комбата и в еле выведенном помертвелыми губами раненого: «Сестрица!», в простецком «Ваньке-взводном», этом «малюсеньком болтике — самом важном в машине войны», как сказано в совсем недавних ее стихах, и, конечно же, в своих ровесниках и ровесницах вроде той «Зинки» — Герое Советского Союза Самсоновой, которой посвящены

одни из первых и самых известных стихов поэтессы.

И за каждым из этих лиц открывалась, пусть и не всегда сразу ясно и полностью осознаваемая, даль своей особой судьбы, своей «малой родины», корней и истоков:

Знаешь, Зинка, я — против грусти,
Но сегодня она — не в счет.
Где-то в яблочном захолустье
Мама, мамка твоя живет.

...У нее ты была одна.
Пахнет в хате квашней и дымом,
За порогом стоит весна.

(«Зинка»)

Потом мир поэтессы бесконечно расширяется, и, скажем, неказистый Ялutorовск, откуда рвалась она из эвакуации на фронт, «пусть неумело, но неумолимо» атакуя военкомат, теперь предстает перед нею как «таежная звезда опальная столица декабристов» сосланных сюда и насаждавших здесь и «веселый сад с тайгой хмурым рядом», и свое понимание жизни, достоинства, патриотизма. И не эта ли «звезда» — дух «детей двенадцатого года», как назовет Друнина потом свой цикл, — светила тогда в числе прочих девочке, что скажет о себе впоследствии: «Я родом не из детства — из войны»? А в далеком Париже поэтесса услышит о мужестве Вики с громкой фамилией Оболенская и безвестного воронежского врача Елены, чьи судьбы сошлись в гитлеровских застенках (этому посвящены лучшие страницы очерков «Европа глазами солдата»).

И все же первое, основополагающее представление о глубоком, корневом родстве людей разных поколений биографий, характеров было вынесено оттуда — из «сороковых, роковых» лет. Впоследствии именно оно поможет Ю. Друниной избежать в лучших стихах, посвященных «племени младому незнакомому», налета высокопарного менторства и не достигающих цели нотаций. С каким интересом пониманием, сочувствием взглянется она, например, в девочку шестуюшук по столичной улице, и сквозь все атрибуты сегодняшней моды, различит истинную суть этой «пижонки»:

А в сумке «модерной»
Впритирку лежат
Пельмени,
Конспекты.

Рабочий халат.

А дома — братишка:
Смешной оголец.
Ротастый галчонок,
Крикливый птенец.
Мать... в траурной рамке
Глядит со стены

Отец проживает

У новой жены.

(«Девчонка что надо!»)

В очерке «С тех вершин», рассказывая о движении наступающей армии, Ю. Друнина замечает: «И, конечно, никаких регулировщиц. Там, где они могут стоять, — по фронтовым новостям порядок по своему разумению. И добро бы дело ограничивалось анекдотическими претензиями тогдашнего директора Литературного института, куда поступила Друнина, почему у нее в стихах «солдаты носят косы», «как в Китае» (речь шла о «светлокомом солдате» Зинке). Отзвуки некоторой растерянности, порожденной энергичными взмахами иных критических «флажков», сигнализировавших о «чрезмерной», «жесточкой» памяти о только что пережитом, были ощутимы в творчестве поэтессы нескольких послевоенных лет.

И все-таки полностью отойти от своей кровной темы она была не в состоянии. «Как мне жить без тебя?» — могла бы она и в данном случае повторить слова своих стихов о любви. Пусть немногочисленные и заметно уступающие прежним стихам, строки Ю. Друниной о войне оказались в числе тех, что упорно размывали критические плотины, воздвигнутые на пути жабобы уже устаревшей темы И голос поэтессы становился все крепче, интонация — настойчивей и бескомпромиссней («Я опять о своем, невеселом...»):

Наши критики — наши судьбы:
Вознести и распять вольны.
Но у нас есть суровой судьбы —
Не вернувшиеся с войны.

(«Били молнии. Тучи вились...»)

...Повсюду клубится за нами,
Поколеньям другим не видна —
Как мираж как проклятье, как знамя —
Мировая вторая война...

(«Я опять о своем, невеселом...»)

Уместно ли здесь слово «мираж»? По первому впечатлению, нет. Уж очень оно назойливо «поэтично», да и привыкли мы, что мираж — это обычно сладостные видения воды и тенистых деревьев, которые дразнят изнывающих от жажды и зноя путников в пустыне Однако для Ю. Друниной Великая Отечественная война — не только проклятие, но и знамя и «пароль», по которому опознается целое поколение,

как сказано в других ее стихах, не только ад боя, но и открытие родины, и незабвенные лица павших друзей, снова и снова встающих в памяти, как живые (вот он — «мираж!»)... Нет, еще успеется и нам помахать своим «регулирующим» флажком по адресу тех или иных строк поэтессы, успеется напомнить ей собственную аттестацию: «Там, где надо б тоненькой стамеской, действовала грубым топором!» Но здесь рука как-то замирает и опускается. И слава богу, потому что, не поняв, не разделив этого порыва к своей молодости, не оценив этой верности пережитому¹, мы окажемся просто глухими к творчеству Юлии Друниной, к этому противоречивому, как сама жизнь, смешению восторга перед жизнью, грусти перед ее скоротечностью («...вечереет, вечереет — ловлю последние лучи»), и ошеломленности собственным счастливым жребием («Окончился семьдесят третий — в какую я даль забрела!»), и вечного долга перед теми, с кем была вместе.

Была победа —
 как далекий берег:
Не всякому до берега доплыть.

(«Московская, грохочущая осень...»)

Ночное виденье — «Опять, во сне, ползла, давясь от дыма, я к тем, кто молча замер на снегу...» — это, в сущности, претворение пафоса всего творчества поэтессы: спасти от забвения, как прежде, санитаркой, спасала от гибели. Спасти тех, с кем делила и сухарь, и ночлег, и короткие минуты боя в самоходках, о которых с такой незаживающей болью не скажет — простонет в «Страницах автобиографии»: «А как они горели, эти «коробочки», как горели!» Спасти и вовсе незнакомых, весть о ком дошла через много лет и властно позвала туда, к ним. Например, к героиням «Баллады о десанте» — ровесницам, крымским партизанкам, которые «ползли на опухших коленях в атаку — от голода встать не могли».

Празднуя с друзьями День Победы, Ю. Друнина восклицает: «Как горька ты, водка на полыни, как своею горечью сладка!» Подобное можно сказать и о ее стихах последних лет. Горечь их не нуждается в комментариях. Иное же свойство стихов порождено благодарным сознанием, что никто не забыт и ничто не забыто.

¹ Хорошо выразил это Константин Ваншенкин: «Друнина как бы постоянно повернута, нацелена, настроена на грозную давнюю волну, она словно радистка, страшась сквозь звуки и шорохи жизни пропустить, не расслышать важное сообщение от своих, из фронтовой полосы своей молодости».

Ю. Друнина как-то написала, что и в поэзии осталась рядовой и что эта судьба ее не огорчает. Словом, она «солдат простой, без званий и наград», говоря словами одного из ее товарищей по судьбе, Сергея Орлова, чьей памяти она посвятила недавно цикл стихов.

Время внесло существенные поправки в эту самооценку: появились и «звания» и «награды», как появились они (пусть и с опозданием) у многих героев войны.

Но хочется надеяться, что поэтессе осталось присуще свойство, о котором она с нежностью вспоминает: «Мы ловили друг друга в коридорах, заталкивали в угол и зачитывали переполнявшими нас стихами. И никогда не обижались на критику, которая была прямой и резкой. Мы еще и понятия не имели о дипломатии».

И вот, снова «зачитанный» прошлыми и новыми стихами бывлой однокашницы и находясь во власти возбужденных ими воспоминаний, нет-нет да и посетуешь на то, что в двухтомник включены некоторые стихи, для поэтессы сравнительно случайные, неотличимые в потоке стихотворений (так и хочется сказать: стихотворений!) самых разных авторов: «Я немного романтик. Я упрямо мечтала, чтоб была наша жизнь словно трудный полет...» и т. п. Что здесь от Друниной, кроме женского окончания глагола?

В некоторых случаях даже самые дорогие для нее темы трансформируются на какой-то несвойственный ей песенно-захватский лад: «Ржавые болота, усталая пехота, фронтовые дымные края... Неужели снова я с тобой, суровой, повстречаюсь, молодость моя?..»

Мало выразительны зарубежные стихи. «По правде сказать, было мне в Копенгагене чуть скучновато...» По правде-то сказать, читано, читано...

Обращение к дочери бывшего американского президента Джонсона («В годовщину Хиросимы...») «Как вам пляшется в эту ночь? Как хохочется, как вам пьется?» прискорбно для этого стихотворения переключается со знаменитыми строками Марины Цветаевой: «...Как живется вам — хлопчется — Ежится? Встается — как?» Еще очевиднее «оступилась» поэтесса в чужую интонационную «колею» в другом случае:

В тот год.
От всей души удивлены
Тому, что уехали почему-то,
Мы возвращались к жизни
От войны.
Благословляя каждую минуту.

(«Да, многое в сердцах у нас умрет...»)

Несмотря на «лесенку» строк, здесь явно звучит интонация знаменитых стихов Твардовского «В тот день, когда окончилась война»: «Вот так, судьбой своею смущены, прощались мы на празднике с друзьями...»

Жаль, что порой в стихах о современной молодежи Ю. Друнина утрачивает ту высокую ноту, которая звучала в «Девчонке что надо!», и даже без особой нужды усваивает словарь избличаемых ею же, да и в самом деле малосимпатичных персонажей. «Твой, с бычьей шеей, обормот, весь в ломах, батниках и джинсах», — так аттестуется рванувший от деревенской бабки в столицу юнец. Наверное, он действительно парень так себе. Только в этом ли одном суть? Название стихотворения «Опустевшее село» и его начало настраивают на дру-

гую, куда более серьезную волну. Тут уж и впрямь вспоминаются слова о «грубом топоре».

Хорошо, что в масштабах двухтомника (а вернее сказать: в масштабах всего творчества поэтессы) подобные стихи и строки не очень заметны. «Под сводами души» ее (пользуюсь словами Ю. Друниной о Сергее Орлове) первенствуют совсем иные звуки.

Ах, нехитрая песенка эта.

Почему будоражишь ты нас? —

восклицает автор, слушая «о кострах на снегу, о шинели да о тех, кто назад не пришел» («Наше — нам!»).

Не так ли волнует и собственное поэтическое слово Юлии Друниной, где бесконечно много дорогого сердцам читателей?

А. ТУРКОВ.



КНИГА МОЕГО ТОВАРИЩА

Владимир Огнев. Горизонты поэзии. Избранные работы в двух томах. М. «Художественная литература». 1982.
Владимир Огнев. Свидетельства. Дневник критика. 1970—1974. М. «Советский писатель». 1982. 472 стр.

Владимир Огнев, мой однокашник по Литературному институту, напечатал первую статью обо мне в 1948 году в... стенгазете! Он так ругал там моих переводчиков, что вообще чуть не лишил меня переводов на русский язык. Позже, в 1950 году, в журнале «Октябрь» он продолжил рассуждения о моей поэзии и русских переводах в статье «Поэт и его переводчики». Я вспоминаю о том давнем времени потому, что хочу, чтобы вы поняли, какой характер у критика В. Огнева. Если он в чем-то уверен — будет упорно стоять на своем. Для него, я заметил, не существует иных авторитетов, кроме истины. И он отстаивает ее, не сторонясь конфликтов, не боясь навлечь на себя гнев. Свое прежнее отношение к моим стихам он передал и в книге обо мне. Я не смущаясь пишу об этом, потому что Огнев всегда говорит правду, отмечая достоинства и недостатки. Но вернусь к его характеру. Огнев не умеет писать, не видя и не слыша своего героя. Ему надо знать о нем все.

В Дагестане он поднимался в горы, бывал в самых отдаленных аулах и не успокоился, пока ему не привели скакуна и он не поскакал на нем. Есть у нас в горах такой водоворот под водопадом, где, говорят старики, купалась когда-то шахиня. Горе было тому горцу, кто бы посмел окупаться в «Источник шахини», — ему отрубали голову. Услышав эту легенду, Огнев

бросился в ледяную воду горной реки, чтобы проверить на себе самочувствие горских смельчаков...

Одним из первых критиков Огнев открыл читателю богатый, разнообразный мир поэзии народов СССР. Более чем за тридцать лет работы в советской литературе он написал о поэтах Грузии, Армении, Литвы, Латвии, Украины, Кабарды, Балкарии, Татарики...

Когда раскрываешь двухтомник избранных работ В. Огнева, возникает широчайшая панорама братских литератур. Тут горная цепь вершин — ни одного случайного имени, что греха таить, поднятого порой удачным стечением обстоятельств на вершину славы! — нет, одни достойные имена, настоящие художники. Критик пишет об истинных, больших поэтах с подлинным уважением к их святням, обычаям, традициям.

Я не хочу обидеть других, тоже хороших критиков, но я лично с особым удовольствием читаю книги Огнева — поэта в критике. Во втором томе его «Избранного» — теоретические работы о стихе. Читать их одно удовольствие. Автор умеет тесно увязать форму стиха с его глубинным духовным смыслом. Это не всем удается. И, наверное, в этом его особая сила.

В молодом Огневe я видел серьезного литератора также еще и потому, что хорошо знаю, как ценили его веское слово такие

мастера русской поэзии, как Асеев, Сельвинский, Антокольский, Луговской, Щипачев, Светлов, Исаковский. К. Федин писал, что в работах Огнева «есть много такого, что заражает страстью исследователя поэтического слова, поэтической души. Это побольше, чем критика, и куда «литературнее», нежели теория поэзии или литературы».

Не следует удивляться, что, занявшись литературами стран Восточной Европы, Огнев овладел славянскими языками и читает поэзию болгар, поляков, сербов и других в подлиннике. Ярослав Ивашкевич называл Огнева «замечательным критиком поэзии», а Пабло Неруда говорил Эренбургу о том, что Огнев написал о его творчестве лучшую статью. А ведь о Неруде писали во всем мире! Можно погордиться за нашего товарища по перу!

В 1964 году в Польше издательство «ПИБ» выпустило большой однотомник Огнева — «Очерки поэзии» — о советской и польской литературе. В Литве на литовском языке выходила его книга «Литовская мозаика», в Грузии — «Грузинские этюды» и «Ночные прогулки». Малым тиражом вышла, а потому была недоступна широкому читателю интересная и глубокая книга Огнева «Экран — поэзия факта» («Искусство», 1971) — о родстве «душ» поэзии и кино. Надо сказать, повести и сценарии Владимира Огнева — отдельная страница его творческой биографии. Большое удовольствие мне доставила наша совместная (с Владимиром Огневым и Георгием Данелия) работа над сценарием «Хаджи-Мурата», к сожалению, пока не реализованном в кино.

Читая статьи в двухтомнике Владимира Огнева, я вижу человека увлеченного, пишущего ярко, неравнодушно, смело. У него всегда есть собственные мысли. Увы, это обычно не так ценится, как должно цениться.

Радует цельность концепции творчества, нравственный пафос критика: от первых статей о театре Маяковского, от очерков о Сельвинском, Луговском, Твардовском, Вознесенском до «иностранных» глав и заметок о переводе, сонетах Шекспира и японских «хокку». Понимаешь и название избранного: «Горизонты поэзии». Тут действительно широкие горизонты. И главное: критик всегда остается человеком открытой души, говорит с читателем ясно, просто, искренне. Очень ценно, что Огнев никогда не писал о литературе «птичьим» наукообразным языком. Я уж не говорю об откровенной гражданской позиции автора. Без

этого просто нельзя представить темпераментного, остро, всегда отстаивающего передовое в жизни и литературе критика Владимира Огнева. Он знает, что наша профессия — служение человеку, высоким идеалам жизни. Без духовного гражданского пафоса нет писателя. В предисловии к первому тому он писал: «Предваряя «зарубежную» часть избранного, хочу заметить: мир «чужой» литературы всегда был для меня частью непознанного, волнующего новизной общего мира человеческой природы, частью одного и того же мира надежд, веры в лучшее устройство на земле, где художник, на каком бы языке он ни писал, только тем и ценен, что пробуждает чувства добрые и приближает торжество справедливости».

Прошедший 1982 год был особенно урожайным для В. Огнева. Кроме уже названного двухтомника в «Советском писателе» вышла очередная книга «Свидетельства. Дневник критика. 1970—1974». Владимир Огнев нашел для нее своеобразную форму: форму дневника — помесячных, подневных заметок о прочитанных книгах, статьях, с четким отношением к разного рода литературным спорам и полемике. Дневник — жизнь души современника, размышления писателя о явлениях культуры нашей и зарубежной. Для нового материала находится новая форма.

Что такое, например, интересная, а бы даже сказал, увлекательная книга Владимира Огнева «Югославский дневник»? Путевые очерки? Рассказ о югославской литературе? Повесть о времени с грустным ощущением возраста? Тревожные размышления об угрозе войны через воспоминания о прошлой, второй мировой? И то, и другое, и третье, и четвертое... «Югославский дневник» — просто отличная проза.

Я думаю, Владимир Огнев не обидится, если я открою небольшой секрет: его приняли в Литературный институт как... поэта. Попробовав себя в разных жанрах, он остановился на критике. Тут он не послушал Павла Григорьевича Антокольского, который советовал ему «совмещение». Предельно требовательный к себе и другим, он отшучивался, что есть уже в поэзии русской такой-то и такой-то, хватит и без него. Огнев достиг многого в творчестве — и как прозаик, и как сценарист, и как очеркист. Но упрямо пишет о себе скромно: критик. Впрочем, слово это не такое и скромное, если автор — мастер.

Сказать так о Владимире Огнев — никакое не преувеличение.

Расау ГАМЗАТОВ.



В СОАВТОРСТВЕ С ЧИТАТЕЛЕМ

Ираклий Андроников. Собрание сочинений в трех томах. М. «Художественная литература». Т. 1. 1980. 496 стр. Т. 2. 1981. 432 стр. Т. 3. 1981. 656 стр.

И. Андроников. А теперь об этом. М. «Советский писатель», 1981. 448 стр.
И. Андроников. Впереди самого себя. «Юность», 1983, № 1.

Ираклию Андроникову тесно в готовых жанровых рамках: он — сам себе жанр, явление неповторимое, исключительное.

Бывает, что существенное выявляется в чем-то малом и случайном. Академик Д. С. Лихачев рассказывал, что его творческая судьба определилась небольшой популярной брошюрой, которую написал он блокадной зимой в соавторстве с археологом М. А. Тихановой, — «Оборона древнерусских городов». Ее тираж был полностью поглощен фронтом и госпиталями осажденного Ленинграда: «С этого момента мои узко текстологические занятия древними русскими летописями и историческими повестями приобрели для меня "современное звучание"».

Для Андроникова, наверное, такое же значение имели два совсем незначительных эпизода. Первый — когда редактор журнала «Пионер» Б. Ивантер предложил молодому ученому рассказать юным читателям о поисках таинственной Н. Ф. И. Простое изменение аудитории (до той поры Андроников рассказывал о своих поисках в основном литературоведам) поставило перед автором совершенно иные задачи, потребовало совсем иных средств, нежели те, которыми он пользовался. Перемена была настолько кардинальной, что автор даже не сразу осознал ее сам: «На заглавие («Загадка НФИ» было придумано Б. Ивантером. — Ал. Г.) я согласился не без некоторых колебаний. Очень уж оно казалось мне ненаучным... Хотелось назвать построжее, что-нибудь похожее на обычное „К биографии Лермонтова"».

Второе событие случилось зимой 1940—1941 г., когда сама аудитория потребовала вдруг от Андроникова, чтобы тот исполнил рассказ, которого еще не было. Самое примечательное в этом эпизоде — готовность подчиниться залу, пойти ему навстречу. Но пойти по-своему.

В этих двух эпизодах — «ключ» к Андроникову: в творческий процесс вмешалась аудитория, и автор ее послушался. И хотя до этого у Андроникова уже был изрядный стаж и слава незаурядного рассказчика, которого хотел слушать «сам» Горький, но как явление, как писатель нового типа Андроников начался именно с этого выхода на массовую аудиторию. В

определенном смысле аудиторией он и был рожден.

Конечно, Андроникову повезло: становление его удивительного таланта пришлось на эпоху всеобщего культурного подъема в стране, когда тяга к культуре оказалась поистине всенародной. Индивидуальный талант и требование времени совпали. В рассказе о выдающемся советском чтеце Б. Яхонтове есть слова, которые можно отнести к самому Андроникову: «Время пришло. Возникли условия — массовая аудитория, жаждавшая приобщения к великой культуре».

Рассказы Андроникова являют прежде всего художественные образы. Этот талант рассказчика, способного как бы перевоплощаться в своих героев, придаст впоследствии особый аромат и статьям Андроникова-критика, где гибкая, «гнутая» андрониковская фраза непостижимым образом сохранит и отзвук стиля того писателя, о котором речь. Вот и в недавнем портрете Виктора Шкловского, опубликованном в журнале «Юность», услышится отголосок шкловской парадоксальности: «Люблю тебя Виктором Борисовичем! Люблю тебя Виктором! Люблю тебя Шкловским!.. Ты впереди самого себя!»

Андроников делает читателя, даже далекого от проблем литературы и искусства, соучастником творчества. Причем делает это незаметно, словно бы советуясь с ним, а тем временем вовлекая его в ход своих мыслей. Так, неожиданная находка в Угличе рукописи великого итальянского композитора Россини становится для Андроникова поводом к разговору о единстве общечеловеческой культуры: финал «Севильского цирюльника» вырос, оказывается, из мелодии русской народной песни, а бетховенские мотивы прозвучали в творчестве русского композитора XVIII столетия Евстигнея Фомина; разговор о содружестве муз перерастает в рассказ о содружестве людей и народов.

Влияние массовой аудитории на писателя разительней всего, может быть, сказалось на книге, отмеченной в свое время Государственной премией СССР, — «Лермонтов. Исследования и находки». Теперь, многократно переизданная, книга эта вошла в состав трехтомника. Но помню впечатле-

ние от первого ее издания — непривычный контраст между академической строгостью солидного тома и вовсе неакадемической живостью и темпераментностью ее содержания. Сама многонаселенность книги персонажами, порой никакого видимого отношения к Лермонтову не имевшими, вызывала недоумение: внучка знаменитой Н. Ф. И. и сотрудница Исторического музея, «великий архивист» И. А. Бычков и медсестра из Серпухова, известная некогда красавица Вера Бухарина и вовсе безвестная фройлен Ашмутц... Казалось бы, зачем знать читателю о какой-то танцовщице Волковой да еще и о гостях ее, собиравшихся к ней «на вишни и землянику»?

Подробности! Исследователь использует их как увеличительную линзу, чтобы максимально приблизить минувшее. Только что пересказав письмо Е. А. Верещагиной, он тут же процитирует ее полностью, чтобы дать возможность читателю самому вслушаться в неторопливое течение старинной речи, услышать ворчливый голос тетушки, наемни беседовавшей с «Мишенькой». Он воспроизведет и автограф, чтобы увидели мы летящий почерк самого Лермонтова, уловили бы скользнувшую его иронию, почувствовали бы, насколько неуютно было ему даже среди тех, кто любил его и кому он все же был чужд. Только что в великолепном андрониковском анализе стихотворения Лермонтова мы видели, как он велик и могуч, а тут, в малой приписке, он как Гулливер, приседающий перед лилипутами...

Вот он, «замок» внутреннего свода книги, сводящего великое и малое!

И начинаешь понимать, что перед нами не беллетризация «скучного» предмета, не прием «оживления», но самое существо особого метода исследования: они, эти люди, и есть главные герои книги, называемой «Лермонтов». Тут нет противоречия: это — имя не только того гениального юноши, что был убит почти полтора столетия назад, но и всех этих людей, которых так или иначе объединил его поразительный гений. Это — твой поэт! Люди, жившие в разные времена, разные по возрасту, национальности, профессии, образованию, но равно признававшие Лермонтова выразителем своих мыслей, чувств и дум, образовали совершенно особый мир — мир Лермонтова, неизмеримо больший, чем наиболее полное собрание сочинений поэта вкупе с его энциклопедией. Это — мир народа.

Здесь смыкаются в единое целое не просто люди, но и времена, и давно прошедшее становится твоим настоящим, твоим личным временем. Как говорит один

из героев Андроникова старый колхозник из села Тарханы, рассказывая о похоронах великого поэта: «Вышли мы все тут — глядим... — Он запнулся, потом поправляется: — Ну, мы — не мы! Нас-то в ту пору не было... Но все одно наши, тархановские. Те же мы — народ!» Народность Лермонтова доказывается Андрониковым не столько литературоведческим анализом, сколько художнически.

Раздвинув рамки традиционного литературоведения, превратив сотни и тысячи своих читателей и слушателей в активных участников своих поисков, Андроников продолжил лучшие традиции просветительства. Его произведения пробуждают такую жажду культуры, знания, что писателя, пожалуй, и в самом деле можно поименовать всенародным университетом культуры в одном лице.

В этом удивительном соавторстве писателя и читателя, рассказчика и слушателя — секрет не только многих открытий Андроникова, но и его притягательной силы. Не случайно, описывая итальянскую оперу, Андроников замечает, что во время московских гастролей знаменитой «Ла Скала» москвичи смогли увидеть ее только наполювину, так как вторую половину составляет итальянская публика: «То, что происходит в зале, стоит того, что происходит на сцене». Эти слова вполне сошли бы для эпиграфа к творчеству самого Андроникова.

Андроников никогда не вещает, не изрекает. Задав вопрос, он не станет отвечать на него сам, но пригласит: «Подумаем!». Читатель Андроникова безошибочно чувствует его отношение к себе, хотя вроде бы впрямую это отношение нигде не высказано. Но читатель не ошибается, потому что видит, как Андроников относится к тем, о ком он пишет.

О Горьком: «Редко мне приходилось в жизни видеть человека такого обаяния и такого необыкновенного артистизма».

О Шкловском: «Человек бесконечно талантливый, неожиданный в ходе мысли, оригинальный, умный и острый...»

О Казакевиче: «Это писатель какого-то особого склада — лирик, очень глубокий, музыкальный, пластичный...»

Заходит ли речь о туристической группе, в составе которой он ездил за границу, — «Группа была отличная!.. Нет, группа была прекрасная!» Или просто о времени и о людях, с которыми довелось ему встречаться: «Какое интересное было время! Люди какие!»

В этой восторженной любви к своим героям, к людям, с которыми сводила его

блуждающая писательская судьба, в неиссякаемом юморе, которым брызжут все его рассказы, в добром юморе проявляются неисчерпаемые жизнерадостность и жизнелюбие Андроникова, которые я бы назвал возрожденческими.

В самом деле, какой другой писатель вызывает такую лавину дружного хохота, как Андроников, рассказывающий, кажется, вовсе не смешные вещи, повествующий о литературоведческих поисках, о людях, всенародно уважаемых?..

Его жизнерадостность опирается на исконные традиции русской и грузинской культур. Да, в рассказах Андроникова отчетливо проступают черты и русского скоморошества и кавказского жизнелюбия, которые Андроников наследует и по самому природному складу своего таланта и вполне осознанно. Об этой традиции он сам ска-

зал так: «Во все века слово грузинских поэтов продолжало руставелиевские традиции. Во все века предпочитало оно отрицанию — утверждение жизни, воспевание героя — умалению его. Любило видеть не мелкое, но высокое в жизни и в человеке».

Всем своим творчеством Андроников выразил потребность человека в культуре не как сумме знаний, достаточных для участия в конкурсе эрудитов, а в культуре, необходимой для общения не только с теми, кто окружает нас, но и с теми, кто предшествовал нам. Она необходима для самой жизни, для ощущения полноты ее, красоты, счастья. И для того, чтобы достало сил это счастье защищать.

И в этом мудрость и значение многомерного явления, имя которому — И р а к л и й А н д р о н и к о в.

Ал. ГОРЛОВСКИЙ.

Загорск.



ОПОЛЧИВШИСЬ НА «ШАБЛОНЫ»

Ю. Галкина. Борис Шергин. Златая цепь. («Писатели Советской России») М. «Советская Россия». 1982. 176 стр.

Эта первая книга о жизни и творчестве Бориса Викторовича Шергина (1896—1973), органично сочетавшего в себе артиста-сказителя и писателя, чье «письменное слово содержит живую жизнь слова устного, слова народного». Хранитель поморской словесной культуры, Борис Шергин понимал свою работу как художественное осмысление виденного, слышанного и записанного; его произведения доносят до нас живую душу русского Севера (будь то сказка «Волшебное кольцо», или рассказ «Для увеселенья» о потерпевших кораблекрушении братьях Иване и Андрее, в ожидании неминуемой гибели украсивших случайную доску искусной резьбой и сочинивших себе эпитафию в стихах, или истории о кормицках Маркеле Ушакове, Устьяне Бородатом, Иване Ряднике). Автор книги уже не первый год занимается творчеством Шергина. Он — составитель и автор вступительных статей к шергинским сборникам («Избранное». М. 1977; «Поэтическая память». М. 1978). Творчество Бориса Шергина и, в частности, его посмертно опубликованный дневник (критик В. Гусев назвал его «объективным явлением отечественной культуры») — почти нетронутая целина для вдумчивого исследователя. Те страницы книги Ю. Галкина, что посвящены собственно Борису Шергину, пронизаны неподдельной

любовью к писателю. Автору книги удалось интересно и убедительно рассказать о том, как сформировалась самобытная личность Шергина, раскрыть творческую психологию писателя, его обостренную чуткость к нетронутой основе фольклорного произведения. Автор справедливо утверждает, что если мы сегодня располагаем «подлинными художественными картинами» жизни русского Севера, «картинами народной работы», то в этом есть и заслуга Бориса Шергина, который на всю жизнь остался верен наказу, полученному от земляков еще в ранней юности: «Поедешь, Борис, в Москву учиться, постарайся, чтобы наши сказания попали в писания». Жаль только, что автор книги не уберется от распространенной болезни и сбился со строгого исследования на аполлогию. Шергин слышал при жизни самые разные, в том числе весьма резкие оценки своей работы, так что некоторое преувеличение его заслуг и достоинств в первой книге о нем вполне объяснимо. Но беда в том, что при этом у нас на глазах происходит некое превращение писателя в «непогрешимого художника»...

Что же такое «непогрешимый художник»? Ю. Галкин объясняет: это «непримиримый человек по отношению к пошлости в искусстве, к пустоте, ко всякого рода интеллектуальным ухищрениям по тем или

иным образцам», это «глубочайшая приверженность национальным традициям в искусстве», это «непримиримость к иному отношению — спекулятивному, эгоистическому, поверхностному». Качества, согласимся, действительно ценные, но почему все это называется именно «непогрешимостью»? Еще более обостряя патетичность выдвинутой им категории, Ю. Галкин приплюсовывает к сказанному и «предчувствие тех ложных и коварных путей, где русское слово может утратить свою силу и свои достоинства» (кстати, почему только «русское»? И о «непогрешимости» спросим: разве это национальная привилегия?).

Конструируя образ «непогрешимого художника», Ю. Галкин возвеличивает Бориса Шергина за счет других писателей, в частности, П. Бажова. Читаем на страницах книги: «Еще в 34-м году «первоначальным автором» уральских сказов считался Василий Алексеевич Хмелинин, а П. Бажов слушал, записывал и литературно разрабатывал. Все это не умаляет роли П. Бажова, однако в обстановке именного искусства (что это такое, см. ниже.— А. В.) делает такое откровенное сотрудничество неудобным. Шергин в этих делах оказался менее расторопным (чем Бажов? — А. В.): он упрямо не хотел отступать от честной (разрядка моя.— А. В.) народной традиции и не хотел забывать (Бажов забыл? — А. В.) первоначальных авторов своих записей». Читаешь и диву даешься: разве Павел Петрович Бажов когда-нибудь объявлял уральские сказы плодом собственной фантазии?

П. Бажов в этой книге — не единственный «пострадавший». Немалую часть своей небольшой по объему книги автор посвятил изысканиям в области взаимоотношений «именного» искусства с жизнью народа и собственно народным творчеством. Понятие «именного» искусства — одно из важнейших в системе суждений Ю. Галкина. Мы узнаем, что эстетическая традиция его идет от «древнегреческих образцов», что своим смыслом, содержанием и формами это искусство зачастую «приходит в противостояние к человеку из трудящегося большинства народа», что искусство это опирается на «индивидуальное сословное сознание». Но поскольку автор в то же время сокрушается по поводу нашей «полной приверженности идеалам и методам именного искусства» и одновременно допускает возможность «осуществить прекрасные принципы народности средствами именного искусства», то становится понятным: речь идет просто об авторском, профессиональном искусстве.

Этому искусству Ю. Галкин на многих страницах своей книги предъявляет суровый счет: по его убеждению, оно убаюкивает волю человека, подменяет «сознание необходимости строить жизнь» эстетизацией пессимизма, иждивенческой надеждой. В результате происков «знаменитых художников» (так у Ю. Галкина) мы перестаем понимать «поэзию строительства нормальных повседневных человеческих отношений», ибо в центре внимания «именного» искусства неизменно находится прихоть личности, которая присваивает себе исключительное право на «потребление приятного, любви, например»; «именное» искусство услужливо добывает «это приятное» для своего героя. Борис Шергин — из тех немногих, кому, по Ю. Галкину, удалось вырваться из паутины этих коварных тенденций.

Поскольку понятие «именного» искусства у Ю. Галкина постоянно двоится (сословное — профессиональное), то по сути дела от автора книги достается всему мировому профессиональному искусству.

Не уставая ругать «именное», Ю. Галкин тут же обличает и все «книжное». Это «книжная тонкость», если верить Ю. Галкину, научила нас снисходительно относиться к злу, творимому под предлогом права на личное счастье. Зловредная «книжная культура, а лучше сказать, культура массового... пошиба» (для Ю. Галкина здесь разницы нет) имеет особенность: она, как утверждает автор, «начинает «править бал» только в социально пассивном обществе, в обстановке гражданской разобщенности и духовной робости».

Народное же творчество Ю. Галкин ставит настолько выше «именного», что народному искусству, как он пишет, «вообще незачем и революцию слушать», так как оно и без того уже революционно по своей сути. Остается уберечь его от агрессии «именного»! Ведь как раз те, читаем мы у Ю. Галкина, кто «больше других хлопотал о судьбах народного творчества», были «художниками-индивидуалистами, разрушающими художественную структуру народного творчества». Это неудивительно: они профессионалы, а художественный профессионализм «служит умению подчинить и тему и материал народного творчества „капризному вкусу города“». Итоги неутешительны: народный мастер превращается в «подручного у столичного (?) художника-индивидуалиста», а вмешательство профессионалов изменяет даже самую сущность народного искусства, «внедряя в него личностное, субъ-

ективное, эгоистическое, эстетико-потребительское (?) начало».

Такая вот философия, прямо сказать удивительная. Она неумолимо уводит исследователя в мир, где, скажем, перед «необъяснимым» явлением полярного сияния робеет слово «реалистов, отказавшихся от возможности опереться в подобных случаях на высшую силу, на Творца...».

Столь же небрежен бывает Ю. Галкин и в обращении с историко-литературным материалом. Он может написать, что гоголевский Осип и Петрушка — традиционные фигуры для литературных сюжетов «в эпоху молодого (!) Пушкина». Или объяснить гоголевские «проповеди-эпистолы» (понимай, «Выбранные места из переписки с друзьями») первой в русском искусстве попыткой.. «хождения в народ», по-видимому, полагая, что «друзьями»-адресатами Гоголя были именно крестьяне. Утверждает он, что после 1861 года искусство навязало «литературному мужику» идеал в виде всецельной «денежки», причем эта денежка «все объяснила, всех удовлетворила и всех примирила». Идеал же этот, считает Ю. Галкин, был для искусства «привычен, он был свой, родной».

Всесильная «денежка» в качестве родного идеала русского искусства второй половины XIX века — горький апофеоз исследовательских усилий Ю. Галкина.

В отдельно опубликованной статье о Шергине «Заповедь» («Литературная учеба», 1981, № 6) Ю. Галкин писал: «Немногим удастся вырваться из-под власти шаблонов, тем более если они освящены на университетских лекциях». В своей книге он явно «вырвался». Но стоило ли?

Исследовательские приемы Ю. Галкина весьма далеки от уровня современной науки о литературе. Они помешали критику понять не только истинные связи народного и профессионального искусства, но и точно очертить действительное место Бориса Шергина в нашей культуре.

А ведь намерение-то было самое благородное — популяризировать творчество талантливого писателя...

Вот какую шутку сыграла с Ю. Галкиным та самая «сприхоть личности», которую он с таким пылом обличает на страницах своей книги.

Андрей ВАСИЛЕВСКИЙ.



ПОЭТИКА РОМАНА XX ВЕКА

Т. Мотылева. Роман — свободная форма. Статьи последних лет. (Черты современной прозы. Толстой и Достоевский за рубежом. О литературе ГДР). М. «Советский писатель». 1982. 399 стр.

К сожалению, у нас еще не установился порядок сопровождать научные и критические работы указателями на «действующие» здесь имена и произведения. Нет такого указателя и в новом сборнике статей известного советского литературоведа и критика Т. Мотылевой. Будь он помещен в конце книги, читатель сразу получил бы представление о широчайшем круге явлений, охваченных глубоко эрудированной исследовательницей. Три цикла статей, составляющих сборник, объединяет тема судеб романа в прошлом и настоящем от классического реализма XIX века до наших дней.

Вопрос о том, исчерпал ли себя роман, волновавший критиков некоторое время назад, уже больше не стоит в литературе. На очереди другая проблема — каковы художественные нормы романа и «существует ли его каноническая форма»? Для решения задачи автором привлечен поистине огромный материал — суждения больших мастеров жанра как в прошлом, так и в настоящем, работы критиков советских и

зарубежных. В поле зрения Т. Мотылевой едва ли не весь круг романов, определивших развитие этого жанра более чем за сто лет. Исследовательница сосредоточивает свое внимание на живом движении литературы нашего времени, особенно за последние два десятилетия.

Ясность мысли и четкость формулировок, свойственные Т. Мотылевой, сказываются уже в утверждении, являющемся исходным для всей книги: «Роман в XX веке яснее, чем прежде, осознал себя как искусство — следовательно, осознал и свое право на художественный эксперимент, иной раз и на сближение с лирикой, с поэзией (а это предполагает, добавим, более смелое обращение к средствам поэтического выражения, к иносказанию, метафоре, символическому). И в то же время роман по-новому осознал свои задачи как исследования социальной жизни, пошел на сближение с философией, политическим эссе, включил в свою орбиту документ, репортаж, элементы научной и деловой прозы. Словом, то

новое, что внес XX век в искусство романа,— это прежде всего рост его познавательной энергии и социальной активности, отвечающий революционному, динамическому характеру переживаемого нами столетия. Роман XX века, по крайней мере в лучших своих образцах, отразил во много крат усложнившиеся связи индивидуального человеческого существования с жизнью общественной, общенациональной, а то и интернациональной».

Т. Мотылева на основе многочисленных примеров показывает, что общая тенденция литературы XX века — возрастающее разнообразие художественных форм и стилей, особенно явственно сказывающееся в романе, повести, романе-эпопее. При этом у каждого романа своя структурная формула, свои, подчас очень неожиданные, особенности стиля, языка. Интересно раскрыто в работе, как по-разному сочетаются в современных романах авторское повествование с рассказом, воспоминанием, свидетельством одного или нескольких персонажей. Роману теперь присущи разные сочетания достоверного воспроизведения действительности, типичных характеров в типичных обстоятельствах с условностью, символикой и гротеском. На ряде примеров раскрывается современная трактовка повествовательного времени, совмещение в одном произведении разных временных плоскостей.

Как показывает Т. Мотылева, знаменитое положение Толстого «роман — свободная форма» отнюдь не означает бесформенности новейшего романа. Поэтике романа посвящены многие страницы книги, тонко раскрывающие, в чем именно состоит искусство таких корифеев романа XX века, как Томас Манн, Фолкнер, Кафка, Ромен Роллан. Автор возвращает нас к истоку романного искусства новейшего времени — к Толстому и Достоевскому, раскрывая их мировое значение как художников. Т. Мотылева отвергает категорическое противопоставление этих двух гениев, распространенное в западной буржуазной критике. Она убедительно демонстрирует, чем определяется их значение как «художников, вместе обозначивших новый этап в развитии реализма». Каждый из них по-своему отразил нарастание и неизбежность коренных перемен в жизни, они выдвинули проблему народа, выявили нравственный момент в психологии личности, заставили глубоко задуматься о смысле жизни. Оба обновили искусство романа, утвердив право романиста на свободу в выборе ху-

дожественной формы для раскрытия душевной жизни и нравственных конфликтов.

Мировое влияние Толстого и Достоевского составляет одну из главных исследовательских тем Т. Мотылевой. Она касается ее и в данной работе, причем здесь говорится не об обособленном влиянии каждого из великих мастеров, а о скрещении художественных и идейных мотивов, выдвинутых ими, в романах таких разных писателей, как Ш.-Л. Филипп, Р. Роллан, Дж. Голсуорси, Т. Драйзер, Т. Вулф, У. Фолкнер, А. Барбюс, А. Зегерс, И. Бехер. Свидетельством мирового значения русской литературы является и обилие критических работ, посвященных ее гениям. Т. Мотылева знакомит читателей с достоинствами и недостатками зарубежных исследований о творчестве автора «Войны и мира» и «Анны Карениной».

Раскрывая силу реализма как господствующего направления в романе, Т. Мотылева вместе с тем показывает, что обновление, присущее искусству XX века, коснулось и реализма, который теперь вовсе не состоит в имитации художественных достижений XIX века. Один из разделов книги содержит обстоятельный анализ четырех романов: «Винтерспельт» западно-германского прозаика Альфреда Андерша, романа итальянской писательницы Эльзы Моранте «История» «Рэгтайма» американского писателя Э. Л. Доктороу и «Анри Матисса» Луи Арагона. Существенные социальные и политические проблемы, входящие в орбиту повествования, влекут за собой важнейшие следствия для структуры произведения. «Романистам,— пишет Т. Мотылева,— приходится искать и находить разнообразные способы сопряжения личной, частной жизни героев с жизнью общественной. Включение документов и хроники событий, элемент авторской эссеистики прерывающей и дополняющей действие, выбор персонажей способных воплотить в себе, в своем жизненном пути кардинальные общественные процессы эпохи, гротескное или символическое заострение образов и ситуаций, введение в сюжет реальных исторических лиц — все это делается не напрасно и не по капризу. Все это помогает романистам сказать нечто существенное о времени и о людях».

В названных четырех книгах выразительно проявляется экспериментальность современного романа. Традиционная форма повествования сочетается с необычными элементами. Андерш вводит в свой роман философскую притчу, Доктороу — гротеск,

Эльза Моранте сводит вместе мелодраму и репортаж, Арагон перемежает живой фактический рассказ личными воспоминаниями, эссе и лирикой в прозе.

Интересное эссе Т. Мотылевой посвящено теме «Человек и техника в новейшей зарубежной литературе». Она взяла лишь один аспект влияния НТР на художественную прозу, а именно — расширение романного пространства. В ряде произведений человек изображается на пересечении многих линий, ведущих к разным странам, иногда и к разным временам. Герой романа М. Фриша «Ното Фабер» летит на суперлайнере, едет на океанском пароходе, оказывается в Мексике, Гватемале, США, Франции, Италии, Греции и т. д. В романе К. Брандыса «Как быть любимой» действие происходит в самолете, летящем из Варшавы в Париж; у А. Зегерс в романе «Через океан» описано плавание из Бразилии в Европу; передвигаются по стране персонажи «Завтрака для чемпионов» К. Воннегута. Пользуясь термином Бахтина, Т. Мотылева показывает, как «хронотоп» дальней дороги расширяет связи отдельной личности с окружающим миром, придает глубину и масштабность произведению. Вывод автора: «НТР обогащает искусство новым материалом, новой жизненной проблематикой, стимулирует мысль художников», но, подчеркивает она, не правы те, кто полагает, будто НТР управляет современным искусством. Решающими остаются не технические, а социальные и исторические факторы.

С первых шагов возникновения литературы ГДР Т. Мотылева проявила себя как ее внимательный друг. Это было предопределено связями критика с пролетарскими антифашистскими писателями Герма-

нии в период между двумя войнами. С любовью пишет Т. Мотылева о творчестве Анны Зегерс, хорошо известном советским читателям. Интересно раскрывает она своеобразный характер произведений Кристи Вольф, рассматривает женскую проблему в современной литературе ГДР и произведения тех писателей, которые стремятся искоренить духовные раны, нанесенные сознанию немцев фашизмом. И в этих частях книги Т. Мотылева касается не только общественных и нравственных проблем, но также и эстетики романа.

Т. Мотылева не отрывает формы от содержания; не техника романа, а его живое человеческое содержание волнует ее прежде всего. Книгу открывает глава «Гуманистическая миссия литературы XX века». Духом социалистического гуманизма пронизан весь труд исследовательницы. В нем речь идет о действенном, социально-конкретном отношении к человеку в чаш бурный XX век. Автора интересует не человек вообще, а та богатая и разнообразная картина, которую создали лучшие писатели века, показав многообразный лик современного человечества со всеми реальными вопросами и противоречиями, типичными для той или иной страны.

Лучше всего пафос этой умной, содержательной, талантливо написанной книги выражен во фразе, заключающей ее. Т. Мотылева пишет, что «всякая тема, одушевленная глубокой гуманистической идеей... требует интроспекции, умения заглянуть внутрь человека, в глубь человека». Таков тот главный критерий, который применен автором для оценки рассмотренных ею явлений литературы XX века.

А. АНИКСТ.



Политика и наука

ОТ СОВЕТСКОГО ИНФОРМБЮРО...

От Советского Информбюро... Публицистика и очерки военных лет. 1941—1945. Составитель С. Красильщик. Издательство АПН. М. 1982. Т. 1, 320 стр. Т. 2. 478 стр.

Люди постарше, конечно, на всю жизнь запомнили гвердаый, словно стальной голос Левитана, объявлявший рано утром по радио, а потом еще не раз в течение дня и вечера: «От Советского Информбюро...» Затем следовала сводка о положении на фронтах Великой Отечественной. Если в начале войны — в сорок первом, сорок втором — этот голос звучал сурово, сдержанно, то

позже в нем появилась и звенящая медь победы и окрыленная радость наших ратных успехов. Кто слышал диктора именно в то время, когда война пошла на перелом, никогда не забудет озноб по коже от счастливого возбуждения, блеск глаз товарищей, слушавших торжественное левитановское: «От Советского Информбюро...»

Это особое и очень представительное

агентство печати и информации было организовано на третий день войны. Партия и правительство поставили перед агентством задачу большой важности — освещать в печати и по радио международные события, военные действия на фронтах и жизнь страны. Освещать не только для наших сограждан, но практически для всего мира. В литературную группу Совинформбюро вошли такие писатели, как Шолохов, Толстой, Фадеев, Эренбург, Федин, Чуковский, Петров, Симонов, Шагинян, Тихонов, Полевой, Катаев, Леонов, Павленко, Платонов, Тычина и многие, многие другие, то есть, в сущности, весь цвет нашей литературы. Перечислить здесь всех просто невозможно.

Как они работали и сотрудничали? В годы войны один Эренбург помимо тысячи с лишним статей для нашей печати написал специально для Совинформбюро более трехсот материалов! Не покладая рук, порой забывая о еде, отгоняя сон, трудился и остальные. Их аудиторией действительно стал весь читающий и слушающий мир. Совинформбюро обеспечивало правдивыми, страстными материалами 32 зарубежных телеграфных и газетных агентства, 18 радиостанций во многих странах — в США, Англии, Индии, Китае, Мексике, на Кубе... За годы войны Совинформбюро направило за рубеж около 135 тысяч разного рода сообщений, публицистических выступлений, статей, очерков.

«Благодарим за первоклассный очерк. Лучшие пожелания. „Ивнинг стандард“». Журналисты из «Франс»: «Использовали и используем Ваши телеграммы, за которые еще раз благодарим Вас. Будем счастливы получить Ваши статьи на различные темы». Это лишь крупницы из обширнейшей благодарственной почты Совинформбюро.

И вот перед нами двухтомник, в котором часть того, что было подготовлено и опубликовано в военную пору — широкая и впечатляющая панорама Великой Отечественной. «Наша священная война, война, которую навязали нам захватчики, станет освободительной войной поработенной Европы», — это написано 22 июня 1941 года, а последний очерк, помещенный в издании, принадлежит Всеволоду Иванову и посвящен уже параду Победы. «Никакой буйной и вдохновенной речи не хватит для того, чтобы описать их подвиги, — пишет В. Иванов о советских воинах, — то, что они сделали для славы и процветания нашей Родины, и много лет скромные художники и писатели нашей страны будут говорить о их деяниях, о их жизни, о том, что мы сейчас еще так кратко называем подви-

гом». С редкой убедительностью говорили об этом литераторы военных лет.

Сейчас, на изрядном расстоянии от Великой Отечественной, даже воевавшие (сужу хотя бы по себе) начинают терять ощущение необычайной силы писательского, журналистского слова в те уже повитые туманом десятилетий годы. Что ж говорить о сорокалетних и помоложе, которые теперь — основа нашего населения.

А было так.

Октябрь 1941 года стоял на диво дивным: было солнечно, сухо, как редко случается об эту пору. Но мало кто замечал тогда красоту осени — уже не ночью, а днем фашисты совершали воздушные налеты на Москву и в один из дней прорвали фронт. Помню, как я увидел на притихших улицах столицы наклеенное на стенах зданий постановление Государственного Комитета Обороны, которое начиналось грозно-торжественно и необычно: «Сим объявляется...» Объявлялось, что Москва на осадном положении. И в уже похолодавшем, но ясном московском небе густо пошел черный «снег»: готовясь к эвакуации, жгли документы, архивы. Многие предприятия закрывались. Будущее было неясным.

Как раз в это время и появилась статья Алексея Толстого «Только победа и жизнь». Теперь ее можно читать спокойно, хотя и сейчас она не может не волновать сдержанностью истинного мужества. А тогда я помню, например, мою попутчицу в клинском поезде, которая плакала, читая: «Родина моя, тебе выпало трудное испытание, но ты выйдешь из него с победой, потому что ты сильна, ты молода, ты добра, добро и красоту ты несешь в своем сердце. Ты вся — в надеждах на светлое будущее, его ты строишь своими большими руками, за него умирают твои лучшие сыны». Женщина плакала, приговаривая: «Уже второй месяц не получаю от мужа писем. Что с ним, что с ним?..» Поезд наш остановился, не доехав до Химок, приблизительно там, где теперь стоят монументальные чугунные ежи и памятник, на котором написано, что здесь был подбит немецкий танк. Мы пешком побрели к Москве. Женщина не выпускала из рук газету, и слез на ее глазах я уже не видел, а твердость во взгляде ощущалась явственно. Та статья Алексея Толстого была написана 18 октября, в самые тяжелые для столицы дни, и тотчас же была опубликована в нашей прессе и за границей. Теперь статья в двухтомнике. Прочтите ее: для победы она сделала очень много.

Я вспоминаю Николая Ивановича Крылова, после войны маршала, главнокомандую-

щего ракетными войсками стратегического назначения. Во время войны он защищал Одессу, Севастополь, Сталинград — и все от первого до последнего дня. Крылов рассказывал мне, как они, фронтовики, уважали военных писателей, как радовались приезде Константина Симонова в Одессу и Евгения Петрова в Севастополь. «Мы, — сказал Крылов, — ценили их статьи на вес золота, или, если угодно, считали равными по своему значению десяткам снарядов». И я был потрясен, когда он однажды на память прочитал отрывок из статьи Петрова. Я его процитирую по двухтомнику, но Николай Иванович был почти буквально точен: «Сегодня пошел двадцать первый день последнего штурма, который предприняли немцы. И двадцать один день на город и передний край обороны, находящийся в непосредственной близости от города, немцы сбрасывают ежедневно столько бомб, сколько англичане сбросили однажды на Кельн, превратив его в развалины. Всего, следовательно, на Севастополь сброшено в двадцать раз больше бомб, чем на Кельн. При этом надо помнить, что Севастополь меньше Кельна раз в пятнадцать и что, кроме бомб, каждый метр обороняемой земли днем и ночью обстреливается из орудий, минометов и пулеметов». «Чистая правда, — добавил Крылов, — именно я дал Евгению Петровичу известные мне из служебных документов данные о немецких бомбардировках, но я не знал тогда, что Севастополь настолько меньше Кельна. Это страшное сопоставление вроде бы вопреки законам психологии повысило нашу гордость севастопольцев: значит, мы и это можем выдержать!» Таково воздействие слова.

Вспоминаю еще один эпизод. Письмо Эренбурга... Теперь, по-видимому, трудно представить радость журналистов одной из дивизионных газет, которые напечатали самым крупным из своих бедных шрифтов на первой полосе это небольшое письмецо одному из снайперов Карельского фронта. В течение нескольких дней адресат стал одним из знаменитейших людей фронта: все дивизионные газеты перепечатали письмо, и каждый боец знал, кому писатель его прислал! Это была высокая честь и награда солдату. Михаил Иванович Калинин сравнивал боевую, страстную публицистику Эренбурга с действиями целого войскового соединения. Тут нет преувеличения. Я уверен в этом хотя бы потому, что видел то исключительное впечатление, которое произвело лишь одно эренбургское письмо. Его, конечно, нет в двухтомнике, но зато в нем несколько статей писателя, словно

начиненных порохом коротких фраз — едких или гневных, призывных или торжествующих, всегда понятных любому и волновавших всех — от командиров до ездо-вых...

Не буду говорить о тематическом разнообразии двухтомника: здесь и фронт, и тыл, и партизаны, и страдания тех, кто попал в неволю. Здесь война, а она так или иначе была тогда жизнью каждого человека. Хочется сказать о другом: как бы ни было трудно, особенно в первые годы войны, уверенность в конечном итоге, в победе не исчезала. Поддерживали эту уверенность и советские писатели-публицисты. Гнев в их материалах вы почувствуете, нервозность — нигде, ненависть к фашистам ощутите полной мерой, слепую мстительность — никогда, трудности превеликие — почти на каждой странице, но хоть бы нотка уныния или тоски, жалобы. Как это могло быть? Бодрились, смиряли в себе тяжелые чувства? Чего скрывать — да, пишущие были такими же людьми, как все. Но поверх самых разных чувств было одно приподымающее дух чувство святой справедливости общего дела, а потому и честности, великой необходимости Слова. Я пишу его с большой буквы, потому что при чтении двухтомника еще раз ощутил всю значительность и важность того, что создавалось по ночам, в кабинках машин, в блиндажах, на положенном на колени планшете. Слово тоже приближало победу.

Не ручаюсь за всех читателей. Возможно, найдутся и такие, кто, увидев новый сборник, пожмет плечами: опять о войне. Но эта книга — не просто о войне, она войной и во время войны написана — вот в чем дело. Это уже сборник документов истории, эпохи. Причем документов, зачастую не потерявших и ныне своих художественных достоинств, ведь они написаны мастерами. И не думайте, что впопыхах: выражение истинно волнующих чувств может быть и кратковременным, были бы сами чувства стойкими.

И еще об одном. Не так давно мы отметили сорокалетие битвы под Сталинградом. Загодя готовились к этому событию, как к большому празднику. И хорошо, достойно отметили. В те юбилейные дни мне часто вспоминалось письмо Леонида Леонова «Неизвестному американскому другу». Оно весьма примечательно. «Мой добрый друг, — писал Леонов еще в августе 1942 года, когда, по словам поэта, «было все на кону», — подумай о происходящем вокруг. Вот сыновья героев 1914—1918 годов ложатся на кости своих отцов, не успевшие истлеть на

полях сражений. Какие гарантии у тебя, что и твой голубоглазый мальчик, соскользнув с злодейского штывка, не упадет на кости деда?

Цивилизации гибнут, как и люди. Бездне нет предела. Помни, потухают и звезды.

Мы, Россия, произнесли слово: Освобождение. Мы отдаем все, что имеем, делу победы. Еще не родилось искусство, чтобы соразмерно рассказать об отваге наших армий. Они отдают жизнь за самое главное, чему и ты себя считаешь другом...

Но... *Amicus cognoscitur amore, more, oge, ge* (друг познается по любви, по нраву, по лицу, по делу (*лат.*)— А. К.).

Я опускаю это письмо в почтовый ящик мира».

Эти строки написаны, когда мы, обливаясь кровью, надеялись, что союзники помогут нам и откроют второй фронт, чего, увы, пришлось ждать еще чуть ли не два года. Сейчас, когда советская страна, как и прежде, так много сил отдает делу мира, слова писателя звучат не менее злободневно. Призывают к объединению усилий в борьбе с угрозой новой войны. В этом, в частности, современное значение нового сборника старых статей Совинформбюро, жар которых мы чувствуем и на сорокалетнем расстоянии.

А. КОНДРАТОВИЧ.



«СТИЛЬ МАРКСА — ЭТО МАРКС»

С. М. Гуревич. Карл Маркс — публицист. М. «Мысль». 1982. 237 стр.

Много жарких дискуссий, устных и печатных, вызывает сама попытка определить категорию публицистики. В ряде книг публицистика характеризуется весьма по-разному. Нередко в этой полемике имеет значение и «цеховая принадлежность» авторов высказываний: если вмешивается в спор писатель, то он чаще всего причисляет публицистику к художественному творчеству, объявляет ее искусством. Если автор скромный газетчик, то тянет публицистику в журналистику. При этом каждый из спорящих в чем-то прав, но в чем-то — порой жестоко — заблуждается. От этих заблуждений страдает практика публицистики. Да и представление о ее предназначении искажается.

Естественно, путь к истине лежит через изучение прежде всего творчества классиков. Начинать надо с основоположника научного коммунизма — с Маркса, 165 лет со дня рождения которого отмечается в этом месяце. Между тем о Марксе-публицисте, о его мастерстве написано не так уж много. В ряде случаев работы отличаются неглубокой трактовкой проблемы.

Исследование С. Гуревича «Карл Маркс — публицист» доказательно. Это книга теоретического характера и вместе с тем прозрачная по стилю изложения, доступная широкой аудитории.

Автор книги умеет экономно решать сложные проблемы. Например, в главе «У истоков пролетарской публицистики» рассматривается большого объема фактический материал, решаются вопросы методологического характера. Речь идет о предшест-

венниках и современниках Маркса в публицистике, о том, как разрывалась борьба между реакцией и прогрессивными тенденциями, что использовал Маркс в опыте лучших публицистов. На все это потрачено 34 страницы, но они, так сказать, имеют высокую концентрацию.

Автор говорит о публицистике Маркса как о творчестве нового типа, а о Марксе — как о публицисте нового типа.

Становление Маркса-публициста, разумеется, было протяженным во времени. Но с самого начала он выбрал оружие журналистики, которая в то время открывала перед ним, по его же словам, «наиболее широкое поприще для деятельности во имя человечества...».

Однако чем отличается новый тип публициста, новая публицистика? Та, которая получила свое продолжение в деятельности Ленина, в пролетарской печати России и других стран. Тут напрашивается разговор об особенностях публицистики как рода литературы, ибо трудно определить новый тип того творчества, особенности которого не до конца выяснены.

Предмет публицистики — политическое постижение действительности. Энергия советской публицистики направлена на приведение в соответствие субъективных и объективных возможностей общественного развития. «Одна из важнейших, определяющих черт публициста нового типа, — пишет автор, — единство его творческой практики и революционной теории». Ленин отмечал, что «доктрина Маркса связала в

одно неразрывное целое теорию и практику классовой борьбы».

Коммунистическая партийность позволила Марксу объединить научность и публицистичность. Ведь коммунистическая партийность открывает возможность объективно, научно определять социальные процессы, суть классовой борьбы, характер происходящих событий разного масштаба. Теоретическая работа Маркса накладывала сильнейший отпечаток на его публицистику, а публицистическая деятельность активно влияла на научную. Этот диалектический вывод С. Гуревича совершенно справедлив.

Как позднее Ленин, Маркс видел в публицистике важнейший фактор истории современности. Он сам был «историком современности».

Публицистика Маркса весьма разнообразна по своей тематике, но главное место в ней занимают экономиста в различных масштабах и политическое осмысление событий жизни, политика во всех ее проявлениях. «К. Маркса,— отмечает автор,— можно назвать летописцем европейских революций».

Как публицист он постоянно был готов выступить в печати. Говоря о Марксе-ученом, П. Лафарг сравнивал его мозг с военным кораблем, стоящим в гавани под парами. О Марксе-публицисте сказать это оснований не меньше.

Большой интерес представляет глава книги, посвященная выяснению основ творческого метода Маркса. Автор, в частности, рассматривает те произведения Маркса-публициста, в которых использован индуктивный метод — движение от факта к мысли.

Разумеется, факты бывают разного значения по их весу в общественной жизни. Скажем, Маркса несколько не привлекали факты желтых сенсаций, смакующие подробности ограбления банков, но привлекали внимание факты ограбления банками народных масс. И важное требование Маркса к факту: он должен быть безукоризненным с точки зрения принципа правдивости. Сегодня буржуазная пресса, как и во времена Маркса, живет огромным количеством неблиц, «уток», создаваемых в классово корыстных целях. Маркс неоднократно писал о фактах, которые встречал в буржуазной прессе: «...*неверно, фактически неверно.*...» Как говорил П. Лафарг, «литературная совесть Маркса была столь же строга, как и его научная совесть».

Накапливание фактов было необходимо для дальнейшей работы по синтезированию отдельных событий общественной жизни, для подготовки значительного вывода.

«Анализ фактов,— пишет С. Гуревич,— для основоположников марксизма — надежное средство предотвратить обращение публициста к абстрактно-логическому дедуцированию, приводящему к отрыву умозаключений от реальной действительности». Выводы, ставшие результатом анализа и синтеза фактов в публицистике Маркса, характерны для него как автора.

С другой стороны, движение от мысли к факту также типично для публицистики Маркса. Оно предпочтительно в тех случаях, когда научная истина уже доказана и не вызывает сомнений. Накопление фактов здесь важно постольку, поскольку позволяет подкрепить важное умозаключение, обогатить его новыми данными жизни. Так построены статьи «Британская торговля и финансы», «Рост числа умалишенных в Англии». В последней статье Маркс показывает, что обнищание масс, их жестокая эксплуатация приводят и к росту числа умалишенных.

С. Гуревич обращает внимание читателей на то, что основа метода познания и отображения действительности в публицистике у Маркса та же, что и в научном познании,— материалистическая диалектика. При этом отмечается, что характер ее использования меняется в зависимости от целей и задач, которые ставит перед собой публицист. Маркс учитывал и то, каким временем располагает автор при решении публицистической задачи.

Оперативность газетной публицистики, несомненно, требует быстрого реагирования на события жизни, а это не может не сказаться на глубине постижения темы, проблемы, явления. Спешка, которая сопутствует работе журналиста, делает неизбежной некоторую поверхностность в изучении материала жизни. Эту верную мысль С. Гуревич подкрепляет ссылкой на высказывания Энгельса. И все-таки нам кажется, что тут автор не во всем прав.

Конечно, верно, что публицист далеко не всегда может тягаться с ученым в глубине, основательности изучения предмета. Но дело не только во времени. А если бы времени было много — по оптимальному варианту? Дело еще в целях публициста, которые не совпадают с целями ученого. Публицист обычно имеет дело с конкретными жизненными ситуациями, а не с проблемой в полном ее объеме, но происхождение, значение в жизни общества этой ситуации он изучает оперативно и с учетом постоянно меняющихся окружающих условий.

В этой связи весьма интересна мысль

автора книги о том, что газетная публицистика сильна непрерывным воздействием на читателя, на общественное мнение.

С. Гуревич справедливо утверждает, что процесс анализа и синтеза в публицистике, весь процесс создания произведения открыт для читателя, в то время как ученый «открывается» только тогда, когда работа над темой завершена и он публикует результаты исследования. «Публицист как бы размышляет вслух, приглашая читателя пройти вместе с ним путь нахождения истины».

Интересны наблюдения автора над творческим процессом Маркса-публициста, над тем, как он использовал аналогии, сравнения и моделирование. Автор отмечает и еще одну особенность публицистики Маркса: в ней используются не только научные, но и художественные приемы отображения действительности. Это значит, что наряду с понятийным мышлением Маркс использует образное. Во-первых, это художественные образы, созданные классиками большой литературы: Шекспиром, Сервантесом, Гёте и т. д. С другой стороны, это, как пишет С. Гуревич, публицистические образы, которые, на мой взгляд, точнее назвать документальными: например, Пальмерстона, Луи Бонапарта, Тьера. Наконец, немалое место в публицистике

Маркса занимает словесный образ. Это тропы. Тропы встречаются и в художественной литературе, и в научной, и, разумеется, в публицистике. Мы находим их и в «Капитале» и в многочисленных статьях Маркса. Словесный образ в его типичной метафорической форме позволяет усилить впечатление от аргумента, придать произведению выразительность. В своей книге С. Гуревич приводит немало примеров, подтверждающих эту мысль. Скажем, такой (по-моему очень колоритный): «...он лишь дробь, и главное, лишен способности быть целым числом». Так характеризует Маркс Канробера, маршала армии Наполеона III.

«Стиль Маркса — это Маркс». Этими словами В. Либкнехт, перефразируя известную мысль Бюффона, дал верную характеристику самобытности стиля великого революционера. Что подтверждается, в частности, полемическим искусством Маркса, которое проходит через всю его публицистическую деятельность. Он полемизировал, положим, с Гейнцем или Фогтом как конкретными индивидами, но разоблачал в их лице определенные социальные группы и течения. При этом всегда стремясь писать так, чтобы «нас понимали рабочие».

М. ЧЕРЕПАХОВ.

ПЕРВАЯ СРЕДИ РАВНЫХ

Н. Н. Михайлов. Книга о России. В союзе равных. Впечатления. Описания. Памятное. М. «Советская Россия». 1982. 510 стр.

«Я жил. И добывал книги из путешествий. Проплыл, пролетел, отшагал миллионы километров. В вольном пути столько раз дрожал от страха. Ждал расправы в плену у басмачей, терпел кораблекрушения, врезался в землю с самолетом...»

Эти фразы из автобиографической повести Михайлова «Черствые именины» сегодня звучат как слова автонеколога: весной прошлого года замечательный писатель, отважный путешественник, ученый Николай Николаевич Михайлов отшагал свои последние метры... Но как бы символизируя нерасторжимость писателя с жизнью, в те же весенние дни на типографских ленточках начали отливать строка за строкой новую его книгу — «Книгу о России».

Авторские «Впечатления. Описания. Памятное» складывались постепенно. Собственно, всю жизнь начиная с той поры, когда юный помощник бухгалтера Мосгорбанка, стоя днем за конторкой, сводил ежеднев-

ный дебет-кредит, а по вечерам мечтал, записывая в дневник: «В углу пахнут лыжи. Фиолетовое окно, вечер, легкий мороз. Эмалевый закат на Севере, книга. Конечно, вот где я. Это мое...»

Прежде чем говорить о последней работе Михайлова, вpletенной в венок произведений советских писателей, посвященных 60-летию союза народов-братьев, я чувствую понятную потребность коротко напомнить читателю творческий путь автора «Книги о России», писателя-интернационалиста, рожденного новой русской действительностью.

В банковском царстве сухих цифр и вкладок только непосвященному и равнодушному мерещится сонное однообразие. Юный помощник бухгалтера видел в потоке цифр и операций творческий дух создания новой экономики, размах и смелость замыслов молодой страны. Колеблясь между открывшейся ему магией экономики и зовом непознанных далей, Михайлов пода-

ет заявление сразу в два высших учебных заведения: на литфак университета и в Экономический институт. Принят в оба!

«Думал, думал — бросил университет и остался в институте. Экономика — основа общества... Решил, что поступаюсь иллюзией ради дела». Но в первые же каникулы Михайлов едет на Север, к эмалевым закатам. Летом — на Кавказ. Итог — четыре очерка. Первый появился в журнале «Знание — сила».

Закончен институт. Михайлов читает лекции на кафедре экономической географии, ведет курс мирового хозяйства, географии транспорта. И продолжает ездить с корреспондентским билетом «Экономической газеты». То и другое — серьезно. Узнав, что в журнале «Наши достижения», созданном Горьким, собираются открыть отдел, который должен освещать экономическую географию страны, Михайлов пишет в Сорренто Алексею Максимовичу, излагая от имени работников кафедры интересные идеи. В результате — приглашение заведовать новым отделом. Не оставяя института, молодой ученый погружается в профессиональный мир публицистики.

Так родился писатель-страновед, как позже назовет себя Николай Николаевич, сославшись на памятные с юности слова Луначарского: «Одна из главных задач искусства — дать нашей стране представление о ней самой». От Горького была получена первая большая тема — как меняется страна и карта (вот откуда и книга «Над картой Родины»). А создавалась она автором примерно так: «...в сутолоке, по воскресеньям, по ночам, на кухонном столе».

Очень был благожелательным, щедрым этот скромный, невероятно трудолюбивый человек, ратовавший за соединение художественного и научного начал. И еще — он был романтиком. Ведь специально ездил на приток Днепра Рось, чтобы именно там, стоя над тихой водой, подумать о словах «русский», «Россия», которые, конечно же, больше, чем просто слова...

Вот уже свыше полувека несколько поколений читателей стали верными и благодарными спутниками писателя. «Иду по меридиану» (название книги.— Ю. Г.), сообщил он нам, и мы следом устремлялись от полюса к полюсу, через Москву, через всю нашу Россию. В «Заметках о мастерстве» Маршак написал: «Вышла в свет книга Н. Н. Михайлова... Никогда еще ему не удавалось проявить себя с такой полнотой... Ученый дал волю художнику, взрослый человек — ребенку, умеющему радоваться, удивляться...» Потом мы путешествовали

вместе с автором по широтам (книга «С планетой вместе»). Сами по себе самостоятельные, эти произведения были в то же время подготовкой к книге о России.

В произведениях Михайлова, где с любовью описаны Средняя Азия и Кавказ, Крайний Север и национальные республики Поволжья, непременно видишь их автора — человека, гордого и своей Россией, никогда не забывающего о родной земле.

Около двадцати лет назад вышла книга Михайлова «Моя Россия». Удостоенная Государственной премии РСФСР и неоднократно переиздававшаяся, книга эта стала основой последнего, обобщающего труда писателя, его песни о Родине, о ее месте в союзе равных, о взаимовлиянии народов, об их великом и славном пути. «Книга о России»... Она необычна с первой строки.

«Дорогие читатели разных национальностей!» — говорит во вступлении автор, излагая затем суть своего замысла, свою идейную позицию русского писателя-интернационалиста: книга призвана показать республике, возникшую на пять лет раньше Советского Союза и ставшую его ядром. Такая книга не может не быть рассказом о стране, сплотившей вокруг себя на протяжении веков множество народов.

«Что дает мне право и смелость взяться за такое трудное дело? — спрашивает себя писатель и отвечает: — Дает, я отваживаюсь думать, личный опыт, профессия литератора с любовью к пространствам, к размещению вещей, к своеобразию мест, гор, долин, краев, стран. Десятилетиями я изучал и воспринимал свою страну, десятилетиями, насколько хватало сил, ездил по ней, исследовал из конца в конец, пытался достичь все ее края. Я видел главное: великий труд великого народа, зачастую в неимоверно тяжелых обстоятельствах...

Поскольку многое — но далеко, конечно, не все — я видел сам, в описания с неизбежностью вторгаются личные переживания...»

Насколько обстоятельным, скрупулезно ответственным был Михайлов-ученый, свидетельствует хотя бы тот факт, что при подготовке «Книги о России» им было прочитано и изучено около пятисот работ, полтысячи на одну! Это в дополнение к тому, что знал и видел он сам, а знал и видел он многое.

Автор — живой свидетель рождения новой России. Гражданская война, нэп, личные воспоминания Михайлова-дружинника о борьбе с детской беспризорностью, появление ростков новой, социалистической культуры, одухотворенность народа, ре-

волюционная энергия — читая обо всем этом, люди постарше вспомнят, порой лучше поймут пережитое. Молодые просто откроют для себя Россию во всем ее многообразии. Автор верно замечает, что Советский Союз многим жителям дальних стран, стран Запада до сих пор представляется страной, населенной одними русскими. И не только потому, что русских действительно несколько больше половины населения, но и потому, что до революции другие народы оставались приниженными, были мало известны миру.

«Книга о России» — не только о РСФСР, это прекрасный рассказ о всей советской стране. Пройдя вместе с автором по российским просторам, проникаешься еще большим уважением, добрыми чувствами к каждому из братских народов, населяющих Советский Союз от Балтики до Тихого океана, от северных морей до высокогорий Памира. В книге факты и люди: выдающиеся деятели России, ее писатели и ученые, революционеры и полководцы, герои всех народов СССР.

Михайлов напоминает нам о многих исторических событиях. О том, например, как древнюю столицу Армении освободил от завоевателей муж грузинской царицы Тамары русский князь Юрий, сын князя Андрея Боголюбского, как дважды спасал армян в Крыму и Молдавии полководец Суворов, как беззаветно защищали Россию в годы наполеоновского нашествия замеча-

тельные полководцы-армяне Валериан Мадатов, Давид Абамелек, Давид Десянов... В русской армии храбро сражались азербайджанцы, а великий азербайджанский просветитель Ахундов написал поэму на смерть Пушкина, назвав сына России главою земных поэтов...

Я привожу исторические примеры интернационализма оттого, что современные без затруднения приведет сегодня любой школьник.

В книге Михайлова Россия логически, исторически теснейше связана со всей нашей страной еще с древнейших времен, а многочисленные, подчас малоизвестные факты этих связей позволили автору естественно и легко переходить от прошлого к настоящему, пробудить в нашей памяти ассоциативные примеры, глубже проникнуть в историю России, ее сегодняшний день, более зримо увидеть ее будущее.

Говоря о книге-путешествии, наполненной раздумьями автора, его воспоминаниями, множеством сведений (исторических, географических, экономических, социальных), просто невозможно выделить из них что-то одно, противопоставив другому. Все интересно, все значительно в этой своеобразной энциклопедии России. Каждый любознательный читатель найдет в ней что-то для себя с другой высоты увидит свою Родину, свой уголок России и всю нашу страну от края до края.

Юрий ГАЛЬПЕРИН.



ИЗ РЕДАКЦИИ ИОННОЙ ПОЧТЫ

А. КОМИССАРОВ,
учитель

*Об уважении
к сюжету*

Ульяновск.

Люблю читать рассказ, когда в нем каким-то чудом умещается вся жизнь человека, когда в сюжете есть такая горка, с которой видно даже будущее героев. Многие рассказы будто любимые дети. Маленькие, они день ото дня растут, живут, развиваясь и пополняясь в нашем сознании.

Талантливый, правдивый рассказ может стать звеном в широком людском общении. Его долго помнишь, а случается, что он остается с тобой навсегда.

Сейчас нередко появляются рассказы с ослабленным сюжетом, с неясными ассоциативными связями частей и видимостью подтекста. «Антоновские яблоки» Бунина иногда относят к бессюжетной прозе, хотя в рассказе налицо лирический герой, присутствие которого сообщает единство всему повествованию. Тут, конечно, не отделаешься модным эпитетом, что это какой-то «раскрепощенный» сюжет, но ведь чувствуешь при чтении, что текст создан как бы на одном дыхании. А вот у современных авторов их рассказы подчас разваливаются прямо на глазах. Нельзя назвать строителями тех, кто не может возвести здание, а писателями тех, кто не может построить сюжета. Горький скромно советовал сюжетному мастерству учиться не у него, а у Достоевского. Сюжет — это вечный закон, взятый из жизни. «Жизнь — сказка, а смерть — развязка», — говорит пословица.

Мне показался интересным многими подробностями рассказ Вячеслава Марченко «Вечность» («Москва», № 10, 1982). Но сюжетному действию здесь все же не хватает новизны и внутренней энергии.

Инженер Игорь Васильевич, испытал «неодолимое желание побыть одному», решил отдохнуть в «Голубом заливе». Он получил отдельный номер с лоджией, жил отшельником, забирался в гору к могиле Волошина, чтоб «говорить с богом». На обратном пути ему стало плохо, и он неожиданно скончался. Я, читатель, готов скорбеть, узнав о смерти героя. Но способна ли меня чем-то обогатить эта история?..

Я следил за дискуссиями о рассказе в «Литературной газете». И меня как-то удивило утверждение библиотекаря из Таганрога, что смертельно больному жанру рассказа уготована судьба оды и мадригала. Согласиться с этим трудно. Жанр рассказа живет и развивается. Мне особенно понравился рассказ «Приоткрытая дверь» Садаи Будаглы в журнале «Наш современник» (№ 10 1982) Здесь с изумительной краткостью и пластичностью показаны жизнь, взаимоотношения двух молодых советских людей

Нет, жанр рассказа неугасим, если его только не размоет стихия вялого лиризма или приземленной фактографичности.

В девятой книжке «Октября» за минувший год я прочитал рассказ Сергея Есина «Родственница» Это история честной грузеницы Евдокии Павловны Голубевой со смертью которой обнаруживается полная пустота ее мниможивых родственников Автор горячо ратует за порядочность, моральную чистоту, благородство. Прекрасно! Но зачем автор так часто повторяет одни и те же анкетные сведения о героях — о той же Голубевой, 76 лет, русской, домохозяйке, уроженке деревни Доброе Калужской области? И для чего нам предложено вникать в расплывчатые рассуждения одного из

героев, которые лично мне кажутся праздномыслием: «А может быть, действительно не сразу душа покидает тело? Что тогда? Что тогда думают о нас вчерашние живые?»...

А ведь рассказ этот, избыливающий повторной информацией и необязательными рассуждениями, расплзается до размеров повести.

Только экономность в деталях, строгий отбор материала могут удовлетворить читателя. Хороший компактный рассказ хочется обдумывать и перечитывать. А после чтения рассказа вялого, водянистого разве дано мне испытать нравственное очищение, когда безжалостнее судишь себя и стремишься еще что-то доброе сделать для людей?

ЛЕВ СЛАВИН

Заметки на полях «Ужгинского Кремля»

«Меня опять потянуло к написанию романа «Кремль».

Это из письма Всеволода Иванова в январе сорок третьего года.

«Опять»!

А ведь первая записка к «Кремлю» была еще за двадцать лет до того.

По свидетельству вдовы писателя Т. В. Ивановой, он долгие годы трудился над «Кремлем», то покидая его, то возвращаясь к нему. На эти же десятилетия приходится и работа над «Бронепоездом 14—69», который был доведен до окончательной и совершенной редакции. Что же касается «Ужгинского Кремля», то здесь писатель не остановился на одном завершающем варианте, а оставил несколько разных жгть рядышком. И они сплотились в своеобразное единство и цельность.

Повествование Всеволода Иванова о старине, о благолепии обитателей Кремля прослоено ироническими вставками: «Одиннадцать мощей, черт возьми, красовалось в кремлевских церквах, пятнадцать угодников числил в своем активе Кремль и к тому же еще четыре чудотворных иконы!»

Совмещение церковной лексики и современного ходового «числил в активе», насмешливо-восхищенное «черт возьми» — характерный пример стилистической дерзости писателя.

«Ужгинский Кремль» — одно из заветных произведений Всеволода Иванова. При этом произведение наиболее экспериментальное. Однако удовлетвориться такой характеристикой значило бы ограничить духовную суть этого романа. Если на страницах «Кремля» писатель и решал формальные задачи, то только попутно.

«Ужгинский Кремль» читается неотрывно не потому, что увлекает хитросплетениями сюжета, а потому, что в тугой этой прозе, как алмазы в породе, скрыты драгоценные находки. Не проморгать бы!

Течение сюжета кажется причудливым, подчиненным капризам авторского воображения. Повествование то движется словно вброд, увязая в вязком грунте, то взлетает в поднебесье.

Роман начинен притчами. Они как бы составляют его второй сюжет. Тут толпится множество народу — идеалисты и жулики, трусы и герои, революционеры и священнослужители, солидные матроны и проститутки. Как справиться со всеми? Как упорядочить их взаимоотношения? У самого автора, преследуемого этой толпой персонажей, вырывается восклицание, в котором слышится и досада и восхищение: «Экая чепуха! И в то же время — жизнь».

В романе нет центрального героя. Перед нами — грандиозная попытка дать обобщенную картину русского быта на историческом перевале от старой к новой России.

Герой книги — время. Роман подобен качелям, которые переносят нас из прошлого в современность и обратно, автор свободно переплетает эпохи. Отсюда ощущение естественности повествования, непредвзятости в изображении жизненного потока. Пласты времени входят друг в друга, как карты в тасующейся колоде, не только прошлое и настоящее, но даже и будущее.

Время трепещет на страницах романа, как живое существо. Всеволод Иванов обладал бесстрашием исследователя. Это драгоценное свойство дано не всякому писателю. Даже крупному. «...Я готов преклонить колена пред творцом «Фауста», — писал

Герцен,— так же, как готов раззнакомиться с тайным советником Гёте, который пишет комедии в день Лейпцигской битвы и не занимается биографией человечества, беспрепятственно занимаясь своею биографией».

Собственные свои суждения Всеволод Иванов не всегда излагает в виде авторских сентенций. Иногда он препоручает их своим персонажам, чаще всего Вавилону, который по мере развития романа сгущается в его наиболее значительный образ. И когда он мысленно восклицает: «...Ужасны эти интеллигенты, восхищающиеся всем левым» — мы безошибочно угадываем здесь мысли самого Всеволода Иванова, иронически относившегося к припадочным восторгам по поводу Джойса, Пруста, их подражателей и эпигончиков, поспевающих за модой.

О Прусте, впрочем, особый разговор. По справедливости его надо выделить из этой компании. Дело в том, что иногда, особенно при чтении заключительных страниц «Ужгинского Кремля», начинает возникать догадка, что Всеволод Иванов задался целью — и в значительной степени преуспел в этом — сочинить нечто «антилитературное». Отвергнув канонические формы, Всеволод Иванов как бы воспроизводит пестроту, живую динамику исторического движения, в самой манере письма переключаясь с Марселем Прустом.

Оба они — и Всеволод Иванов и Марсель Пруст — успели остановить часы эпохи, хотя сотворили это чудо разными способами.

И, видимо, не случайно Всеволод Иванов упоминает Пруста в дневниковых записях: «Современный роман впитал в себя элементы архитектуры (М. Пруст...)».

Ношей авторских мнений Всеволод Иванов нагружает многих персонажей. Притчу о классическом интеллигентском недуге — самоанализе — он, например, вкладывает в уста архитектора Колпинского, не останавливаясь перед тем, что самокопанье отнюдь не в его характере. Да есть ли вообще плоть у этой тени, скользнувшей по страницам романа? И не вмонтирована ли она сюда в качестве одного из рупоров автора?

«Ужгинский Кремль» воспринимается как живое существо. Он бьется у вас в руках, вы чувствуете его пульс, иногда лихорадочный, он болеет, стареет, возрождается. Предадимся потоку ассоциаций! — как бы предлагает Всеволод Иванов. Дадим волю игре воображения...

В этом как бы намеренном хаосе прощупывается железная линия замысла.

Однако начиная примерно с середины, в «Ужгинском Кремле» перевешивает конспективно записанная хроника, зерна иного романа. Автор щедрыми пригоршнями обсеменяет его почву этого повествования. Нетрудно здесь обнаружить следы нескольких вариантов. Скороговорка иногда вдруг пререзывается ослепительными образными ходами, в живописи которых мы узнаем мастерскую руку Всеволода Иванова.

Но черновик все же нет-нет и выпирает из этой отточенной прозы — сменой характеристик, точечным изображением ситуаций, а иной раз и завихрениями сюжета.

Иванова всегда тянуло к эпосу. Писатель стремится запечатлеть события, бушующие вокруг Кремля, торопливо мешая важное и не важное. Дескать, потом разберусь, отсею значительное от незначительного, просею песок сквозь сито, чтобы в нем остались львы.

Исчезают стилизованные названия, данные первым шести главам. Писатель почувствовал, что литературные вычурности, как всякая игра, спорят с беспощадной естественностью повествования. противоречат его трагичности, к примеру — плач Агафьи, в котором чувствуется не столько горе, сколько стилистические изыски, переключаются с плачем Ярославны в «Слове о полку Игореве».

В одном из последних черновиков, относящемся уже к шестидесятым годам, появляется город с многозначительным, едва ли не лобовым (может статься, просто как рабочее обозначение одного из будущих ходов романа) названием: Чашобск Своим творческим зрением Всеволод Иванов всегда с особой пристальностью вглядывался в психологическую тайгу, в чашу жизни.

Писатель, повторяю, охотно уступает трибуну персонажам. Обремененные мыслями и суждениями автора, они не чуждаются пространных монологов. Отсюда и проистекает особенность прямой речи в романе: это в преобладающей части не диалог, а сосуществующие монологи. Определение Горьким «Голубых песков» Иванова «книгой хаотической и многословной» применимо в известной степени и к «Ужгинскому Кремлю» в его второй черновой половине.

Произведение это населено диковинными людьми.

В одном интервью Всеволод Иванов говорил, что «главный герой романа» епископ

Гурий. Но по мере развития сюжета Гурию пришлось потесниться и уступить преобладающее место Вавилону.

Своя стилевая аура окутывает каждого из персонажей. Иногда автор вмещает образ персонажа в короткую фразу, не более чем в три-четыре слова, сказанные как бы мимоходом, в придаточном предложении. Но характеристики потрясают своей меткостью. Таково, например, выражение: «Гурий, видя, что отец неистовствовал гордым смирением...» Три слова — весь человек! И далее о нем же: «...горя рвением жертвы...»

...Что может быть фантастичнее и неожиданнее действительности? — восклицал Достоевский.

Через много лет Всеволод Иванов ответил в «Ужгинском Кремле» соседством, почти сожительством сказочного с бытовой реальностью, фантастического с будничным. Один из персонажей романа — актер, в самом имени которого сочтались эти два потока; Ксанфий Лампадович Старков рассказывает как о заурядном случае, что душа его вознеслась к богу и беседовала с ним запросто о том о сем. А далее почти без перехода, взволнованно повысив голос, сообщает, что он, Старков, имеет «два пропуска на пленум... горсовета». Несовместное шествует под ручку на страницах «Ужгинского Кремля».

Для чего это слияние, быть может, несколько ошарашивающее иного читателя, хоть уже и обтерпевшегося в извихах фантазии Всеволода Иванова? Хотел ли писатель подчеркнуть присутствие сказочного в обыденном? Или разрушить это сказочное вторжением прозаической повседневности?..

Самое же удивительное в этом переплетении — высокая поэтичность.

И не следует думать, что автор в подобных случаях просто забавляется, ну, скажем, любуется причудами своего воображения, игрой языка и капризами сюжета, что в нем, авторе, есть что-то от скомороха. Нет! Он вплетает черты невероятного в реалистическую ткань отнюдь не для остроты контраста, а потому, что элемент фантастический становится у него одним из средств реалистического изображения.

Таков этот роман, на мой взгляд, самый «ивановский» из всех произведений писателя.

Только то, что было исповедью писателя, сказал однажды Горький, только то создание, в котором он сжег себя дотла, только оно может стать великим.

ЮРИЙ НАГИБИН

О Хлебникове

До столетия со дня рождения Велимира Хлебникова осталось около трех лет. Срок вроде бы немалый. К этому времени, возможно, откроют мемориальный музей поэта в Астрахани. Несомненно, и толстые журналы, и литературные еженедельники успеют заказать и получить обязательные в таких случаях статьи. Пермяк Владимир Молотиллов, рабочий-наладчик двадцати семи лет, не публиковавшийся поэт, прислал мне письмо: напомните...

Первым моим побуждением было промолчать. Но все мои разумные соображения, продиктованные ясным сознанием своей неподготовленности к роли пропагандиста Хлебникова, оказались смесью робости с душевной ленью. Второе явно мимо, я человек вовсе не ленивый, а как насчет первого? О Хлебникове пишут как об одном из крупнейших поэтов начала века, его упоминают в школьных и университетских программах, несколько лет назад в «Новом мире» были опубликованы воспоминания о нем Ал. Лейтеса, недавно в «Литературной учебе» появилась великолепная статья Константина Кедрова о «Звездной азбуке» (на всякий случай названная в подзаголовке «гипотезой»), значит, и литературной смене, которую мы столь бережно пестуем, он не противопоказан. Все так, но... Возникнут специалисты,

возмущенно одернут непрошеного заступника: чего, мол, он разоряется, мы сами все знаем и куда больше и точнее.

Осилил меня Молотилов не напором, не аргументацией, не взыванием к совести, а тем, что оговорился хлебниковскими строчками:

Нам много ль надо?
Нет: ломоть хлеба,
С ним каплю молока,
А солью будет небо!
И эти облака.

Встало в горле — не проглотить. Да это и не поэзия — святая правда: поэту ничего не было нужно, кроме перечисленного, чтобы гореть, создавать новый язык, думать о Вселенной и будущем, управлять мирозданием. И, боже мой, какая это поэзия!..

Со всем смирением признаю, что ничего не открою, даже не приоткрою. Как замечательно сказано у Асеева: «...все... попытки описать значение В. Хлебникова падают и бледнеют перед одним движением его губ, произносящих такую строчку, как:

Песенка — лесенка в сердце другое..»

Или:

Русь, ты вся поцелуй на морозе!

А сколько сотен таких строк разбросано у него неожиданными подарками читателю!»

Поведу я разговор с того, что наверняка известно «ведам», но едва ли ведомо читателям. Однажды некто из круга Хлебникова, кажется Крученных, рассказал, что знает командарма, у которого четыре ордена Красного Знамени; воин утверждает, что таких, как он, в стране всего семь человек. «Подумаешь,— сказал Маяковский,— таких, как я, всего один, а не хвастаюсь». «А таких, как я,— грустно сказал Хлебников,— одного нет». Блестящая острота, но самое невероятное — это правда. Хлебников непостижим, неохватен, необъясним, он не вмещается в обычные координаты.

Известно, поэт не бывает большим ученым в точных науках, это предопределенные самой физиологией разные сферы одаренности, бывают, правда, исключения, например, Гёте, но мы знаем, что исключения подтверждают истинность законов. Хлебников был гениальным научным провидцем, он опередил озарения Эйнштейна, Гайзенберга и Луи де Бройля, отверг существование эфира, на чем строилась теория света, первый заговорил о пульсации Солнца; не зная об открытии Бэра, догадался об изначальном биологическом числе и определил значение в жизни организма... поджелудочной железы.

Он был редкостно молчалив, тих, совсем не внешний человек — анти-Маяковский.

Но вот профессор Васильев вспоминает о студенческих казанских годах Хлебникова, что при его появлении на встречах студентов-математиков все почему-то вставало. Вставал и он сам, хотя уже многие годы был ординарным профессором. А Хлебников был в ту пору студентом второго курса, желторотым мальчишкой!

Объяснение этому в завораживающей силе его глубоко запрятанной личности. При забившемся в угол Хлебникове громогласный Маяковский становился тих, робок, застенчив, как девушка. Когда Хлебников вернулся из очередных странствий (о странничестве — особо), Брики одели его в поношенные вещи Маяковского: потрепанный серый костюм, ботинки военного образца, суконный тулупчик тоже военного покроя и круглую меховую шапку. Это было лучшее одеяние будетлянина за всю его жизнь. Но вещи с чужого плеча, даже с плеча друга-соперника ничуть не принижали Велимира. Он был человек вне бытовой. Марина Цветаева замечательно определила «быт» как непреобразенную вещественность. Хлебников со своей вознесенной душой был не просто безбытен, а надбытен. Вещи ничего не значили для него, как и чувства, порождаемые вещной стороной существования. Поэтому он легко принимал любое даяние, так же как и единственный человек, в котором он признавал учителя,— Уолт Уитмен: шапку, сапоги, тулупчик, хламиду или кусок хлеба. Других ценностей ему не дарили, да он бы и не взял за ненадобностью. Все его имущество находилось при нем — странник может владеть лишь тем, что унесет на себе. А Хлебников был всегда в пути, он не знал оседлости. Он считал, что путь мыслящего россиянина идет на Восток (в Ин-

дию), к истоку древней мудрости, он уже шел однажды этим путем, но вернулся из Персии, не захотев кончить дервишем, затеряться омороченным безводьем, пеклом, миражами паломником, у него было призвание. Однако путь не был отменен, по убеждению Хлебникова европейские связи России давно стали бесплодны, отвлекающи, мертвы, он даже изгнал из лексикона все слова с латинскими корнями, чем еще более затруднил понимание своих текстов. Хлебников неутомимо тренировал себя — дорогами, голодом, умыванием кончиками пальцев (в пути не будет воды), одиночеством, молчанием, ношением тяжестей: мешок с бельем, мешок с рукописями. Пример Уолта Уитмена помогал. Но как быть с ученичеством, радостно признаваемым самим Хлебниковым? В литературе ученичество идет путем слова и стиля, хотя бы поначалу. Но что общего в стилистике Хлебникова и Уитмена? Другое дело — человеке сходство: первозданность, неуместимость в обычном земном пространстве, надбытность, устремленность в будущее, непластичность, превалирование (особенно у Велимира — ледяной кипящий лед!) вселенской любви над теплотой чувств к отдельному человеку. Поэтому ученичество здесь можно понять лишь так: Уитмен порой облегчал Хлебникову постижение самого себя и своих отношений с миром.

А вот Маяковский при разительной человеческой несхожести с Велимиром литературно, словесно взял от него очень много. В свою очередь Хлебникову с его устричным голосом хотелось походить на Маяковского — трибуна, горлана-главаря, метать громы в толпу, увлекать за собой верных. Ему этого не было дано. До чего же разные люди сошлись под знаменами «будетлянства»! Маяковскому не чуждо было все земное, он был жаден к жизни. А Хлебников довольствовался «ломтем хлеба и каплей молока». Ему не нужен был даже свой угол, чтобы писать, он умел выкраивать себе сосредоточенную тишину в любой толпе, в редакционном бедламе, посреди сходки; в чаду, дыму, ругани, спорах любого многолюдства он вытаскивал свой гроссбух и начинал набрасывать колонки цифр (надо было высчитать пульс истории), или стихотворные строчки, или неизменно чеканные формулировки мыслей. Он пребывал в постоянном размышлении, у него не было незаполненных минут. И вместе с тем всегда находились соображения, способные перекрыть самую дерзкую эскападу, самую эксцентричную выдумку. Настощее его имя было Виктор. И раз, наскучив своим смиренным, Маяковский выпалил: «Каждому Виктору хочется быть Гюго!» «Не более, чем каждому Вальтеру — Скоттом», — тут же отозвался Хлебников своим тонким голосом¹.

Бескорыстие Хлебникова не имело подобия в человеческом обществе, оно евангельского чина. Как-то неловко даже применять к нему слово «бескорыстие», ибо тут заложена «корысть» как некая возможность. Когда-то замечательный поэт Михаил Кульчицкий написал прекрасное стихотворение о Хлебникове. В дни гражданской войны на разобленном белыми полустанке у остывлого трупа матери коченела девочка. Подошел человек, сложил костерок и бросил ему в пищу тетрадки со стихами.

Человек ушел — привычно устало,
А огонь стихи начал листать.
Но он, просвистанный, словно пулями роща,
Белыми посаженный в сумасшедший дом*,
Сжигал
Свои
Марсианские
Очи,
Как сжег для ребенка свой лучший том.

Я люблю это стихотворение, как и всю молодую, не успевшую набрать лет, опыта и усталости поэзию Михаила Кульчицкого, но считал «том», сжигаемый на костре для чужого утрава, нарядной и несколько наивной метафорой. И как же был я поражен, узнав, что действительность превзошла невероятностью поэтическую фантазию Кульчицкого. В маленькой книжке, изданной в 1925 году тиражом 2000 экземпляров, Татьяна Вечорка рассказывала со слов Велимира: «Ехал Хлебников куда-то по железной дороге Ночью, на маленькой станции, он выглянул в окошко Увидел у реки костер и возле него темные силуэты. Понравилось. Он немедля вылез из вагона и присоединился к рыбакам. Вещи уехали, а в карманах было мало денег, но несколько тетрадок. И когда пошел дождь и костер стал тухнуть — Хлебников бросал в него свои рукописи, чтобы подольше «было хорошо». Два дня он рыбачил, а по ночам глядел на небо. Потом ему все это надоело и он отправился дальше».

¹ Так со слов самого Маяковского передавала мне этот эпизод моя мать.

* Факт биографии В. Хлебникова.

Отправился без вещей. Без денег. Без рукописей. А ведь единственное, что Хлебников берег, были рукописи.

Самый близкий друг Велимира, известный график П.В. Митурич однажды забрал больного и, как потом оказалось, умирающего поэта в деревню, где учительствовала жена.

В воспоминаниях Митурича есть поразительная по глубине фраза: «Я понял его чисто физические труды, которые он совершил, чтобы донести свои мысли людям». Скорей бы вышла эта книга, в ней бесценные подробности жизни Хлебникова, рассуждения о математических его трудах, в чем отлично разбирался изобретатель, человек широкой научной мысли, «мирискусник» Петр Васильевич Митурич, и обстоятельства горестной кончины Митурич предал земле останки друга и на гробе краской голубой, как глаза покойного, когда в них отражалось небо, написал: «Председателю земного шара».

Но я задержался на отношениях Велимира Хлебникова с миром вещным. Куда важнее жизнь его духа, но как же трудно об этом говорить!

Поэзию Хлебникова не просто любили те, кому она открывалась, ею бредили, ею жили, дышали, она становилась как бы вторым бытием. Она брала в плен такие мощные индивидуальности, как Маяковский, пожизненно околдовала Николая Асеева, знавшего Хлебникова от строки до строки. Лев Озеров, сам видный поэт и знаток поэзии, младший друг Асеева, в своих воспоминаниях пишет, что Асеев «пропускал через себя — причем часто — весь его (Хлебникова.— Ю. Н.) пятитомник. И потом опрокидывал на слушателей Разбирался в текстах Хлебникова, как глубокий исследователь». Он пересмотрел «Уструг Разина», потому что Хлебников никогда не нумеровал страниц рукописей, поставив своих поэтических душеприказчиков перед сложнейшей задачей, выполнить которую они до конца не смогли, откуда и пошла композиционные алогизмы его поэм и больших стихотворений, так затрудняющие чтение

Лев Озеров пришел навестить больного Асеева и нашел его почти выздоровевшим
«— Знаете, меня не пилули вылечили, а четыре строчки Хлебникова.

— Какие?

Асеев читает с наслаждением:

И тополь земец,
И вечер немец,
И море речи,
И ты далече...

— Каждая строка — эпопея».

Мне хочется воспроизвести по Асееву начало «Уструга Разина», поэмы редкой мощи и красоты написанной как бы вдоль известной песни «Из-за острова на стрежень», без которой в пору моего детства не обходилось ни одно застолье. Одна и та же легенда выпевается в популярную хоровую песню и в большую поэзию, а разница всего лишь в словах которые всем даны и не даны почти никому. И так: «Из-за острова на стрежень... выплывают расписные»...

По затону трех покойников,
Где лишь лебедя лучи,
Вышел парусник разбойников
Иступить свои мечи.

«На переднем Стенька Разин»...

Атаман свободы дикой
На парчовой лежит койке
И играет кистенем,
Чтоб копейка на попойке
Покатилась рублем.

Асеев восторгался звуковой живописью: «Так и слышишь и видишь: катится монетка».

Поэма отклоняется от песни занятой лишь любовной историей, и впитывает в себя социальный смысл разинского разбоя: он не просто ножевой душегуб, атаман пиратской шайки, а «кум бедноты»

Концы разные «Грянем песню удалую на помин ее души!» — восклицает песельный безунывный Разин. В поэме он молчит.

Волга воет, Волга скачет
 Без лица и без конца.
 В буревой волне маячит
 Ляля буйного донца.

Как вместительна короткая хлебниковская строка! Взрывчатая мощь сжата, спрессована в ней. Подобной сжатости, лаконичной силы умела добиваться Марина Цветаева с помощью особого синтаксиса, «задыханьем своих тире». Хлебников вообще обходился без знаков препинания, их расставляли после — друзья, редакторы.

Когда я перечитывал в ...надцатый раз «Уструг Разина», то сделал для себя неожиданное открытие: на меня дважды, если не больше, из хлебниковских строк глянуло дорогое лобастое лицо Андрея Платонова. Даже самый крупный писатель имеет предшественников, а если смелее — учителей, каждого можно с кем-то повязать, причем связи эти необязательно так прямы и очевидны, как молодой Пушкин — Байрон, Лермонтов — Пушкин, Достоевский — Гоголь. В Мандельштаме Цветаева слышала державинскую медь, допушкинский, державинский лад звучал у таких разных поэтов, как Хлебников и Вячеслав Иванов, а как сильны блоковские мотивы у деревенского Есенина! Я тщетно пытался уловить отзвук чьей-либо речи, хоть интонации у Андрея Платонова, ведь не с неба же взял он свой проникающий, неуклюжий, свой чудный язык. Это его собственная речь, им созданная и воспитанная, но что-то должно было подтолкнуть его руку в молодые годы, когда пальцы лишь привыкали к перу. Постоянно привязывают Платонова к Лескову, но это нустое занятие. Да, подобно автору «Левши» он любил прием сказа и часто им пользовался. Но этот прием — уступка повествования другому — вне проблемы влияния. Сказом пользовались многие, самые разные писатели, ну, хотя бы Зоценко, а что у него общего с Лесковым и Платоновым? Но вот строчки: «Время жертвы и жратвы, или разумом ты нищий, богатырь без головы?» Лишите их стихотворного чина, и будет самый что ни на есть Андрей Платонов. Равно как и тут: «И Разина глухое «слышу» подымется со дна холмов, как знамя красное взойдет на крышу и поведет войска умов». «Войска умов» — радость Платонова, но тут и вообще собрались его излюбленные слова: «ум», «голова», «жертва», «жратва»...

Я листаю прозу Хлебникова, и мне то и дело попадают фразы, которые должны были глубоко запасть в душу молодого книжочия, паровозного подмастерья, позже инженера-мелиоратора, еще позже стихотворца и прозаика Андрея Платонова, научившегося возвращать слову первозданность, обнажать его скрытую сердцевину, а стало быть — и тайное всего сущего. О Платонове принято: ни на кого не похоже. Ан похоже!.. Хотя бы это — из письма Хлебникова к Вяч. Иванову: «Мне иногда казалось, что если бы души великих усопших были обречены, как возможности, скитаться в этом мире, то они, утомленные ничтожеством других людей, должны были избирать как остров душу одного человека, чтобы отдохнуть и перевоплотиться в ней». Да ведь отсюда один шаг до излюбленной мысли Платонова о спасении душой другого человека («Волшебное существо», «Роза»), лишь проговор высокомерия не платоновский, для Андрея Платонова все души равны (у фашистов нет души), ничтожных людей не существует (каты — нелюди). Но музыка фразы, сочетание слов, сами слова указывают нам прямо на платоновские истоки.

Чтобы завершить эту тему, приведу еще один отрывок. Здесь — важнейшая мысль Хлебникова о языке, думаю, не чуждая и Платонову — Человекову (под этой фамилией публиковал он нередко свои размышления о литературе и работах других писателей).

«Как часто дух языка допускает прямое слово, простую перемену согласного звука в уже существующем слове, но вместо него весь народ пользуется сложным и ломким описательным выражением и увеличивает растрату мирового разума временем, отданным на раздумье». То есть, сохраняя корень, играйте со словом, пока оно вам не улыбнется. Уверен, что выражение «растрата мирового разума временем...» мы услышали бы в свой срок от Платонова, не озари оно раньше Велимира Хлебникова; здесь же образцовый набор любимых автором «Епифанских шлюзов» слов, из его глубин вся истовая интонация и чуть печальная серьезность. Только русские писатели до конца серьезны (у нас невозможен Анатолий Франс в качестве национального гения), ибо слова не бросаются на ветер, слово предполагает делание, в каждом — зерно поступка. стон души и начало жеста. Знал ли Хлебников, как поражало Аполлона Григорьева, что Гегель мог сказать что-то дурное о светильях, а потом спокойно играть в вист?

Почему я уделил так много места побочному обстоятельству, за которое Хлебников никак не отвечает? Но ведь в этом лишнее свидетельство безграничности Хлебникова: каждый может найти в нем что-то для себя. Для одних это будут стихи простые, как трава:

Россия, хвоя, капли донские пила
Устало в бреду
Холод цыганский
А я зачем-то бреду
Канта учить
По Табасарански.
Мукденом и Калкою
Точно большими глазами
Алкаю, алкаю.
Смотрю в бреду
По горам горя
Стукаю палкою.

Для других — праздник души — хлебниковские «перевертни», все эти «чин зван мечем навзничь», «пал а норов худ и дух ворона лап». Хотя для самого Хлебникова стихи последнего перевертня стали «отраженными лучами будущего, брошенными подсознательным «я» в разумное небо».

А как могуча революционная поэзия Хлебникова! Я говорю не о бросках в грядущий бунт «Уструга Разина», не о провидении перемен поры начала, — его слабый, тонкий голос, случилось, подымал людей, как раскаты громовержца Маяковского:

И зámки мирового торга,
Где бедности сияют цепи
С лицом злорадства и восторга
Ты обратишь однажды в пепел.

Вершина его революционной поэзии — классический «Ладомир».

Не боялся Хлебников и злободневности, когда действительность озонила каленым железом. Им созданы после революции две поэмы в разговорном ритме блоковских «Двенадцати», что поэмам вовсе не в урон: «Ночь перед советами» и «Ночной обыск». Вот из последней:

— На изготовку!
Вери винтовку!
Топай, братва:
Направо з8.
Сильнее дергай!
— Есть!..
— Пожалуйста
Милости просим!

Хлебников знал и то, как много в мире достойного нежности:

Режьте меня,
Жгите меня,
Но так приятно целовать
Копыто у коня.

Ознакомившись с поэзией Хлебникова, пожалуй, можно безошибочно определить, к какому ключу припадали, прежде чем разойтись по своим путям, Маяковский, Пастернак, Асеев, Тихонов, Сельвинский, Кирсанов.

К любой душе найдется ключ у того, кто с полным правом сказал о себе:

Я, написавший столько песен,
Что их хватит на мост до серебряного месяца.

...В мои школьные годы поэзию Хлебникова не «разбирали», и если б не Маяковский, мы, верно, не услышали бы такой фамилии: Хлебников — и такого имени: Велимир — Великий мир. О магия слов! Нам говорили, что Хлебников был футуристом, звучало это неодобрительно. Маяковский тоже был футуристом, но его не осуждали. Особенно напирала на заумь, непонятность хлебниковской поэзии, в пример приводили, конечно, «Бобзоби пелись губы»

Но и сегодня серьезные, разъясняющие чудо Хлебникова статьи печатаются крайне редко — лишь в специальных журналах да университетских записках, а ведь это тоже заумь для любителей развлекательного чтива и телевизора. А что такое вообще — понятность, доступность? Трагедия Маяковского «Владимир Маяковский» понятна? А ранняя лирика Пастернака, а почти весь Артур Рембо, Стефан Малларме —

называю первые попавшиеся имена и уж не говорю о многих современных поэтах?.. И разве только поэзия бывает непонятной?

Многим до сих пор непонятны импрессионисты в живописи и Рихард Вагнер в музыке, так что же — так и застрять на них до скончания века? Ну а мне непонятны не только новейшие открытия физиков (думается, их и сами открыватели могут лишь «расчислить», а не объяснить человеческим языком), но и телефон, и телеграф, и то, почему не плавится волосок в электрической лампочке. Самое любопытное, что среди гуманистариив таких немало, только не все признаются. Но ведь не остановится же из-за этого движение научной мысли. Должны подтягиваться неучи, а не буксовать наука. То же самое — в искусстве и в поэзии.

Любопытно о непонятных словах и вообще о непонятном рассуждал сам Хлебников.

«...Чары слова, даже непонятного, остаются чарами и не утрачивают своего могущества. Стихи могут быть понятными, могут быть непонятными, но должны быть хороши, должны быть истовенными».

«...Слову не может быть предъявлено требование: «будь понятно, как вывеска». Речь высшего разума, даже непонятная, какими-то семенами падает в чернозем духа и позднее загадочными путями дает свои всходы... Впрочем, я совсем не хочу сказать, что каждое непонятное творчество прекрасно. Я намерен сказать, что не следует отвергать творчество, если оно непонятно данному слою читателей».

Остановимся на последнем замечании, истинность которого бесспорна. У Хлебникова, о чем уже говорилось, есть стихи на любой вкус и даже на любой уровень: и прозрачные, как родниковая вода, и сложные, требующие не только поэтической, но и общекультурной, и даже научной подготовки, и то, что пренебрежительно называют «заумью».

Но зауми в том смысле, в каком мы употребляем это слово, говоря о Крученых, тоже футуристе первого призыва, такой зауми у Хлебникова нет. Словотворчество Хлебникова решало отнюдь не узколитературные задачи, хотя в огромной мере способствовало возникновению нового языка — после Хлебникова позорно стало писать, как Бальмонт. Но Хлебников вообще считал, что чином поэта не исчерпывается его земное назначение. Он ставит себе иные, космические цели, бесконечно далеко выходящие за рамки изящной словесности: создание всечеловеческого (и вселенского) языка и расчет закономерности ритмической поступи истории. Он и сам понимал, что взвалил на себя непосильную тяжесть. «Люди моей цели,— говорил он,— умирают в тридцать семь». Он имел в виду Моцарта и Пушкина. С первым у него была особая связь. «Я пил жизнь из чаши Моцарта»,— сказал он вблизи кончины, постигшей его в тридцать семь.

Студент-первокурсник Хлебников написал: «Пусть на могильной плите прочтут... он связал время с пространством». Через несколько лет это сделал языком математической формулы великий Эйнштейн. Теорию относительности Хлебников называл «верой четырех измерений». Четвертое измерение — время, введенное в систему координат, как бы обнялось с пространством и стало единым с ним целым.

Константин Кедров в статье «Звездная азбука» Велимира Хлебникова» расшифровывает выводы Хлебникова о том, что видение единого пространства и времени приводит к синтезу пяти чувств человека. Он пишет: «Соединить пространство и время значило для Хлебникова-поэта добиться от звука цветовой и световой изобразительности. Он искал... незримые области перехода звука в цвет».

Хлебников видел звуки окрашенными. Ничего невероятного в этом нет. И до него, и в его время были люди с таким устройством слуха и внутреннего зрения, что каждый звук вызывал у них совершенно определенную цветовую ассоциацию. Широко известен звукоцвет Скрябина. Иронизируя над цветовой клавиатурой, предложенной Скрябиным, Рахманинов осведомился, читая с листа партитуру «Прометей»: «Какого цвета тут музыка?» «Не музыка, а атмосфера, окутывающая слушателя,— холодно ответил Скрябин.— Атмосфера тут фиолетовая». Он-то и видел, и Рахманинов казался ему самоуверенным слепцом. Для Римского-Корсакова звуки тоже обладали цветом.

Артур Рембо писал о разной окраске гласных: А — черно, Е — бело и т. д.

Для Хлебникова же окрашены были согласные, ускользающая женственность гласных мешала ему поймать их цвет. Вот (частично) цветоряд, Хлебникова: Б — красный, рдяный, П — черный с красным оттенком, Г — желтый, Л — желтый, слоновою кость. Теперь прочтите: «Бобэоби пелись губы» — и подставьте хлебниковские цвета на

место согласных. Вы увидите говорящие накрашенные губы женщины: алошь помады, белизну с чуть приметной прижельтью — «слоновая кость», что присуще здоровым, крепким зубам, наконец темноту приоткрывающегося зева. И никакой зауми.

А для чего это надо? — спросит здравый смысл. Почему не сказать то же самое на общедоступном языке? Именно потому, что Хлебников не считал русский, как и любой другой национальный язык, общедоступным. В доисторические времена общий язык наших косматых предков служил к их сближению и объединению, приветливое слово отводило занесенную для удара дубину. Но возникли государства, и каждое отгородилось от соседей не только границами, крепостями и армиями, но и недоступным для чужеземцев языком. С тех пор язык работает на разобщение народов, Хлебников же видел свою миссию в объединении людей, а для этого должен быть создан единый общедоступный язык. Тут нет ничего абсурдного. Равно как и в том, что нужен космический язык, который сделал бы возможным разговор обитателей разных звездных миров. Во дни Хлебникова эта мечта казалась безумной, но ведь безумным предвсаялся калужским обитателям человек завтрашнего дня, великий Циолковский, чьи осмеянные фантазии торжествуют в сегодняшнем мире. Хлебников вдохновенно призывал:

Лети, созвездье человеچه,
Все дальше, далее в простор,
И перелей земли наречья
В единый смертных разговор...

Мне хочется вернуться к превосходной статье К. Кедрова. Ее сверхзадача, говоря языком театральной режиссуры, реабилитировать «темного» Хлебникова, которого даже серьезные и доброжелательные к памяти поэта литературоведы, вроде Дмитрия Мирского, предлагали отсечь от Хлебникова светлого, понятного и, стало быть, нужного. Работа Кедрова, хотя она высвечивает лишь часть неимоверного громозда, имя которому Хлебников, неопровержимо доказывает, что подобное расчленение единого поэтического тела преступно. О звукоцвете уже говорилось; Кедров вскрывает глубокий смысл языка птиц («Зангези»), который Хлебников, сын орнитолога, научился понимать с детства, и «языка богов» (из того же произведения), вещающих звуками пространства и времени, как первые люди, давшие название вещам, животным, явлениям; он показал связь космического мировоззрения Велимира с образным строем его поэзии и тем расшифровал множество загадок и ребусов. Он убеждает читателя, что Хлебников не футурист, а будетлянин, то есть не искатель новой формы, а открыватель нового смысла, требовавшего небывшей формы. После статьи К. Кедрова будешь по-иному читать Хлебникова, и многое, что прежде ставило в тупик, теперь явит скрытую суть. Мускульно, как в фехтовальном зале, ощущаешь разящий выпад рапиры-мысли, спасающий «Перевертень» Хлебникова, который даже Маяковскому казался «штукарством».

Кони, топот, инок,
Но не речь, а черен он.
Идем молод, долом меди
Чин зван мечем навзничь.

Вот как фехтует Кедров за честь Хлебникова: «...Хлебникову здесь важно передать психологическое ощущение протяженного времени, чтобы внутри каждой строки «Перевертня» читатель разглядел движение от прошлого к будущему и обратно. То, что для других лишь формалистическое штукарство, для Хлебникова поиск новых возможностей в человеческом мировидении». Словом, не игра, не фокус, а всплеск не престанно напрягающейся над главной задачей мысли.

«Пора представить поэзию Хлебникова, — пишет Кедров, — как целостное явление, не делить его стихи на заумные и незаумные, не выхватывать отдельные места и строки, а понять, что было главным для самого поэта. Учитель Маяковского, Заболоцкого, Мартынова имеет право на то, чтобы мы прислушались именно к его собственному голосу». Золотые слова!. Поэт, которого Маяковский называл «Колумбом новых поэтических материков», «зачинателем новой поэтической эры» и, наконец, «королем поэтов», должен явиться в полный рост своему возмужавшему, набравшему зрелости и душевного опыта народу.

О. КУРОЧКИН,
научный работник

**Письмо
Твардовского**

Симферополь.

Уважаемая редакция!

В свое время, находясь под сильным впечатлением от знаменитой поэмы А. Твардовского, я написал нечто вроде стихотворного подражания «Василию Теркину» и рискнул отправить то, что у меня получилось, самому Твардовскому в «Новый мир». Вскоре пришел ответ. Зная, что письма выдающегося советского поэта, затрагивающие литературные проблемы, представляют большой общественный интерес, хочу познакомить редакцию с текстом ответа А. Твардовского.

4 ноября 1963 года.

Дорогой Олег Ростиславович!

Ваша рукопись «Теркин в Сакском производственном управлении» для журнала или издательства не может представить интереса, поскольку это не есть самостоятельное художественное произведение, а лишь прямое погражание общеизвестному «Теркину», построенное на местном материале. Таких погражаний или «продолжений» «Теркина» существует очень много, и с литературной стороны они имеют интерес особого рода — как свидетельство популярности «основного» «Теркина» в читательских кругах и, так сказать, его вторичной жизни в форме, приспособленной к конкретным фактам жизни. Это как бы современный письменный фольклор, если можно так выразиться. Нередко эти погражания и переделки «Теркина» даже печатаются на страницах многотиражек и т. п. изданий. Но это не меняет дела в смысле литературной оценки таких «Теркиных», как вообще не меняет, в сущности, дела большая или меньшая «набитость руки», литературно-техническая грамотность, владение стихом, как говорят (у Вас, например, все довольно бойко и грамотно).

Поверьте, что мне не доставляет удовольствия говорить Вам эти малоприятные вещи, но что же делать, если человек прислал 25 страниц стихотворного текста, имея какие-то надежды на «реализацию» этой рукописи, — не отмолчаться же попросту? В таких случаях (и они не редки!) я стараюсь хоть вкратце откликнуться. И будьте уверены, что не первому Вам (и наверняка не последнему) я говорю такие жестковатые слова, хотя предпочел бы, чтобы их говорил за меня кто-нибудь другой.

Наконец, в Вашем «Письме Теркина к А. Твардовскому» говорится:

Может быть, письмо в стихах
К истине пробьется,
Может, кто-нибудь в верхах
Нами вдруг займется.

Таким образом, Вы как бы ограничиваете свою задачу желанием только обратить внимание «верхов» на всяческие непорядки и неустройства в Вашем производственном управлении. Но я должен сказать прямо, что Вы тем менее можете дожидаться реальных результатов, чем дальше будете от делового и точного изложения фактов, обозначения дат, цифр, названий местности. И нет необходимости в таком случае (в случае обращения к печати, к тем или иным органам информации) прибегать к стихотворной форме, — она мешает изложению фактов, достоверности, документальной точности.

Рукопись Вашу я оставляю в моем «теркинском» архиве, где у меня хранятся такого рода отклики на книгу о Теркине — «старом» и «новом». Возможно, что когда-нибудь эти материалы смогут быть частично или полностью опубликованы в каком-нибудь специальном издании.

Желаю Вам всего доброго

А. ТВАРДОВСКИЙ.

Думаю, что приведенное мною письмо способно обогатить наше представление о творческом и человеческом облике замечательного поэта.

**СВЕТЛАНА
ОВЧИННИКОВА,**
*театральный критик,
лауреат премии
Ленинского комсомола*

*В суфлерской
будке
Времени*

«Можно все пьесы сделать вновь свежими, новыми, любопытными для всех от мала до велика, если только сумеешь их поставить как следует на сцену...»

Эти слова Гоголя подтверждает театральная практика не только минувшего десятилетия, но и спектакли нынешних 80-х, едва начавшихся.

Когда-то МХАТ родился благодаря пьесам Чехова и Горького. Это были две линии в искусстве «художественников». Сегодня время произвело любопытную коррекцию во взгляде на их драматургию: Чехов прочитывается театрами с горьковской беспощадностью в оценках людей и поступков, а к героям Горького подходят с чеховским щемящим сочувствием.

«Чайка» во МХАТе прочитана О. Ефремовым как история о человеческой глухоте: духовной, нравственной, даже чисто физической. В этом спектакле все говорят, но никто никого не слушает, каждый стучится в душу ближнего как в покинутый хозяевами дом с заколоченными крест-накрест окнами. Почти пустая сцена кажется захлавленной, завешанной, загроможденной до удушливости: по ней трудно пройти не споткнувшись, по ней нельзя пробежать — можно лишь вяло передвигаться. Разобченность, говорит спектакль, нивелирует индивидуальность, делает жизнь нестерпимой. Театр окунает зал в трагическую тягостность чужой разобщенности, заставляя задуматься о собственном бытии среди людей, о собственном желании высказаться, заменившем умение выслушать.

Театр на Таганке сочинил своеобразную эпитафию трем сестрам, создав жестокий спектакль об абсурдной и, увы, бесплодной мечтательности в страшные, марширующие времена. Светлые монологи звучат «за кадром», исполняемые Качаловым, Юрским — Тузенбахами из спектаклей иных времен.

В Малом театре Б. Львов-Анохин поставил «Фому Гордеева». Знаменательно само обращение к прозе Горького этого мастера камерных спектаклей, пастельных тонов в режиссуре. Сценографическое решение спектакля сразу же раскрывает замысел: простор неба и Волги, ввинчивающаяся вверх крутая лестница, ведущая то ли к пристани, то ли к капитанскому мостику, — и действие, ютящееся под лестницей. Налицо контраст: желание героя вырваться на простор — и необходимость существовать в пригибающем пространстве. Тема небои звучит в спектакле с первых его аккордов. Тема духовного одиночества нарастает постепенно: от сцены к сцене, от встречи к встрече все безнадежнее и яростнее нетерпение героя достучаться хоть до чьей-то души...

В самом обращении Театра имени Маяковского к роману Горького «Жизнь Клима Самгина» — свидетельство острой потребности говорить с сегодняшним залом о жизненной позиции человека не публицистикой фраз, а публицистикой поступков. Луначарский ввел когда-то в обиход термин «самгинство». Его следы можно обнаружить и в наших днях. Что и растревожило театр. Словесные излишества Самгина, внешне интеллигентного, аккуратно деловитого, ухитряющегося существовать в расколе мира «меж двух баррикад», — в спектакле выслушивает жандармский ротмистр. Здесь — ключ к образному решению постановки, ее скупая и жесткая смысловая точность. Показывая тип «ужа», превращающегося в опасную змею (с пресмыкающимися человекообразными такое случается), театр исследует острым горьковским глазом и жизнь самгиных наших дней.

Спектакль Театра имени Ермоловой «Василиса Мелентьева» Островского не огличается, на мой взгляд, выверенной гармонией «Клима Самгина» Но в нем есть острота идеи, которую несут со сцены исполнители ролей Ивана Грозного (этот спектакль оказался лебединой песней замечательного артиста Ивана Ивановича Соловьева) и Малюты Скуратова (Г. Энтин) Соловьев играл Грозного не личностью, а личиной: он исследовал характер человека, развращенного безграничной властью. Не суть важно, кем она дана: господом богом или концерном цветной капусты, как в «Карьере Артуро Уи» Б. Брехта. В наш век авторитарных режимов, процветающих в буржуазном мире, В. Андреевым поставлен спектакль о губительности вседозволенности власти и для того, кто ею облечен, и для каждого, кто к ней прикасается. Давними временами проиллюстрирована жестокая и, увы, не сданная в архив истории фраза: «цель оправдывает средства»...

Примеры подлинно современного прочтения классики есть. Но их, увы, немного. К сожалению, последние два сезона, пополнившие афиши московских театров названиями многих классических пьес, не дополнили список открытий. В чем причина, а точнее, в чем причины сложившейся ситуации? Об одной из них, пожалуй, главной, писала 9 января этого года «Правда» в статье «Возраст спектакля»: «Случайное распределение ролей и поверхностный замысел постановщика, ищущего, по слову поэта, «не сущности, а посторонней остроты», приводит если не к провалу, то к быстрому снятию спектакля».

Итак, поверхностный замысел постановщика.

В интервью на радио один из режиссеров «Ревизора», артист Малого театра Ю. Соломин, на вопрос о причине, побудившей его взяться за сценическое воплощение пьесы Гоголя, ответил, что, во-первых, этого произведения давно нет в репертуаре Малого театра, а во-вторых, он сам когда-то играл Хлестакова. Более веских аргументов не нашлось... «Ревизор» тогда еще не вышел, но тревога за него уже родилась. Потому что, думается, только один повод может существовать для новой постановки классической пьесы: открытие в произведении не увиденного ранее и жажда поделиться найденным с залом. Возможность говорить о сегодняшнем времени и с сегодняшним временем, о сегодняшнем человеке и с сегодняшним человеком словами и мыслями именно этого произведения.

Постановщик «Вишневого сада», замечательный советский артист Игорь Владимирович Ильинский, которому принадлежит честь открытия одного из самых загадочных образов Толстого — Акима во «Власти тьмы», чья постановка «Леса» покорила озорством и смелостью «цитирования» Мейерхольда, короче, чьи взаимоотношения с русской классикой всегда были примером подлинного сотворчества с автором, вдруг в интервью, данном незадолго до премьеры, отвечая на тот же вопрос, что был задан и Ю. Соломину о причине, побудившей ставить «Вишневый сад», сослался на то, что Чехов десятилетия не шел на сцене Малого театра, и на ряд других причин. И лишь об одном не было сказано — о том, что заставило театр именно сегодня заново перечитать пьесу.

А на премьере подумалось: может быть, «Вишневому саду» — самой загадочной пьесе Чехова — не время быть на подмостках? Может быть, ее сегодня просто «не о чем» ставить?

Но в Латвии, в Рижском академическом театре русской драмы появился спектакль по той же пьесе, поставленный с такой бережностью, что буквально от каждой реплики веет пронзительной современностью. Мы давно стали догадываться: коли Чехов назвал пьесу «Дядя Ваня» — то о судьбе именно этого человека хотел рассказать; назвал «Чайка» — стало быть, все дело в «сюжете для небольшого рассказа»... В спектакле рижан вишневый сад — и сюжетный, и нравственный эпицентр происходящего. Главное действующее лицо. Главное страдающее лицо. Потому что именно ему, саду, более всех недостает человеческой любви, ощутимой, действенной. Словами «Вся Россия — наш сад» прикрывается нежелание и неумение думать о живом, конкретном куске земли, за который тебе отвечать. Гаев и Петя здесь стоят друг друга, они равны в своем фразерстве. В спектакле исследуется взаимосвязь судеб земли и людей. Здесь разорение красоты ведет к опустошенности душ. А опустошенность душ ведет к разорению красоты.

Это первый «Вишневый сад» из тех, что мне довелось увидеть, в котором все персонажи естественно логичны, каждое слово — необходимо: будь то панегирик глупо-бокоуважаемому шкафу или рассуждения о том, что «земля велика и прекрасна». И впервые пьеса тревожила не неразгаданностью, недосказанностью своей, а горькой истиной угаданного смысла.

Театр пошел от драматурга и потому пришел и к драматургу и к зрителю.

Две постановки «Вишневого сада» подтвердили, что слова «верность автору» понимаются сегодня по-разному. В одном случае ими объясняется или оправдывается создание спектаклей, где действуют школьные «типичные представители»; в другом понятие «верности автору» несет сегодняшний художественный и гражданский опыт, и тогда происходит мощный рывок в глубь — чеховского, гоголевского, толстовского миров. Тогда в перипетиях непритязательного водевиля о женитьбе мы видим автора «Шинели» и «Мертвых душ», а исповедь Холстомера заставляет хоть чуточку бережнее относиться к непохожести тех, кто рядом.

Вспоминаются слова С. Юрского — постановщика спектакля «Правда» хорошо, а

счастье лучше» Островского в Театре имени Моссовета: «Мы же менее всего хотели сделать спектакль... некоей данью великому драматургу». Может быть, именно поэтому он и не стал событием?

Впрочем, вопрос, почему тот или иной спектакль не стал событием театральной жизни, хотя поставлен по классической, то есть явно высокохудожественной пьесе, не предполагает однозначного ответа. Но если удачу можно лишь констатировать, неудача требует тщательного, скрупулезного и доказательного анализа. За ним я обратилась к критическим статьям, написанным об интересующих меня спектаклях. Цитирую, выделяя наиболее примечательные места: «Уверен: театр запрограммировал себе успех заранее, в тот момент, когда получил согласие Раневской сыграть в новом спектакле. В таких редчайших и счастливейших случаях, выпадающих далеко не каждому театру, даже из разряда академических, он может брать любую пьесу, не очень-то заботясь об уровне всего спектакля, о слаженности актерского ансамбля, точности и оригинальности режиссуры... «Звезда» все равно ослепит всех ярчайшим светом, недочеты будут не замечены, отнесены в разряд мелочей, прощены...» Автор рецензии в «Труде» написал эти слова не с горечью или иронией, а с восхищением, всерьез радуясь тому, что автор-классик противопоставлен классику-актеру.

А вот выдержка из статьи о «Волках и овцах» в Театре на Малой Бронной, подписанной не «рядовым» рецензентом, а доктором искусствоведения, профессором: «...выявлен свежий, хорошо продуманный, логический взгляд на эту традиционную (как считалось) комедию. А она совсем даже не такая: в ней комизм перемежается с драматизмом, смешное переходит в гротесковое зрелище, насыщенное социальным обличением. А чего стоит музыка живой русской речи, какое раздолье словотворчества!» Воистину позавидуешь человеку, судьба которого столь щедра, что дала и в ранге доктора искусствоведения совершить «открытие» в Островском мастера живой русской речи!

Но дальше в этой статье на страницах «Вечерней Москвы» читаем еще более поражающее: «В спектаклях корифеев русской сцены «волчье» царство подчеркивалось мрачными тонами. В новой постановке сцена просвечена тонами мягкими, солнечными» и т. д. Какой же вывод из этого противопоставления? «Такой способ, предложенный режиссурой, отвечает духу произведения, ибо темнота и волчьи законы выглядят еще страшнее, еще опаснее, когда они раскрываются средствами психологического театра». Следовательно, мрачные тона — не психологический театр, светлые — психологический? Как, оказывается, наглядно и просто. И светлой памяти Пашенная, и Садовский, и ныне здравствующие Гоголева и Ильинский играли не средствами психологического театра? А какого?

И такие рецензии не исключение. За неимением что сказать по поводу сценического прочтения пьесы критики пересказывают ее содержание. Внушают нам, что Чехов, Островский, Достоевский — классики. Слово только сейчас сделали подобное открытие. Рецензии эти обычно так же вневременны, как и описываемые в них постановки: они могли быть написаны полвека назад; ведь содержание пьес не меняется, а день сегодняшней ни в сказанном спектаклем, ни в сказанном о спектакле не присутствует. Из пяти десятков рецензий, прочитанных мною о восьми спектаклях, только две оказались критическими. Автор газеты «Правда» не побоялся резко и определенно высказаться о водевильно-упрощенном прочтении «Дядюшкиного сна» во МХАТе, а «Советская Россия» подробно проанализировала причины неудачи «Ревизора». В остальных пересказано содержание пьес и приведен список исполнителей.

Почему критики панически боятся критиковать? Записной панегирист в критике — это как боящийся высоты летчик, как падающий в обморок от вида крови хирург... Думается, что причина повального панегиризма в ложно понятом уважении к Мастерам. Но уважение не в том, чтобы унижать хвалой за неудачу. Получается заколдованный круг: мы внушаем актерам, что черное — это белое, а неудача — победа. А завтра выходят еще пять спектаклей такого же уровня, а послезавтра — десять. И инерция творческих потерь сопровождается инерцией дифирамбов. И что причина, а что — следствие, уже не разберешь...

Недавно об этом хорошо написал Р. Я. Плятт: «Я частенько с недоумением читаю хорошие рецензии на плохие спектакли... что идут на сценах столичных театров. Говорят, что похвала помогает, но это не так. Напротив, так снижаются, и резко, критерии в искусстве».

Впрочем, статей о судьбах русской классики на сценических подмостках появляется все меньше и меньше. Кое-кем констатирован период затишья и занята выжи-

дательная позиция. Полемика сегодня разгорелась вокруг новых имен в драматургии. Но что любопытно: эти-то драматурги в своих пьесах постоянно обращаются как раз к мотивам классических пьес. Не нужно особой прозорливости, чтобы уловить взаимосвязь между, к примеру, «Порогом» Дударева и «Живым трупом» Толстого, «Смотрите, кто пришел» Арро и «Вишневым садом» Чехова, «Тремя девушками в голубом» Петрушевской и «Тремя сестрами» и так далее... Случайность? Думается, нет. Молодых драматургов отличает интерес к потаенным глубинам человеческих душ — и тут они берут уроки у классики. А рядом, на тех же сценах, играют сюжеты «первоисточников», произносятся слова классиков, но приближения к духу классического произведения почему-то не происходит... И пришло, видимо, время задуматься — почему...

Можно найти конкретные и частные причины, по которым, как принято говорить, «не состоялся» тот или иной спектакль. В одном случае исполнители оказались чуть ли не вдвое старше персонажей, в другом каскад трюков затемнил смысл происходящего, в третьем провинциальный театр (как место действия) сыграл «провинциально», показав вместо живых людей «парад ампула», в четвертом действие ведется в столь вялом ритме, что повествование о скуке само становится скучным... В каждой из спектаклей можно найти и «луч света». Где-то удалась декорация, почти в каждом есть одна, а то и несколько незаурядных актерских работ, в каком-то эпизоде, фрагменте вдруг проглянул смысл того, о чем можно было бы поставить этот спектакль сегодня, — намек на современную трактовку пьесы...

Но есть, думается, и общая причина того, что многие спектакли, поставленные по классическим произведениям, не становятся событиями. Она — в отсутствии четкой концепции, той основной мысли, во имя которой данное произведение берется сегодня в репертуар театра. Ведь произведения искусства, как и все имеющее быть на земле, существует в пространстве и во времени. И угадать, какое из произведений наиболее активно во времени сегодняшнем — первая и главная задача театра...

Казалось бы, мысль эта не нова и давно из теоремы превратилась в аксиому. А на практике она требует постоянных доказательств спектаклями. Еще Гёте писал: «Во всяком произведении искусства, великом или малом, вплоть до самого малого, все сводится к концепции...» Речь идет не о привнесении извне современной, но чуждой данному произведению мысли. У всех на памяти полемика о спектаклях, в которых классике отказывалось в праве «свое суждение иметь». Примерно тогда же появился термин «осовременивание», заменивший «современное прочтение». И теоретически все понимали, что это не одно и то же. Осовременивание ставило классику в униженное положение повода к «актуальному» высказыванию, пьесы препарировались в поисках фразочных намеков на сиюминутность, «стиль автора» подменялся «стилем режиссера»... Переломав изрядное число копий, все — и критика, и режиссеры, и театры и литературоведы — пришли, казалось, к согласию, что поступать с классическими произведениями «с позиции силы» негоже. Что режиссер по роду своей профессии не может не быть соавтором драматурга — всегда было ясно. Но стало ясно еще и другое: что математический закон, гласящий — от перестановки мест слагаемых сумма не меняется, к искусству не применим. Когда не режиссер идет в соавторы к классику, а принуждает классика к соавторству с собой, проигрывают все — автор, спектакль, зритель.

Может быть, противясь этой манере общения с классическим произведением, театры стали сегодня говорить с классикой не с «позиции силы», а с «позиции слабости»? Забыв о необходимости соавторства? О том, что зритель является непременным и равным соучастником спектакля? И что именно его, зрителя, представителем призван стать режиссер, вступивший в переговоры с драматургом для выработки «общих позиций» в дне сегодняшнем?

Произведения потому и названы классическими, что они — на все времена. Но каждое время ждет разговора о своих проблемах. Со времени написания чеховских пьес прошло восемь десятилетий — и каких! Не учитывать жизненный опыт зала — значит, в лучшем случае интерес к классике сделать чисто музейным. В таких случаях зал оказывается умнее сцены. А тогда зачем она нужна, сцена? Ведь Станиславский говорил, что в театр он ездит ради подтекста, а текст можно читать и дома... А подтекст классических пьес не имеет границ. И новых глубинных пластов хватит на все времена. По словам Л. Аннинского, «фундаментальное в глубину беспредельно». Здесь каждый спектакль может и должен стать открытием. Одновременно и автора и сегодняшнего дня. В этой связи можно было бы вспомнить классический, пожалуй, уже хрестоматийный пример — «Мещан» в постановке Г. Товстоногова. Никаких текс-

товых купюр, абсолютное соответствие авторским ремаркам... И какой неожиданный, поражающий глубокой современностью пласт духовных сцеплений, обнаженный театром!

Есть примеры, может быть, не столь художественно безупречных спектаклей, но созданных совсем недавно и тоже отвечающих требованию выявить общие «боле-вые точки» в пьесе и времени ее постановки, при этом бережно донеся до зала суть и атмосферу авторского текста.

В Рустави впервые на грузинской сцене поставлена «Чайка» Чехова. Поставлена очень строго, даже аскетично. Мощная театральность, столь свойственная грузинским актерам, беспощадно убрана режиссером А. Кутателадзе из этого спектакля, и лишь одной актрисе позволено проявить ее в полной мере — Л. Шотадзе, играющей Аркади-ну. Помню момент острого неприятия этой сытой, купающейся в самовлюбленности, такой (показалось сначала) не чеховской героини. Более похожей на Гурмыжскую из «Леса» Островского... Каюсь, сработала театроведческая инерция в восприятии образа Аркадиной, во всех ранее виденных постановках оправдываемой внешним и духовным изяществом актрис — от Степановой до Фрейндлих и Лавровой... Ибо оправдать поступ-ками то жестокое немилосердие, которое первенствует в бытии этой чеховской ге-роини, — невозможно. Их в сюжете пьесы, в ее тексте нет.

На сцене душно: кажется, эгоцентризм этой уютно расположившейся в жизни особы пожирает сам воздух. Театр показывает духовную глухоту благополучия. Не случайно в одной фронтальной мизансцене на расстоянии буквально шага пойдут параллельно две сцены: игры в лото и прощания Нины с Треплевым. Слез Нины, ее сумасшествия там — по соседству — не услышат. Как не услышат выстрела Треплева...

На казахской сцене впервые поставлен «Дядя Ваня». В Академическом театре драмы имени Ауэзова, режиссером А. Мамбетовым. Эпиграфом к этому спектаклю можно было бы взять чеховские слова: «Надо, чтобы за дверью каждого довольного, счастливого человека стоял кто-нибудь с молоточком и постоянно напоминал бы сту-ком, что есть несчастные...» Тема спектакля — крушение жизненного идеала, которое сродни любому крушению со смертельным исходом. И проплывают в финале комнаты усадьбы Войницких, уже нежилые, с аккуратно перевернутыми стульями... Идеала нет — и жизнь кончилась. Эти две мысли — о глухоте к чужой боли и о невозможности жить без идеала, мечты, веры, надежды — сегодняшни и для человека и для челове-чества.

Да, примеры есть. Но их, увы, немного.

Классику сегодня чаще приходится защищать и от «джинсового» варианта «Раз-бойников» и от той невыразительной безликости, которая в один серый цвет красит и Островского и Достоевского.

Белинский в своей «Речи о критике» сказал: «...Искусство подчинено, как и все живое и абсолютное, процессу исторического развития... Искусство нашего времени есть выражение, осуществление в изящных образах современного сознания, совре-менной думы о значении и цели жизни, о путях человечества...» (разрядка моя.— С. О.).

«Современного», «современный»... Это понятие, вернее, эту оценку спектаклю дает не дата его премьеры, а живая связь с сегодняшним днем.

Театральным искусством пишет время. Определенное, конкретное. Даже шедевры, раритетные спектакли, поставленные в иное время, для иного зрителя — мертвы: не случайно не так давно из репертуара МХАТа сняты «Три сестры», «Мертвые души», «Ревизор». Некоторые — на «реконструкцию». А она предполагает взгляд из сегодняш-него дня.

Этот взгляд на классику из дня сегодняшнего в минувшем десятилетии одарил нас чудом открытия, обеспечил живой контакт сцены с залом в целом ряде спектаклей. Из их числа я бы упомянула «Холстомера» в ЛБДТ, «Женитьбу» и «Месяц в деревне» в Театре на Малой Бронной, «Ревизора» в Руставском драматическом, «Дядю Ваню» в Украинском театре имени Ивана Франко, «Горе от ума» в Малом, «Банкрота» и «Леди Макбет Мценского уезда» в Театре имени Маяковского. «Женитьбу Бальзаминова» в Кишиневском музыкально-драматическом театре имени А. С. Пушкина... И перечень этот далеко не полон. За последние два-три года событий, равных перечисленным, не произошло. Но нынешнее десятилетие только началось.

КОРОТКО О КНИГАХ



СЕРГЕЙ ЛЬВОВ. Быть или казаться?
Политиздат. 1982. 319 стр.

«Становясь старше, сильнее чувствуешь, как глубок смысл многих простых истин. Выразить их трудно. Так же, как трудно описать пейзаж обычной и привычной, ничуть не экзотической природы. Как трудно рассказать о простом и прекрасном человеческом лице. Как трудно объяснить, почему столь поэтичны строки Пушкина: «Я вас любил, любовь еще, быть может...» Но чем острее ощущаешь, как сложна простая наша жизнь и как коротка она, даже если длится много лет, тем больше потребность задуматься над простыми истинами, выразить их словами. И напоминать о них прежде всего себе самому. И жить и действовать в согласии с ними...»

Эти строки из последней — последней — книги Сергея Львова.

Собственно, книга эта о проблемах нравственных. Как ты хочешь прожить жизнь, читатель? — словно спрашивает автор каждой ее строкой. Как? В течение жизни наращивать и наращивать в своей душе истинные человеческие ценности — доброту, принципиальность, гражданскую активность, порядочность, нравственную устойчивость в любых условиях, в какие бы ни поставила тебя судьба — или всю жизнь посвящать погоне за ценностями мнимыми, дружбу заменить уваливанием людей нужных, пренебречь истинным призванием ради так называемого престижа, чувство собственного достоинства заменять на приобретение иллюзорных и преходящих благ?..

Все мы читали самые разнообразные выступления по вопросам нравственности, иные из нас, случалось, выступали на эту тему и сами. Скажу прямо: ни выступать так, как Львов, ни читать чего-либо подобного мне лично не приходилось. Сергей Львов больше всего боялся встать в позу человека многознающего и поучающего других, никогда не добивался смиренного и благоговейного внимания аудитории. «Напомнить прежде всего себе» — у С. Львова это не оговорка. Прежде всего именно себе напоминал он о тех случаях, когда бывал, что называется, не на высоте; о тайных мучениях угловатого и застенчивого подростка, о бесстрашии юноши фронтовика, которое сам он объяснял в большой мере близорукостью и неопытностью, и о

страхе, испытываемом позднее, зачастую в обстоятельствах мирных и вовсе, казалось бы, нестрашных, и о том, как трудно было этот страх преодолеть. Он и о том не боялся говорить, как впервые столкнулся с проблемой неизбежного старения и понял — опять-таки для себя понял! — как это важно для человека — стареть достойно. «Прекрасно, когда человеку есть о чем рассказать. Еще лучше, когда он умеет не только говорить, но и слушать. Не только учить, но и учиться...»

Вот так разговаривает с нами человек блестяще образованный, рассказывая о той школе самовоспитания, что прошел Петр Рамус в XVI и Андрей Болотов в XVIII веке, о том, как сталкивался с проблемой бессмертия души герой так и не написанной им, С. Львовым, книги испанский революционер Хуан ван Гален, приводит выдержки из дневников Жюлья Ренара и Александра Герцена. Так разговаривает с нами — доверительно и просто — бывший газетчик, не забывший ни одной из встреч в своих поездках по стране, ни одного из писем, во множестве дожившихся на редакционный стол; ничто не оставляло опытного газетчика равнодушным, все вызывало точную нравственную оценку. Давид Самойлов очень точно называет свое превосходное вступление к книге: «Вера в доброе слово». Воистину трогает в Сергее Львове это счастливо сохраненное убеждение в том, что порядочность и доброта — естественнейшее состояние человека!

«Рассчитана на массового читателя» — сказано в издательской аннотации к книге. Это верно. Каждый должен эту книгу прочесть. Для того хотя бы, чтоб прочувствовать саму интонацию Львова — мягкость, и уважительность, и готовность помолчать, давая высказаться собеседнику, «не только учить, но и учиться», и в то же время неуступчивость, страстное неприятие всего, что не есть порядочность и не есть добро. Книга поощряет читателя еще раз спросить себя: а что такое мой, единственный идеал счастья? Правильно ли угадал я свое призвание? Правильно ли построил отношения с другими людьми?..

Сергей Львов недавно ушел от нас. Удивительные слова обратил он к нам на прощанье, такие мудрые, такие человеческие, так верил нам, остающимся.

Любовь Кабо.

Л. ДЫМОВА. Журавль в небе. Стихи. М. «Советский писатель». 1982. 87 стр.

Выход книги в свет — это только рождение книги. Жизнь ее начинается потом, когда «новорожденная» находит своего читателя. В наше время — время переизбыточной информации — поиск своего читателя особенно труден для первых книг. Одна из таких книг — перед нами. Она складывалась многие годы — Лорина Дымова уже полтора десятилетия печатает в периодике свои стихи, так что эту первую книгу можно в какой-то мере назвать и «этапной»...

В ее названии определенная поэтическая и эстетическая программа. Журавль в небе... Извечная романтическая тема поиска, стремление к идеалу, даже если он и недостижим.

Как же оправдывается эта программа на страницах книги, четыре раздела которой составляют единое лирическое повествование о постижениях, радостях и горестях поэтессы, женщины, любимой, матери?

Это жизнь:
переезды и ссоры,
неба зимнего серый свинец.
Это жизнь...
лишь бы только не скоро
наступил нашим бедам конец.

Это жизнь...
Суета и обиды.
Нет денег. Убого жилье.
Но признайся, что только для вида
ты нещадно ругаешь ее.

Эти строки — своеобразный ключ к пониманию мира поэтессы. В этом прикосновении к быту я чувствую дыхание правды, правды уже не бытовой, приземленной, а той поэтической, которая диктует поэтам свои строгие законы. Многим лучшим стихам Л. Дымовой свойственно это «смещение стилей» — диалектическое столкновение земного, городского, подчас нелегкого быта и тех самых журавлиных трасс бытия, с высоты которых срывается неожиданное: «О будь ты проклято, благополучие!»

Благополучие здесь — та самая синица в руках, от которой пытается отказаться лирическая героиня книги, хотя это и трудно.

Через книгу проходит вереница стихов о любви — о любви во множестве ее проявлений. Стихи о разлуках и примирениях, о радостных встречах и долгожданных вестях. Любовь земная, трудная и насущная. Любовь — понимание.

Я придумала такого:
молодого, удалого,
гордого и озорного.
...Ты иной. Себя я лгу.
Только ничего другого
я придумать не могу.

Эти обнаженные строки — малый штрих к характеристике любимого человека. Его портрет намечается в различных стихах книги.

Настойчиво звучит у Л. Дымовой тема материнства; живописны строки о метелях и деревьях родной земли, о людях, с которыми сталкивает судьба. Останавливают внимание стихи «Человек тоскует о любви» — в каком-то смысле это лаконичное психологическое исследование:

Человек тоскует о любви,
длящейся века, а не мгновенье,
и о том, чтоб были меж людьми
искренность, и правда, и доверье.
чтобы друг не предавал вовек,
чтобы отдал жизнь во имя дружбы!..
О любви тоскует человек —
маленький, неверный, равнодушный.

Всего восемь строк, а как обозначены черты вполне определенного человеческого типа, одного из тех, кто не раз встречался каждому из нас.

Книга Лорины Дымовой завершается стихами о пути поэта. На мой взгляд, они украшают книгу. Это стихи о дороге поэзии, о бесконечности творчества, отмеченные строгостью интонации.

...На том пути — ни милого, ни сына.
...На том пути — Вселенная и я...

Я не возьму с собою даже хлеба,
мне ни к чему ни посох, ни сума.
На той дороге лишь земля и небо.
На той дороге только свет и тьма.

На той дороге, добавлю я, где в борении тьмы и света брезжит истина, еще необходимо бесстрашие перед лицом жизни и безоглядная вера в поэзию. Все это есть в поэтическом небе Лорины Дымовой.

Сергей Мнацаканян.



КАЗИМЕЖ ВЫКА. Статьи и портреты. Перевод с польского. М. «Прогресс». 1982. 220 стр.

Убежден, что не только специалисты, посвятившие себя литературе европейских социалистических стран, но все, кого интересует литература современной Польши, литература вообще, с благодарностью встретят выход в свет этой книги. Она во многом необычна. И прежде всего, конечно, потому, что автор ее, Казимеж Выка (1910—1975), — фигура в литературоведении и критике нестандартная. Он работал в польской литературе около полувека и сделал для нее, для польской культуры не меньше, чем многие его выдающиеся современники — прозаики и поэты. Казимеж Выка был писателем, историком и философом по призванию. «Опыт гуманитария», — считал он, — определяется не только профессией, знанием своего предмета, но и тем периодом истории, на который приходится его жизнь. Эту истину я постиг в годы второй мировой войны».

Умение говорить о литературе, не замыкаясь в ее рамках, не сужая свою задачу до педантичного толкования искусства, культуры лишь с точки зрения их внутренних законов и канонов, страстный общественный темперамент, активная позиция патриота и демократа, безоговорочно принявшего Народную Польшу, — все это наложило отпечаток на творчество К. Выки, на сам характер его подхода к литературным проблемам, даже к чисто формальным аспектам творчества. Может быть, именно тут кроется загадка и еще одного «секрета» творчества К. Выки — читать его интересно, что, увы, не так часто бывает с работами иных ученых от литературы.

Казимеж Выка много сделал для становления литературы Народной Польши,

для развития и утверждения польской критики и литературоведения на демократических, социалистических традициях. Выка была одним из основателей Института литературных исследований Польской Академии наук. Но он и сам был своего рода институтом, выработавшим и аккумуляировавшим, если так позволительно выразиться, новые идеи и новые взгляды на историю польской литературы, помогая своим современникам усваивать и развивать традиции и наследие ушедших поколений.

Творчество К. Выки было образцом бережного и трезвого отношения к такого рода традициям, он не уставал говорить о важности марксистской разработки истории и проблем философии культуры.

Казимеж Выка написал очень много, и в рецензируемом сборнике вниманию читателя предлагается, естественно, лишь часть его работ. Но, думается, удачен сам их выбор, когда перед нами складывается своего рода литературный автопортрет человека, критика, философа.

Хотя все, кому посвящены вошедшие в сборник статьи и эссе (Прус и Жеромский, Норвид и Реймонт, Ивашкевич и Тувим, Броневский и Пшибось), уже ушли из жизни, книга произведит впечатление очень актуальной. Такова уж особенность К. Выки: о чем бы и о ком бы ни писал этот ученый и критик, он всегда говорил о «вечных» проблемах и законах литературы, непреходящих, глубинных связях истории и современности в творчестве художника. Сегодня его творчество помогает лучше понять не только пути формирования того или иного писателя, но и специфику современного польского литературного процесса, более того — польский национальный характер, мифы и стереотипы, закрепившиеся в польском национальном сознании.

Содержательный анализ творчества К. Выки дал в предисловии к сборнику его составитель С. Ларин. Оно послужит для советского читателя хорошим, добротным комментарием и к предвзвешенным здесь работам критика, и к проблемам, которые в них затрагиваются.

А. Ермонский.



ГЕННАДИЙ КРАСНИКОВ. Птичьи светофоры. М. «Молодая гвардия». 1981. 32 стр. ДЕНЬ ПОЭЗИИ 1982. М. «Советский писатель». 1982. 175 стр.

В альманахе «День поэзии» за прошлый год среди представительных подборок может затеряться и не обратить на себя внимания короткое — всего в восемь строк — стихотворение Геннадия Красникова «Душа»:

Мучительно ее неподчиненье!..
Сорвется, взвост, станет на своем.
Все прогляны, срывается за нею
и на себя ее вину берем.

Когда припомят все ее проделки,
«Простите, — скажем. — Нет у нас обид.
Какая ж, господи, она злодейка,
когда она и плачет и болит!»

Лишенное «контекста», оно тем не менее и в одиночку достойно представляет ав-

тора, заставляет обратиться к его единственной пока книжке стихов «Птичьи светофоры», где об авторе написано, что он родился в 1951 году. Книга же вышла в 1981-м. И сразу невольно возникает вопрос: отчего она так долго ждала своего выхода к читателю? Ответ на этот вопрос прямо на первой странице: «Что за дивная легкость! Дни, как воздух, легки. Одинокая лодка у осенней реки. У реки на приколе, никуда не спеша... Как в груди под рукою сердце. Или душа». Понимаешь: автор просто ждал, когда книга сложится, не спешил заявлять о себе любой ценой. И книга сложилась, состоялась: не боясь преувеличений, можно сказать, что «Птичьи светофоры» — одна из лучших книг, вышедших за последнее время в молодогвардейской серии «Молодые голоса». В ее основе стихи, оплаченные напряженной жизнью души и биографией, где была и тяжелая физическая работа, и любовь, и годы учебы. Можно понять Евгения Евтушенко, который написал к книге Геннадия Красникова предисловие в стихах, — она его и взволновала и обнадеедила...

Понятия «родина» и «народ» в книге «Птичьи светофоры» органично пронизывают стихотворения, в которых не созерцание и умильное любование, а тревога за все сущее на земле. Чувство это уравнивается мужественной беспощадностью к себе и своим сверстникам, готовностью встать на передний край, сменив уходящих отцов в день, когда «на живых и на павших уже разделения нет», почувствовать, как «малая родина» — материнский дом — сливается с большой.

А где же та «потертость», «небогатость», те «на коленях — пузыри» стиха, о которых пишет Евгений Евтушенко в своем нестандартном вступлении к книге Геннадия Красникова? Есть и она, принципиальная простота. Есть и случайные просчеты, огрехи, которые можно было бы и отметить, чтобы не сочили сие за образец «комплиментарной критики». Но не лучше ли последовать другому, более мудрому правилу и по крайней мере о первой, в целом хорошей, книге судить по ее лучшим стихотворениям, здраво полагая, что автор, не торопившийся «в печать», сам впоследствии разберется во всем глубже, если ему «не дышать над ухом».

В лучших образцах стих Геннадия Красникова выглядит легким, произнесенным на одном выдохе, — эту легкость никакими словесными ухищрениями имитировать невозможно. Закрывая последнюю страницу сборника, невольно говоришь себе старинное: хорошо, да мало. И хочется посоветовать читателю, любящему подлинную поэзию, запомнить это имя — Геннадий Красников — и ждать его новых книг, которые, конечно же, будут.

Николай Карпов.



ВИКТОР РУСАКОВ. Рассказы о потомках Пушкина. Л. Лениздат. 1982. 368 стр.

О жизни и творчестве великого русского поэта А. С. Пушкина существует огромная литература. Немало написано о заповедных

местах, связанных с его именем. Добрым словом, несомненно, отзовется литературная общественность нашей страны и на новую книгу литературоведа и журналиста Виктора Русакова «Рассказы о потомках А. С. Пушкина», снабженную обширным научным аппаратом. Постскриптумом к ней служат пушкинские слова: «Бескорыстная мысль, что внуки будут уважены за имя, нами им переданное, не есть ли благороднейшая надежда человеческого сердца?»

У Александра Сергеевича Пушкина было четверо детей и девятнадцать внуков. Каждый из них представлен в книге как отдельное звено в цепи шести поколений и рассматривается автором в неразрывной связи с жизнью и творчеством великого поэта, с российской историей.

Как мы узнаем, почти четверть века трудился автор над этой повестью о судьбе сыновей и дочерей поэта, его внуков и других потомков. Начал он свои исследования, будучи еще студентом филологического факультета Ленинградского университета, где училась тогда родственница А. С. Пушкина и Н. В. Гоголя — полтавчанка Лидия Владимировна Савельева, ныне кандидат филологических наук, доцент Карельского государственного педагогического института. С тех пор В. Русаков собрал обширный материал, установил адрес потомков А. С. Пушкина, наладил переписку со многими из них, проживающими в нашей стране и за рубежом. Ныне здравствуют двести сорок потомков Александра Сергеевича четвертого, пятого, шестого и седьмого поколений. Иные из них оставили заметный след в российской истории — были участниками русско-турецкой, первой мировой, гражданской, Великой Отечественной войн. В частности, читая исследование В. Русакова, мы узнаем, что старший сын поэта, Александр Александрович, почти тридцать пять лет отдал военной службе, был генералом от кавалерии, участником освобождения Болгарии во время русско-турецкой войны, награжден многими русскими и иностранными орденами.

Читатель узнает и другие любопытные подробности, касающиеся, скажем, того, как породнились потомки поэта с семьей Н. В. Гоголя; как старший сын поэта, Александр Александрович, подарил в 1909 году свой портрет жительнице Кишинева Е. Я. Даниловой (ныне он находится в кишиневском музее А. С. Пушкина).

Интересна глава «Живая пушкинская энциклопедия», из которой мы узнаем, что последняя внучка, жившая в нашей стране, Анна Александровна Пушкина, скончалась в Москве 5 июня 1949 года, накануне 150-летия со дня рождения поэта. В главе «Страницы нескольких биографий» обстоятельно рассказывается о детях младшей дочери поэта Натальи Александровны и их семьях. Заметим, что в книге опубликовано около ста фотографий, портретов, рисунков.

Прочитав «Рассказы о потомках А. С. Пушкина», каждый убедится, что «благороднейшая надежда» великого русского поэта сбылась: наши современники относятся к его потомкам с глубоким интересом и уважением.

И. Завделов.



А. И. ПОЛЯКОВ. Полюс высоты. М. «Советская Россия». 1982. 151 стр.

Маршрут одиннадцати альпинистов из нашей страны, почти что «в лоб» по юго-западной стене поднявшихся на Эверест, до прошлого года не только никем не был пройден, но и считался абсолютно невозможным. Успешное завершение советской экспедиции «Гималаи-82» увеличило интерес читателей к этой вознесенной за облака высочайшей на планете вершине, каждый штурм которой имеет собственную неповторимую историю. Эпопея борьбы за Эверест — драматичной, тяжелой, поучительной — посвятил свою книгу А. Поляков, сам бывалый альпинист, участник многих восхождений, начиная еще с памирских — с тех, что вел соратник В. И. Ленина Н. В. Крыленко.

Чемпионом высоты Эверест (8848 метров над уровнем моря) был признан не сразу. Пять лет подряд (1845—1850) сотрудникам английской топографической службы, проводившим съемку в Непальских Гималаях, казались более внушительными пики Нанда-Деви (7816 метров), Дхаулагири (8221 метр), Канченджанга (8597 метров). Заслоненный ими, отодвинутый на задний план Эверест, не имевший даже собственного имени, значился по инвентаризации под безличным номером планшета — «пик XV». Однако в 1852 году руководитель вычислительного бюро английских топографов индус Радханатх Синххдар, обрабатывая уже в кабинете полученные двумя годами ранее «полевые» результаты, доложил: «пик XV» — самая высокая гора в мире! Британские власти нарекли ее Эверестом в честь Джорджа Эвереста, бывшего председателем Геодезического комитета Индии, хотя, как указывает знаток Гималаев швейцарский профессор Г. О. Диренфурт, к открытию высочайшей вершины Дж. Эверест не имел никакого отношения.

После сообщения Синххдара было еще много путаницы и лжесенсаций. Мое поколение, например, еще застало учебники и энциклопедии, где полюсом высоты назван Гауризанкар — сосед Эвереста по Гималаям. И все же десятки экспедиций, аэрофотосъемка подтвердят — Эверест вне конкуренции, а значит, покорение его особенно почетно.

Вице-король Индии лорд Керзон еще в 1903 году намеревался организовать водружение британского флага над Эверестом, нимало не заботясь, что это за пределами его юрисдикции, да и вообще за пределами возможностей человека того времени. Пири уже достиг Северного полюса, Амундсен — Южного, после «открытия» Эвереста проходит столетие, но он по-прежнему недосягаем.

Высотный порог — 8 тысяч метров — становится гималайским Рубиконом. В английской экспедиции 1924 года подполковник Э. Нортон единственный сохранил силы и самообладание, чтобы достичь так называемого второго взлета у рыжих скал. Это отметка 8572. На такой высоте до Нортон человека еще не бывал. До цели, высшей точки массива, немногим меньше 300 мет-

ров. Казалось бы, пустяк, несколько часов ходу. Но тут-то и показал свои когти дракон который, по преданиям Востока, охраняет мир вершин от вторжения людей.

На эти 300 метров уйдет... 29 лет! Чертовски трудных, поистине жертвенных лет.

Долгий путь. Одна, другая четырнадцатая экспедиция. Самой длинной милей на свете назовут последние сотни метров Эвереста участники восхождений. Лишь 29 мая 1953 года сын небольшой народности Тибета и Непала, на территорию которых спадают склоны Эвереста, шерпа Тенсинг Норгей и новозеландский пчеловод Эдмунд Хиллари из английской экспедиции, руководимой Джоном Хантом, ступят на вершинку вершин (ныне на ней побывали уже более ста человек)

Мне в моей «альпинистской» жизни посчастливилось встречаться с теми, кто в разные годы шел на штурм Эвереста. Тенсингом, англичанами Джоном Хантом Чарльзом Эвансом, Уилфридом Нойсом китаяцами Ши Чанчуном, Ван Фучжоу, Цюй Иньхуа, их партнером по связке тибетским скотоводом Гоньпо. Помню суровый ответ Ханта, друга советских спортсменов, посетившего кавказский альплагерь «Спартак» молодым альпинистам. Они спросили: «Сколько победителей Эвереста?» «На Эвересте нет победителей, — отрезал Хант, — только уцелевшие».

Да, можно сказать и так. Однако автор «Полюса высоты» А. Поляков, рассказывая об истории покорения Эвереста, часто действительно трагической, подчеркивает в своей книге другое. Каждое восхождение — испытание. Каждый метр завоеванной высоты — познание. Поднимаясь, видишь дальше. Постигаешь глубже. Горы — это своеобразная школа личности.

Стоявший у колыбели нашей эверестовской экспедиции Николай Семенович Тихонов говорил автору этих строк: «Я считаю этот спорт (альпинизм.— Е. С.) самым мужественным, полным глубокого, почти философского содержания. Он поэтичен и гочен. требует отваги и знаний, способствует развитию чувства товарищества, преданности и высокого патриотизма». Именно в этом убеждает и книга А. Полякова.

К сожалению, автор не успел увидеть свой «Полюс высоты», скончавшись в Москве в 1981 году, незадолго до выхода книги в свет, когда наши альпинисты еще только готовились к первому советскому восхождению на Эверест. Пожеланием им успеха заканчивается последняя глава книги. Подробный рассказ об этом успехе еще предстоит писателям, занимающимся альпинистской темой, как и А. Поляков, влюбленным в блистающий мир горных вершин.

Евг. Симонов.



КНИЖНЫЕ НОВИНКИ



ПОЛИТИЗДАТ

- В. И. Ленин.** Очередные задачи Советской власти. 144 стр. Цена 15 к.
В. И. Ленин. Шаг вперед, два шага назад. 222 стр. Цена 30 к.
Н. Крупская. О Ленине. Сборник статей и выступлений. 368 стр. Цена 1 р.
А. Кривель. Какая оца. Монголия. 223 стр. Цена 60 к.
О Валериане Куйбышеве. Воспоминания, очерки, статьи. 319 стр. Цена 75 к.

«СОВЕТСКИЙ ПИСАТЕЛЬ»

- Н. Воронов.** Котел. Роман и повесть. 352 стр. Цена 1 р. 60 к.
Л. Жуховицкий. Только две недели. Повесть. 296 стр. Цена 1 р. 20 к.
Л. Лиходеев. Боги, которые лепят горшки. Роман, повести, рассказы. 319 стр. Цена 1 р. 50 к.
А. Межиров. Проза в стихах. Новая книга. 95 стр. Цена 25 к.
С. Михалков. Басни 127 стр. Цена 90 к.

«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»

- Н. Готорн.** Избранные произведения. В 2-х тт. Перевод с английского Т. 1. 455 стр. Цена 2 р. 30 к.
Ю. Левитанский. Избранное. 559 стр. Цена 2 р. 40 к.
Повесть о доме Тайра. Перевод со старояпонского. 703 стр. Цена 3 р. 20 к.
Ю. Тувим. Стихотворения. Перевод с польского. 175 стр. Цена 3 р. 50 к.
М. Шолохов. Рассказы. 301 стр. Цена 1 р. 10 к.

«МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ»

- А. Безуглов.** Хищники. Роман. 368 стр. Цена 1 р. 50 к.
Н. Гасанзаде. Хлеб тетушки Набат. Повесть. Перевод с азербайджанского. 192 стр. Цена 55 к.
Э. Кулис. Мы с Максом. Повесть и рассказы. Перевод с латышского. 189 стр. Цена 55 к.

ВОЕНИЗДАТ

- А. Ананьев.** Версты любви. Роман. 351 стр. Цена 1 р. 60 к.
Л. Бетанкур. Здесь песок чище. Роман. Перевод с испанского. 378 стр. Цена 2 р. 70 к.
С. Борзенко. На горячих точках планеты. Очерки. Рассказы. Повесть. 302 стр. Цена 1 р. 10 к.
И. Свистунов. Сказание о Рокоссовском. 341 стр. Цена 1 р. 50 к.
«ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Герои Эллады. Из мифов Древней Греции. 175 стр. Цена 40 к.
Л. Кассиль. Рассказы разных лет. 191 стр. Цена 70 к.
Б. Пастернак. Стихотворения. 175 стр. Цена 55 к.
В. Яковлев. Звездные часы эпохи. Очерки. 318 стр. Цена 1 р. 40 к.

«РАДУГА»

- Р. Бернс.** Стихотворения. Сборник на английском и русском языках. 705 стр. Цена 2 р. 40 к.
Д. Ватанабэ. Свет без тени. Роман. Перевод с японского. 319 стр. Цена 2 р.
А. Карпентьер. Весна Священная. Роман. Перевод с испанского. 473 стр. Цена 3 р. 20 к.
Нгон Нгуен. Страна поднимается. Роман. Рассказы. **Тяу Нгуен Минь.** Выжженный край. Роман. Перевод с вьетнамского. 511 стр. Цена 3 р. 50 к.

МЕСТНЫЕ ИЗДАТЕЛЬСТВА

- А. Бэл.** Следователь. Клетка. Романы. Рига. «Лиемса». 253 стр. Цена 90 к.
Г. Гачев. Чингиз Айтматов и мировая литература. Фрунзе «Кыргызстан». 287 стр. Цена 65 к.
Н. Глазков. Моя Якутия. Стихи и поэмы. Предисловие В. Цыбина Якутск Книжное издательство. 88 стр. Цена 45 к.
Легенды и предания мордвы. Составление и предисловие Л. Седовой. Литературный перевод Л. Фетисова. Саранск. Мордовское книжное издательство. 120 стр. Цена 70 к.

Главный редактор **В. В. Карпов**

Редакционная коллегия:

Ч. Айтматов, Ф. К. Видрашку (зам. главного редактора), **Е. М. Винокуров, Р. Г. Гамзатов, В. М. Литвинов, М. Д. Львов** (зам. главного редактора), **Д. Мулдагалиев, А. И. Овчаренко, Б. И. Олейник, Г. И. Резниченко** (ответственный секретарь), **А. Е. Рекемчук, А. Я. Сахнин, Д. В. Тевекелян**

Адрес редакции: 103806 ГСП. Москва К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2. Тел. 200-08-29.

Сдано в набор 9.03.83 г. Подписано к печати 28.04.83 г. А 04083.
Формат бумаги 70×108^{1/8}. Высокая печать. Объем 17 п. л. (23,8 усл.-печ. л.)
27,05 уч.-изд. л. Тираж 363.000 экз. (1-й завод 1—183.000 экз.). Зак. 907.

Издательство «Известия Советов народных депутатов СССР»
Москва К-6, Пушкинская пл., 5.

Ордена Трудового Красного Знамени типография «Известий Советов народных депутатов СССР» имени И. И. Скворцова-Степанова. Москва, Пушкинская пл., 5.

Цена 1 р. 20 к.

70636

Новый мир, 1983, № 5, 1—272.